

Марк Харитонов

СТЕНОГРАФИЯ
КОНЦА ВЕКА



ImWerdenVerlag
München
2010

По изданию: Марк Харитонов. Стенография конца века. Из дневниковых записей 1975-1999 гг.
Издательство «Новое литературное обозрение», М. 2002

© Марк Харитонов, 2010

© <http://imwerden.de> — некоммерческое электронное издание, 2010

Дневник писателя

1

Зачем люди ведут дневники? Единого ответа быть не может. Разные люди, разные дневники. Дневники интимные, затеянные иногда с детских лет, для памяти, для самоотчета, от одиночества, из потребности выговориться хотя бы на бумаге перед безответным собеседником, ставшие привычкой, едва ли не ритуальной. Дневники деловые, рабочие, записки натуралистов, естествоиспытателей, путешественников, отчеты о наблюдениях и самонаблюдениях, где личное уже не отделишь от профессионального, с попутными размышлениями, обобщениями, заметками о прочитанных книгах, газетных новостях или о погоде.

Для человека же, чей род занятий — писательство, размышления с пером в руке — поистине способ существования. Писательские дневники в этом смысле бывают особенно представительными. Тем более что они чаще других становятся достоянием читающей публики. Речь не о сочинениях, специально предназначенных для публикации и лишь называющихся «Дневник», вроде знаменитого «Дневника писателя» Достоевского. Речь о дневниках настоящих, которые ведутся только для себя и таятся от посторонних глаз, даже от близких — столько в них откровенного и сокровенного; лишь такие дневники бывают действительно адекватны и полноценны. Хотя не простое дело выговорить все до конца даже перед самим собой. И как начнешь вникать: что значит до конца? и зачем? Писателей, кстати, особенно просто подловить на тайной — да чаще и не слишком прикрытой — надежде быть прочитанными; иначе с какой стати они даже в записях для себя привычно продолжают шлифовать форму и стиль, подыскивают слова? Ну разве что по привычке.

Один из самых удивительных документов этого рода — дневники Льва Толстого. Вот уж где совмещено чуть ли не все: самонаблюдение, самоанализ, разбор прочитанных книг, философские, религиозные и иные размышления, рабочие записные книжки, в которых фиксируются, например, народные слова и выражения, а также события, детали пейзажа и прочее, временами с сознательной мыслью о литературном тексте, который мог бы и для других «составить приятное чтение» (запись от 22 октября 1853 года). И особо — «Дневник помещика» 1857 года. Особо — «Записки христианина» 1881 года. Особо — «Тайный дневник» 1908 года. («Начинаю дневник для себя — тайный» — запись 2 июля.) И опять особый «Дневник для одного себя» 1910 года. («Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя» — запись 29 июля.) Хотя, казалось бы, и прежние дневники были куда как откровенны, исповедальны, самоублачительны. Ибо для Толстого дневник всю жизнь был прежде всего инструментом самовоспитания, самосовершенствования — начиная с так называемого «Франклинова журнала» 1851 года, свода моральных правил, которым намечено было неукоснительно следовать. В желанной степени это никогда не

удавалось, записи полны сетований на сей счет, самоосуждений, явно несправедливых.

«Что я такое? — спрашивает себя Толстой 7 июля 1854 года... — Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда... Я не воздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти привычкой». И т.д. и т.п. Изо дня в день, из года в год — все те же нелицеприятные, беспощадные наблюдения над собой, над каждым своим душевным движением. «Несносная забота. Праздность. Стыд» (16.07.1881). «Все так же мучительно борюсь, но плохо борюсь» (2.07.1908). «Мучительно тяжело испытание или расплата за любострастие» (4.07.1908). Выписывать можно наугад, раскрывая едва ли не на любой странице. Даже читать это бывает мучительно, порой неловко; хочется защитить писателя от него самого. Такая ли уж здесь правда? Что такое вообще правда о человеке? Разве нельзя взглянуть на ту же самую жизнь иначе, найти в ней достойные иных оценок — и в этом тоже будет своя правда? Толстой как будто не бывает доволен собой, он как будто всю жизнь себя преодолевал, ничего себе не облегчая, — может, потому он и стал Толстым? Год от году дневниковая исповедальность все больше обретает в его глазах религиозный, воспитательный, даже проповеднический смысл; потому он на склоне лет отказался от мысли уничтожить записи хотя бы времен грешной молодости и решил предать читательскому суду все — включая интимное и «несущественное» — отнюдь не из литературного тщеславия, наоборот: это и означало для него отбросить «заботу о славе людской». Беспощадность суда над собой должна была послужить другим в их нравственном самосовершенствовании.

Как ни мало был похож на Толстого Франц Кафка, беспощадностью взгляда на себя он может сравниться с ним. Хотя при этом его дневниковый самоанализ меньше всего связан с мыслью о какой-либо литературной или воспитательной задаче. Вот уж кто был далек от всякого проповедничества — ему бы с самим собой справиться; он и художественные свои произведения завещал, как известно, сжечь. Впрочем, человека, чувствующего себя писателем, совсем свободным от литературной мысли — пусть хоть где-то в глубине подсознания, — возможно, и не бывает. Для самого Кафки всяческие дневники и записки недаром были всегда любимым и важнейшим чтением. В то же время среди его повседневных заметок немало и литературных набросков, зачаточных сюжетов (а также записанных снов, разговоров и пр.), которые потом обрабатывались и переносились в корпус художественных произведений; он просто не отделял собственно дневники от рабочих записных книжек.

Но звучание самих дневников определяет не это.

«Катастрофа. Невозможность спать, невозможность бодрствовать, невозможность переносить жизнь». «Опять беспокойство. Отчего оно возникает? От некоторых мыслей, которые потом быстро забываются, но беспокойство остается, и его помнишь». «Все было просто. Когда я еще был доволен, я хотел быть

недовольным и загонял себя в недовольство всеми способами, какие давали мне время и традиции, потом хотел снова вернуться. То есть я был всегда недоволен, даже своим довольством...» Все это записи лишь нескольких дней января 1922 года. Мотивы, знакомые по творчеству Кафки, — но неужели в самом деле именно они и только они определяли его собственную повседневную жизнь?

И тут пора оговорить одно существенное обстоятельство. Не раз уже было справедливо замечено, что дневники — при видимой адекватности — во многих случаях дают как раз искаженное представление о личности пишущего. Потому что в них заносится зачастую прежде всего то, что угнетает или смущает человека в данный момент. Смутные тревоги, сформулированные и проясненные словом, начинают казаться не столь серьезными, не столь гнетущими; слово помогает овладеть своим состоянием. Психическая самотерапия — одна из важных служб дневника. «Успокоение — это, пожалуй, основная причина, из-за которой я веду дневник, — свидетельствует Элиас Канетти. — Трудно поверить, как успокаивает и обуздывает человека написанная фраза».

«Дневники чаще всего напоминают прерывистую кривую барометра, который регистрирует лишь моменты самого низкого давления, а высокое не отмечает», — пишет Макс Брод по поводу дневников Кафки. Большинство записей делалось писателем именно в минуты отчаяния и тоски, усугубленной болезнью, когда все виделось в черном свете. Но Брод свидетельствует, что он знал и другого Кафку — веселого, остроумного, способного шутить и радоваться жизни; таким он отчасти предстает в некоторых путевых дневниках — обычных туристических заметках, с описанием памятников и пейзажных красот. Однако в минуты душевной уравновешенности он чаще всего за дневник не брался — в этом не было нужды.

Кто вел дневник ежедневно, с поистине бюргерской основательностью — так это Томас Манн. Едва ли не по пальцам можно перечислить пропуски, связанные чаще всего с поездками: в дорогу он с собой свои тетрадки не всегда брал, но все равно потом задним числом восполнял пробелы. Иные записи занимают по несколько страниц; их обстоятельность, даже скрупулезность способна озадачить. Здесь все: существенные события и бытовые мелочи, размышления, политические новости — и сведения о погоде, самочувствии, даже принятых лекарствах и их действии; заметки о ходе работы, о деловых и дружеских встречах, письмах, разговорах, газетных статьях — и дела семейные; впечатления о прочитанных книгах, о музыке, фильмах, спектаклях — и упоминания о покупке сигар, обеденном меню или сделанном педикюре. Порой Томас Манн сам говорил себе, что такая подробность лишена смысла, он не раз собиравшись переменить характер дневников и записывать только «существенное». Ничего из этого не получилось; очевидно, подобная обстоятельность удовлетворяла какую-то насущную психологическую потребность.

Это была, по словам самого Томаса Манна, потребность «запечатлеть уходящий день в его чувственных, а отчасти и духовных проявлениях, запечатлеть его содержание, не столько ради того, чтобы потом вспоминать это и перечитывать, сколько ради отчета, обобщения, осознания и обязывающего

контроля» (11 февраля 1934 года). Записи, делавшиеся обычно к концу дня, обретали характер некой медитации, вечерней «молитвы», по выражению самого писателя, помогали собраться, сосредоточиться.

И опять же — держал ли он при этом в уме специфично писательскую мысль когда-нибудь отдать эти записи — то есть самого себя! — на суд читателя? Отнюдь не всегда на этих страницах он представал в наилучшем виде. Известно, как нервничал Томас Манн, когда в 1933 году все его ранние дневники оказались в руках гитлеровцев, какое необычайное облегчение испытал он, когда удалось их выручить. Надо полагать, слишком многое в этих записях можно было при желании использовать против него, к тому времени уже эмигранта, противника режима. Все эти ранние дневники (за исключением четырех тетрадей 1918—1921 годов, понадобившихся, видимо, для работы над романом «Доктор Фаустус»), Томас Манн в мае 1945 года собственноручно сжег во дворе своего калифорнийского дома. Но дневники 1933—1955 годов завещал сохранить с разрешением опубликовать спустя 20 лет после его смерти.

Такое решение далось ему, видно, не сразу. «Зачем я пишу все это? — размышляет Томас Манн 25 августа 1950 года. — Чтобы перед смертью своевременно все это уничтожить? Или я хочу, чтобы мир меня знал?» Предназначив свои дневники для опубликования без каких-либо поправок и изъятий, он сам ответил на этот вопрос. Еще не завершившаяся до сих пор публикация каждого очередного тома становится заметным литературным и общественным событием.

Есть дневники, которые даже в литературном смысле оказываются самым значительным из всего, созданного писателем. Элиас Канетти считал, что таковы дневники Чезаре Павезе «Ремесло жизни», опубликованные посмертно. «То непреходящее, что он создал, содержится именно здесь, а не в его художественных произведениях». Мне кажется, нечто подобное можно сказать и о дневниках Михаила Пришвина. Лесной старичок с двустволкой и ягдташем, деревенский отшельник, певец природы, знакомый нам еще по школьным хрестоматиям для начальных классов, он казался куда как отстраненным от потрясений века, от общественных и политических страстей: не совсем от мира сего. Лишь начавшие теперь публиковаться дневники Пришвина многое объясняют в этом отшельничестве и видимой отстраненности. В известной степени это был способ самосохранения, больше того — выживания. Потому что на самом деле Пришвин заинтересованно всматривался в свое время, пытался запечатлеть и осмыслить совершавшееся вокруг. Конечно, не было и речи о возможности что-либо подобное напечатать. Даже потайное ведение подобных записей было небезопасно по тем временам, когда никто не мог считать себя застрахованным от внезапного ареста и обыска, и надо полагать, в чем-то писатель себя и здесь на всякий случай сдерживал, не всему позволял излиться на бумагу. Однако и то, что оказалось записано, дает нам совершенно новое представление о Пришвине — вдумчивом и отнюдь не бесстрастном свидетеле небывалой, трагической эпохи. «Я главные силы своего писателя тратил на писание дневника», — заметил он сам однажды.

Да, ведение дневников в советское время — особь статья; тут трудно было отделаться от мысли, что в любой момент твои сокровенные записи могут попасть в руки читателя непредвиденного и нежеланного, превратиться в вещественное доказательство, свидетельские показания против любого, кто был на этих страницах неосторожно помянут. Какой тут разговор об интимности, о глубине откровенности!

2

Для меня было неожиданностью прочесть у Элиаса Канетти, что он в своих дневниках пользовался «видоизмененной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем».

У меня ведь то же самое! Более тридцати лет назад, отправившись надолго в больницу, я взял с собой самоучитель стенографии по особой системе одного ростовского преподавателя, чтоб на досуге попрактиковаться, — и с тех пор большинство повседневных записей делаю этими едва ли кому понятными закорючками. Кроме причин, упомянутых Канетти, кроме дополнительной, специфично советской опаски, они давали еще преимущество, для которого были, собственно, предназначены: скоропись. И при этом в значительной мере такой шифр избавлял от неизбежной все-таки оглядки, от лукавой задней мысли: а вдруг как это однажды вздумают напечатать — хорошо ли я буду выглядеть? Даже если вообразить, что у кого-то возникнет такое публикаторское желание — пусть попробуют разобрать.

Долгое время я делал записи на отдельных листках, подобно моему Милашевичу, иногда ставя даты, иногда опуская, не разделяя собственно дневник, записную книжку или рабочие заметки. Так было удобно при надобности изымать листки, понадобившиеся для других целей, то есть прежде всего для работы. Ведь тут было то же, что у многих писателей: всевозможные наблюдения, зарисовки, детали, мелькнувшие мысли, литературные и прочие впечатления, словечки, разговоры, сны, анекдоты, а то и наброски сюжетов. Со временем я стал их разделять: для дневников как таковых завел специальные тетради, для разнообразных заметок — коробки вроде картотечных; там постепенно обозначались разделы. Из этих записей отчасти возникла уже целая книга «Способ существования», что-то оказалось использовано в прозе, в статьях. Однажды мне показалось целесообразным вести специальные дневники очередной начатой работы: они помогали не упускать из виду первоначальный замысел и проследить, как он видоизменялся, — интересно и полезно бывало к ним иногда возвращаться, перечитывать.

Интересно — порой сверх ожиданий — оказывалось перечитывать и сам дневник. Случалось ведь и к нему возвращаться для рабочих целей: когда я на-

чинал, например, писать воспоминания об умерших друзьях. Я листал в поисках нужного испещренные густыми значками страницы — и, признаюсь, увлекался, зачитывался. Я, оказывается, столько забыл, в том числе самого себя давнишнего. Память — в слишком большой мере инструмент самосохранения, чтобы быть вполне достоверной, — собственные записи выдают тебя с головой тебе же самому. Я уже писал об этом по другому поводу: со временем забываешь, например, насколько ты когда-то был глуп, хотя никогда себе таковым не казался. То, что представлялось в свое время откровением, личной находкой, оказывалось теперь общим местом, давно всему миру известным. Но при всем том: тебе случалось встречаться в самом деле с замечательными людьми, иногда записывать их слова. Ты был свидетелем событий, которые уже вошли в историю. Да что бы ты ни видел, ни пережил — ты видел это не так, как любой другой, и осмысливал по-своему.

Разве мне самому не интересны дневники чужих, не обязательно даже знаменитых людей? Работая над историческими повествованиями, я разыскивал любые свидетельства об ушедшем времени и предпочитал как раз самые простые, житейские — они бывают особенно ценными. А как я люблю и сейчас раскрыть, например, дневник Томаса Манна на странице, обозначенной как раз сегодняшним днем, и сопоставлять со своим, и задумываться о разном... А иногда раскрываешь и собственный дневник на дате, совпадающей с сегодняшней, — что изменилось за эти годы в тебе, в жизни, что осталось неизменным?

И вот я сижу в раздумье над уже необозримой грудой густо исписанных листков и тетрадей: что мне с ними все-таки делать? Или не делать ничего? Все-таки жалко, если это совсем исчезнет, как жалко бывает всякой бесследно ушедшей жизни. Просто расшифровать и перепечатать записи более чем за тридцать лет? Даже представить не могу, сколько это потребует времени — тоже, наверное, надо считать на годы. Отобрать для расшифровки поначалу то, что может показаться интересным кому-то другому, гипотетическому читателю? Но вот тут как раз в самом деле сразу возникает известное сомнение: купюры и редактирование откровенных записей всегда чреватые самоцензурой, приукрашиванием, стилизацией; захочется небось пощадить себя, подретушировать слабости, предстать лучше и умней, чем ты был на самом деле...

Ну, во-первых, я ни перед кем не обязывался заниматься стриптизом. По многим причинам (о которых я рассуждал в другом месте) он не менее сомнителен, чем любая стилизация, и дает о человеке тоже отнюдь не адекватное представление. Во-вторых, признание в своих слабостях, в былой глупости (которую ты теперь вроде бы превзошел), по моим наблюдениям, не только не роняет пишущего, наоборот, делает его как-то ближе и симпатичнее любому читателю. По себе замечал: всегда ободряет и помогает собственному самоутверждению, когда узнаешь о чьих-то неудачах, сомнениях, об эпизодах постыдных; особенно утешительно и приятно бывает читать сетования и самообвинения знаменитостей, которые казались такими удачливыми, неуязвимыми. А уж прямо назвавший себя неудачником едва ли не обречен на умиленное сочувствие. Он как бы становится сразу ближе, понятней; более того — на него мож-

но глядеть чуть свысока; мы все же так себя не называем. Мы ведь поневоле сравниваем с пишущим себя — и как важно удостовериться, что не нам одним бывает плохо, не мы одни испытывали постыдные минуты, у других бывало и похуже — вот как казнится, сердечный...

Может, этим и бывает особенно ценно чтение чужих дневников: оно помогает переносить собственные невзгоды и несовершенства. Если уж даже Лев Толстой... Или вот перечитываешь сейчас свои повторяющиеся из года в год сетования на невозможность напечататься, на безнадежность своего литературного положения, вплоть до мыслей, что ты можешь так и не дожить до публикации — сколько вокруг не доживало. Если это прочтет теперь кто-нибудь другой, который мучается тем же, — может, это его дружески приободрит и поддержит: ничего, мол, видишь, не у тебя одного так бывало, и ведь обошлось как-то. Элиас Канетти рассказывает, как чтение дневников покончившего с собой Цезаре Павезе спасло его самого от самоубийства: он узнал там свое. «Вчера ночью, почувствовав себя униженным, как никогда, и мечтая о смерти, я ухватился за его дневники...»

Это дорогого стоит...

Или вот, скажем: с какой стати выдавать другим свои болезни? Такое всегда лучше оставлять при себе. Но как меня приободрило однажды, когда я прочел в чьих-то воспоминаниях, что у Александра Керенского была всего одна почка, а он дожил, помнится, до 89 лет, и при этом, по свидетельствам, не отказывался даже выпить. Я-то после пережитой в молодости операции не рассчитывал на долгую жизнь, тем более что не особенно берегся, по части выпивки в том числе. Может, и это мое признание будет для кого-то поддержкой?..

Не знаю, как на самом деле все у меня пойдет и что из этого сложится. Попробую потихоньку, между прочими делами, воспроизводить свои давние записи — может, для начала не очень плотным пунктиром, но при надобности возвращаясь, дополняя дневники записями, выделенными когда-то на листочки. А иногда, может, наоборот, собирая записи вокруг темы или какого-либо человека. У меня, например, давно когда-то возник замысел сочинения о дорожных попутчиках — я даже написал на эту тему повесть, уничтоженную потом в числе многих прочих. Но, может, тут и сочинять не обязательно, просто собрать под одним заголовком записи разных лет о дорожных встречах и разговорах — интересно ведь бывало.

В конце концов, не может быть неинтересной любая жизнь, даже в самых повседневных своих проявлениях. Все зависит от способности взглядеться в нее, запечатлеть, осмыслить, найти слова.

Январь, 1995

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Написав более шести лет назад эссе «Дневник писателя», я стал на досуге заниматься расшифровкой своих дневниковых записей. Занятие оказалось медленным, трудоемким.

«Не знаю, насколько это может быть интересно для других, — записал я 31.08.1996 (опять же, разумеется, стенографически). — Понемногу сокращаю повседневность: политические новости, отставки (кто этих людей теперь помнит?), редакционные неурядицы, проблемы с зубами. Это не означает «спрямления» жизни; краткие упоминания на эти темы я оставляю. И просто скучно перепечатывать так много. Если потомкам будет интересно, разберутся...»

За пять лет удалось ввести в компьютер записи 1975—1999 годов — как раз последней четверти века. Сокращены они оказались раз в пять, и все равно получилось 85 печатных листов. Всего, значит, было исписано листов 400, и нерасшифрованного осталось еще полстолько. Вот уж действительно — способ существования. Так, кстати, я назвал книгу эссе, скомпонованную тогда же в основном из разрозненных повседневных записей. В 1998 году ее опубликовало издательство «Новое литературное обозрение», и я убедился, что это все же может быть интересно.

Возникла теперь мысль о книге «Стенография конца века». Отбирая для нее записи, я решил ориентироваться на тематику преимущественно литературную. Заметки о прочитанном, встречи и разговоры с писателями, литературоведами, философами, культурологами, профессиональные размышления литератора. Эти размышления, конечно же, не могли не быть связаны с моей собственной работой тех лет. Как раз тогда писались книги «Провинциальная философия» (первоначальное название «Лизавин»), «Два Ивана» («Легенда»), «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», «Учитель вранья» («Сказка»), «Сторож», «Голоса», «Возвращение ниоткуда» («Прозрачный туман»), «Времена жизни», «Приближение», «Amores novi». Записи из «рабочего» дневника не просто комментируют возникновение и развитие некоторых замыслов (психология литературного творчества — тоже тема небезынересная для филологов) — они напоминают об атмосфере времени, о событиях, подробностях, нередко уже забытых: о том, что в немалой степени определяло тогдашнее мироощущение, развитие мысли, звучание текстов.

Разговор о литературе невозможен без разговора о времени, о разнообразнейших проявлениях жизни. Проблема в том, что всего не вместишь. «Я чувствую, — отмечал я 15.03.85, — что эти записи совершенно не передают подлинного содержания каждого дня: перемены настроения от надежд к унынию в зависимости от того, как идет работа, лепет Леночки, которая подставляла льдины под струю воды из водосточной трубы и наблюдала, как вода пробивает во льду дырку, загадки, которыми она докучала мне, пока я печатал на машинке положенные мне три страницы перевода, ослепительное сияние луж, досаду,

когда обнаружилось, что в холодильнике не осталось продуктов...» Тем более не передать этой полноты, когда приходится сокращать и сокращать еще больше. Я убирал едва ли не все, что касалось меня лично, семейной жизни, детей, родителей, убирал житейские зарисовки, встречи и разговоры внелитературные, путевые впечатления, хлопоты о зароботке — многое. В иные годы записи делались ежедневно — оставлялась одна за месяц, а то и за два, за три. Какая тут «стенограмма конца века»? Скорее фрагменты, пунктир.

Но вот хотя бы пунктир таких повседневных впечатлений я все же постарался оставить. Литература не может возникать и существовать в стерилизованном, безвоздушном пространстве. Некоторые записи я решил, как и намечалось, выделить, сгруппировав вокруг заглавной темы, — так возникли «Приложения к стенограмме».

Сентябрь, 2001

СТЕНОГРАФИЯ КОНЦА ВЕКА

1975

11.01.75. Первое ощущение от очередной неудачи (возврат статей о Гофмане, о Т. Манне из «Звезды») — удрученность. Опять труд без отдачи, опять не оправдавшаяся надежда и необходимость компенсировать другим заработком. Потом — вспышка новой энергии: надо искать новые возможности, обратиться в другие журналы и т.п. И главное — все более устойчивое чувство настоящей основы, которая у меня есть...

12.01.75. Я вдруг понял: время нужно не для того, чтобы успеть что-то написать, оно нужно, чтобы созреть. Так ли уж важно, что я оставлю после себя несколько исписанных папок? Но, может быть, они были ступенями душевного труда, который когда-то, в срок, поможет мне написать несколько страниц или строк, продиктованных достигнутой наконец высотой.

Хотя, кто знает, может быть, более плодотворно к этой зрелости вели не страницы, а женщины, мимо которых прошел, трудности, которых не испытал...

Начиная, помнится, с «Ненаписанного романа» и сейчас, когда я думаю над рассказами и со скрипом пишу о Сент-Экзюпери, я все больше прихожу к убеждению, что все духовное должно вырастать из жизни, из быта, из повседневности. Писатель должен иметь детей и зарабатывать на хлеб насущный. Если он из этого извлечет величие, оно будет настоящим. Меня не убеждает бестелесная, вегетарианская, романтическая духовность; что-то в ней есть облегченное и необязательное: конструкция, отделенная от жизни или даже противопоставленная ей. Возвести реальное бытие в высшую степень — вот задача.

20.01.75. Как я устал от нескольких статей подряд! Это для меня все равно что питаться одной травой. Для кого-то это естественно и соответствует природе. Но я пока для этого не создан. Я не могу преодолеть «зажатости» голоса, тем более что эта зажатость обусловлена и внешними причинами: сейчас, начиная статью о Т. Манне для «Науки и религии», я заранее озабочен, как бы сказать именно то, что нужно этому журналу, и не сказать неподобающего. В критике я почему-то забываю об иронии и эпической объективности, из меня прет пафос и серьезность. Ни одна статья по-настоящему не выражает того, что я бы хотел сказать на ту или иную тему. Лучшая моя критика — это, наверно, отрывочные заметки о прочитанном, которые разбросаны по моим бумажкам.

Я читаю «Иосифа» и томлюсь по своим еще не рожденным рассказам, по наслаждению ими как по истинной пище духовной.

26.01.75. Вечер Д. Самойлова в ЦДЛ. Билеты спрашивали еще от площади Восстания... В первом отделении стихи читали Козаков, Толмачева, Рафик, Никулин, пел Сергей Никитин. Хотя некоторые читали неплохо, главным моим ощущением была досада: скорей бы они прошли. Особенно когда Рафик, по-

шептавшись с Давидом, стал читать стихи, которые я хотел бы услышать только от него: «Мне снился сон», «Прекрасный праздник погребенья» и др.

Потом читал Давид. Без всякой торжественности, выбирая вещи светлые, но прозвучали и «Ночной гость», и «Мария была курчава», и неизвестные мне до сих пор о будущей войне («Та война...»), и «Надо готовиться к смерти», и отрывки из «Последних каникул». Подбор был неожиданным, и у меня щемило сердце от серьезности его стихов о готовности к смерти, но я восхищался его светлой гармоничностью, слитностью с природой, высоким чувством призвания поэта. После концерта я поднялся наверх поблагодарить, и сначала мне показалось, что он меня игнорирует, он проходил мимо меня целоваться с другими. Потом понял, что он просто не видит. Вдруг взгляд его уперся в меня. Мы расцеловались. «Ты почему не приезжаешь? Приезжай»...

4.02.75. Ощущение: я пропускаю сквозь себя время. Оно насыщено и стремительно, если я вплотную его переживаю. Но чаще оно — как слабая, далекая от стремнины заводь; все, что проносится в стороне, — не мое. Надо проникнуться его тревогами, безумием и трагизмом, не щадя себя...

7.02.75. У Сидура. Прекрасный барельеф — надгробие Илье. Очень симпатичный мне тип человека, настоящий художник. Оставил им с Юлей свою рукопись.

Чувство, что я выхожу из какого-то кризиса. Вновь хочется видеться с людьми, работать, писать. Может быть, одна из причин в том, что сверх ожиданий появились деньги и нет постоянной тревоги.

11.02.75. ...Чтение «Письма к вождям» Солженицына вновь возбудило мысли, что все наши труды, может быть, очень скоро станут никому не нужными. Читать их станет некому и незачем, они не будут оказывать никакого влияния и, может быть, погибнут в огне.

А вообще Солженицын вызывает протест. Уже сама постановка вопроса: обращение к русским чувствам правителей. А если их предки — не русские? И что делать остальным народам?

И главное — нет уважения к реальной жизни, к разнообразию людских устремлений, темпераментов. Мысль, что можно устроить золотой век для всех по своей мерке.

19.02.75. Российское убеждение о необходимости и первостепенности для писателя «жизненных университетов» связано с литературой, «рассказывающей истории», но не всегда склонной и способной глубоко задуматься над человеческой жизнью и ее смыслом. Писательство — профессиональное размышление о человеке и его жизни. Нет человека без жизненных впечатлений, их богатство и разнообразие определяет для писателя богатство и широту материала, ассоциаций; широту, но не глубину.

20.02.75. Есть и хорошая сторона в том, что не напечатали мое «Искусство как форма существования». Я чувствовал, что не до конца здесь честен, есть тут воспитательная натяжка, желание быть благонаправным. Подлинное мое ощущение игры в жизни глубже, сочувственней. Когда-нибудь я допишу это по-настоящему, как переписываю сейчас рассказы.

24.02.75. Прекрасная, глубокая работа Померанца о Достоевском — продолжение серии заметок. Мне неловко, что я с такой поспешностью в прошлый раз кинулся возражать: надо бы послушать новый для меня подход. Не исключено, что когда-нибудь я буду больше склонен его принять. Пока что я защищаю необходимость связи между жизнью и духом для искусства; у него, при всех оговорках, культивируется и признается достойным одно только духовное. Трудно представить, чтобы это могло привлечь людей до определенного возраста. Но он едва ли не единственный, кого я мог бы сейчас назвать мыслителем.

27.02.75. ...Русская интеллигенция соблазнилась социализмом и революцией из-за давнего комплекса вины и долга перед народом, который якобы производит все блага и трудами которого она кормится. Ни в одной стране мира это убеждение не играло такой роли. Тут дело и в более жестоком угнетении простолюдинов, и в позднем развитии русской интеллигенции по сравнению с европейской. Возможен ли был в Германии, Англии или Чехословакии такой комплекс интеллигентской неполноценности?

Но грех был бы только смеяться над этой совестью. При всех издержках она — величайшее нравственное достояние нашей интеллигенции.

11.03.75. После чтения сборника «Из-под глыб». При всех оговорках (слишком церковная религиозность, слишком безоглядный национализм, внутренние неувязки и недоказательность, например, у Шафаревича, в рассуждениях о социализме и нации, передержки в полемике, чуждая ирония истовость) он создает новый общественный и нравственный климат, в котором мы все дышим и развиваемся. Мы даже не всегда можем вспомнить и оценить, на каком уровне размышления и понимания были всего 5—10 лет назад, да и они тоже; мы меняемся благодаря им, вообще благодаря друг другу. Открытое обсуждение этих проблем могло бы изменить нашу жизнь. Может быть, и изменит? Есть у меня чувство, что накапливается какое-то самосознание, потребность, необходимость выхода. Или это заблуждение, связанное с узким кругом, по которому я сужу?

А для меня сейчас не первостепенны размышления и заботы о судьбах страны и общества, о путях развития и т.п. Я сейчас больше думаю над смыслом жизни отдельного человека и над тем, как перелить свое понимание в искусство. Но реально, конечно, все это касается и меня и, может быть, коснется еще ближе, чем сейчас.

15.03.75. Уважение к трепету реальной жизни мешает мне формулировать теоретические положения и писать статьи. Мне не дается определенность, потому что я бессознательно избегаю ее. Это примета и моей жизни, и моей прозы, где трепещет неочерченное, едва уловимое.

24.03.75. Не могу толком сосредоточиться, и рассказы складываются пока жидко, далеко от ожиданий. Но пока есть ясное представление, чего я хочу, какого уровня и какой наполненности хочу добиться. Чем дальше, тем писать становится трудней, потому что задачи углубляются...

Ответное письмо от Войновича: «Ваше письмо — первый читательский отклик и, возможно, единственный». Свины все-таки читатели.

Письмо от некоего Каралашвили из Тбилиси, специалиста по Гессе.

4.04.75. Для каждого годится та истина, которую он в состоянии осилить.

5.04.75. Знаю ли я жизнь своей страны — тех миллионов, что живут за пределами Москвы, крестьян, строителей электростанций, солдат, шоферов? Нет, конечно. Писатель, как любой человек, знает лишь малую часть разнообразия конкретной жизни, но он более, чем кто-либо другой, думает о жизни — для этого он призван. Остальное — дело журналистов, рассказчиков, фольклористов, бывалых людей. Материал, который писатель берет на пробу, в общем-то безразличен. Соматическая клетка, взятая с любого участка тела, содержит весь генетический код: живое существо можно воспроизвести на ее основе, как и из специальной половой клетки.

Материалом для писателя служит не только первичная жизнь, но и преображенная в искусстве. Когда я читаю у Т. Манна портрет таинственного проводника Иосифа, с подбородком, похожим на крупный плод, меня не оставляет ощущение, что я видел этот подбородок у кого-то из старых мастеров. В моем «Меньшутине» и «Гоголе» сведущие исследователи легко найдут образы Шагала. Более опосредованно вписывается музыка. О литературе не говорю. «Высокое списывание» не только допустимо — оно вносит в произведение отборное богатство. Мандельштам уже мыслил готовыми знаками культуры, созданными его предшественниками. Есть писатели, дающие лишь необработанный материал, который вправе переработать мыслитель.

16.04.75. Пересказ одного из разговоров с покойным Бахтиным, на котором присутствовал Померанц. Кто-то спрашивает: «Когда же, Михаил Михайлович, победит добро?» — «А если оно добро, зачем ему побеждать?»

20.04.75. У Копелева. Обсуждают арест Твердохлебова, стенограмму процесса Марамзина. Лева написал письмо в СП, спрашивает, пожизненно ли он лишен возможности печататься. Отставка Шелепина. Новая книга Солженицына. Рая говорит, что первые и последние главы показались ей блистательными, о Копелеве пишется только хорошо... Телефонный звонок. Лева: «Рая, подойди ты, а то я приглашу». Прекрасная семья, вокруг бурлит жизнь, они наслаждаются внуками. Передавали рассказ Лидии Корнеевны, как Шолохов заснул, когда Корней Иванович показывал «Чукоккалу»; с тех пор Чуковский перестал его уважать. Лева сострил: «Это Федор Крюков дремал»...

31.04.75. Странная моя особенность: в часы самых напряженных поисков я не сосредотачиваюсь на своей работе, а, наоборот, принимаюсь читать как будто постороннюю, по неясным для меня ассоциациям выбранную книгу — и в процессе ее чтения иногда рождаются самые нужные, неожиданные мысли, находки. По ассоциации, а иногда как будто и вне их, точно мне нужен лишь разгон, рабочее напряжение мозга.

11.05.75. Ю. Д. рассказывает, что в Крыму Давид думал над главой своих воспоминаний о Якобсоне и об отъезжающих вообще. Его завидная отчетливость суждений по самым запутанным вопросам мне, увы, непосильна; я за всем вижу «но», другую сторону, оговорку, сложность. В повседневной жизни это мешает, и, может быть, вообще задача литературы — прояснить что-то для

читателя, который сам не проберется сквозь сложности. Но мне это не свойственно. Я давно понял, например, что не смог бы быть журналистом.

Существующий порядок вещей все больше приспособливается к интересам и требованиям тех, кто угрюмо ворчит на зажавшихся, которые не работают в шахтах и всем недовольны. В этом реальная сила тоталитарной системы. Задача правителей — обеспечить людей простейшими благами. Хлеб есть, с голоду никто не умирает, а из-за нехватки апельсинов бунтовать не будут. На этом строй вполне может держаться. Китайская организация имеет перспективы.

Я недавно обнаружил древние истоки этой китайской тенденции. «Если не превозносить таланты, среди людей не будет соперничества. Когда правит мудрец, он опорожняет их сердце — и наполняет желудок... Он постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и желаний и чтобы те, кто знают, не смели действовать» («Дао дэ цзин»).

15.05.75. Встреча и разговор с Померанцем. Он один из приятных для меня собеседников, которые охотно говорят сами — а я слушаю, с удовольствием, потому что говорит он умно. О Солженицыне, которому он пишет ответ, о Синявском, который ему очень нравится, о «двойных мыслях» у Достоевского (у каждого за самой благородной мыслью есть низкая, и наоборот; по себе знаю), о Бахтине как нравственной личности (он сам относился к своим ранним работам, точно с другого берега, даже тормозил их переиздание и не вступал в литературные дискуссии; если что-то ему нравилось, говорил, если нет — просто молчал; поэтому некоторые сейчас жалуются, что он труден был в общении — значит, просто не хотел с ними спорить)...

Общение с ним, пожалуй, может внести бесполезную поправку в мой образ мыслей и пристрастия; односторонняя ориентация на кого бы то ни было — будь то Давид или Томас Манн, Пушкин или Достоевский — неплодотворна.

16.05.75. Померанца от статьи к статье все больше увлекает дух святости (не берусь сказать, что он проникается этим духом — не могу судить, насколько он для него органичен). Это малознакомый для меня, интересный и заслуживающий почтения мир — но далекий. Меня тянет человеческое, слишком человеческое: земной мир, далекий от святости, во всем его трагизме и убожестве; меня волнует духовность, которая вырастает на этой грязи, из этой почвы, не отрекаясь от нее, а возвышая и преображая.

17.05.75. Писатель своеобразный вызывает больше претензий. Кафка и Платонов удовлетворяют меньше, чем Чехов. Но значит ли это, что он глубже?

Я думаю об этом, вспоминая претензии к себе: а все-таки не совсем ясно, что вы хотите сказать? А что хотят сказать Кафка и Платонов, ясно?

23.05.75. ...Мы даже не успели стать европейцами, да теперь уже, видно, не станем. Европейский человек кончается, близится засилье человека американского, советского, китайского, африканского — «массового» человека, с короткой культурой, не нуждающегося в высокой духовности.

1.06.75. День рождения Самойлова. Впервые он жаловался: «Хреновое у меня состояние, никогда так не было. Совершенно не получается работать. Мне надо недели две спокойно поваляться на диване, чтобы пошло. А у меня нет такой возможности. Мне говорят: надо писать. А я не могу. Очень хреново. Заработки-то, конечно, я делаю, а работать не могу...»

2.06.75. Абрам Эфрос в своих «Профилях» рассматривает каждого художника как участника художественного процесса, определяет его место в этом процессе: какую линию развивает, что вносит нового, своего, в чем его вклад в общую картину национальной культуры... И я вдруг обнаружил, что никогда так о себе не думал: в какую именно линию или струю я вольюсь, как отношусь к традиции, какое место занимаю, верней, могу занять в общем процессе? Мое творчество всегда было выяснением взаимоотношений с миром и самим собой, инструментом познания жизни и жизнестроительства, интересным для других постольку, поскольку моя жизнь имеет общность с другими. Может быть, так и надо? Место в литературном процессе определяется не сознательным намерением автора. Истинное честолюбие в любом случае требует претендовать на место не менее чем главное — тогда займешь хоть какое-нибудь.

6.06.75. Быстрый ум и быстрое перо Пушкина позволили ему в короткий срок исполнить свой жизненный труд. Но есть таланты по природе своей медлительные, рассчитанные на долгое созревание и долгое обдумывание мысли, на долгую жизнь. Трудно сказать, сколько их не раскрылось сполна.

8.06.75. По ходу дела взялся просматривать свои дневники 1965—1967 годов. Какой ущербный характер, какое напряженное вглядывание в себя и в окружающих! Сколько передумано, перечувствовано, сделано для своего совершенствования — и как мало того, что я мог бы любить в своем прошлом! Немного стыдно и тягостно читать: служебные неприятности, безденежье, трудные литературные попытки, отцовская тюрьма, неловкость с женщинами... А ведь есть в моей жизни глубина, есть яркость впечатлений, есть объективная значительность. Может, другие просто довольствуются меньшим, оттого жизнь их и проще, и удачливей?

Мне хочется выскочить из себя, писать (да и жить) по-новому. Но, может быть, и не нужно? Может, правильней все-таки развивать пусть узкую, но свою линию?

22.06.75. Который раз во мне обостряется ощущение сложности и многообразия жизни. Сейчас я не с таким предубеждением склонен оценивать судьбы и произведения негениальные. Хочется читать простые интересные истории. Интересен быт, житейские детали. Я знаю, что это ненадолго...

4.07.75. *Нарва-Йыэсуу.*

— Папа, что ты пишешь?

— Книгу.

— Для детей?

— Для детей, — ответил я. Все книги пишутся для детей. Одни им стоит прочесть сразу, другие попозже, когда подрастут.

16—17.07.75. Поездка из Нарва-Йыэсуу в Пярну к Самойлову. Несколько часов на автобусе сквозь ровную, ухоженную, зеленую страну с далеко отстоящими друг от друга хуторами, с горами камней на краях полей, с желтыми щитами запретных и пограничных зон по одну сторону дороги. Звучит почти только эстонский язык. Эстонцы корректны, сдержанны. Давид считает, что за этой сдержанностью — западный темперамент и враждебность к пришельцам. Я подумал, как хорошо бы сюда приехать за границу, на правах иностранного гостя.

Давид лежал больной, с рассеченным лбом: несколько дней назад в номерах семейных бань у него поднялось давление, он потерял сознание и ударился лбом об дверь. Сейчас приходит в норму, пытается снова работать.

Пришел его приятель астроном Феликс Зигель и специалист по античности Стратоновский, который перевел для серии «Памятники» «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. Ее уже объявили в плане, но сняли из-за заглавия.

Говорили о всякой всячине. Давид в который раз проявил осведомленность в самых разных областях, особенно в истории, память на факты, которые я обычно, узнав, забываю.

О новинках. Д. читал автобиографические заметки Манделя о том, каким он был глупым максималистом-якобинцем в юности и как произошло крушение его взглядов. «Это интересно, — сказал Давид. — Но, по-моему, гораздо более важно не почему мы были дураками, а как смогли стать умными». Это его старая мысль. Прочел начало Солженицына «Бодался теленок с дубом». «Это очень интересно. Но тут уже полное житие. “Новый мир” существовал для того, чтобы напечатать “Ивана Денисовича”, после этой истории его миссия была исчерпана...»

Прочел у него воспоминания Чуковской об Ахматовой, впечатляющая книга. Ее можно печатать как приложение к собранию сочинений Ахматовой. Боязнь Ахматовой записать свои строки или разрешить их записать кому-нибудь показалась мне чрезмерной. Давид справедливо заметил: «Мы не представляем себе, под каким дамокловым мечом жила лично она... И какой у нее при этом интерес ко всему, как она судит о политике! Никакой отрешенности от жизни. Какая постоянная энергия и отточенность мысли, постоянная работа! Вот собрались Ахматова, Чуковская, Эмма Герштейн — какие были разговоры! А о чем могут говорить, собравшись, В. с Е.? Или о чем можно говорить с Д.? Что где можно получить, как дела с квартирами?.. А ты заметил, как Анна Андреевна ценила читателя, возможность говорить с ним? А какой-нибудь А.Н., вертевшийся возле нее, мне говорит: “Как вы можете печатать свои стихи и выступать перед аудиторией? Мне достаточно двух-трех читателей”. А Ахматова понимала, что оторванность от читателя — трагедия для писателя.

А ты заметил, как она пишет: не может быть поэта без техники? Галя, ты заметила?.. А тут мне М. начинает говорить, что дело не в технике, достаточно взлета таланта.

И вот говорят: аристократка, королева. А она самого простого происхождения. Из небогатой семьи. Просто она сама так держалась, так себя поставила».

О самой Чуковской: «Надо было что-то представлять из себя, чтобы удостоиться таких разговоров или присутствовать на встрече Ахматовой и Пастернака».

О сохранении преемственной интеллигенции. Давид повторил свою мысль о несогласии с Солженицыным: оставалась и остается средняя прослойка интеллигенции, которая сохранила традицию культуры. «Высший представитель интеллигенции сейчас — Сахаров. Пусть он, может, и не так хорошо разбирается в искусстве или литературе».

Д.: Я убежден, что нельзя научиться понимать искусство. Это должно быть воспитано с детства. Человеку нужна среда. Необязательно, чтобы он что-то писал или делал — нужна атмосфера разговоров, уровень.

На меня опять произвела сильное впечатление постоянная атмосфера мысли, в которой он живет, которую создает вокруг себя. Мы говорили о детях, об эстонцах, о покупке дачи, о знакомых — он во всем заинтересован и ярок. Долгое одиночество — не лучшая обстановка для плодотворной работы ума. Нужен хотя бы накопленный материал, чтобы уединиться надолго. Насыщенная атмосфера рождает гораздо больше.

28.07.75. *Нарва-Йыэсуу*. Попытки сэлинджеровских героев жить по-дзенски в американских условиях не просто обречены на неудачу — они никому не могут принести счастья. В любовании ими есть какая-то натужность и неискренность. Сэлинджер упрощает дело, противопоставляя своим героям мелкосортных обывателей. Но какая женщина могла бы быть счастливой с Сеймуром? Буддисты не женились...

1.08.75. *Нарва-Йыэсуу*. Что определяет: перед тобой настоящий художник? Он создатель своего, не бывшего доселе мира. Есть мир Шагала. Есть мир Тышлера: небольшой, нарядный, скорей — мирок. Пикассо создал галактику миров.

3.08.75. *Нарва-Йыэсуу*. Тот, кто испытывает угрызения совести, насаживая червяка на крючок, и чувствует сострадание к рыбе, которой этот крючок рвет губу, не должен есть рыбы. Женщины, которые каждый день разделяют мясо для котлет и потрошат кур, далеки от вегетарианства. Последовательней других пытался быть А. Швейцер, но его опыт не убеждает.

12.08.75. *Нарва-Йыэсуу*. Умер Д. Шостакович — единственный наш несомненный гений. (А кто еще остался в мире? Разве что Шагал. Или мы не замечаем нарождающихся?) Я видел и слышал его много раз, очень близко. По-человечески это одна из самых загадочных фигур. Я помню рассказ М.М., с каким волнением Шостакович готовился к вступлению в партию, помню его официальные выступления, статьи, подписи в зловонном окружении. Когда слушаешь его музыку, порой кажется, что он всему этому показывает язык. Музыка гораздо больше, чем литература, позволяет расхотиться человеку и художнику (вернее, внешним проявлениям человека — хотел бы я знать его изнутри!).

Помню, как мы слушали запись его 13-й симфонии и Габай, возбужденно вышагивая по комнате, проговорил: «Вот — гений. Кто мы рядом с ним?» Магнитофонная запись была хрипловатой, текст Евтушенко звучал неразборчиво и не мешал музыке.

18.09.75. Меня всегда восхищает склонность самой волшебной сказки к бытовой обыденности. Царицын сын ходит в школу, и школяры над ним смеются: что твоя мать из дому не выходит? То же бытовое понятие о непостижимо далеком — в восхитительном еврейском анекдоте о портном: «Если бы я имел столько денег, как царь, я бы жил не как он, а немножечко лучше. — Почему же лучше? — А я бы еще немножечко шил».

5.10.75. Когда смотришь на работы Сидура — единственного крупного художника, с которым я близко знаком, — возникает невольный вопрос: как мог возникнуть в душе этого мягкого, милого, доброжелательного человека этот мир чудовищных, искореженных, страшных образов, этот чувственный взрыв? Неподдельность и масштаб его дарования снимают мысль об умозрительном конструировании. Разве и я не удивлялся себе: откуда во мне это берется? И не случайно, не умышленно именно это, чего не подозревают во мне ни другие, ни я сам, а последовательно, закономерно, из неведомых глубин существа, о которых нам не дано бы знать, если бы не наше творчество.

9.10.75. Сегодня, поняв, что перед финалом «Агасфера» должен прозвучать его плач о жене и сыне и молитва о смерти, я больше, чем когда-либо до сих пор, поверил, что работа может получиться. Не первый раз, правда. Мой многострадальный рассказ растет от варианта к варианту.

12.10.75. У Самойлова. Он приехал от друзей сильно пьяный. Станный разговор. Иногда он садился за рояль. «Надоело все, — повторял он время от времени. — Надоело. Я медведь, ты понимаешь, Марик? Я медведь, и мне ничего не надо. Только написать поэму “Снегопад”, и можно умирать. Надоело все».

Потом опять: «Мне никого не нужно. У меня никакой табели о рангах. Мне нужно 10—15 человек... Я тебя люблю, Ю., В., мне это поколение нравится. А больше я не хочу ничего». Вдруг взял лист бумаги, стал выстраивать окружающих по степени любви к ним. На первом месте оказался, конечно, Петр, я где-то на пятом-шестом. «А Тоша [Якобсон] уже никакого места не занимает?» — спросил я. «Никакого», — ответила за обоих Галя.

22.10.75. У Самойлова. Давиду очень понравилось переданное мной «мо» Гершуни: «Достал “День поэзии”?» — «А что там?» — «Самойлов, “Письмо вождям”».

Разговор об интеллигенции. «Со времен Чехова существует убеждение, — сказал Давид, — что русская интеллигенция должна испытывать чувство вины перед народом. Я, может, первый из нашего поколения, кто не испытывает никаких этих комплексов. Я соль русской земли. Интеллигенция. Пусть мне народ кланяется, а не я ему за то, что он меня хлебом кормит. Тем более что он меня и не кормит. А чем недокормит, у Америки купим. (Это говорилось уже в сильном подпитии.) Кому я должен кланяться? Дяде Васе? У меня нет никаких комплексов».

Вдруг перевел разговор на меня:

— Что тебе нужно, чтоб была хорошая проза, — избавиться от комплексов. Будь уверен в своей правоте, в себе. Что прав ты, и только ты.

Я заметил: о том же говорит Мандельштам: талант есть сознание своей правоты.

Давид:

— Вот у кого не было определенности. Он всю жизнь метался между иудейством и эллинством. Последние его стихи мне очень нравятся: «Мне на плечи кидается век-волкодав» — это замечательно. Он очень изменился к концу жизни. А вот Ахматова не изменилась.

Я все время спорил. И что Ахматова менялась гораздо больше. И что в этих метаниях между иудейством и эллинством выразился великий мир. Что литература, созданная комплексами, может быть великой. Что стихи с ощущением эпохи появились у Мандельштама не к концу жизни, а были всегда.

Галя признала, что Давид в полемическом запале перегнул, я прав: существуют разные миры. «Это тот предел, о который всегда спотыкаются наши разговоры».

Давид сказал, что для него Ахматова неизмеримо выше Мандельштама. Составил перечень гениальных поэтов: Маяковский, Ахматова, Пастернак, Хлебников. Цветаева туда не вошла, ее он поставил во второй ряд вместе с Заболоцким, Ходасевичем, Кузминым.

Очень резко отозвался о книге Синявского («Голос из хора»). Она показалась ему отвратительной. «Лучше всех сформулировала Лидия Корнеевна: “Кого любят, того не покидают”». (Он повторил эту фразу несколько раз.) «Я разлюбил Толью Якобсона, он для меня не существует. Кого любят, того не покидают. Человеку, который способен написать: “Россия — сука, ты мне за это ответишь”, — там и место. Там привыкли на все смотреть через жопу. Он эстет, сноб, ему все равно, где собой любоваться... Был процесс Синявского — Даниэля, сейчас он стал процессом Даниэля — Синявского».

Г.: Даниэль как человек значительно выше. Он вырос в лагере.

Д.: Другое дело, что писатель он слабый. Его беда в том, что он провинциал.

Я: У меня вызвала уважение сама способность человека писать в лагере, помнить о своем призвании.

Дал почитать повести Е. Носова: «Вот это настоящий писатель. У него есть уверенность». Я стал читать в метро: нет, это не для меня. И думаю: что же его три года назад пленило в моей прозе?

2.11.75. Перемалываю Богом данные дни в строки переводного Цвейга.

8.11.75. Меня начинает тревожить моя нынешняя непродуктивность. Полгода просидел над переделкой трех старых рассказов и не довел до конца, сейчас перевожу Цвейга — и, оказывается, больше ничем не способен заниматься. А планов много, надо выходить из какого-то кризиса. А денег между тем впервые достаточно для безмятежной жизни.

Рассказал Давиду, как трудно мне было при переводе передать смысл термина Laienkelch — право мирян причащаться под обоими видами, не только хлебом, но и вином, как священники.

— Ну, в общем, священники могли выпивать и закусывать, а миряне — только закусывать, — тут же прояснил мою мысль Давид.

28.11.75. Звонок из «Нового мира». Понравился мой «Меньшутин», но не проходим. «Гоголь» понравился зав. отделом прозы, хотят показать Наровчатову. Но хорошо бы обезопасить квалифицированным вступлением. Может быть, дать Виктору Шкловскому? Я назвал Самойлова. Попросили принести рассказы.

30.11.75. Давид получил письмо из «Нового мира», очень хорошее. Попросил меня написать одну страничку предисловия. «Об эпитетах не заботься: талантливый, гениальный — это я сам напишу».

Прочел мне очаровательную поэму «Снегопад». И по пути домой я вдруг понял, как написать четвертый рассказ...

19.12.75. Ночевал у меня Гера Копылов. Он сделал какое-то существенное открытие: способ измерения ничтожно малых промежутков времени и размеров. Очень умный и органичный. Мне сказал: «От тебя исходит бодрость и, так сказать, голубизна». Над «голубизной» стоит, конечно, задуматься.

24.12.75. Наровчатов одобрил «Гоголя» в № 4. Глядишь, и напечатают. А еще приятней: я сказал Озеровой: «Спасибо, вы меня обрадовали». Она ответила: «А мы-то как! У нас был просто праздник!»

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Опись перед сожжением

Я пишу, насколько помню себя, с третьего класса школы. В белорусском городке Добруш, на теплом, разогретом солнцем чердаке дома ИТР (инженерно-технических работников) хранилась под стрехой тетрадка с рассказами на полстранички: о ласточкином птенце, выпавшем из гнезда, о запуске змея и т.п. событиях, казавшихся значительными. Почему-то я всегда писал втайне, не показывая ни родителям, ни читателям.

Пожалуй, этот путь я определил сразу. (Помню лишь еще совсем раннее, детское желание стать машинистом.) Такая ранняя определенность обогатила и обеднила мою жизнь. Обогастила потому, что писательство — профессиональная сосредоточенность на самом существенном в жизни. Обеднила потому, что я порой писал вместо того, чтобы жить. Это стоило мне многих сил, времени, многих радостей, развлечений. Пожалуй, я жалею об этом, надо было иначе. Все равно из меня получилось бы что-нибудь.

Однажды я решил перебрать свои бумаги, чтобы выбросить ненужное. Боже, сколько я обнаружил хлама! Тут были рукописи, о существовании которых я давно забыл, даже школьные повести, даже черновики. Для чего я их хранил? Для будущих исследователей, конечно. Зачем их обездоливать — вон как

мы жалеем теперь о каждой утерянной строчке классика, как пытаемся восстановить подробности каждого дня его жизни, и с кем он был знаком, и кого имел в виду такой-то намек. Отчего бы ему заранее не прокомментировать для будущего исследователя каждый свой шаг...

Нет, и говорить смешно. Конечно, в корзину или мусоропровод, раз в нынешних домах нет печей. Мир и так перенасыщен необязательной литературой. Разве что перед уничтожением немного поразмышлять над этой грудой исписанных листков.

И предварительно снять копию с каждого текста. Даже в трех экземплярах.

Или, по крайней мере, составить опись?

Может, какой-нибудь психоаналитик выведет из самого факта размышления над хламом черту моего характера? Скажем, крохоборство, жадность, заставляющие утилизировать даже назначенное на выброс. Но ведь тут не просто страницы — дни, месяцы и годы, в них перемолотые крупички опыта, который чего-то все же стоит.

Увы, у меня уже не будет «раннего» периода — почти все пошло на выброс. Но нечестно же утверждать, что я родился готовеньким, во всеоружии, как Афина из головы Зевса. Жизнь человека имеет свою историю, и эта история интересна, поскольку интересен сам человек.

Я не завидую сверстникам, начавшим с «молодежных» повестей. Сейчас это неловко читать, а уже напечатано. Что-то из написанного могло прозвучать в свое время — но лишь в свое. В литературе тоже существует право первооткрывателя. У многих, успевших напечататься в обгон меня, я находил свои мысли, образы, даже детали. При мнительности можно было бы заподозрить, что стащили (рукописи-то ходили по рукам). Нет, это просто носилось в воздухе, а значит, не стоит жалеть: общедоступное вряд ли самое ценное.

Но и развитие общедоступных идей может быть не лишено интереса: это документ времени на перекрещении с конкретной судьбой.

Урок моего раннего графоманства мог бы быть полезен, если выяснится, что из меня что-то получилось. Тогда в нем можно будет черпать ободрение: смотрите, с какого низкого уровня начинал — хуже вас, — и ничего.

Я и тогда не считал себя глупым или незрелым, но привычка к писанине не оставляет лазеек для самообмана: читай сам. Разве сравнишь мой тогдашний уровень с уровнем нынешних двадцатилетних! Уровень эрудиции, вкуса, внутренней свободы?

Посмотрим, впрочем, что еще выйдет из них, нынешних, и тогда, может, поразмышляем еще над парадоксами развития, над непростыми зависимостями.

Но когда возвращаешься к своей работе после чтения классиков, поневоле думаешь: откуда ты взял, что у тебя может получиться, что это твое призвание? Странно, но меня никогда не смущала мысль об отсутствии у меня писатель-

ских данных. Куда проще мне согласиться, что я не могу петь, как вот этот певец на сцене, — голоса-то явно нет.

До сих пор, честно сказать, не знаю наверняка, есть ли у меня такие данные. Пожалуй что, нет — я убеждаюсь в этом, просматривая перед уничтожением кипы исписанных мной когда-то листков. Была потребность, была тупая упорная решимость писать ни на что невзирая. Может, это все-таки одна из составляющих таланта?

Ум, воображение, вкус, знание жизни, память — многие наделены этими свойствами в большей степени, чем писатель. Что я! Читая, как лез из кожи хотя бы Бабель, вырабатывая в себе гениальность, думаешь: может, главным свойством, которое делает писателя, является вот это — назовем его творческой волей?

«Мне просто-напросто не хватает гениальности», — записал я однажды, отчаявшись в своей способности завершить «Двух Иванов». «Надо наращивать ее, как наращивают мышцы». Всякое творение, в конце концов, выше возможностей автора.

— Теперь я верю, ты сможешь написать все, что захочешь, — сказал мне Ю. Д., прочитав мою работу о Габае.

— Вопрос лишь в том, *что* я смогу захотеть, — ответил я.

Вряд ли мне придется когда-нибудь давать интервью. Но иногда я примериваю к себе вопросы, которые задают другим.

Например: «Насколько вы самовыражаетесь в своем творчестве?»

— Сам бы хотел понять. Всегда остается чувство, что чего-то — какой-то части себя — выразить не удалось. Но в процессе той же работы я обнаруживаю в себе возможности, глубины, о которых сам не подозревал, так что впопых удивляться: «Откуда это во мне? Это больше меня». (Так говорит в моей повести Гоголь.) Это больше меня и одновременно меньше.

Когда Пастернак писал Мандельштаму: «Вы можете гордиться соименничеством с автором книги» («Tristia»), он знал, насколько это не одно и то же: человек, живущий среди других, — и создатель боговдохновенных стихов. Соименник — но может этим гордиться.

1975—1987

1976

16.01.76. У Самойлова. Он собирается поехать в Пярну оформлять покупку дома. Разговор о современной прозе. Деревенская проза живет последнее десятилетие, скоро придет новое поколение, которое никогда не жило в деревне и не пережило процесс урбанизации, для них все это не будет звучать. Новое по-

коление будет ездить в деревню туристами. Деревенская проза сейчас сильнее, потому что деревенские проблемы разрешены. Сейчас можно написать и напечатать о том, что в деревне голодали и работали на истощение, как у Тендрякова, «Три мешка сорной пшеницы». А попробуй написать, как эксплуатируют рабочих на заводе. Городские темы все еще не разрешены.

О переводе. Поэт всегда переводит лучше переводчика, который не пишет своих стихов. Так, Лозинский — тупой переводчик. Поэзию он переводил безобразно, и «Божественную комедию» перевел плохо. Шекспира, «12-ю ночь», я, с моим посредственным знанием английского языка, переводил, имея перед собой его перевод, и местами это был просто подстрочник. Он переводил, например: «Мне все равно», а я видел, что надо сказать: «Мне это до фени».

Закончил первую часть своих воспоминаний «Война», есть некоторые дальнейшие главы. Обещал показать, когда перепечатает.

О разговорах с М. Этот человек боится всего: властей, КГБ, победы левых, победы правых, системы — и весь от страха перекручен, постоянно врет. Слушаешь его, слушаешь, и очень даже интересно, потом вдруг думаешь: а ведь это брехня. Когда он был помоложе, это воспринималось как талантливое фантазирование, он очень талантлив, но теперь это неинтересно. Он сам перед собой выкручивается, боится; таковы и все его романы, и в стихах чувствуется.

О Евтушенко, с которым общался в Переделкине. Я пробовал читать его двухтомник с начала — раньше он писал лучше, более трагично, сжато. Он все-таки умен, но ум у него дурак. Он видел массу интересного и не понимает, что это интересно. Например, он беседовал с Хрущевым после его падения. Говорит, что пишет роман. Я ему говорю: брось роман, напиши про это. Или он 5 часов беседовал с Робертом Кеннеди. Это же все интересно. А он не пишет.

17.01.76. Отгороженность верхов, обычно вызывавшая впечатление некоего Олимпа, недоступного простым смертным, теперь все больше производит, пожалуй, обратное впечатление: сомнительного низкопробного клана, отгороженного от порядочной жизни, как в кварталах с дурной репутацией. Слишком много стало известно о низком уровне и темных делах если не их, то им подобных — ход ассоциаций теперь другой.

19.01.76. Всякое мировоззрение цельно. Европейцу все-таки трудно по-настоящему проникнуться китайской мудростью: для этого нужно всем существом жить в китайском мире.

Можно представить себе обе сферы, как в логике, в виде двух окружностей. Но окружности эти не обособлены, они пересекаются, и есть участок совпадения, где китайцы говорят вполне близкое нашему пониманию, порой много лучше, во всяком случае, по-иному. Этим обогащаешься; но в уме надо держать существование несовпадающих сфер.

22.01.76. Пишу «Габая». Тема требует большой душевной точности, которой пока далеко не всегда удастся добиться. Думаю, она потребует не одного месяца. Это должен быть разговор высокого уровня, иначе лучше совсем ничего. Я раньше недооценивал значительности такой «нехудожественной» работы.

И более, чем всегда, непостижимым кажется, как Солженицын сумел овладеть бескрайним материалом своего «ГУЛАГа», скомпоновать его.

26.01.76. Сейчас мне стали более понятны слова Т. Манна о том, что он больше чувствует себя прирожденным писателем в работе комментирующей, эссеистской. Не всем это нужно. Фолкнер, например, был чистым романистом. Но моему складу, наверное, очень полезен этот опыт. Здесь ничуть не легче добиться подлинной высоты, чем в романе. То есть в чем-то, может быть, проще, но в чем-то и трудней. И подлинные достижения здесь реже: от Монтеня и Герцена до наших дней.

31.01.76. Я сказал Самойлову, что пробовал читать моего «Гоголя» глазами цензоров или членов редколлегии и не нашел ничего, почему можно было бы не пропустить.

— А ничего и не нужно, — сказал Давид. — Просто раз не похоже на других — этого достаточно.

О психологии начальства СП. В Доме литераторов для начальства есть бесплатный буфет. «У меня все-таки не укладывается: и им не стыдно? Все же писатели. Вот в доме творчества в Малеевке председатель Литфонда, вообще не писатель, административный работник, обедал не вместе со всеми, а в отдельной комнате. Так это еще понятно, он не писатель и в конце концов сам себя изолирует в гетто, теряет возможность общения — и кому он нужен? Во время поездок простые писатели едут в четырехместном купе, а начальство — в двухместных. Они, избранные мной же, на мои же деньги едут. Это уже люди с извлеченными ценностями».

Они с Галей только что приехали из Пярну, где купили дом. Показывали план. Я сказал: «Начинается новый период».

Говорит, что готовит три новых сборника. Я спросил, а почему не сделали однотомник или двухтомник «Избранного». «А мне не положено. У них точный распорядок, кому можно, кому нельзя. Секретарям Союза, да еще Евтушенко можно, а мне нельзя».

20.02.76. У Самойлова. Упомянул среди своих стихов неизвестного мне «Дезертира». Услышав, что я его не знаю, тут же прочел.

— Неожиданное стихотворение, — сказал я. — Меня всегда интересует, как возникают такие темы.

— Это стихотворение про Тошку Якобсона, — усмехнулся он... — Что мне самому нравится — что здесь, по-моему, удался верлибр. Верлибр очень трудно писать. А здесь не переставить ни одного слова.

Говорит, что хочет менять паспорт (на Самойлова). «А то возникает много неудобств. Деньги переводят на Самойлова, в гостинице номера заказывают на Самойлова. Правда, у меня есть билет Союза писателей, где я Самойлов. Но каждый раз приходится объясняться. Очень неудобно. И Варьке хочу поменять фамилию. Ей лучше быть Самойловой».

Заговорили о том, можно ли прожить на литературу без переводов. Он стал подсчитывать: с 1958 года у меня вышло 5, ну, будем считать, 6 книжек общим объемом столько-то листов, столько-то строк, по 1 руб. 40 за строку, прак-

тически все прежде печаталось в журналах, все это перемножим... Получается примерно 100—120 рублей в месяц. Я сказал: «Но если бы ты не занимался переводами, ты бы больше писал своего. Душа все-таки занята». — «Нет, — сказал он. — Вот сейчас я вполне могу не заниматься переводами. Но больше, чем могу написать, не напишу. Я в год вряд ли пишу больше 500 строк. Это, конечно, индивидуальный случай. Есть люди много пишущие. Вот Евтушенко — много пишет. А Белка Ахмадулина не занимается переводами и все равно мало пишет».

Спросил, понравились ли ему записки Некрасова в «Континенте». «Довольно приятно, — сказал он. — Хотя и не бог весть что. Он не очень большого ума и не крупная личность, но он себя не придумывает». — «Он равен самому себе», — выразилась Галя. «Он хорошей интеллигентской породы, порядочный, по-настоящему демократичный... К сожалению, ему не о чем писать. Он перебирает по деталям свою жизнь. Но это не то, что Синявский, который себя придумывает, и неприятно».

Я спросил, верно ли, что он больше не пьет. «Не то чтобы больше, но меньше». Оказалось, он не так давно потерял сознание в «гадюшнике» — ресторане ЦДЛ. Второй раз, так уже было в бане в Пярну. «Второй звоночек, — сказала Галя. — Ладно, не будем об этом...»

Он член редколлегии «Дня поэзии», читает множество стихов. «До чего все плохие стихи. Никому не хочется писать». Я передал мнение Озеровой, которая читает самотек, что «земля рождает». «В прозе может быть. А стихи очень плохие. Есть хорошая деревенская проза, а деревенской поэзии нет». — «Странно то, — сказал я, — что поэзии по содержанию проще обойти цензуру». — «Не скажи. “Наш современник” распутинскую прозу про дезертира напечатал, а мое стихотворение про дезертира не печатают. Хотя у меня куда более безобидно».

4.03.76. Гудит голова, туго думается. Целый месяц напряженно работал над «Габаем». Помимо внутреннего значения этой работы для меня — хотелось бы сделать нечто достойное его памяти.

К середине работы возникла возможность и потребность почитать «тамошние» издания: 4 «Континента» и «Теленка»¹. Очень кстати. Я заполнял чтением все перерывы в работе, оттого сейчас тяжелая голова и трудно изложить мысли. Но надо бы не забыть это ощущение: они работают гораздо достойнее, чем могло казаться, делают большое дело для нас, будят новые мысли, требуют нового качества.

8.03.75. Сегодня закончил перепечатку «Участи» — кажется, так я назову работу о Габае...

Если бы за этот год удалось одолеть роман. (И для заработка «Насреддинов».)

15.03.76. Позвонила Озерова: Главлит подписал номер, теперь 99%, что повесть будет напечатана.

¹ Речь идет о произведении А. Солженицына «Бодался теленок с дубом»

6.04.76. Прочел Самойлову начало «Габая» (дальше он слушать не мог, был выпивши). Он заявил, что это самая лучшая моя работа. По пьянке наговорил кучу комплиментов, вроде того, что это второе в русской литературе житие — после «Жития Симеона Ушакова». «А ты знаешь, что такое быть в русской литературе вторым?» — и т.д. Договорился даже до того, что это можно печатать, только изменить имя...

8.04.76. Вечером позвонил Давид. Он прочел до середины. «Очень интересно. Ты молодец. Создается образ личности, образ поколения. Может, хорошо бы немного больше вещных деталей, аромата: портреты, описания, пирушки. Ты здесь скорей концептуален. Это же повесть. Хотя ты явно любишь его, ты все же способен описать его объективно, как повествователь. Стихи его... но ты и не старался убедить, что это хорошо. Он, конечно, поэт по природе своей, но поэт без стихов. Бывает же музыкант без музыки, глухой, как Бетховен... В общем, это этапное произведение».

Еще раз вернулся к теме поколения: «Ведь об этом еще никто не писал. Набор его любимых героев — ведь он больше ни у кого не повторится».

9.04.76. Короткое пока развитие нашей эмигрантской литературы наводит на странное подозрение: свобода от внешних ограничений отнюдь не рождает более высокого уровня; как будто наоборот. Вырвавшиеся на простор авторы дают волю злобе дня и своей собственной злобе, забывая о душевной дисциплине и собранности. Свобода как свобода от чего-то. Свобода от сдержанности, от какой-то стыдливости, от самоограничения не так уж благотворна; душевный анархизм — не благо. Цензура заставляет уходить с поверхности на глубину — это трудно, неприятно, но небесполезно.

13.04.76. Встретились в Гослите с Самойловым. Давид отдал мне «Габая». Получили деньги, зашли в ресторан у Земляного вала.

Из разговоров. О «Прогулках с Пушкиным» Синявского. Умно, талантливо, но... противновато. Неприязнь к традиционному пушкиноведению с его долбоебством понятна, оправданна. Но для меня, например, образец отношения к Пушкину — Ахматова. А он Пушкина готов через жопу ебать.

Заговорили о перспективах нашего развития. Я заметил, что от возврата к Сталину верхи должно бы остеречь чувство самосохранения: история чему-то учит и потому не повторяется.

Д.: Я считаю, история вообще не повторяется, и это доказывает, что Бог есть. Если бы событие могло повториться дважды, оно могло бы повториться бесчисленное множество раз, и это бы доказывало, что правы материалисты.

О солженицынском «Теленке» вдруг сорвалось: «Это житие хама».

В ресторане я заказал 250 грамм коньяка, он поправил 300. «Никогда не заказывай неровные числа». После чего официантка прониклась к нему уважением и обслуживала нас особо предупредительно. «Это молдавский коньяк, — угадал он. — Он не так сладок, как армянский или грузинский». Потом мне пояснил: «С профессионалами надо показать свое профессиональное знание. А знаешь, как я угадал?» — «Как?» — Но тут он перевел разговор.

— Ты, я вижу, не ресторанный человек. А я ресторанный. Я люблю самую атмосферу ресторана. Я предпочту пообедать в ресторане, даже если могу пообедать дома.

17.04.76. Вчера «Габая» читал Ким. Мне показалось, он отирал слезы. Сказал: «После этого чтения я обещаю тебе две вещи. Первое, что соберу и отдам тебе все письма Ильи, и второе: буду отдавать тебе второй (или третий) экземпляр всего, что пишу». Вдруг заговорил о том, что до сих пор видит перед собой последнюю, самую главную цель: выйти однажды на площадь с плакатом... Словом, он принял эту книгу, как никто. Потом я читал ее вслух Лукиным и Графовым. Долго не мог прийти в себя. Второй раз я на это не решусь...

29.04.76. Из Битова извлек дельную мысль: проигрыш в азартной игре — справедливая плата за возможность испытать истинный азарт, душевное переживание. Зритель платит за билет, а тут — больше: платишь за то, чтобы быть участником. Только надо действительно втянуться, и чем больше степень азарта, тем дороже это стоит. Выигрыш — это уже сверхнаграда.

11.05.76. 9 мая, в День Победы, вышел «Новый мир», вчера по этому поводу выпивали у меня. Был Давид, Ким...

19.05.76. Получил наконец журнал, прочел себя в окружении других и после чужих текстов впервые имел возможность оценить себя сравнительно объективно: это высокий уровень и настоящая проза. В журнале еще только одно незаурядное произведение: маленький рассказ Евгения Попова из Красноярска «Барабанщик и его жена барабанщица». Как его напечатали — еще более удивительно, чем то, что напечатали меня. Галя весь номер сравнила с прозой «Континента» — явно в пользу «Нового мира».

13.06.76. У Геры Копылова в Дубне. Он в больнице, довольно бодр, но мысли мрачные.

— Оскорбительно чувствовать себя инвалидом, работать с постоянной оглядкой на сердце, от приступа к приступу. Ведь голова у меня ясная, сил много, вот в чем беда. Я понимаю, когда старик, общее угасание — это естественно.

— Ты много работал?

— Дело не в том, что много, а в том, что успешно. Я заметил странную вещь: работаешь, работаешь целыми днями, не можешь чего-то решить, и сердце спокойно, не утомляется, хоть бы что. И вдруг наконец поймал за хвост решение, решил. И на каком-то эмоциональном взлете сердце не выдерживает.

Настроен на операцию, которую делает якобы у нас хирург Князев: подшивается дополнительная артерия от аорты к сердцу, улучшающая его кровообращение.

Разговор о том, что надо учиться готовиться к смерти, о своих стихах, которые надо бы пристроить. «Умру, а может, они не так плохи».

16.06.76. Вчера и сегодня до рассвета (4 утра) дорабатывал «Этюд о масках», чтобы отнести в «Новый мир»... Сегодня занес их...

Перечитывая «Маски», я вспомнил фантастически сухое лето прошлого високосного года — по контрасту с фантастически дождливым нынешним. Вто-

рой месяц ежедневные дожди: сегодня обложной. Говорят, на полях картошка гниет. Разговоры о нехватке продуктов. В Дубне мясо распределяют только по институтам, по килограмму на работника. В Москве колбасы дают по 300 грамм в руки; а раз началась паника, будет с каждым днем хуже.

На радио отклонили передачу, где звери пекли блины. «Нам даже “Колобок” не разрешают». (Намек на продовольственную ситуацию.)

И среди этой слякоти, бескормицы, международной напряженности я чувствую себя бодро. На високосные годы приходится какие-то вершины моего цикла. Перечитываю, как я писал в 72-м, — сейчас бы так не смог! Страницы о старухах — вообще из самых лучших у меня.

19.06.76. Сидур говорит, что потрясен книгой о Габае. «Ничего подобного мы не читали. Какая многослойная вещь, какая достойная интонация, какой впечатляющий образ — и как проступает за всем образ автора! Это надо бы прочесть многим, и именно сейчас, в пору разброда».

Смущает это «именно сейчас». Сейчас-то это невозможно дать для чтения. А будет ли это звучать через несколько лет?

25.06.76. Позвонил по данному мне в редакции телефону (некой Петрушевской), чтобы узнать адрес Е. Попова — и попал на него самого. Заикается, чувствуете, что молодой. Сказал, что живет сейчас в Дмитрове, а работает в Москве, в Худфонде, но все время в командировках. Записал мои телефоны в Красноярске и Москве. Может быть, объявится.

7.07.76. *Красноярск.* Красноярска, который я успел застать в 64-м, уже почти нет. Город застраивается огромными домами, мало чисто деревянных улиц с кряжистыми срубами, мощными заборами и ставнями, запираемыми на засов с продетыми внутрь дома болтами, тротуаров, заплеванных темно-красной шелухой вареных кедровых шишек. Может, это и не потеря, но мои дети уже не застанут, видимо, векового Красноярска. А вот о чем стоит сокрушаться, так это о потерянном Енисее: в городе у прекрасной реки негде купаться. А ведь это был образ жизни.

25.08.76. Вчера умер Гера Копылов. Как раз сегодня я собирался ему звонить. Не успел. Всегда вот так не успеваешь. Он был уже записан на операцию, которая казалась такой рискованной. Когда я был у него два месяца назад, он показался мне не так уж плох, но он всерьез воспринимал возможность смерти, говорил, что хотел бы передать мне свои рукописи, стихи: жалко, если пропадут, вдруг в них что-то есть. Я говорил, что не к спеху. Обещал мне написать про Габая... Что-то густо стало валить вокруг. Возраст, видно, такой.

10.09.76. У Д. Самойлова. Приехал из Пярну хлопотать по квартирным делам. Прочел мне маленькую поэму «Старый Дон Жуан». Такие вещи входят в хрестоматии. Хотя можно бы поспорить с лихим утверждением Дон Жуана, что он все отдал жизни и ничего — духу. Да и череп Командора — не оппонент. А за всем этим слышатся собственные вопросы: что там, за углом, за поворотом?

Из разговоров. Коржавин прислал ему книгу стихов, вышедшую в Америке. «Главное чувство, которое слышится за всем этим, — страх перед погромом.

И в 37-м, и в войну, и после войны, и в Америке — все хотят убить Мандела. Если так, то просто — зачем жить?»

Среди гостей был Аркадий Стругацкий, очень милый, скромный... Говорили о Набокове. Аркадию он не нравится. «Когда я прочел Булгакова, то схватился за голову: почему нам его раньше не дали? Мы бы писали совсем по-другому! А Набоков для меня — боковая ветвь, которая никуда не ведет. Динозавр». Давид сказал: «Но он является фактом литературы, который уже оказывает влияние, как ваши книги являются фактом литературы». — «Господи, — махнул рукой Аркадий, — модные книги!» О моем «Гоголе» сказал: «Странная вещь, мне такие нравятся». Вообще, было в нем что-то неожиданно мягкое, грустное, скромное. Сейчас работает с Тарковским. «Я в него влюблен...»

21.10.76. Иногда болезненно ощущаешь свою оторванность от мира. Читаю А. Синявского — вот кому могли бы показаться родственными мои работы, вот кто мог бы умно откликнуться на «Меньшутина». Да как до него дотянуться? «День в феврале» я больше всего хотел послать бы Шагалу, которым вдохновлены многие детали, — есть чувство, ему что-то сказало бы это, встреча Гоголя, Парижа и русского еврея Марка из Житомира. Но даже адреса неоткуда взять.

21.12.76. Разговор с Володей Лукиным о жизненных циклах нации. Начался он с замечаний об упадке нашего футбола и, кажется, близком упадке хоккея. Впечатление, что нация хиреет. Растут окраины, национальные, в основном серые (маленькая национальная интеллигенция — не там, где этот рост); старые русские города сравнительно прозябают. Армия уже наполовину нерусская (возникает сравнение с наемной), выпускаются специальные учебники русского языка для армии. Эти серые разбухшие окраины снижают общий уровень страны, возникает ощущение общей скудости, упадка, прозябания. Это ощущение мне знакомо, но я относил его за счет общемирового снижения качества жизни (причины экономические и пр.). Нет, захирение нации — реальная вещь; лет 20 назад — и в течение двух веков такими были китайцы, которых можно было брать голыми руками — апатия почти наркотическая. Сейчас такое впечатление производят англичане, у которых мало осталось от энергии, воли, мужества колониальных времен: другой тип нации.

Причем жизнь без событий (безвременье нынешнего руководства) в общем устраивает это серое большинство.

30.12.76. XX век за оставшуюся четверть своей жизни, может, еще и выявит нечто великое. Т. Манн отдавал предпочтение веку XIX (ср. Мандельштам).

Но кого этот век предъявит на своей чаше весов — против имен Пушкина, Бальзака, Гоголя, Достоевского, Толстого, Диккенса, Стендаля, Гегеля, Пастера, Уатта и пр.? Найдется кого. Т. Манн, Фолкнер, Эйнштейн, Шагал, Пикассо, Шостакович, Винер.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Уколы памяти

Вспоминая о детстве, человек редко видит себя маленьким: свой рост, внешний вид обычно в памяти не запечатлеваются. Разве что как отражение в зеркале. Словно смотрит на мир Я всегда одного и того же облика.

Одно из самых первых моих воспоминаний — еще довоенное: парашютная вышка в Парке культуры, плеск волн за окном парохода, совсем рядом, рукой достать.

И уже в эвакуации: мои глаза на уровне края стола, а по ярко освещенной (впечатление голой лампы) столешнице идут босые ножки моего годовалого брата — он демонстрирует первые шаги. И восхищенные вздохи теток (лица их окружают стол), и голос бабушки, чтоб принесли секач — провести черту на столе перед впервые шагающим ребенком, какое-то на сей счет имелось повесть.

Торцовые мостовые в поселке Косино, где мы жили в эвакуации, отстрел ворон в парке, раненые в госпитале и мой двоюродный брат Шура, случайно убитый из охотничьего ружья: в памяти кровавое пятно на месте голого соска. Мы жили с ним вместе в комнате, где стены оклеены были белой бумагой; он рисовал на них замечательные грузовики, везущие рулоны этой самой бумаги: поселок был при бумажной фабрике.

Там, в реке Вятке, я однажды чуть не утонул. Мама стирала белье с женщинами, я стоял в воде, держась рукой за плот, который свободно привязан был к берегу цепями. Плот стал медленно отходить от берега — и я вместе с ним. Вода дошла до подбородка, закрыла рот — я помню только эту странную покорность, неспособность даже закричать. Даже страха, кажется, никакого. Так бы и пошел дальше — но тут какая-то женщина, заметив, подняла меня на плот.

Огромный паровоз, пахнувший маслом и чем-то черным, как сам паровоз... ну, просто пахло паровозом, и по черному, глянцевитому, выпуклому, живому боку его передвигался машинист, маленький, смелый, непостижимый, он чем-то тер бок паровоза, как круп гладкого вороного коня.

Из эвакуации мы возвращались в товарном вагоне, громадной семьей, да еще с какими-то знакомыми. Посреди вагона топились жестяная печка-буржуйка. На мосту через Каму случилась авария. Потом нам объясняли: какая-то танковая платформа впереди нас (вагон был прицеплен к военному составу) зацепилась за ферму моста, повернулась и врезалась в нашу теплушку, выбив дверь и скосив часть вагона. Я помню лишь грохот — и все пространство заволочило белой пылью: распоролся мешок с мукой. Крик: «Где Ляля, где Ляля?» Печь опрокинулась, придавила и обожгла кому-то ноги. Потом я вышел на мост. Вокруг суетились военные, моряки из нашего состава. Внизу, под решеткой шпал — широкая река, на реке лодки: местные жители вылавливали упавшие в воду вещи и документы. И роскошное удовольствие: до самого Горького

мы ехали с незакрытой, верней, выбитой дверью, можно было смотреть в пролом сколько угодно...

Нет, возможны лишь вспышки, уколы воспоминаний, все их не вместить и в двадцать томов. Стоит только начать — они неисчерпаемы. Жизнь оказывается гораздо богаче, чем казалось. Стоит вспоминать уже ради этого: чтобы вернуть к жизни прожитое.

Бывало, вспомнив что-то из детства (как я провалился под лед, как меня понесла лошадь), я спохватывался: надо бы это записать, а то забуду. Потом понял: этого уже не забуду. То, что вспомнилось однажды, — запечатлелось.

Сколько детских воспоминаний я раздарил своим героям! Вот хоть бы это: ужас новичка-первоклашки, задыхающегося в самом низу кучи-малы, в школьном коридоре. Теснит ребра, невозможно глотнуть воздух, как под водой, невозможно даже крикнуть; еще немного — и не выдержу. Возможно, с тех пор у меня подсознательная боязнь толпы, давки.

Делясь с героями, я всегда испытывал нечто вроде невольной жадности — как будто отдавал не только самое ценное, но последнее: у самого больше не осталось. К счастью, закрома эти неисчерпаемы, ибо в детстве живет каждый миг. И хотя миллиарды их растворились во тьме безвозвратно, миллионы всплывают, как пузырьки, на свет божий.

1973—1978

О совах и жаворонках

Перечитывая свои дневники и разные писания не такого уж юного возраста — не только в 18, 20, 25, но и в 30 лет, — вижу, как постыдно невысок мой уровень, как смехотворно мое понимание жизни, как это попросту малоинтересно по сравнению с письмами, дневниками, работами моих знаменитых и даже не очень знаменитых сверстников из разных эпох. Возможно, я по устройству из поздно созревающих, осенних умов.

Есть люди-жаворонки, у которых наибольшая жизненная активность приходится на утро, и есть совы, которые расходятся под вечер. Возможно, также есть люди, созданные больше для молодости, и люди, которые раскрывают себя во второй половине жизни. Первые часто и гибнут рано (не у всех хватает жизненных сил надолго), но и оставшись жить, скорей доживают. Вторые развиваются запоздало, и юность их не так ярка.

Я жалею о том, как бездарно упустил многое в юные годы. Но, может, иначе не было бы мне дано того, к чему я пришел сейчас? (Так, истаскавшись до зрелости, иные становятся импотентами к сорока годам.) Сколько сверстников, раннему блеску которых я мог бы завидовать, теперь потускнели, отстали, как бегуны, не выдержавшие дистанции.

Не знаю, впрочем: пришла бы эта зрелость ко мне в любом случае, сама собой? Или горы этой исписанной за многие годы макулатуры, идиотское сосредоточение на мыслях о жизни и человеке приподняли мои ограниченные способности над их природным уровнем?

Тут впору задуматься о соотношении элементов врожденных и душевного труда, о предрасположенности и реализации природных свойств, о судьбе и выборе.

1977, 1988

1977

5.01.77. Читаю «Некрополь» Ходасевича. Все-таки не замаскироваться, не спрятаться. Найдется умный пронизательный свидетель, который вскроет подноготную, разоблачит миф. О Горьком с его лукавой артистической любовью к обману (если не уточнять: ко лжи), о душевной пустоте Брюсова, о Есенине, Маяковском — очень глубоко и убедительно.

(Я подумал: надо еще доделать «Габая».)

4.02.77. Арестован Гинзбург. Похоже на новый нажим удушения. В последней «Лит. газете» — отвратительный поклеп стукача Петрова-Агатова. В былые времена такого стыдились. Посмотрел № 1 «Нового мира»: странная надежда напечататься в таком журнале...

20.02.77. Что значит наше время, когда книги стали небывалой ценностью, когда все гоняются за произведениями античных и средневековых авторов, когда не достать билетов в театр? Это развитие стремительное, за несколько лет, все интересуются поэзией, искусством, очереди на выставки многочасовые. Складывается ли, с отбором, новый культурный слой? Рождается ли новое поколение, новая духовная атмосфера? (Замешенная на моде, на безвкусице, мещанстве, хамстве, но все-таки.) Запад такого книжного взрыва не знает.

17.03.77. Разговор с Померанцем о «Габая» (ему понравилось), о его замысле «Противостояние». Полемика с Н. Я. Мандельштам, которая исходит из того, что в наше время происходит разрушение личности. Личность разрушается всегда, она сохраняется и развивается, только если противостоять потоку. Даже в сравнительно спокойные времена она разрушается, если идет по течению (чеховский Ионыч).

«Лизавин» [«Провинциальная философия»] перепечатывается. Неужели скоро он станет состоявшимся фактом и я смогу показать его читателю?

18.03.77. Еще один звонок из «Нового мира» — Озерова. «Я слышала радостную весть. Что же вы не несете?»...

23.03 — 1.04.77. С Алешей в Алушке. Удручающие толпы народа, экскурсанты с разинутыми ртами и фотоаппаратами, украинские трудящиеся на отдыхе. Где-то я записал, что мое эгалитарное воспитание дает трещину при виде этих лиц. Они имеют свои заслуги и права, и все по справедливости для них — теле-

видение, кино. Видно, надо привыкать к мысли, что люди моего духовного типа должны быть белыми воронами.

В поезде трое отдохавших в одной санатории. Двое ушли в ресторан, третий вынул у приятеля из кармана последние шесть рублей. Прораб из Тулы, наверное, неплохо зарабатывает. Как понять это хамство? Другой по случаю рассказал: в другой санатории человек признался, что взял на выпивку у соседей по три рубля, но сейчас он без копейки. А что у тебя есть? — спросил сосед. Тот раскрыл чемодан: вот, рубашки. Тот взял себе рубашку в счет украденных трех рублей. Электросварщик. Тоже, думаю, неплохо зарабатывает. Народ.

По радио интервью Синявского. В случае гипотетического крушения советского режима он видит четыре возможности: социализм с человеческим лицом, либеральная демократия западного типа, христианская демократия и фашизм. До фашизма, надеется, дело не дойдет. Он упустил еще одну, промежуточную возможность: хаос.

Галя смотрела по телевизору пресс-конференцию Громыко, и ей стало страшно при виде этой рожи, его кулачной жестикуляции, его бессвязной речи: кто нами управляет! Я прочел эту речь в газете: плохи дела.

Мою повесть читают, некоторым она нравится, но большинство смеется над моей наивной мыслью, что «Новый мир» может это напечатать. Похоже, времена действительно этому не способствуют. А я, признаться, именно сейчас не прочь бы иметь деньги.

4.04.77. ...Жалобы на время, очевидно, вечны; каждый склонен именно свое время считать самым паршивым. «Бывали хуже времена, но не было подлей». Полноте, Николай Алексеич!

Как писали о своем времени Достоевский, Герцен! А до них — Пушкин, Лермонтов. «Душа моя, меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость, — долго ли этому быть?» (А. Пушкин в письме к Л. С. Пушкину). Я говорю только о России, конечно. «Печально я гляжу на наше поколение». И каждый считал именно свое время особым, ключевым. «Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает нынешнее время, в котором так явно проявляется дух построения полнейшего, нежели когда-либо прежде» — и т. д. Это Гоголь.

6.04.77. Перевозил Д. Самойлова в 5-комнатную квартиру, 100 с лишним кв.м жилья. «Теперь видно, что ты большой писатель», — сказал я. В доме разговоры, как теперь писатели стараются перещегоолять друг друга обстановкой, туалет бархатом обивают...

9.04.77. Утром начал читать «Степного волка» — и ужаснулся совпадениям; местами почти плагиат. Но не скажешь же, что он у меня списал; значит, я у него. Когда-то я читал его по-немецки, но поверхностно и мало что помню. Откуда могли взяться эти подсознательные совпадения? Даже позвонил Апту, чтобы поделиться странным сомнением. Предложил почитать мою повесть. Он посмеялся. А потом я пролистал «Лизавина» — и несколько успокоился. Сходство незначительное. Совпадают некоторые слова, сама суть у меня другая, а главное, совсем другая плоть. Может, аналогия с Гессе пойдет даже на пользу;

начальство подумает: вот, Гессе писал что-то похожее, и напечатали, и ничего; грех нам не напечатать нашего собственного Гессе. А умному критику — великолепная основа для глубокого сопоставления: переключка мотивов у Гессе и Харитонов. Я в чем-то даже отдаю себе предпочтение: у меня больше юмора, пластических описаний, плоти, языка, наконец. Гессе суховат, но умен и глубокомыслен, как положено немцу.

Но после каждого такого сюрприза кошки скребут. Плохо быть непечатающимся писателем. Там пусть бы и разбирались кто как хочет.

14.04.77. ...Вчера переводил для заработка письмо немецкого писателя Андерша Симонову; наткнулся на такую фразу: «Умирующие общества либеральны до безнравственности, новые, поднимающиеся — всегда пуританские». И это говорит человек, переживший фашизм, казалось бы, помнящий цену разговоров о гниющей буржуазии, о пуританских семейных ценностях, о свежей витальной силе нового общества и т. п. Мне-то всегда казалось, что немцы могут нас понять лучше других.

15.04.77. Если в детективе смотришь на события глазами сыщика, хочешь, чтобы он догнал бандита, если смотришь глазами бандита, хочешь, чтобы он удрал. При этом персонажи для тебя практически абстрактны, как злодеи или герои в романах про инопланетян или индейцев. (В детстве мы не задумываемся, насколько реальны эти индейцы и эти белые.)

Но, читая роман В. Богомолова «В августе сорок четвертого», я не мог отделаться от того, что знаю о реальном СМЕРШе.

28.04.77. *Крым.* Ничего не могу с собой поделаться: я хожу по этому благословенному Крыму, и мне стыдно вспоминать о татарах, которых отсюда выселили и не пускают обратно. И не могу отделаться от стыда, он отравляет мое наслаждение. Блажен, кто не знает этих проблем.

11.05.77. Почему болеешь за «своих», за каких-то неблизких себе спортсменов, которым к тому же знаешь цену?

Было время, когда я откровенно болел не за наших. Все-таки мои симпатии скорей на стороне маленьких стран, чем сверхдержавы. И надоедает в конце концов это хамство, этот барабанный бой о нашем превосходстве, эта ложь о нашем «любительском» спорте и пр.

Откровенней всего я болел за чехов в марте 1969 года, когда они выиграли у нас в хоккее.

12.05.77. Наверно, раздумья над исторической прозой сейчас внутренне своевременны. Мне хочется сейчас осмыслить чувство своего времени и истории.

Все отчетливей сейчас ощущение междувременья, межуточности во всем. Старееющее руководство, при всей агрессивности, скорей переживает свой срок, избегая резких движений (говорят, любимое словцо их лидера: «Не надо раскачивать лодку»), оставляя неизбежные решения и проблемы на потом. А перемен ждешь с невольным страхом: мы привыкли не ждать хорошего, и сам ход прогресса не обнадеживает. Страна существует пока без достоверной истории, без ясной памяти о прошлом, с проблемами, загнанными внутрь и невыявлен-

ными, как болезни, с неполным, оборванным кровообращением — без обмена мнениями, идеями, продукцией, с гнильцой и фальшью во всем. И в этой неподвижности — иллюзия устойчивости

Как будут вспоминать все это лет через 10? (А как вспоминается сейчас 1967-й, даже 1957-й? За 20 лет изменилось не так уж много. Но долго ли так может продолжаться?)

И еще сегодня подумал, что, может, вернусь к нечаянному циклу, завершив его утопией.

19.05.77. Все больше зажигаюсь идеей исторической повести; предчувствую здесь новую свободу, новизну и главное — возможность человеческого обогащения...

27.05.77. Вечер Ю. Кима в Доме композиторов. Впервые примерно то, чего он заслуживает. Похвалы — самые высокие, профессиональный уровень, и он был прекрасен. Жаль, что это нигде не фиксируется и похвалы не напечатаны. Но, возможно, за этим авторитетным вечером что-то последует: новое признание, может быть, пластинки...

Конечно, официальная идеология выветривается, никто не верит в газетные слова, но ее стойкость связана с тем, что она — единственное, на чем держится система, империя, какой-то порядок. Пожалуй, все чувствуют, что просто отменить ее — невозможно, все распадется. Впрочем, может, ничего страшного в результате и не случилось бы. На месте огромной империи были бы полтора десятка нормальных государств. Но не видно ни идеологии, которая могла бы всерьез заменить существующую, ни крупного лидера, у которого хватило бы сил, авторитета и прочих качеств, чтобы осуществить преобразования. И откуда ему взяться при нынешней круговой и замкнутой поруке верхов? Так что политические и, видимо, экономические перспективы безрадостны.

31.05.77. Зашел проводить Сашу Сыркина, уезжающего в Израиль. Обычная атмосфера проводов: пустая квартира, толпа гостей у стен. Никого не встретил знакомых, скоро ушел.

Собрание лиц: если бы сейчас по телевизору передавали заседание какого-нибудь партийного актива, можно было бы подумать, что перед нами две расы, две разные породы людей.

30.06.77. Когда не можешь долго наслаждаться созерцательным покоем, когда лежишь среди трав лицом в небо и томишься по оставленной работе — вспоминаешь слова Мандельштама: «Есть блуд труда, и он у нас в крови».

Этот блуд связан со страстью к духовному вмешательству в природу, с неспособностью удовлетвориться естественным состоянием.

2.07.77. Поэт, обрастая посмертным преданием, сам превращается в поэтический образ — и обязательно ли ревниво восстанавливать истину? Право быть поэтическим героем тоже надо заслужить, это тоже черта и принадлежность истинного образа.

7.07.77. *Kačergine*. Один современный физик заметил, что человек создал страшное оружие, сохранив психологию времен, когда он дрался дубиной. Это наводит на невеселые прогнозы о будущем.

Я читаю сейчас «Историю» Соловьева и подтверждаю это чувство: политическая и государственная психология в основе своей не изменилась.

10.07.77. *Kačergine*. Я сижу на берегу вечернего Немана и читаю книгу. Река тиха и прекрасна. Поднимая от книги взгляд, я думаю, что и читать-то здесь грешно: смотреть надо и впитывать эту красоту, этот умиротворенный покой.

Но тут же думаю: что-то искусственное есть в таком отказе от деятельных занятий. Местные жители здесь сосредотачиваются на красоте лишь в редкие минуты. Живущие у реки в реке не купаются. Приезжие за неделю успевают насмотреться в Москве больше, чем я удосужусь за год. Но я в Москве живу и именно потому далек от туристического любования.

17.07.77. *Kačergine*. Пожалуй, никогда еще я не жил так легко, просто, не омраченный и не униженный заботой или дурными чувствами. Отчасти потому, что научился себя немного больше держать в руках, отчасти потому, что, наученный опытом, не планировал на лето никакой работы...

Георгий Степанович Кнабе всерьез выпрашивал, нет ли у меня воспоминаний о моих предыдущих воплощениях. Я отшутился, попросил пояснить. Он ответил: я с детства владею, как родным, французским языком, даже раньше, чем русским, но когда пишу по-французски, испытываю затруднения, хотя орфография здесь проще, чем в английском. Английским я овладел много позже и знаю его несравненно хуже французского, но пишу на нем без всяких затруднений. Что это значит? Что-то есть во мне от прошлых воплощений. Другой пример: я знал человека, который совершенно не мог ориентироваться в идеально распланированном современном городе, таком, как Нью-Йорк, но чувствовал себя как дома, впервые попав на запутанные улочки турецкого города, где европеец даже через два года не может разобраться. Тут я возразил: памяти о современных распланированных городах не может быть ни у кого. Он засмеялся: да, это действительно не доказательство.

В переселении душ был убежден еще Платон. Он говорит в «Пире», что в предыдущем рождении был цветком и девушкой. Последнее объясняет его любовь к юношам.

С Ягломом он продолжал начатый до меня разговор: можно ли говорить о какой-то общей духовной структуре XX века, которая роднит и современную математику, и современную литературу в том же смысле, в каком можно говорить, что герои Расина действовали по тем же законам, на которых строится логика Декарта?

5.08.77. *Kačergine*. Литовка удивлена, что к нам приезжают друзья, что мы взяли с собой на лето сына друзей. «У нас такого нет. Пока мы дети, мы еще играем с другими, после первого ребенка еще остановимся при встрече поговорить, как ребенок ест и как у него зубки режутся. Но потом все. Свой дом, семья, огород, машина. В гости не ходим, не разговариваем».

Я действительно заметил: соседи через забор друг с другом и то не общаются. Даже не проявляют интереса. Конечно, обсуждают новости, как во всяком маленьком поселке, но время, забота, внимание, мысли — только своему дому и своей семье. Со времен хуторов, наверное, так сложилось.

9.08.77. *Вильнюс*. Старый город. Дома, прожитые насквозь, проеденные веществом жизни. Реставрация убивает этот нерв, живший внутри каменного материала; так продолжает дергаться излеченный, с удаленным нервом, но уже мертвый зуб.

Конфуций сказал: «Обладающие знанием от рождения принадлежат к высшей категории людей; приобретающие же знания в результате обучения принадлежат к следующей, более низкой категории людей».

Что-то во мне всегда противилось этому взгляду. Слишком с низкого уровня начинал я, слишком ко многому пробивался.

Но сейчас я все больше убеждаюсь, как много в человеке заложено изначально. Я готов понять мысль китайца — со своей поправкой. Да, высшая мудрость заложена в нас самих, но наше дело докапываться до нее, выявлять, оттачивать, очищать, как очищают кровь.

17.08.77. *Каŕergine*. Желание влиять на других проистекает как из властолюбия, так и из заинтересованности в чужой судьбе. Боюсь, мне недостает того и другого. Уже по одному этому я вряд ли мог бы стать истинным учителем, воспитателем — разве что хорошим лектором. В то же время я наверняка влияю на кого-то независимо от своей воли — своим существованием, примером, поступками, высказываниями, мнениями, наконец, тем, что я пишу. Просто это влияние ненаправленно и неактивно.

31.08.77. Мне 40 лет. Время все заметней убыстряется. Сколько его еще осталось?

15 лет назад в больнице я говорил соседу по палате, 40-летнему врачу Онику Хачатряню: мне бы дожить до 40, и больше не надо. Он немного обиделся: в 40 лет самая настоящая жизнь. Мне тогда это казалось старостью, я думал, что за 15 лет успею осуществить свои замыслы. Увы, если Бог даст мне еще 15 лет — хватит ли у меня сил?..

2.09.77. Нынешняя мода составлять узор на рубашках из заголовков иностранных газет вызывает недоумение: а просмотрены ли они цензором?

11.09.77. Терпи, жди, работай — живи, — напоминаю я себе, когда время от времени одолевает нервность. Из «Нового мира» мне не звонят, я не звоню тоже. Иногда мне действительно кажется, что я способен возвыситься над суетой, что главное для меня — писать хорошо. Но житейские уколы, мысли о возрасте, о том, чем могла бы стать публикация «Меньшутина», как особенно кстати были бы тут деньги, поскольку Галя действительно уходит с работы, наконец, недовольство собой, сложности в дружеских отношениях — все это делает порой нетерпеливым, и настроение колеблется. Так и должно быть...

18.09.77. У Лукина с А. Стругацким и Мамардашвили. Стругацкий не случайно пользуется такой популярностью среди юношей, которые всегда впервые ищут ответ, и ответ максимально прямой, о проблемах мироздания. Он сам такой; в такой направленности ума всегда есть что-то незрелое для ума высокомерного, попросту снявшего (или считающего снятыми) эти проблемы. Но симпатична искренность, с какой он ставит свои вопросы.

Он сказал Мамардашвили (когда мы выпивали): я (или мы с братом) чувствую, что нам сейчас не хватает философской подготовленности. Но читать философов невозможно — трудно понять, чем это может быть полезно писателю. Мераб отвечал, что философы говорят то же, что и все люди, только по необходимости на своем, трудно понятном языке. Пригласил на лекции, которые читает сейчас во ВГИКе.

Мне трудно пересказывать мысли Мераба, тем более его язык, но что-то мне запомнилось и кажется интересным.

Глупо ждать, что какой-то «властитель дум» изречет нам всю истину. Нет ни одного мыслителя, который мог бы когда-то удовлетворить целиком, который сказал бы всю правду. Властитель дум Лев Толстой говорил много чепухи, с Солженицыным нельзя во всем согласиться. Но надо взять у каждого те 10%, которые кажутся истинными. Когда несколько человек обсуждают то, что каждому представляется истиной, и существует время, в котором они высказываются, истина возникает, высказывает себя в пределах этого времени.

Нельзя жить полемикой с тем, что для тебя не существует. В чем разница между Галилеем и Джордано Бруно или лучше сказать, Кампанеллой? Те жили внутри дискуссии, спора, жили борьбой с современными представлениями. Но для Галилея всего этого не существовало, это не было истинным, просто не представляло для него как для мыслителя интереса, он вышел за пределы этой ситуации. Я не могу ругать глупого марксиста, который утверждает, что материя первична, сознание вторично, и не могу хвалить того, кто станет доказывать, что сознание первично, материя вторична. Для меня это не проблема. Все споры о различных возможностях распределения при коммунизме... — для меня этого не существует. Я не могу заниматься опровержением, скажем, Константинова — всего этого не существует. И для Галилея не существовало этой полемики.

Стругацкий возразил: Бруно додумался до идеи множественности миров, а до этого можно было и вовсе не додуматься. К этому гораздо труднее было прийти, чем кидать камешки с Пизанской башни.

Мераб возразил, что это давным-давно сказали индийские философы, просто мы не читаем на санскрите, а читаем, допустим, на латыни. Но это наше частное дело.

А я подумал, что есть еще одна проблема: проблема человека, который готов идти на костер за свои пусть несерьезные убеждения. Именно потому, что он пошел на костер, его идеи, идеи того же Галилея стали действенной силой, а идеи индийских мудрецов завязли в тумане тысячелетий.

1.10.77. Меня приводят в замешательство нынешние очереди. Я помню, как стояли когда-то за хлебом, за керосином, сам стоял — и что было делать? без насущного не проживешь. Сейчас очереди за апельсинами, за солеными огурцами — ладно, сам не стою, но людям хочется. Но вот в Ленинграде два дня назад очередь перед открытием Пассажа, верней, толпа, запрудившая проход. Неизвестно, за чем; откроют магазин — видно будет. Очереди в ювелирные магазины — за кольцами золотыми, за японскими бриллиантами. И не аристо-

краты, отнюдь — черт знает кто; удивляться, откуда у людей деньги, я уже перестал.

И вот две вчерашние очереди. Одна в кондитерском «Праги»: с двух часов (а дело было в пять) ждут, пока принесут какие-то особые торты (простые торты стоят — пожалуйста). Неужели такова страсть к этому именно лакомству, чтоб ради него выпустить на очередь три (а то и больше) часа жизни? (Да может, ничего еще и не привезут.) Вечером в 10 часов вышел опустить письмо — у почты толпа: занимают до утра очередь за подпиской на газеты.

Это уже начинает походить на психическую болезнь.

22.10.77. Искусство ищет абсолюта, политика должна быть компромиссной. Поэтому художнику так неуютно в политике. Самая лучшая политика для него неполноценна и непоследовательна. Но, ввязавшись в нее, он сам становится либо смешон, либо трагичен.

24.10.77. Человек отличается от животных среди прочего способностью переступать табу.

29.10.77. Две лекции Мераба Мамардашвили во ВГИКе. В перерыве я высказал соображения на тему общих культурных полей, существующих в разные эпохи, — и он как бы невзначай тут же элегантно симпровизировал на эту тему.

Это была философская беседа на серьезном профессиональном и в то же время доступном уровне.

Из его мыслей. Можно относиться к миру как к чему-то полному, требующему лишь исследования и понимания (наука). Можно чувствовать напряжение в мире: в нем чего-то нет, если ты не стараешься. Так возникает экзистенциальное чувство вины (не конкретной, а от напряженного положения человека в мире).

Можно считать, что в мире есть пустота, дыра, которую человек своей деятельностью призван заполнить. А можно считать, что человек разрабатывает, выгрызает себе пространство за счет какой-то полноты мира.

2.11.77. Озерова тронула меня и устыдила: я принес ей «Меньшутина» (со сделанным по ее просьбе предисловием), она сказала: «Беру с волнением...»

Разговоры о повышении цен на кофе, на транспорт, на почтовые отправления. Мы с Галей откликаемся на это готовностью отказаться от каких-то потребностей — даже от кофе, если придется, как почти отказались уже от такси и коньяка. А что делать? Не гнаться же за деньгами. Нужно не так много, как кажется, — во всяком случае, не то, что кажется.

5.11.77. Указ об амнистии. 190-я статья исключена, 70-я не упомянута, но, наверно, никого не освободят, ни по религиозным делам, ни по политическим. Странно, что я все-таки чего-то ждал.

14.11.77. Разговор с Померанцем о страхе и воображении. У человека с малоразвитым воображением меньше страха. Поэтому страх иногда приходит задним числом.

21.11.77. В размышлениях о политическом будущем я колеблюсь между пессимизмом и оптимизмом. Можно счесть закономерным развитие любой тенденции: нарастание тупой инерции, экологического кризиса и пр. — и тор-

жество разума и справедливости, которые кажутся такими естественными. Но помимо закономерного развития бывают и политические чудеса, взрывы и срывы непредвиденные. Хотя, казалось бы, что непредвиденного в смерти Сталина? — но XX съезд был политическим чудом. Вне предвидений была Пражская весна 1968 года, и нефтяной кризис 1973-го, и явление (выразимся так) Солженицына, и множество сюрпризов помельче.

25.11.77. Одним и тем же словом «искусство» называются вещи слишком разные, несоизмеримые: и Ван Гог, и В.Г., и роспись в Ферапонтове, и типовые молодежные панно в заводском Доме культуры. И люди, пишущие себе в графе о профессии: «художник», ставят себя в ряд с творцами искусства...

2.12.77. Для массы людей не существует проблем вне их непосредственного опыта — как не существовало для древних вращения Земли вокруг Солнца. То, что не дано нам в ощущениях, — абстракция. Например, совесть.

3.12.77. ...Мераб: Форму уважать надо. Деньги — тоже форма, воплощение договорной идеи, поэтому они заслуживают уважения. Когда ко мне приходит слесарь чинить водопровод, я знаю, что надо платить ему деньги. Это входит в договор. Но если он еще хочет, чтобы его при этом уважали — увольте! Об этом мы не договаривались.

12.12.77. При постоянном ощущении застоя, неподвижности во всем — стоит оглянуться лет на 10, и обнаружишь, что изменилось все же гораздо больше, нежели могло казаться.

После экстраординарной публикации за Западе Пастернака и почти детективной, под псевдонимами, Синявского и Даниэля — целая лавина таких публикаций, и уже попробуй устроить суд. После отчаянной попытки «самолетчиков» вырваться из страны — при желании можно уехать, правда пока без возврата, и эта возможность стала существенной альтернативой лагерю, невозможности печататься и пр. (Один из важнейших факторов современной интеллигентской жизни, неизменная тема разговоров.) Образовался огромный по численности слой новой российской эмиграции; это изменило самосознание многих влиятельных кругов на Западе (о наших не говорю); новое умонастроение западных компартий и интеллигенции — фактор, чреватый дальнейшими переменами. Не глушатся радиопередачи, доступная информация меняет мозги. Нет, грех говорить, что ничего не изменилось.

17.12.77. Пессимистический взгляд на будущее страны и мира, природы и общества поддерживается сознанием, что у власти, способной принимать решения, всегда будут люди нынешнего типа: беспринципные, жестокие, средних способностей. Именно потому, что такие люди хотят власти и умеют ее достигать.

21.12.77. Наш интеллигент вынужден обосновывать свою общественную инертность — для себя и для других; он делает это тем более глубокомысленно, что в душе тяготится не вполне чистой совестью. Будь общественная активность безопасна и даже престижна, как на Западе, — в обоснованиях не было бы нужды. Но здесь одновременно источник нашей глубины, выстраданности, какой нет у большинства активистов на Западе.

Да, можно не иметь интереса к политике, но политика, того и глядишь, проявит интерес к тебе, схватит за шиворот, вытащит, пошлет воевать, умирать. Можно быть пешеходом и презирать автомобильное движение, но желательно в нем разбираться, не то сомнет.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Попутчики

Так называлась повесть, написанная мною, кажется, году в 1966-м и уничтоженная в числе прочих ранних работ. Но идея ее до сих пор меня занимает.

Из Сибири на Запад едут в одном купе трое людей, связанных прошлыми отношениями; скоро им предстоит расстаться. На свободном четвертом месте появляются и исчезают за время пути разнообразные попутчики. Своего рода модель временных человеческих отношений (ведь любые отношения временны, — размышляет об этом мой герой, — разница лишь в продолжительности срока; все мы попутчики, на день или на год, потом расходимся). А заодно возможность показать срез разнообразной жизни на пространстве обширной страны.

Вот как об этом писалось в повести:

«Огромное пространство взрезал тонкой чертой с востока на запад их поезд. Время от времени он останавливался, из вагонов выходили люди и входили другие, жившие вдоль этого среза, — как будто в каждом месте поезд брал пробы: крохотные частицы близлежащего человечества; остальных тебе не увидеть, останутся навсегда закрытыми для тебя. Но это, если смотреть откуда-то сверху и издали; здесь же, в купе, в маленькой клеточке, несшейся сквозь темноту, они были, словно в ковчеге, одни в мире, и мир этот не испытывал недостатка в сложности».

С детства что-то отзывалось в моей душе при виде проезжающего мимо поезда: что-то вроде зависти к едущим, не утоленной до сих пор. Я любил это чувство дороги, перестук колес, ритмическое покачивание, запахи. *«Мир общего вагона, шум, запах постельного белья, туалета и угольной гари. В проходе пляшет девочка-цыганка, с полок свешиваются чьи-то головы, ноги в полосатых носках, зрители подхлопывают в такт. Плачут дети, крайнее отделение завешено простыней, там женщина кормит грудью... Дальше, сквозь громыхнувший тамбур; в другом вагоне свой шум, гитары и вразнобой поющие голоса: студенты-целинники...»*

Между попутчиками невольно возникает общность, которая связывает людей, ночевавших в одной комнате, видевших друг друга раздевающимися, жующими, спящими: чувство некой житейской близости.

«К сумеркам закрапал дождь, они зажгли зеленую лампу. Дождинки висели на стекле холодными светящимися каплями, и внутри стало особенно уютно — тем уютном общего дома, когда за окном непогода и сырость, а здесь тепло и светит приглушенная лампа, и пахнет жильем и невыветрившейся масляной краской — ты и впрямь чувствуешь себя дома, в своей теплой клеточке со столиком под белой ска-

тертью, с крючками, сеточками на металлических рамках, пепельницами, репродуктором, который невнятно бубнит последние известия... Струйки дождя прочерчивали на стекле светящиеся стремительные траектории, укрупнились, сползали вниз...»

Сколько детективных сюжетов привязано к тесному миру вагона и совсем уж маленького купе! Здесь происходят загадочные убийства, которые тут же, на ходу, распутывает сыщик, случайно оказавшийся в том же поезде. Здесь сталкиваются тайные агенты и контрразведчики, здесь действуют вагонные воры и торговцы наркотиками. Но сюжет — уже что-то вроде добавочной приманки; мир вагона сам по себе полон нераспознанных загадок, лишь намеком приоткрывшихся судеб.

В позднейшем романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» я буду рассуждать об эффекте «фантиков» — фрагментов, вырванных из контекста и связи, требующих осмысления, разгадки.

«Они сели вечером. Он был крупный, широкоплечий, в кожаной теплой куртке, и голова большая, с короткими, ежиком, черно-седыми волосами. Женщина тоже была немолодая, ростом ему под стать, только крупные строгие черты лица ее казались как бы нечеткими, разбухшими. Она уткнулась в кожаную грудь своего спутника, и лишь тут я различил, что она плачет, плачет почти неслышно за вагонным перестуком — так плачут давно и неизбежно, без разрядки, которую приносят бурные слезы. Мужчина обнял ее рукой, глядел сурово в невидимую точку перед собой. Так и прикорнули оба на одной скамейке, не раздеваясь и ничего не постелив. Мужчина положил лишь кожаную куртку свою и руку под голову спутнице, они спали так, обнявшись, успокоенно, под перестук колес: грузные, большие, пожилые.

А утром скамейка оказалась пуста. Когда и на какой станции ушли они бесшумно — эти на миг появившиеся люди, со своей бедой, с неизвестной тебе жизнью, оставшиеся непроницаемыми для тебя, как и ты для них?..»

В повести был свой закрученный сюжет, но как раз он мне показался малоинтересным, необязательным. Выбрасывая несколько лет назад это сочинение, я подумал, однако, что повествование о попутчиках можно бы когда-нибудь просто скомпоновать из своих дорожных записей разных лет: нанизав, скажем, некоторые разговоры, впечатления, встречи на одну долгую поездку. Путь от Владивостока до Москвы занимал когда-то восемь суток; а можно еще продолжить его на запад или, допустим, на юг.

За несколько дней пути успеваешь так срастись со своим поездом, что, когда на закруглении показывается его хвост, кажется — это твой собственный хвост.

Ощущение спящего, когда на повороте твое лежащее тело тянет то центробежная сила — к окну, то центростремительная — к двери.

Какую захватывающе длинную линию прочерчивает по карте твое неподвижное тело! Провода за окном качаются волнами: вверх, вниз, вверх, вниз. Пейзажи сменяются, как декорации, — не успеваешь прочувствовать.

Когда-то Толстой сравнил путешествие по железной дороге с любовью в борделе: быстро, удобно, механистично — и никаких чувств. То ли дело на лошади или пешком.

А если сравнить с путешествием на самолете, где за иллюминатором — пустое небо и абстрактная страна облаков внизу?

Детская неизбежная радость: смотреть в окно.

Сенокосная пора. Суббота. Вдоль всего пути косят.

Радуешься, как много осталось все-таки мест, еще не освоенных, не загаженных: еще есть где жить.

— Да, велика Россия!

— Что?

— Велика, я говорю, Россия. Едешь, едешь: луга и леса, леса и луга.

— Да, 22 миллиона квадратных километров. А в Америке всего восемь. Про Англию и Францию говорить нечего.

— Да, в одной нашей Иркутской области поместятся восемь Франций.

— Первое место в мире по площади.

— А по населению Китай, потом Индия.

— Попробуй на такой территории устрой порядок. Это на маленькой можно чистоту навести и дороги сделать.

Сапер-подполковник из Улан-Удэ рассказывает, что больше всего он собрал грибов в 1966 году, когда разминировал окрестности Старой Руссы, на поле с табличкой «Мины»: 32 белых гриба с одного квадратного метра.

— Там мин было в четыре слоя: город брали несколько раз и все оставляли мины. До сих пор калечатся.

Отстегнул погоны — они были привязаны ботиночной тесемкой.

— Ну, как в Монголии служится?

— Э! Курица не птица, Монголия не заграница. Зашел в Москве в «Березку», хотел пыжиковую шапку купить, а мне говорят: это продается только на бесполосные сертификаты. А у нас сертификаты с полоской, самой низкой категории. И молока нет.

Председатель колхоза из Новгородской области.

— Я служил в Монголии в 38-м году, там закрывали монастыри. А у них в монастыре два этажа. На первом скамеечки, они там молятся. А на втором — так называемый бог любви. Ну, этот бог, скажу я вам! Там такие бронзовые

скульптуры, мужики с бабами. Но очень красиво, художественно. Я четыре таких скульптуры домой принес. Два простых бога и два порнографических. Так жена их выбросила. А теперь, говорят, за них на Западе большие тысячи дают.

Войну он встречал офицером-танкистом в Латвии. Потом некоторое время на иранской границе, получал американскую технику. И уже 17 лет — председатель колхоза, пошел тридцатитысячником.

— Когда Хрущев клевера поднимать велел — травополку под метелку — я не послушался, все оставил. Мне секретарь райкома говорит: тебе хорошо, тебе государство платит и колхоз платит. А у меня тогда 360 в месяц выходило и больше с военной пенсией. А у секретаря райкома и председателя исполкома тогда было 180.

Первая жена у него умерла в Ленинграде в блокаду. Дочь закончила в Ленинграде институт киноинженеров, вышла замуж за еврея и уехала в Америку. Рассказывает об этом сурово, как об уже чужой.

Парень рассказывает про бабу, с которой сошелся просто так, а она любила его всерьез, бросила семью, мужа. Два священника слушают, покачивая головами: разве так можно? А он доволен, что вызвал к себе интерес.

Две старушки из смоленской деревни. Ездили хоронить племянницу: в 20 лет на бегу сердце разорвалось. Рассказывают, как в войну прятались в лесу, чтоб немцы не угнали, по ночам крались копать картошку. Как рыли противотанковые укрепления. «А немец туда и не пошел, он прямо по большаку». Как какой-то человек велел им продолжать копать, когда немцы были совсем уже рядом, а сам отбегал к леску пускать ракеты, и немецкие самолеты по ним стреляли. Еле от него удрали. Чувство подневольности: и наши гнали насильно, и немцы. И что их предавали все время.

За стеклом уже ничего не различишь, лишь соседний путь: две короткие, тающие по краям полосы, выхваченные оконным светом: ближняя ярче, дальняя уже растворяется в темноте. И больше ничего во всем мире.

Станция. От путей пахнет смолистыми шпалами, щебенкой, пропитанной маслом, отработанным паром, теплой смазкой колес. Прошел железнодорожник, потрогал тыльной стороной пальцев буксы: не перегрелись ли, постукал длинным молотком и дальше — от вагона к вагону.

Девушка на перроне в Перми провожает парня. Держит его за руку и больше ничего не видит. И такая серьезность в ее темных глазах. Я вдруг подумал с завистью: вот так надо написать свою Золушку: темноглазая девушка смотрит на своего принца, держит его руку в своей — и больше ничего не видит.

Федор из Молдавии, ездил на лесозаготовки на Западный Урал, на 4 месяца. Все другие разбежались, остался из колхоза он один. Поработал 4 месяца, ему сказали: работай еще. Он остался еще на 2 месяца. Теперь возвращается. Колхоз ему должен выплатить 780 рублей, и еще 2.40 за каждый кубометр. Но в письме из дома ему сообщили, что вместо колхоза у них теперь совхоз, и он опасается, что ему теперь не оплатят. Низкорослый, без нескольких зубов, неловкий, плохо говорит по-русски, отвечает с готовностью. Рассказывает, как ему рассекло лоб, когда сорвалась цепь с пилы «Дружба» — какая это опасная вещь. Он хотел перед отъездом купить эту пилу за 70 рублей, но хозяин, который ее показывал, не закрепил каких-то три зубца, цепь сорвалась и отсекла ему ухо. А если бы чуть в сторону! Ах! — восклицает он каждый раз, когда не может выразить чего-то словами, — и быстрый жест рукой к затылку.

В поезде встретил других молдаван, но они одеты — ах! И удивляются, как я не сумел заработать.

У него 7 детей, старшая в 9-м классе. Надо образование дать. Без образования всю жизнь будут яму копать. Седьмой, сын, родился только что, поэтому жена и уговорила его приехать.

— Приеду, надену костюм — ах! — (руку за голову). — Говорите, не надо давать телеграмму, чтобы застать жену врасплох? Верно, так и сделаю. Дом у меня хороший, пол глиняный, каждую субботу надо мазать. Сейчас обещали выдать лес, 10 кубов с каждых 100, которые я заработал для колхоза. Но лес мне нужен не для дома, а для сарая.

Он выращивает для колхоза табак, сам сушит, а без сарая половина табака идет четвертым сортом, это почти задаром. Дождь пойдет — все погибло.

Изобретатель, изобрел машину, способную, по его словам, за секунды делать бетон из любого грунта. Есть даже промышленный образец. За границу это можно продать миллионов за 7, здесь ему установлен предел 20 тысяч. «На кой они мне! Мне осталось жить два года, я хочу обеспечить детей и внуков». Едет в Москву бороться — хочет продать изобретение только за границу. «Ученое» (так он выразился) обоснование и чертежи хранит у знакомых. Ему грозят, за ним следит КГБ. Уверен в себе, говорит твердо. 52 года. Окончил два факультета: горный инженер и горный энергетик. Работал в шахтах в Кемерово, получил травму и инвалидность, потом на карьерах и строительстве в Симферополе. Жена умерла 8 лет назад, четверо взрослых детей. Работает ночами, спит 4—5 часов в сутки. Нет мизинца на левой руке. «Нужен еще один Сталин». Но когда я сказал, что думаю про Сталина, тут же вспомнил 37-й год: как в Кемерово сажали через одного, как он мальчишкой бегал к тюрьме перебрасывать через забор еду, как видел трупы.

Надя, ткачиха из Иванова, едет домой в Феодосию. Уехала в Иваново после 8 классов, окончила там училище, и вот уже 3 года на хлопчатобумажном комбинате. «Малолеткой» имела полтора месяца отпуска, но через год ей 18, теперь отпуск всего 15 дней. Показывала график работы: 8 часов 20 минут, смены с

5 утра, с 13.20 и с 21.40, 20 минут обеденный перерыв. Обслуживает теперь два станка, трудно, набегаешься. Зато зарплата около 200 рублей. Теперь наловчилась, станок хорошо налажен. Беспokoится, как будут чистить его сменщицы. «Я их уговаривала: девочки, только чистите хорошо; если засорится, будет без конца останавливаться». После смены приходит в общежитие, комната на двоих. Иногда по вечерам кино. Парней не пускают. Она гуляет с парнем, но его мать ругает: у девчонок из общежития дурная слава. «А у нас хорошие девочки, некоторые гуляют с парнями несколько лет, и хорошо гуляют, некоторые замуж вышли. Но есть, конечно, плохие, из-за них обо всех судят». Везет домой подарок: пластинку Аллы Пугачевой. «А вдруг мне скажут: у нас Пугачева уже не в моде?»

Скутеристы-гонщики, переезжают на соревнования в Псков. Разного возраста. Больше трех часов, не прекращая, наперебой говорили о гонках. Перебирали случаи: заезды, соревнования, нечестное судейство. Как кому-то засчитали лишний круг, хотя у них отказала подача бензина в мотор. Они 2—3 минуты отсиделись в укрытом месте, а потом, пропустив круг, включились в гонку как ни в чем не бывало. О волне в открытом заливе, и что в водохранилище идти лучше. Как задевали за буи, как переворачивались лодки, как добирались до финиша без бензина, с пустым баком, «на одном карбюраторе». И про нижние клапаны, шатуны, кривошипы, про конструкцию лодок, сравнительные достоинства, усовершенствования и хитрости.

Для постороннего непонятный мир, непонятные страсти. А у них глаза горели.

Подъезжаем к Ярославлю. Старушка смотрит в окно.

- Какие дома высокие! Как в них только забираются?
- Это разве высокие? В Москве не такие есть.
- Там небось одни начальники живут.
- Почему начальники? Всякие живут.
- Начальники живут в квартирах, — уточняет кто-то.

Нигде так, наверное, не ощущаешь разнообразия жизни.

1971—1981, 1995

6.01.78. Поехал в Дмитров к Попову. Нашел его чуть ли не случайно: у меня оказался неверно записан адрес, завод экспериментальных станков вместо фрезерных, а по адресу Заречная улица меня все отправляли в район Заречья, который лежал совсем в другой стороне. Лишь один попутчик подсказал правильную дорогу.

Он мне очень понравился. Интеллигентный, умный, достойный, ничуть не похожий на свои рассказы. Обычный случай, когда удивляешься, откуда что берется. Я занял очередь в магазине за водкой, он сказал: «А может, не надо?» Живет с женой, милой девочкой-врачом, И.Г. Она терапевт, но работает на санэпидемстанции. Комната и кухня — половина маленького одноэтажного дома, печь, огород. Он получил это жилье в обмен на трехкомнатную квартиру в Красноярске и очень доволен. Работает в Худфонде, его дело ездить в командировки и оформлять договора на заказы художникам, которых он не видит и к которым относится с насмешкой. На работу надо ездить раз в неделю, получает он за нее 100 руб., не считая премий, жена рублей 150 — грех жаловаться. Главное, есть свободное время писать. Заговорили о Красноярске, оказалось, его старшая сестра училась в одном классе с моей женой в 11-й красноярской школе, а И. Г. была ученицей Елены Константиновны. Он уже подал заявление в Союз писателей, его уже приняли на бюро прозы, дальше пока движется медленно. Рассказал о недавнем собрании в Доме литераторов на тему «Классика и мы» — с «бредовым, монархическим, фашистским», по его словам, выступлением Палиевского и воинственным выступлением Куняева, который противопоставлял Мандельштама-«человека» Багрицкому-«волку», с примирительным выступлением Эфроса: нам дали возможность высказаться, мы должны доказать свою зрелость. (Кто этот дядя, который за нами смотрит?) Словом, он в курсе литературных дел, даже больше, чем я, все читает. Мне показались близкими его вкусы. Объяснил, почему ему чужд Распутин, хотя он и отдает ему должное: не по мне, когда пишут так серьезно, без всякого юмора. (Я, кажется, косвенно понял, что он имел в виду.) «И потом, мне не нравится этот стиль: “Рассвет вставал над распадком”» (он употребил какое-то другое, диалектное слово). Особенно сошлись мы на Платонове.

Но любопытный момент: когда я упомянул о Войновиче и своем письме к нему, он спросил: «А вы не боитесь?» (что это письмо возьмут на заметку). Было еще подобное упоминание о «боязни». Видно, он отстраняется от «диссидентской» среды и тематики — возможно, с несколько провинциальным представлением об опасности этой сферы и желанием никак не оказаться в это замешанным.

Надписал мне журнал со своими рассказами, очень переживал, что написал «чушь». Дал свои рассказы, я с удовольствием прочел их на обратном пути в электричке.

16.01.78. Приезжал Попов. Он все-таки не принимает Распутина: «Это не увеличительное стекло, а просто стекло». На мою похвалу языку Распутина ответил: «Не знаю, мне и это кажется сомнительным. Сейчас, когда повсюду телевидение, радио, говорят уже другим языком. Я много ездил, но не слышал, чтобы теперь так говорили». Когда я заговорил о том, как выглядит у Распутина наша действительность в сценах, где убирают картошку свою и колхозную, он усмехнулся: «Марк, ну действительно это большое открытие».

Читал Лакшина о «Теленке». Много убедительного. Хотя я не могу принять этого взгляда с точки зрения «Нового мира» (как и у Солженицына — с точки зрения своей), этого представления о роли «Нового мира» в литературе и общественной жизни. Я помню, с каким смешанным чувством, в котором было много разочарования, встречал тогда каждый новый номер журнала. Сейчас, перелистывая старые номера, сам считаю себя неблагодарным: теперь и этого нет; но тогда это явно не удовлетворяло. Я вообще не считаю столь уж значительной роль журналов, будь то некрасовский «Современник» или «Отечественные записки». Достоевский и Толстой печатались у Каткова — важно, кто печатался и что писал. И почему все должны были порывать с журналом Косолапова? Не могу принять и окончательного «прощания» с Солженицыным. Но многое там, повторяю, убеждает. Лакшин пишет, что теперь те 60-е вспоминаются как бесконечно далекая эпоха надежд и «Нового мира» ничто не заменило. Я мог бы перечислить несколько пунктов, по которым наше время сделало шаг вперед по сравнению с хрущевским; и литература без «Нового мира» достигла многого.

18.01.78. ...Поздно вечером позвонил Женя Попов. Он прочел «Маски» и «Лизавина», ему очень понравилось, особенно «Лизавин», что меня радует. «Как бы это объяснить: “Лизавин” внушает оптимизм и надежду. У меня совсем другой взгляд на мир, более мрачный, вы могли заметить. А когда читаешь вас, как-то добрей смотришь на мир, столько здесь доброты и надежды. Я, может, непонятно выражаюсь?» — «Нет, мне кажется, я вас понимаю». (Я как раз вчера пробовал перечесть себя его глазами, и немного смутила по сравнению с его жесткостью «голубизна» интонации.) Говорил хорошие слова о мастерстве: «Вот, например, в бане, у человека с меньшим мастерством это бы не прозвучало, там, по сути, прочитана целая лекция, но ее проглатываешь, потому что мысль концентрирована».

26.01.78. Бандероль с переводом и письмом от Игоря Померанцева. Тревожные нотки: дело идет либо к посадке, либо к эмиграции. «Не подумайте, что я подпольщик. Все проще и потому ужасней: мне не дают говорить вслух даже в моей комнате и не дают возможности читать книги, которые я и так достаю чудом». Видно, Киев отличается от Москвы. Пишет, что Д. С. его последние стихи не считает поэзией.

Вчера я пробовал разобраться в причинах набегающей иногда меланхолии, сравнить достоинства и недостатки моего положения. И как ни суди, достоинств настолько больше, что мне грех жаловаться. Причина всего — несоответствие в заботах о том, что мы значим для людей и что — для Господа Бога. У

библейских евреев это совпадало безусловно: обласканный Богом был избран между людьми при жизни. С тех пор христианское мировоззрение научило нас понимать, что это не так. Светская поправка к христианству: посмертное воздаяние за муки — вовсе не рай, а посмертная память и слава.

27.01.78. Горькое наблюдение Шестова: когда у американцев попробовали отнять спиртное, они отстаивали право на него с помощью целой армии бандитов; духовные ценности так не защищают. Когда в России громили церкви и уничтожали священников — страна это проглотила.

5.02.78. Спасительна для жизни ее способность плодотворно существовать и развиваться в слое, независимом от государственных, политических ирреальностей. Если читать наши газеты и слушать казенные речи, покажется, что настоящая жизнь просто не может существовать в этой атмосфере лжи, несуществующих понятий. Не может быть, во всяком случае, ни литературы, ни искусства. Но все существует на глубине, там, где любовь, семья, дом, хозяйство, дружеские отношения, книги, музыка, природа. Все это как у людей, даже стихи удаются истинные и картины. Только тяжело вспоминать, что тебя ждет, едва переведешь взгляд.

11.02.78. Трагически-безысходное ощущение абсурдности мира может быть упразднено одним взглядом на любимого ребенка. Не потому, что детям неведом ужас. Но они доверчиво смотрят в будущее, и это их право.

Потому, наверное, пантрагизм — достояние мужчин; для женщин это — непозволительная роскошь

13.02.78. Странно, недавний «клуб рассказчиков» и теоретизирования Ерофеева о вине русской литературы перед читателем (который не узнает в страшной жизни той благодати, что считается жизнью на страницах книг), а затем его статья о Шестове продолжают будоражить мою мысль. Я думаю о том, почему Достоевский больше принят всем миром, чем Пушкин. Что могут сказать миру благостные картины у Распутина, Носова, Белова? Почему во всем мире должны думать и верить, что русский крестьянин от природы благородней и душевней, чем фермеры у Фолкнера, знающего, что такое жестокость и абсурд жизни? Собственные жизненные наблюдения не решают вопроса, кто прав: они не только ограничены, но и выборочны. Взгляд на мир формируется всей совокупностью наблюдений и размышлений. И порой мне кажется, что наиболее близкий действительности взгляд на мир — это представление о его жестокости и бессмысленности, облагороженное духовной надеждой (как бы она ни называлась, религией или просто верой в человека) и смягченное юмором. Это взгляд Шекспира и Фолкнера. Во всяком случае, мне он кажется наиболее плодотворным в прозе.

14.02.78. Грех жаловаться, что нас не печатают: вспомним наших советских классиков. До сих пор не напечатаны «Чевенгур» и «Собачье сердце», «Котлован» и «Верный Руслан», «Четвертая проза» и «Реквием». Не будем завидовать тем, кто перед смертью вдруг обнаружил, что напечатал все написанное, ничего не осталось в ящике стола (как Шукшин). А Шолохов — тот вроде ухитрился напечатать даже больше, чем написал.

8.03.78. Я ничего не делаю, чтобы содействовать изданию стихов Ильи — в какой-то уверенности, что время само позаботится обо всем истинном, достойном задержаться на его сите. Дело не в том, что я и о себе забочусь не больше, что и себя предпочту увидеть забытым, если ничего не окажется достойного крупной памяти. О себе можешь и не заботиться, найдутся другие; о нем, кроме тебя, — некому, и надо хорошо проверить, не равнодушные ли в тебе говорит, не душевная ли вялость. Надеюсь, что нет; меня просто устраивает лишь крупный счет.

Эти мысли пришли ко мне при чтении рецензии Чудаковой на Каверина. Она пишет, как он заботится о памяти своих друзей.

10.03.78. Вчера под впечатлением стихов Давида в «Новом мире» (такие щемящие душу мысли о смерти) написал ему большое нежное письмо. Волновался, сомневался, даже вспотел. А сегодня получил от него письмо, отправленное еще 3 марта (неделю шло!). Очень простое, дружелюбное. Он счел, видно, необходимым объясниться, почему не писал и не звонил. Комплексы мои несколько успокоились. Хорошо все-таки, что я свое письмо написал на день раньше...

Давид упорно советует мне войти в какое-нибудь совещание молодых, чтобы вступить в Союз. Странная идея.

13.03.78. Две необычно резкие статьи против режиссера Любимова. Одна, в «Правде», написана с таким демагогическим темпераментом, какого я с 40-х годов не слышал. Не знаю, предвещает ли это похолодание (еще лишение гражданства Григоренко, готовят на март два суда), но на настроения может повлиять — и среди прочего, на судьбу моего «Меньшутина», которого, видно, как раз сейчас, под это настроение, будут рассматривать. Тоскливо. Когда-нибудь я как о золотом веке буду вспоминать об этих вот месяцах: месяцах сладостной работы, обеспеченности, любви, здоровья, семейного счастья, ожидания ребенка. Странно, как много примешивается к этому томлений и тревог. Как бы научиться сполна жить сегодняшним счастьем?

Что корчить из себя блаженных или гордецов: мы принуждены к противоположному сожительству с режимом политических гангстеров, грубых и властных хамов.

16.03.78. С каким-то брезгливым чувством принимаешь из редакции свою рукопись, униженную подчеркиваниями и вопросительными знаками на полях, всеми этими «ха-ха» и нотабене. Скорей отмыть от следов чужих липких пальцев, оттереть ластиком.

30.03.78. *Карадаг*. Неделя отдыха и свободных раздумий на Карадаге оказалась для меня полезней, чем я думал. Последние полгода я слишком жил мыслями о возможной публикации (и связанными с этим — как ни смешно, преимущественно с этим — заботами о состоянии мира и нашей внутренней политике). Что-то ныло в душе все время, не давая мне свободы.

Сейчас я почти что очнулся и готов жить дальше, исходя из предположения, что близкой публикации ждать не приходится и что ничего для меня не

изменится. Надо жить, работать, кормить семью, молить Бога о благополучных родах для Гали.

Я пробую разобраться, что же меня гнетет, — как психоаналитик.

Надо исходить из того, что способность к счастью во многом зависит от внутреннего устройства и от ограниченности человека. Счастливы ли были Цветаева, Ахматова, Булгаков, Платонов? Счастлив ли был Пушкин? (Он мне сейчас видится: в сомнениях о женитьбе, неуверенный в себе, в своей способности быть счастливым и приносить счастье, в своей красоте, привлекательности для других — и это он, такой легкий и гармоничный в стихах.) Могут быть счастливыми некоторые баловни судьбы, музыканты-исполнители — но и они могут переживать и чувствовать себя несчастными, если не пришел вовремя самолет... Да мало ли что. Можно жизнь рассматривать как череду мелких неудач. Если же считать счастьем способность наслаждаться жизнью, получать положительные эмоции — то это удел людей примитивных, малоразвитых. Счастье и полнота жизни несовместимы.

Решив так, я пробую разобраться в другом: достоинство ли мое — моя пассивность, уход от суеты, но вместе с ней и от страстей, борьбы? Верно ли мое представление о ценностях, когда я предпочитаю суть и истину, а не удачу и победу, достигающуюся в жизненной борьбе? Я не отношусь к жизни как к борьбе, я не хочу пробиваться — прав ли я? Не победителю ли достаются блага, лучшие женщины, богатство впечатлений? Не знаю; но, видно, надо признать, что дело здесь в изначальном человеческом устройстве...

27.04.78. Вдохновенность ложными и несостоятельными идеями (революция, большевизм) — заметный недостаток лишь для близкого времени с неизжитой злобой дня. Кого сейчас заботит, что герои Дюма умирали за тиранов, а протопоп Аввакум — за двоеперстие?

5.05.78. Я веду себя как гений, не имея на это прав. Не знаю, чем стану в скором времени кормить детей, если запоздают публикации и договоры.

17.05.78. В житейской повседневности я все больше руководствуюсь правилом, напоминающим «бритву Оккама»: не умножать сущностей сверх необходимости. Не покупать вещей, кроме насущно нужных, не создавать искусственных потребностей.

25.05.78. Прекрасная поздняя весна, свежая яркая зелень в лесу, пахучий букет черемухи на столе, поют соловьи, я жду ребенка, здоров (и здоровы мои близкие). Мне кажется, что я пишу сейчас — могу написать — действительно значительную книгу, и ничто не мешает мне работать, даже забота о деньгах. Я пишу с утра до обеда, а после обеда перевожу для Детгиза славную книжку, которая со временем даст мне рублей 800. Когда-нибудь я пойму, что это счастливая пора. Надо чувствовать себя счастливым. Хотя жизнь тревожная, хотя меня не печатают, и неизвестно, будут ли, хотя мое положение в обществе не блистательно, хотя только что прошел тягостный суд, и у людей, довольно близких мне (Леонард Терновский) прошли обыски, а что будет дальше со всеми и со мной, неизвестно, хотя впереди новые тяготы и лучший возраст проходит. Я все же вправе считать себя счастливым.

26.05.78. Женя Завадская мрачная, пользуется любой возможностью, чтобы не ходить на работу, не видеть этих рож, которые готовы в любой момент писать доносы; и даже на хорошую конференцию (что-то о восточных символах) идти не может: тут такое творится, а она — о древних символах. И заговаривает об отъезде: невозможно дышать. Дети, уже взрослые, особенно этого не выносят.

Я вспомнил: Блок написал, что Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха. Сам Блок знал, что значит задохнуться. А мы не задыхаемся, как будто у нас воздуха больше, чем у Блока и Пушкина. Или мы приспособились для жизни в нем благодаря каким-то мутациям — как приспособились за несколько поколений насекомые к дусту? А может, дело просто в резкости перепада: они еще помнили о другом воздухе, а мы другого от рождения не знали?

Я сказал: «Ты, может быть, там найдешь почву; там теперь твои коллеги. А я знаю, что ни при каком строе и ни в какой стране никто не поможет мне написать мою вещь лучше, чем я смогу сам». Она возразила: «Но ведь жизнь не сводится к тексту...» Верно, она не сводится ни к чему отдельно.

Вот настроения по Москве. Мы говорили об этом с Сидуром. На всех особенно подействовало обращение с Ирой Орловой, когда ее раздевали при мужчинах чуть не догола. Это была открытая демонстрация агрессивного насилия: мы ни на кого не обращаем внимания. Дима все же надеется, что вслед за волной зажима произойдет ослабление. А еще все с опаской думают о Китае: взрослых сыновей призывают туда на границу. «Все равно надо работать», — говорит он. Больше всего занимается отливкой и обработкой своих моделей в материале. Возможно, памятник жертвам насилия станет эмблемой месяца прав человека в декабре. Это было бы важно. Говорит, что западноберлинский сенат готов установить в Берлине «Треблинку». Это была бы вершина мечтаний. Сделал интересную работу «Сусанна и старцы»...

Я делю свое время между Аполлоном и Мамоной, которая представляется мне Аполлоновой теткой и домоправительницей, снисходительно кормящей нас обоих.

3.06.78. У меня родилась дочь. Вес 3150, рост 50. Ровно в 12 часов. В 5 утра отвез Галю на такси. Было прекрасное ясное утро. Цвели яблони и сирень. Весна в этом году задержалась, холодно.

4.06.78. Опять не успеваю собраться с мыслями, мгновенные прозрения исчезают, незапечатленные. Мне кажется, у меня сейчас бывают минуты истинного и спокойного понимания. Но иногда ловлю себя все на том же: на суетности, неуверенности, зависти, недоброжелательстве. (Вижу, как печатают людей, как они вступают в Союз писателей, зарабатывают деньги, живут в свое удовольствие.) Хотя мне вроде ничего не нужно. Ну напечатали бы рассказ. Я ведь знаю себе цену. Нет, вся беда в том, что «Легенда» идет не так, как хотелось бы.

Но вот конкретный повод для мыслей. Женя Попов рассказал, что умер Домбровский. По сути, этот прекрасный писатель напечатал лишь первую

часть «Хранителя древностей», «Смуглую леди», которой я не читал; еще одна вещь вышла на Западе. Тем не менее его знают кому надо. Достаточно одной такой книги, как «Хранитель древностей», чтобы выделиться из этой среды. И все же грустная судьба. Иногда я предчувствую для себя нечто в этом роде.

А в Манеж стоит очередь на выставку Глазунова. «Голос Америки» взахлеб расписывает сюжеты («Блудный сын» — молодежь танцует на кладбище, разрушенная церковь и т.п.) этого халтурщика и негодяя. И в книге отзывов пишут: спасибо за правду. Люди имеют ту правду, которой ищут и которой заслуживают.

Какая-то резина тянется из-под пера; я все же пишу, чтобы собраться с мыслями, которые еще недавно казались мне четкими. О современном чувстве элитарности, о массовости; новый уровень понимания искусства; невеселые (для людей моего типа) предчувствия будущего... Нет, не буду вымучивать, подожду, пока вновь сверкнет.

4.07.78. У Копелева. Слухи о его отъезде обретают такой вид: после нервного напряжения последних месяцев (продолжают вызывать людей по делу Копелева, растет досье, у Раи полтора месяца бессонница) они решили принять приглашение Белля...

Обоим очень понравился мой «Лизавин». Лева сказал, что я единственный продолжаю сейчас традицию философского романа (даже сказал: первый после Дидро). Рая говорила довольно умно — и попала близко: что я поднял пласт жизни, которого никто по-настоящему не касался, а это и есть современный народ; причем воспринимаю этих людей с сочувствием, хотя о них много чего можно сказать, это болото; и очень зримо видишь город, людей; прекрасное сочетание гротеска и реализма. «Впечатление скачка — причем я не могу сказать, ваш ли это скачок или мой скачок в восприятии» (это интересно!).

22.07.78. *Kačergine*. Вчера вечером небольшая прогулка и разговор с Кнабе и Ягломом. Рассказ Кнабе о Пензе. Спрашивал, в какое животное я бы хотел воплотиться. (Он хотел бы воплотиться в белку.) Я ответить не смог. Его мысль о том, что гениальность писателя можно измерить как отношение достигнутых им вершин ко всему написанному. (Бывает, что человек кроме одной великой вещи и нескольких хороших стихов написал много посредственного; меньше всего это можно сказать о Пушкине.) Яглом сослался на критерий математики: есть разные типы ученых; можно оценивать достижения ученого либо по простору площади, которую он покрывает, либо по вершинам. Мне кажется, что о величии художника вообще нельзя судить изолированно от культурного значения его для времени.

Еще один вопрос Кнабе: в какую эпоху я хотел бы жить? Я сказал, что в Европе первой половины XVI века. До этого беглый разговор с ним о замысле его статьи, не доведенной до печати: об усвоении культуры и идеологии Римской империи в николаевской России (именно империи, а не республики: архитектурные идеи и пр.).

30.07.78. *Kačergine*. Я шел по улице и вдруг рассмеялся вслух, заметив, как я одет: рубаха, трикотажные брюки и плавки переданы мне от С., сандалии — от

А., носовой платок — Танин, авторучка в кармане взята у кого-то Галей; нарезанные бумажки-оборотки. Ничего, что было бы куплено мною для себя. Это особенно забавно на фоне прочитанных сегодня дневниковых записей Т. Манна (14.03.1934) о его стиле жизни (гетевском) и об утрате привычной жизненной обстановки как о *Stil- und Schicksalfehler*².

5.08.78. *Kačergine*. Вечерняя прогулка с Кнабе. В истории реально действуют поколения (одновременно 5, с разницей в возрасте 10—15 лет), которые отличаются друг от друга не только идеями, но прежде всего чем-то трудно выразимым, бытовым: манерой одеваться, представлением о культуре, отношением к истории — приметам, которые позволяют им понять друг друга, но делают чуждыми людей другого поколения. И т. д. Я возражал, что в каждом поколении есть несколько типов, деревенский и городской сверстники прожили жизнь в разные времена. И т. д. Почему-то осталось возбуждение и чувство недовольства собой. Хотя могу себя упрекнуть лишь за стремление говорить самому.

9.08.78. *Москва*. Вчера поздно ночью Галя показала мне до конца свою серию «Amores» — по-моему, принципиальное достижение. Новая пластика, эротика, «совершенно» (в художественном смысле) преображенная в искусство...

В мое отсутствие она перечла «Маски», говорит: «Как бы они прозвучали в 72-м! А теперь уже не то». Действительно обидно, хотя и рассчитываешь больше, чем на 6 лет. Но есть вещи, которые хороши в свое время.

13.08.78. Дочитал «Школу для дураков» Саши Соколова. Откуда взялась, как возникла эта книга в литературе, занятой проблемами настоящего, прошлого, будущего? Она взялась из мира, где нет истории, жизни социальной, экономической, производственной, нет общества, политики, армии и стран — но то, что есть, ничуть не менее важно.

Жизнь, понятная и естественная для других, нормальных людей, врывается в сознание дурака обрывками, пенными брызгами речи — клочками расхожих песен, афоризмов, книжных заголовков и строк, повседневных клише — все это настолько наше (как два меловых старика с поднятыми руками, один в кепке, другой в фуражке), что не представляю, может ли это быть понято в переводе.

Эту книгу можно изучить, но не заучить — как переливающуюся череду облаков, как шум дождя. Я не удивлюсь, если, перечитывая, обнаружу, что в ней написано уже совсем другое.

15.08.78. Вчера приезжал Попов с бутылкой польской рябиновой водки. Он отвозил свои рассказы в «Знамя», говорил обо мне. Можно занести туда свои повести, хотя, глядя на этот журнал, трудно на что-либо надеяться. Его рассказы о разговорах в бане — антисоветчина, о Брежневе и кто когда последний раз видел вшей. Вагонные разговоры о том, что скоро всю власть возьмут татары. — «Почему татары? Ведь ни одного нет в руководстве». — «Потому и возьмут. Им обидно». Его разговоры с Галей о Красноярске. Суждения о редакторах: на них нельзя злиться, они сов. служащие. Как в конторе «Утильсырье» знают: вот это ветошка, вот это шкурка, они и сортируют. Так и эти научились: это хорошо,

² Букв. «ошибка в стиле и судьбе» (нем.).

это нельзя. А в остальном милые люди, сидят, судачат о детях, о продуктах, как в любом учреждении.

XX век не просто знает о прошлом больше всех предшествующих веков; в отличие от XIX, тоже многознающего века, он все меньше склонен считать себя умней предшественников. Он учится не свысока, а изнутри вникать и в европейские средние века, и в Возрождение, и в культуры Востока, догадываясь уже о необходимости и самоценности того, что прежде казалось дикостью, недоразвитостью и суеверием. С этим связаны и новые сомнения о безусловных приобретениях прогресса.

6.09.78. На редкость несосредоточенно думал над гл. 3 (Старуха на острове); однако, может быть, именно благодаря этой разбросанности записал несколько эпизодических обрывистых находок для других глав... Сюжет выстраивается все ясней, очищаясь от излишеств; в то же время появляется больше свободы в фантастике.

«Вопросы литературы» № 8 опять вернули меня к Толстому. Ничего не могу с собой поделать: неинтересны мне его поздние размышления даже об искусстве — общие слова и уколы в Достоевского. А эта жизнь! Эта Софья Андреевна, румын, оскопивший себя в 18 лет после того, как прочел «Крейцерову сонату», и в 30 лет разочаровавшийся, когда увидел, как живет Толстой; эти толпы на вокзале, кричащие «ура» и готовые задушить Толстого... Но одновременно читаю «Хаджи-Мурата» — это прекрасно.

Конечно, все воспоминания о Толстом мельчат его в той мере, в какой были мелки авторы воспоминаний, записывавшие за ним каждое слово. Вот написал о Толстом Горький — и сумел увидеть величие. Нужно, чтобы и пишущий был на уровне предмета.

13.09.78. Вечером Юлик Ким с гостями, читал своего «Фауста». Это состоявшаяся вещь, мелкие оговорки ничего не меняют. Странно отсутствие практического поворота: что это надо печатать, ставить. Впрочем, не странно, а нормально. В его исполнении это звучит сильнее, чем при чтении; вообще, эта вещь, конечно, должна звучать. Сам он, выпив, пытался вдаваться в философско-психологические толкования разных эпизодов; к счастью, талант взрывает эти необязательные толкования. Мне и в своей работе надо бы позаботиться о хотя бы близкой простоте языка и изложения. У него прекрасное состояние человека, завершившего работу, — можно ему только позавидовать. Мне до этого еще так далеко! Но я все же рад этой тяжести и не прочь, если она будет длиться. Мне сейчас даже не очень хочется кого-либо видеть. Я пригласил к себе меньше народу, чем мог бы...

16.09.78. Написал маленькую главку «Северный ветер»; меня привлекло здесь включение фольклора.

Гулял с Леной. В нашем дворе откопали настоящую бомбу.

Вечером Юлик с дочерью. Странно порой, как он сам себя не понимает (возможно, как и все мы). В творчестве он намного выше, чем в рассуждениях (что, впрочем, лучше, нежели наоборот). Его намерение опять написать нечто

на «диссидентские» темы, нечто вроде открытия для себя: и друзья, и враги, которые судят о диссидентах, сходятся на том, что это не идеальные, не выдающиеся люди, что их деятельность — часто проекция жизненных неудач и что это естественно. Боюсь, если он начнет об этом писать, нового «Фауста» не получится. Чувство, что ему не хватает профессионального литературного общения, он мечтает о некоем салоне, где люди обсуждали бы животрепещущие темы; он искренне уверен, что где-то какие-то писатели говорят серьезней, глубже и умней, чем, скажем, мы с ним. Но когда начинает говорить о технологии своей работы над «Фаустом» и т.п., судить о конкретных людях — он умен и прекрасен.

23.09.78. ...Застольные разговоры Лукина. Компетентные рассуждения о Брежнев, Э. Кеннеди, Китае, современной политике. «Я не надеюсь, что на моем веку наша страна станет Швейцарией, но если бы она хоть приблизилась к Венгрии, меня бы это устроило». Я привел место из дневника Т. Манна о слухах, будто Гитлер, Геббельс и Геринг представляют либеральное крыло партии; он неожиданно стал меня опровергать: «Ты судишь с позиций историка XXII века, для которого все оттенки в фашистской политике несущественны. А для человека, который живет в это время, оттенки жизненно важны. Мы живем один раз, и для меня не все равно, придут ли меня убить или мы сможем попить винцо и ругать правительство». Мысль, которую я сам считаю верной, хотя к Гитлеру и прочим она вряд ли имеет отношение. Но при этом он живет проблемами и событиями среды, которая мне глубоко чужда и порой противна: какие у кого из знакомых осложнения, кто поехал за границу, у кого там осталась жена и т. п.

По пути в метро он стал развивать свою мысль о неизбежности жизненного выбора: ориентация на житейские положительные эмоции (дружеские отношения и пр.) или забота о том, чтобы оставить «память» (в вечности). Житейские хлопоты, неурядицы, проблемы помогают не ощущать коренного трагизма человеческого бытия. (В Швеции нет житейских проблем, и потому там глубок развал личности.) Это навело меня на целую серию мыслей об «Искусстве как форме существования», возможно, важных и для «Легенды». (Проблематика Макария и Никанора — см. записи на листках.) А еще я подумал о потерях, связанных с уединенностью моей нынешней жизни. Впрочем, уединенность стимулирует размышления, а в общении есть свои потери.

29.09.78. Вчера покончил с собой Тоша Якобсон. Последний месяц у него была депрессия. А до этого все казалось прекрасно: счастливая женитьба на юной девочке, восторженные письма. По странному совпадению, я сегодня утром думал о нем: вспоминал его статью, где сравнивались переводы Пастернака и Маршака. А потом перечитывал предсмертные записки Копылова. Галя сказала: он покончил с собой, уже когда уехал.

Позвонил в Пярну Давиду. Там уже знали (от Дикова). Давид сказал, что начал писать мне письмо, но пока не закончил. Попросил прислать «Насреддинов» (что я и сделал), обещал прислать пластинку.

Звонил Даниэлю. Он тоже знал.

30.09.78. Все думаю о смерти Якобсона. Перебираешь потери последних лет — они все обильнее, слишком обильные, как на войне, только еще более противоестественные.

11.10.78. После Фолкнера впервые за долгое время читаю «Континент» (взял ради статьи о Грозном) — и особенно чувствую поверхностность, мелкий уровень и прозы (Некрасов) и публицистики. Хотя что-то бывает по-человечески интересно: новая информация, новые истории. Но нет глубокого проникновения в человеческую и политическую суть нашей трагедии, нет ни желания, ни способности заглянуть в души людей, и врагов, и союзников: откуда все это, почему, что же это такое?

25.10.78. Наше время порождает немало умных людей, не способных создать, однако, что-либо творческое, под стать своему пониманию. Видно, для этого ум должен оплодотворить какое-то еще (духовное) зерно, а оно бывает выхолощено. На вид все есть — нет плодотворности.

1.11.78. С некоторых пор на меня снизошло неправдоподобно уверенное спокойствие. Я никому не завидую, никуда не спешу. Надолго ли? Пока я действительно верю, что мое место в литературе больше зависит от моей нынешней работы, чем от чего-либо другого. А в этой работе я с некоторых пор тоже становлюсь уверен. Нужно время, терпеливая работа, здоровье — и немного удачи. Удачей была бы, конечно, публикация, она и время обеспечила бы мне деньгами. Но рассчитывать надо только на себя. Удача — это уже сверх программы...

15.11.78. Зашел в «Знамя», не сомневаясь, что мне вернут рукописи. Сопровождалось это комплиментами. «Но вещи не знаменские, — заявила Иванова. — У нас уже сложились традиции». Они считают это традицией. (В комнату просунул голову Кожевников.)

22.11.78. Сегодня имел для работы все утро и сверх ожиданий закончил главу — отмахал 10 страниц.

Мерзкая передача по телевидению о Булгакове. Слова, которые говорил Симонов, казалось бы, нельзя назвать ложью, ни одного факта в отдельности нельзя было опровергнуть, но их отбор, расстановка акцентов полны такой фальши, которая опасней наглой, откровенной лжи. Упоминалось даже письмо Булгакова правительству — но не цитировалось, зато цитировался фрагмент его разговора со Сталиным, и Сталин оказывался чуть ли не благодетелем, защитившим писателя от анонимных врагов. Впрочем, и травля Булгакова выглядела в изложении безобидным идейным спором, вполне оправданным, и Булгаков исправил свои ошибки. Единственным из его друзей перед смертью оказался назван Фадеев, который готов был послать Булгакова на лечение за границу и после смерти в письме воздал ему должное. Тошно думать, что могут сделать с судьбой человека после смерти. Единственное утешение: все-таки не все. Но как отвратительны эти «либералы» вроде Симонова — вредней откровенных негодяев.

23.11.78. Все чаще наше время видится мне загнивающим большим болотом, где вода лишена свободы самоочищаться в движении, где все живое задыхается без воздуха — кроме торжествующих, жиреющих жаб.

28.11.78. ...Моя личная ситуация отражает дух времени: затяжное, выматывающее душу ожидание, без видимых сдвигов. Но, конечно, изменения накапливаются, во всяком случае те, что от меня зависят.

4.12.78. Вчера не работал, сегодня кое-как, отвратительно писал сцену пира; все это еще надо будет делать.

С интересом читал комментарии к «Идиоту»: волнения Достоевского, боязнь загубить замысел — все это мне близко. А непонимание даже умной критикой и современными писателями Достоевского, странные претензии к его реализму! И его собственное недовольство собой: не удалось сказать и десятой части, но некоторые места хороши. И противопоставление себя Толстому: именно так же выразился бы и я.

8.12.78. Когда слишком долго живешь соками одной стилистики, очень полезна прививка от другого ствола. Я думаю об этом, читая рукопись новых рассказов Е. Попова.

17.12.78. Смешно жаловаться, что нет времени писать. Времени никогда нет и не будет ни у кого — кроме тех, кому оно почему-то не нужно.

23.12.78. Утром попробовал поработать над 1-й главой и немного воспрянул духом: должно что-то получиться. Но поработать удалось всего полчаса: надо было сидеть с Леночкой, а Галя пошла искать хоть что-нибудь в магазинах; нет ни мяса, ни картошки, пришлось обегать все окрестные магазины, чтоб наскрести что-то на обед.

Позвонил Апту высказать восхищение его переводом Гофмана: я впервые по-настоящему прочел его по-русски. Просто непонятно, как можно было переводить иначе. (Сравнивал с переводом Морозова.) Он был тронут, но не очень мне поверил. Я ценю неуверенность художников в качестве сделанного. После этого перевода огорчился за свою статью: переделки совсем засушили ее.

Вечером на новоселье у Алика Городницкого...

26.12.78. Презрение к нынешним властям стало уже общим местом и давно не отличает людей мыслящих. Разговоры на эту тему притягательны и немного досадны, как всякая банальность.

Правители — сами пленники системы, связанные круговой порукой абсурда и не способные из этого сумасшедшего круга вырваться. Уважения они недостойны, но причина абсурда не в них. В то же время именно у них власть что-то сдвинуть.

31.12.78. Морозы, каких в Москве под Новый год, говорят, еще не бывало. Все жалуются, что мерзнут, у кого-то пропал свет, у кого-то лопнули трубы. У нас пока все в порядке.

Это был год, благословенный рождением дочери, год без тревог о деньгах, зато с тревогами о здоровье детей, год приятных, но несущественных публикаций, благодатной и трудной работы над «Легендой», год терпеливого, уже вы-

матывающего ожидания, неярких событий. Многое вокруг худшает, но в душевной жизни зреет новое качество.

Вчера я перечитывал старые дневники: очень многие мотивы повторяются из года в год. Отчасти это свидетельство единства жизни, медленных сдвигов, отчасти — неизменной для меня роли дневника.

В новом году ко всему, что я имею, хотелось бы немного удачи.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Сочинение снов

Всегда бывало досадно, до чего я плохо запоминаю сны. Это при моем-то писательстве! Другие рассказывают целые истории, на несколько страниц, хоть записывай.

Впрочем, рассказанные сны редко кажутся другим такими же интересными, как тебе, пока ты их видел. Есть такая рыба, переливающаяся дивными красками в момент, когда она только что вытащена из воды. Но уже через несколько мгновений, чуть подсохнув, она теряет всю расцветку, становится серой и неинтересной.

Да ведь и среди сновидцев не все — Кафки. Не знаю, насколько в сновидениях сказывается сущность человека, его уровень, его талант. Сновидения тоже могут быть примитивны — и гениальны; не говорю об умении рассказать. Но что-то здесь не совпадает с «дневными» способностями, что-то бывает выше их, всегда необъяснимое: откуда берется?

Вот, говорят, ученые установили, что люди с хорошей памятью видят больше снов. Наверно, провидческие сновидения дарованы не всем — нужно чем-то внутри обладать.

Л. Шестов цитирует Аристотеля: «У каждого сновидца свой собственный мир, у всех же бодрствующих — один общий мир».

Сны, которые люди видели сто и тысячу лет назад, отличались от наших снов, может быть, больше, чем отличалась их жизнь от нашей.

А как хотелось бы знать, что снится младенцам, совсем недавно рожденным, недавно избавившимся от жабр и хвостика дочеловеческого существования!

Я много раз пытался записывать свои сны. Потому что, даже если, проснувшись, их вспомнишь, но никому не расскажешь и не запишешь, они чаще всего улетучиваются бесследно. Сны — достояние самой короткой памяти.

Полудрема, полуявь, когда плывешь над самой поверхностью сна, как будто не погружаясь в него, не теряя ясности мысли, — на самом деле ты уже там, только этого еще не понимаешь, не признаешь.

Спишь, и тебе снится бессонница.

Или, когда, задремывая над книгой, вдруг обнаруживаешь, что читаешь уже вовсе не то, что в ней написано.

Я засыпал, читая статью Ионеско, место, где он перечислял имена четырех писателей — и я, как будто еще читая, но уже переходя в сон, накидывал на горло каждому из этих авторов петлю одной и той же веревки. Ход мысли во сне казался естественным: если в дальнейшем у кого-то из этих четверых что-то не получится, он будет этой веревкой задушен. И они сами воспринимали мои действия как что-то естественное и логичное, входящее в правила. Очнувшись, я попытался вспомнить, понять эти правила, только что мне ясные. Бредовая логика, о чем говорить. Почему это возникло в моем сне?

Ионеско, кстати, заметил, что во сне мы не бессознательны, мы сознательны. Я не раз ловил себя на том, что подправляю, направляю развитие сна — при всей бредовой нелогичности образов. Вот что интересней всего бывает обнаружить: как ты сам участвуешь в сочинении сна.

Может, тут что-то связано с моим писательством. Мне часто снятся не картины и не события, а словесные описания. Не раз мне снились фразы, образы, мысли, важные, ключевые для работы, над которой я в то время бился; с большим усилием удавалось какую-то фразу запомнить, пронести сквозь сон, заставить себя проснуться — не упустив кончика трепетной, уже тающей мысли. И я обнаруживал что-нибудь вроде услышанной однажды фразы о человеке с таким важным выражением лица, как будто он вот-вот пернет головой. Почему это мне только что казалось таким важным, таким все разрешающим?

Конечно, это чувство многим знакомо. Как и желание немедленно вернуться в прерванный сон, чтобы что-то в нем исправить, завершить, кому-то ответить.

Вот простейший образчик редактирования во сне, который удалось запомнить. Я искал на земле оброненный маленький ключик, я вроде бы видел, куда он упал, но, как бывает во сне, все не мог его найти. Я так и подумал: как во сне — и, отдав себе в этом отчет, с досадой подумал вслед: ну почему во сне обязательно не находить? Ведь в моей власти найти — и заставил ключик проявиться на земле.

Иногда удавалось проследить целую цепочку такого сочинительства. Кто-то предлагает мне попробовать моченое яблоко. Я во сне подправляю: не моченое, а квашеное, как когда-то в бочке с капустой у нас дома. Яблоко тут же оказывается квашеным. Я пробую, оно кажется мне суховатым, еще не проквасившимся. Я говорю продавцу: принесите попозже, когда проквасится. Он собирается забрать глубокую миску, залитую квашеным соком, — и тут я подсознательно начинаю сочинять (или во мне само собой сочиняется?) продолжение: в

этой миске что-то спрятано, он что-то у меня украл. Что? Что-то ценное. Часы? Вижу часы в расколе... Нет, это бессмысленно, часы испортятся...

Я на редкость четко отметил этот момент полусознательного редактирования, своего авторского участия в смене как будто произвольных картинок, с перебором логических вариантов при совершенно нелогичном, бессмысленном развитии общего действия. Что же не испортится? Должно быть что-то сравнительно дорогое, чтобы имело смысл украсть. И вот я вижу в миске лазурит, вроде того, что всегда лежит у меня на столе. Но он великоват, он торчит из раскола. И вместо него в миске оказывается какой-то маленький драгоценный камень, я еще не знаю какой, но уже уверен в этом, я готов разоблачить вора, засунуть руку в миску. И попутное сомнение: а вдруг ничего не найду?..

Но дальнейшее развитие сюжета мне показалось неинтересным и даже каким-то неприятным (с чего это именно такой поворот?) — я предпочел проснуться.

Проснулся с мыслью: почему так просто, сам собой сочиняется во сне причудливый сюжет — и почему это не дается мне в романе, где я как раз в то время безуспешно пытался сочинить что-то вроде абсурдного, как во сне, эпизода?

Но небесполезно было хотя бы уловить, запомнить сам принцип произвольного, но при этом как бы логичного развития.

Почему во сне с тобой так часто происходит что-то нелепое, постыдное, страшное? Лишь отчасти это можно объяснить, наверное, высвобождением «дневных» комплексов и страхов. Например, тревогами за детей. Один из обычных снов такого рода: как мой маленький сын залез на подоконник нашей квартиры на восьмом этаже, и не успел я подумать: как бы не сорвался — он *конечно же* сорвался, но секунду еще держался ручонкой за жестяной карниз. Самым постыдным был в этом сне мой крик — какого-то театрального, сочиненного ужаса, потому что и тут все-таки присутствовало чувство, что это сон, что я этим сном мог распоряжаться и чуть ли не умышленно допустил такой поворот. Но всерьез, до конца пережить это даже во сне *не захотелось*, я предпочел проснуться. И проснувшись, еще слышал этот свой крик.

Было время, когда мне то и дело снились какие-то допросы, обыски: тогдашние диссидентские комплексы. В одном из снов мне присылали prospect — рекламу тюрьмы, в которую меня собирались заключить. Недурно. В другом сне мне разрешили навестить в тюрьме Илью Габая. Следователь говорит мне по секрету какие-то слова, которые могут ему помочь (я их не запомнил — какая-то бессмыслица). А я сижу и не двигаюсь, потому что мне надо кого-то дождаться, а этот кто-то (может быть, Петр Якир) не идет. Наконец я сознаю, что от выделенного мне на свидание часа осталось всего 15 минут, и решаю идти один. Меня пропускают в какой-то железный лифт странной конструкции: в нем надо нагнуть голову, а потом даже встать на четвереньки. Лифт поднимается, я чувствую страшную духоту, спертый воздух, зловоние. (В тюрьме так и должно быть, я понимаю.) Я выхожу из лифта и за поворотом ко-

ридора вижу Илью. Он сидит за столом, поставленным прямо в коридоре, на столе бутылка красного вина, какие-то роскошные фрукты и закуски, за столом несколько человек, пришедших на свидание раньше. (И уже никакой спертости воздуха.) Меня удивляет эта роскошь, но я объясняю себе, что так бывает только на свидании. Илья такой же, как обычно, только уменьшившийся в росте, я обнимаю его и легко поднимаю в воздух, он стал почти невесом. «Все-таки тюрьма, — объясняю я себе, — не всегда удастся вот так поесть». Мне хочется передать ему нужные слова, которые я сам уже все более смутно помню, и, может быть, поэтому меня все время что-то отвлекает, не дает приступить к делу. Вдруг я замечаю неподалеку девушку и почему-то решаю, что при ней нельзя, она подслушивает. А Илья внезапно приглашает ее за стол — пожалел. Она садится, но к чему-то все в самом деле прислушивается, сторожко, как охотничья собака, приближается к столу — и внезапно под него ныряет. «Петуха учуяла», — говорит Илья восхищенно и поощрительно. Слова эти вроде бы означают, что женщина сама — курица и учуяла под столом нечто родственное себе. Действительно, она вылезает из-под стола, держа в руке куриную тушку. Теперь это некрасивая длиннолицая женщина, грубоватая, всеми, видимо, презираемая. Но словами Ильи она как будто польщена. «А что, — говорит она со смущенной гордостью, обглядывая курицу, — этого я всегда учую. Этот от меня не укроется...»

Как, почему сочинялось все именно так? Я проснулся с чувством, что чего-то нужного, главного так и не сделал, не успел, не смог, меня опять увело в сторону.

В другой раз мне приснился допрос. Я держусь уверенно и иронично, чувствую, что следователь ничего не может мне предъявить. «Ну да, а в Рязань-то вы ездили?» — «Запишите, пожалуйста, в протокол: я, к сожалению своему, никогда в Рязани не был», — говорю я твердо и с вызовом. Но при этом глаза у меня закрыты, я почему-то никак не могу разлепить веки. С большим трудом, пальцами приподнимаю правое веко и на мгновение вижу своего следователя: он в помидорно-красной маечке без рукавов и водит, оказывается, пальцами возле моего лица. «Уберите руки! — кричу я брезгливо. — Мне противны ваши прикосновения». И чувствую, что выдал свою слабость: сейчас он, пользуясь моей беспомощностью, тронет меня хоть за яйца — это ощущается как способ изоощренной пытки — и как сопротивляться, если глаза слеплены?..

Нет, конечно, не все сны тягостны и постыдны. Бывают и радостные, и сказочно прекрасные, бывают сны наслаждения, сны торжества. Приснится, например, что тебя, оказывается, напечатали, — и это бывало прекрасно. Но опять же: не знаю, можно ли передать другому испытанное во сне.

И хватит, пожалуй, об этом.

Возможно, самые неинтересные для рассказа — эротические сновидения; подозреваю, что они у всех достаточно сходны. Впрочем, вот напоследок один забавный сон, вполне от меня отчужденный: своего рода порнографическая живая картина. В небольшом зале на сцене мужчины, женщины, дети (явно не по-

нимающие, в чем они участвуют), голые, в странных позах, которые должны считаться красивыми, в украшениях вроде золотистых перчаток и тому подобного. От некоторых тел — фрагменты: груди, члены, другие части завешаны красивыми (театрально-красивыми) драпировками. В центре — картинно совокупающаяся пара, причем видны только совокупающиеся части — ненатуральные; юная девица поливает движущийся член вином. И над всем этим — громадная, мощно движущаяся, колышущаяся обнаженная; ее участие в действии — это дыхание, колыхание: как стихия. Причем все разномасштабное, как бывает на фотомонтажах. А я с Галей и дочками должен зачем-то пройти мимо этой сцены.

Не знаю, все ли наши сновидения на самом деле можно растолковать.

1970—1995

1979

7.01.79. ...Ничтожество этих людей обнажается сполна, когда они оказываются не у власти. Как убоги их мемуары, как мелки мысли, суждения, движения души! Вся их значительность создавалась мерой присвоенной власти, головокружительным правом вершить судьбы людей, стран, континентов. Мне отвратительно, когда этим величием восторгаются.

1.02.79. Все утро печатал перевод дневников Т. Манна и утром повез в журнал С. Прочитав примерно треть, она начала вздыхать и намекать, что это будет трудно: аллюзии. Мы поговорили с ней, как люди, понимающие друг друга. Я вел к тому, что даже неприлично искать аллюзии в материале о германском фашизме. Как в том анекдоте, где арестовали сказавшего «дурак». Мы-то знаем, кто у нас дурак, кого вы имели в виду. Словом, гиблое дело, и скорей всего, работа потрачена впустую.

Потом заехал в «Новый мир», Озерова сказала: в этом году надежд нет... И так, пора с надеждами расстаться. Как это у меня бывает, настроения это, пожалуй, даже не ухудшило. Буду кормиться людоедами, дописывать «Легенду» и пытаться издать что-то на Западе. Других перспектив не вижу. Главное, получилась бы книга, как я хочу.

Я возвращался по серым, скользким улицам. У Театра оперетты настоящий каток, кто-то упал. В магазинах очереди, все что-то несут. Мрачно все это выглядит...

14.02.79. В «Дружбе народов» — тягостно-бюрократические мемуары Симонова. У этих людей сдвинуты понятия о литературных ценностях, они считают литературой свою верноподданническую журнальную возню. А пассаж о Пастернаке просто бесстыден: мы разошлись с ним во взглядах и, конечно, не могли его напечатать. Только и всего! Еще бы Пастернаку не расходиться с Симоновым во взглядах! Но почему при этом он не запрещает Симонову печататься, не вторгается в его жизнь, не травит, не доводит до смерти? А эти берут

на себя право решать, «кому быть живым и хвалимым, кто должен быть мертв и худим». Стыдливо упомянут эпизод двухлетнего отъезда из Москвы: с перепугу попробовал было стать порядочным человеком и хорошим писателем — за-кваски не хватило.

18.02.79. Все утро просидел над гл. 2 (Царь и женщины) в размышлении, но ни строчки не написал...

Вечером по Би-би-си Солженицын. Удивительная для экспромта сложность речи, разработанность интонации — вплоть до многочисленных и артистичных вздохов — вызывала мысль о квалифицированном проповеднике, что отчасти характеризовало и содержание его речей... Солженицын верит в провидение, которое руководит судьбами стран и народов. (Что им самим движет провидение, в этом он убедился давно. Ну, а другими, погибшими, например?) Когда-нибудь мы поймем, зачем нужен был 17-й год, — говорит он. А поняли ли мы сейчас, зачем нужны были Провидению опричнина и Новгородский погром? Впрочем, и мне приятно думать, что все имеет смысл, и моя судьба движется к какой-то не случайной и, может быть, благой цели...

Я многого не могу принять в рассуждениях Солженицына; но его парадокс в том, что частности порой оказываются неважными, он производит общее впечатление, как духовный (или пропагандистский) феномен, и это впечатление бывает благотворно, полезно. Он разрушает затверделые стереотипы мысли, будит беспокойство, создает эмоциональное, духовное, умственное настроение, плодотворность которого я чувствовал на себе, а главное — весь мир чувствует, ибо голос его громок, как ни у кого в наше время. Беда в том, что в этих эмоциях каждый выбирает свое, по своей мерке, и, увы, не без тревоги думаешь о будущем, где власти добьется кто-то из его мюридов.

27.02.79. Зашел к Копелеву, там был Искандер, лежала газетенка «Московский литератор» с откликами на «Метрополь». Полторы полосы дерьма, подписанного разными именами. Особенно меня огорчил Залыгин (почему-то я от него этого не ждал): он единственный обрушился на Попова, назвав его рассказы «стоящими вне литературы»; другие Женю не трогали. Откуда у этих людей уверенность в своем праве определять, кому жить в литературе, кому нет? Рассказы самого Залыгина в последней «Дружбе народов» не выдерживают никакого сравнения с рассказами Попова, это очень слабая литература — но мне в голову не придет запретить Залыгину печататься. Розов: «Мы, конечно, не можем этого напечатать». Мы! Михалков: «Писатели союзных республик, которых переводил Липкин, задумываются, не поискать ли им другого Липкина». Какая уверенность, что всегда найдется другой Липкин! И антисемитизмом, конечно, попахивает...

9.03.79. ...Что говорить, власть прогнила, но сила этой системы в том, что она может держаться, ни на что не обращая внимания, не без конца, но долго, на наш век хватит, держась лишь на военном устрашении. Самая большая опасность — что от безвыходности и избытка военной мощи может возникнуть непредсказуемая военная авантюра.

14.03.79. Дима сделал еще одну гипсовую копию «Треблинки» для немцев: кажется, решен вопрос и выделена смета для установки памятника в Зап. Берлине. Он говорит: «И больше ничего не надо. Я всегда мечтал поставить именно эти две вещи: памятник жертвам насилия и Треблинку. Да еще “Женщина и сталь” — неплохая работа, и Эйнштейн в Америке. И ведь что интересно: я ничего для этого не предпринимал, сижу тихо, никуда не рвусь, ни на выставки, ни за границу. Когда мне принесли книгу, изданную в Австралии, это было для самого меня полнейшей неожиданностью». Я сказал: «Твой пример меня всегда очень обнадеживал в этом смысле». Поговорили вообще о трудных судьбах большинства художников (кроме немногих, вроде Пикассо и Матисса). Мур стал известен рисунками уже в 40 лет и т. п.

Зашел разговор о «Метрополе», он спросил меня: «Ты в нем не участвуешь? Для меня в этом есть что-то сомнительное. Я вообще не люблю коллективных мероприятий. Слишком разный народ».

Я еще раз почувствовал, что мне близка его позиция и в жизни, и в искусстве. Правда, сейчас, когда он столького добился, ему проще говорить об этом, чем мне...

Посмотрел Галкины «Amores», похвалил, несколько выделил для себя. Особенно понравились рисунки пером. Поговорил об этом по телефону с Галей.

16.03.79. Вечером у Померанца. Его действительно взволновала статья В. Борисова в «Вестнике», а главное, весь характер номера, тенденция. Я номер пролистал: похоже, эта волна начинает всех захлестывать...

А в статье Борисова много говорится об Иване Грозном; он его осуждает, но считает нерусским явлением: недаром Иван сам не считал себя русским и хотел бежать в Англию. И т. п. Неожиданно оказывается, что я взялся за самую злободневную нынешнюю тему.

Разговор о кризисе современной цивилизации. Померанц связывает его с кризисом рационализма, который сменил с XVI века средневековую идеологию. Марксизм был выражением этого кризиса, две мировых войны ничего не дали ни одной европейской стране, но лишили Европу ведущей роли в мире. Индийцы называют мировые войны европейскими гражданскими войнами. Возможно, начинается эпоха ведущей роли Востока, хотя нынешний Восток — каша. Сейчас прослеживается тенденция к поиску большей целостности, от рационалистических частностей, потому что всю историю мировой культуры можно трактовать как борьбу между целым и частным. Отсюда поиск ценностей иррациональных и т.п.

(Я подумал: может, и мой поиск фантастического стиля не случаен? Реализм XIX века — высшее и конечное выражение рационального поиска; сейчас нужен новый синтез...)

6.04.79. Искандер у Копелева читал новую главу из «Сандро», а по сути, самостоятельную повесть о Кязыме. То, в чем другой увидел бы лишь сюжет для детективного рассказа, под его пером превращается в настоящий роман по емкости, богатству разнообразных тональностей. 80 страниц он написал за ме-

сяц, правда, работал по 10 часов. Я от души ему позавидовал. Он хорошо читал, чтение его, с передачей разнообразных кавказских интонаций и даже пением, много добавило к тексту. Все это я ему сказал. Интересно его признание, что лейтмотивом, сопровождавшим его работу, было стихотворение Мандельштама «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме» — он прочел его наизусть. Я уже второй раз отмечаю его пристрастие к Мандельштаму. Его рассказы о Лакобе, история его смерти (чтобы завлечь его и отравить, Берия послал к нему свою мать, которой кавказец не мог отказать; иначе Лакоба просто к нему не пошел бы, отстреливался бы). О любительской фотографии: Берия с топором за поясом, Сталин в сапогах с отворотами — потрясающе. Разговор об абхазском языке, о былой разноязычной атмосфере, благодаря которой абхазцы прежде знали несколько языков; теперь этого нет, что обедняет жизнь.

4.06.79. Приехал Каралашвили, по пути в Веймар, очень милый человек, совсем непохожий на грузина. Его дед (или прадед) по матери был немецким миссионером, дед по отцу — грузинским патриархом. Мать арестовали в 43-м году по статье 58—10, отец воевал под Сталинградом. После ареста дед назначил ему содержание 1200 тогдашних рублей в месяц и дал в воспитательницы русскую монашку. (Увидев Галину гравюру «Богомолки», сказал: «Я не люблю этих старушек».) Детские впечатления: молния, попавшая в тутовое дерево, и объяснение монашки, что это Илья-пророк; длинный путь по горам, а монашка обещает, что там дальше ждет Св. Георгий, который посадит на коня и отвезет, — и потом разочарование: Св. Георгия не оказалось, и няня показала на паровоз: вот он. С тех пор при виде старого паровоза всегда мысль о Св. Георгии. Няня воровала из дома столовое серебро и скатерти («наш дом был бюргерский, зажиточный»), после ее смерти нашли несколько ящиков непроданного ворованного имущества...

Размышления о том, как толковать евангельский текст о проклятом Христом «инжировом дереве»: каждый человек должен принести плоды, иначе он духовно засохнет. «Но почему Христос потребовал от дерева цветения в такое время года, когда не полагается цвести? Когда я высказал эти сомнения Сереже Аверинцеву, он отказался обсуждать: для него, верующего человека, евангельские тексты вне критики». Бабушкина мудрость: кто украдет хлеб, тот не вор, кто украдет сыр, тот вор. И размышления по этому поводу: все, без чего человек может обойтись, это сыр. Спор с мифом о Сизифе в толковании Камю — о том, что человек обречен вкатывать камень без пользы. Есть притча у одного грузинского писателя о том, как человек вкатывал камень в гору и со смехом сам его сбрасывал: этот камень для меня и горе, и радость. То есть человек сам принимает свою судьбу, какова бы она ни была, сам выбирает. Сванский обычай: уходя на войну, вносить на гору свой камень, а вернувшись, сбрасывать его. Остаются камни тех, кто погиб, — своего рода памятник.

3.07.79. *Kaçergine*. Альбинас, пьяница-сантехник, работающий истопником, жалуется, что трудно стало с топливом.

— Кончится капитализм, — доверительно понижает он голос, — без штанов будем ходить.

Но при том уверенность, что капитализм кончится.

2.10.79. ...Прочел статью Самойлова о Пушкине в «Литературном обозрении» — с большим огорчением. Так все это расхоже, вяло, не самобытно — хотя и чувствуются претензии на большее. Такое мог бы написать кто угодно — какой-нибудь Боков или Федоров. Благодетельные пассажи о народе как о творце истории: «Знаешь ли, чем мы сильны?.. Мнением народным» — без всякой попытки иронии: ведь это «мнение народное» привело в Россию самозванца с интервентами. Ведь «народ безмолвствует», когда убивают невинных (по Пушкину) детей. Увы, он еще не всегда безмолвствует — ужасно бывает, когда он заговорит, прославляя казни Ивана. И почти все там — общие восхваления. Поведение Пушкина всегда безупречно. Ну, знаете, уж что-что!.. Рядом короткий эмоциональный отклик Тарковского — куда более органичный.

10.09.79. ...Зашел в Третьяковскую галерею посмотреть передвижников в надежде увидеть какие-то детали быта и т. п. На редкость убогое впечатление. О живописи не говорю, почти все, вплоть до Репина, провинциально-унылы. Но и настоящей информации, оказывается, нет. Я вдруг заметил, что русские персонажи даже у Перова чуть-чуть стилизованы под живописных итальянских нищих или под савояров. Юродивый у Сурикова благообразен и живописен, как загримированный натурщик, — подлинного юродства и грязи не увидишь, быт сплошь и рядом отдает декорацией. Для искусства не обязательно изображать коросту и колтуны, но я на этот раз искал не искусства — житейской и исторической достоверности. Даже не ожидал такого впечатления.

5.11.79. Лена разбудила меня без четверти пять, и я поработал до 10, до Галиного ухода. Если бы так и дальше...

Заехал в «Иностранную литературу», где говорил о зарплате, потом к Попову. У дверей столкнулся с Битовым. В комнате уже сидели Ерофеев и Горенштейн. Горенштейн решил жениться, но баба сначала должна развестись, а он уже 6 месяцев как подал заявление на отъезд. Обсуждались способы, как ускорить развод и женитьбу. Ерофееву вернули рецензию из «Литературного обозрения», он был невесел и мил. Попов пошел искать водку, мы поговорили с Битовым. Небритый, сильно седой (а ведь мой ровесник), показался на этот раз щупленьким. Очень хорошо поставленная речь, красивый бас. На удивление охотно стал рассказывать о своей работе. «Новый роман я сдал в издательство незаконченным, сейчас мне его вернут на доработку. В отличие от “Пушкинского дома”, там герой нескомпрометированный. Если там я героя условно назвал опоздавшим, то здесь он преждевременный, и это приводит его к смерти. Вообще весь этот роман о смерти. Все действие уместается в момент, когда герой погибает, между тремя последовательными продвижениями ножа. “Пушкинский дом” сложился уже в 64-м, но последние части расширились к 70-му. Новый роман более цельный. Я верю в дыхание. Большую вещь трудно писать на одном дыхании. Здесь мне пришлось три раза выдохнуть».

Рассказал подлинную историю: в день, когда в семье старший сын должен был справлять свадьбу, младшего сшибла машина. А на свадьбу уже пригласи-

ли из Грузии тамаду. Отменять не стали. Одновременно шли поминки и свадьба, закуски с одного стола носили на другой.

«Придумай так, скажут: не бывает», — заметил я.

Я спросил его, читал ли он эссе Искандера о Моцарте и Сальери. Он сказал, что читал, оценил уклончиво: «Это можно было бы принять, если по поводу всех утверждений заявить: мне так кажется». И еще: «Не все время нужно быть значительным писателем». Стал рассказывать про замысел своего рассказа о Моцарте. «У меня есть целый цикл мнимых переводов с английского. Рассказ исходит из того, что Моцарт не знал Баха. Как оказалось, это предположение неверно, он Баха знал. Но я подумал: вот он не знал Баха, и вдруг Сальери, гораздо больший эрудит, зовет его послушать неизвестного композитора. И Моцарт слышит гения и чувствует, что то, для чего он был призван, что хотел сделать, — уже сделано до него. И он умирает. Смерть Моцарта вообще ведь загадочна: он умирал как-то быстро и постепенно: нечто, напоминающее стресс, нервное истощение. Тут не зависть, конечно. Гений вообще не может завидовать другому. Завидовать можно слухам: вот такой-то, говорят, написал гениально. А ты думаешь: вряд ли. Но когда перед тобой гениальное произведение, зависти быть не может. Возможно только счастье».

Я заметил, что зависть возникает скорее на почве житейской. Достоевский ревновал к Толстому потому, что тот получал 400 рублей за лист, а он 200.

«Достоевский и Толстой — это не Пушкин. Они дополняют друг друга до полного гения», — сказал Битов.

Попов вернулся без водки, я предложил поехать ко мне, у меня есть три бутылки. Обсуждали этот вопрос, но ехать не решились. Потом мы с Поповым зашли к Копелеву, не застали...

Попов о своих поездках по провинции. В Кольчугине темно, нет фонарей, грязь, как в романах Достоевского. Какие-то синюшные личности ищут водку. Водки нет, не говоря о продуктах. Какой-то старикан подошел, показывает рубль: скинемся на одеколон? Дешевого «Тройного» по 70 коп. тоже нет.

Спросил меня: «А у тебя не было мысли уехать?» — «Нет. Может, и придется. Но не дай Бог». — «Да. Но упорно говорят, что после Олимпиады отъезды закроют». И мне вдруг показалось, что он об этом думает.

19.12.79. Переутомлен, даже во сне думаю о работе, поэтому плохо высыпаясь. Надо бы не столько отдохнуть, сколько расслабиться, чтобы взглянуть на работу новыми глазами и сдвинуть ее с мертвой точки, написать как бы заново, по уже готовому сюжету, но на одном дыхании.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Заметки по истории

«Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в этот мир, как и к чему должны стремиться» (В. Ключевский).

Увы, историческое знание тоже не дает ответа на такие вопросы — разве что видимость. Для таких тем всегда существовало знание иного порядка: мифологическое, религиозное.

Наша культура приучила нас ощущать себя — и других — в истории. Мы забываем, что это не единственное возможное самоощущение. Когда-то человек существовал не в историческом, а в мифическом времени.

История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускают нагишом.
(Б. Пастернак)

Нет, как нас пускают нагишом — это, пожалуй, бытие (экзистенция). А история — это именно: что мы носили, как говорили и о чем, что делали и каким инструментом.

Странно, что я оказался в некотором роде историческим писателем. Я доискивался скорей до вечного в существовании человека — нагого под любой одеждой, во все времена, под общими небесами.

Впрочем, и в истории я ищу этого — меньше всего меня интересует анекдотическая сторона. Но проявления вечного можно увидеть только в конкретном, в меняющихся одеяниях, в живой исторической плоти.

Из рабочих дневников «Двух Иванов»

История и бытие

Жизнь человека так коротка и так мало в ней принадлежит вечности. В каждый момент история ему говорит: ты умрешь, но останется государство, страна, народ.

Но когда оглядываешься на тысячелетия, видишь, что и история, по сути, коротка, что умирают и государства, и народы.

7.09.1977

Начинаешь чувствовать, как непрочно и подвижно то, что нам, живущим внутри времени, кажется устойчивым и закрепленным: границы, государственный порядок, само существование народов. Если в воображении чуть ускорить бег времени — все меняется, переливается, как очертания облаков на ветру. Всего 60 лет мы живем после последней революции, всего 32 года — после последней войны, изменившей наши границы, всего 24 года — после смерти кровавого диктатора. Крошечные сроки! На протяжении одной человеческой жизни — сколько еще будет перемен!

23.08.1977

Что же вечно? Вечны черты рода человеческого. Во всяком случае, пока существует человек, нам интересно все, что роднит его с людьми других времен. А

роднит все-таки многое — больше, чем можно бы думать, глядя на эфемерность народов и стран. Самым ценным, что остается в веках, видится нам жизнь отдельного человека.

Самыми нетленными ценностями оказываются, как ни странно, ценности духа. Пока они витают в воздухе, пусть незаписанные, без имени создателя, — народ существует, даже если земля его отнята, а святыни разорены.

Движение жизни внутри неподвижной вечности определено уже тем, что в жизни одновременно присутствует несколько поколений — это создает заботу о будущем.

Не потому, что эти люди специально живут для будущего, думают о славе, историческом наследстве и государстве. Даже если они живут с единственной заботой: как бы прокормить и вырастить детей, — они уже причастны к будущему. И даже человек обособленный, бездетный, не помнящий родителей — самим существованием своим поддерживает общее тепло жизни.

В маленьком племени, общине, стране нет отчуждения между своей и общей (государственной) жизнью. Война — твоя война и твоя судьба, вождь — представитель твоих интересов, магическое воплощение твоей удачи. Моральных проблем в отношениях с ним почти не возникает — возможны скорей нарушения закона, писаного или неписаного, кодекса чести, и тогда ясно, как поступить, что предпочесть: дело лишь за толкованием коллизии.

В государстве великом развитая личность решает свои проблемы отдельно от притязаний государственных. Семья, творчество и пр. — в ином слое жизни, чем устремления царей. Зачем народу и поэту агрессивная война? А государству и державно мыслящему правителю они, вероятно, нужны: чтобы держава не захирела, не утратила исторической судьбы.

Именно потому, что Россия — такая огромная страна, личности трудно отождествлять свои интересы с государственными. Если Россия стала бы меньше, распалась бы на части — что потеряет живущий в ней, морально мыслящий человек? Зачем ему историческое величие?

16.06.1977

Женщины противостоят истории. Они предпочитают движению — устойчивость, поиску — привычные основы. Для них время циклично: все было, и все повторяется. Они знают, что самое ценное — в неизменном: в доме, в детях, в семье, в любви. И они правы; но это лишь одно начало жизни. Без начала мужского, без вздорной мужской потребности в новизне мир бы не развивался

27.10.1977

Читая С. Соловьева

Люди, оставшиеся без правителя, не чувствовали себя свободными и не избирали нового вождя из своей среды — но приглашали со стороны представи-

теля коронованного рода. Без подданства они не чувствовали себя защищенными от других властителей.

Свободного, никому не подданного человека проще представить по нынешним понятиям, чем по тогдашним.

Свободный человек не имеет защиты.

Но я хотел бы найти и понять максимально свободного по тем временам героя. В чем-то переросшего свое время — и взирающего на него с простодушным изумлением. (Не модернизация, но правдоподобное остранение.)

В русском языке даже слово «дворянин» означает дворового слугу княжеского; в других языках ему соответствуют, если не ошибаюсь, менее холопские обозначения: *der Adlige, le noble*.

28.06.78

Священник с сильной волей, взяв под уздцы королевского коня, направляет его в свой храм — и тем меняет ход религиозной истории в стране. Вот довод в пользу силы и энергичной деятельности.

Но если бы Польша пошла не по католическому пути, а по протестантскому — что она проиграла бы, какую высшую истину утратила бы? С точки зрения этой вечной истины — что значат временные победы?

Царства возвышаются и падают. С истиной в истории связаны лишь ценности нетленные — духовные.

Для конечной человеческой жизни кажется важным то, что берется силой. Завоевываются женщины, создаются великие государства. В великих государствах складываются великие народы, протекают великие драмы и создается великое искусство.

Но что осталось от империи Чингисхана или Оттоманской?

Евреи сохранились в истории, поскольку создали духовную святыню.

Моя книга должна утверждать величие духа в истории.

Пока живешь, невозможно пренебрегать тем, что может возвысить или погубить малую человеческую жизнь и судьбу. Но спор между силой (властью) и духом не кончается в рамках краткого времени. Даже если сторели рукописи и иконы — что-то остается в воздухе.

(Опровержение: когда отнимают любимую женщину — ее не заменишь другой.)

24.07.1977

Об историческом романе

Что такое исторический роман? Революция, 20-е, 30-е годы, даже война, которую я помню, 40-е, 50-е, 60-е — уже история. Мы никогда не пишем о современности, всегда о прошедшем, более или менее удаленном. На каком удалении можно его считать историей? Когда мы пишем о времени, предшествующем нашему рождению? О поколении, уже вымершем?

19.07.1979

В каком-то смысле мы все исторические писатели — когда нам приходится изображать, домысливать жизненный и духовный опыт, непохожий на наш собственный.

11.07.1979

Как ни смешно, о собственном настоящем мы больше узнаём, когда оно становится прошлым, историей. И мы, досадуя, что так мало сохранилось, выискиваем документы, дневники, воспоминания о времени, в котором сами жили, не умея толком оглянуться.

7.03.1978

Произведения о временах минувших принципиально отличны от произведений минувших времен. Нам интересен средневековый юмор в грубых площадных шванках или у Рабле. Но если перенести его в исторический роман о средних веках, это окажется малопривлекательной имитацией. Перестраивается само восприятие, перспектива взгляда.

27.11.1978

Увидев мертвого сына, Мария Нагая схватила из поленницы полено и простоволосая, стала бить им по голове мамку Василису Волохову. Собралась возбужденная толпа. Прискакал пьяный Михайла Нагой, дьяк Битяговский, который незадолго перед тем урезал Нагим денежное содержание. Нагие натравили на него толпу. Толпа растерзала несколько человек, потом кинулась на подворье Битяговского, разбила винные бочки, упилась, с жены Битяговского сорвали одежду. Звонарь звонил, запершись на колокольне.

Таков пересказ эпизода — еще без множества сочных подробностей. Ср. с известным поэтическим:

Вдруг между их свиреп, от злости бледен,
Является Иуда Битяговский.
«Вот, вот злодей!» — раздался общий вопль,
И вмиг его не стало.

Впрочем, это не Пушкин, это Пимен, и задачи у него с прозаиком, конечно, разные. Я ищу поэзии — но мне нужно и полено, и простоволосая баба, и попутное пьянство: глубина грубой жизни.

28.04.1979

Реальная история — и поэзия. Поход Игоря на половцев был мелким пограничным эпизодом. Игорь потом породнился с Кончаком (у них были общие внуки) и пользовался его помощью в борьбе против Святослава. Его жизнь в плену, побег и взаимоотношения с Кончаком, во всяком случае, далеки от оперной упрощенности: жизнь была грубее, в чем-то проще, в чем-то сложнее.

Но таких эпизодов в истории было множество, до скуки: стычки, союзы, измены. Духовное величие осталось лишь в поэме, которая поднялась над этой скукой, мешаниной.

12.04.1979

К поэзии (исторической) иные требования, чем к прозе, ее иначе воспринимают. Баллады А. К. Толстого, лермонтовский Калашников, самойловские стихи о Грозном — прекрасно; но попробуй в том же духе изъясняться прозой — получится приторность, неудобоваримая приблизительность «Князя Серебряного».

5.01.1979

Претендовать на достоверность диалога в историческом повествовании можно лишь, если речь идет об истории сравнительно близкой. В «Капитанской дочке» Пушкин еще мог стилизовать речь недавно минувшего века. В «Борисе Годунове» он даже не пытался это сделать. Тем более иронично-условны диалоги в манновском «Иосифе» или «Избраннике». Стилизаторские попытки во многих русских исторических романах оборачивались комичным ерничеством. (Одно из честных решений — непрямая речь.)

4.08.1978

Впервые за много лет попробовал перечесть «Тараса Бульбу». Можно восхищенно поэтизировать романтику разбойничьей вольницы, как и подвиги английских пиратов или испанских конкистадоров; но трудно принимать всерьез пассажи о патриотизме, вере, народолюбии. Пираты и конкистадоры тоже убивали и грабили во славу английской и испанской короны, но у тех, кто писал об их подвигах, хватало нравственного чувства ужаснуться кровавой реальности, не соблазняясь высокими словесами. С первых страниц запорожцы томятся миром, рвутся в разбойничьи набеги, ищут лишь повода — и ухватываются за первый подвернувшийся. Такова историческая реальность. Не надо тут морализировать — но почему писатель XIX века с такой восхищенной готовностью воспекает это как патриотическую месть за поруганную веру? Кому месть — сожженные хлеба, разграбленные села, убитые женщины? (При своей собственной безлюбивности Гоголь не увидел неправдоподобия разбойничьей вольницы без женщин, без насильничества; прекрасных полек у него лишь сразу убивают да жгут; это вполне удовлетворяло незрелое юношество, чьи душевные склонности и порывы, пожалуй, выражал иногда Белинский.) Увы, не избавиться от ощущения нравственной подмены, фальшивых словес, на которые не скупилась и автор, и критики. Восхищаются-то прежде всего фальшью.

15.11.1978, 17.12.1978

У Достоевского был, оказывается, исторический замысел — поэма «Император», об Иване Антоновиче, Мировиче. Но меньше всего нашел бы тут для себя историк. «Подполье, мрак, юноша, не умеет говорить, Иван Антонович...

Разговаривает сам с собой, фантастические картины и образы, сны... Мирович, энтузиаст. Передает ему понятие о Боге, о Христе».

Это был бы типичный герой Достоевского. А что до истории... Историки вряд ли узнают об Иване Антоновиче и Мировиче достоверно много больше, чем до сих пор, им придется довольствоваться немногими фактами. Для романиста это лишь исходная точка.

3.12.1978

Читаю «Петра I» А. Толстого — чтобы подтвердить, как я не буду писать. (Отчасти и не смог бы так без непомерных усилий, но главное — и не хочу.)

А.Н. Толстой как исторический писатель не только на несколько голов выше своего однофамильца и тезки, автора «Князя Серебряного». «Петр I» — вообще один из лучших в Европе исторических романов. Какая вещественность, пластичность, наглядность, какое знание внешних примет эпохи, и не просто знание — проникновение! Немногие могут с ним в этом сравниться.

Он еще сам мог видеть многое, дошедшее с тех времен почти без перемен: курные избы, лапти, монастырский, церковный, деревенский быт, китай-городские лавчонки. Даже я в детстве успел кое-что застать. За несколько десятилетий стремительно стали исчезать следы уклада, державшегося веками, особенно в деревнях. Поэтому он с таким смаком может описать навозные улочки, скрип саней, запахи калашного ряда, дух натопленной избы, шипенье лучинного уголька, упавшего в воду, и пр. — он это видел. Пластично, впечатляюще схвачена дикость страны и времени: раскольники жгут себя в скитах, патриарх ярится против иноземных ересей, юродивые наперегонки с нищими спешат к паперти, ряженые пугают народ.

Но отчего при этом бывает чувство какой-то неполноты, а иногда и неподлинности? В этой телесной, грязной жизни нет никакой духовной основы. Даже профессионалы: священнослужители, монахи, «костяные» старцы — всегда либо тупые бездумные фанатики с однообразно горящими, страшными глазами (эта деталь все время повторяется), либо откровенные обманщики, притворные юроды. О простонародье, купцах, боярах и говорить нечего: жрут, тупо толкуются, живут беспамятно. Внутреннего содержания, души у всего этого как бы нет — только темнота, суеверие, кликушество, идиотизм. Пожалуй, в старой, допетровской Руси он не видит ничего, достойного уважения: сплошь скотство, пьянство, грязь, лень. (Только русский может так позволить себе писать о русских, не вызывая вопля негодования.) На Западе даже придворный этикет лучше, и одежда удобнее. Да и с Петром — какая пришла духовность?

В чем тут дело? Отчасти, возможно, в дурно понятом марксистском подходе (народ — двигатель истории, материальное бытие первично, духовное вторично и т.п.). Отчасти, пожалуй (если не говорить о личных склонностях и возможностях автора), — вообще в высокомерно-пренебрежительном взгляде XIX века на минувшую историю, особенно на Средневековье, как на несовершенную варварскую эпоху, царство суеверий, фанатизма, невежества. Способность уви-

деть в каждой эпохе органичную, неслучайную, достойную уважительного внимания духовную систему — во многом достижение новейшего времени.

Но, быть может, главное, что сквозит во всех описаниях, — ощущение купеческого (и деревенского) быта XIX века. Уж очень напоминают москвичи XVII века у А. Толстого обитателей современного ему купеческого Замоскворечья (заплывший жиром, вороватый персонаж). Нищие, юроды на папертях, монахи остались лишь на вид теми же, что 300 лет назад, но духовный смысл того же юродства (как и Масленицы, гуляний и пр.) оказался забытым, утерянным. Юродами стали просто калеки, больные, обманщики, вера в Бога и дьявола — полупривычкой, полупредрассудком, праздники — поводом для пьянства. Многие изжившее себя держалось еще по инерции, и XIX век переносил свое отношение к суевериям на далекое прошлое. (Любопытно: даже карнавальные выходки Петра — выезд на свинье и пр. — народ, по А. Толстому, воспринимает как непонятный западный обычай.)

Духовная жизнь времени для А. Толстого закрыта и скорей потешна, как для иностранца.

В западной литературной традиции, кстати, дело обстоит иначе. Не только люди XVII—XVIII веков, но и XVI, и XV — пытливые, поднимающие взор к небесам, ищущие. Ведь в Европе это времена Возрождения, Реформации, Шекспира, великих открытий. Уленшпигель у Костера — отнюдь не жрущее чудовище, а он современник Ивана Грозного; исторический Фауст жил в те же времена. Даже Симплициссимус у Гриммельстаузена — интеллектуал по сравнению с любым персонажем «Петра I». Дело не просто в разнице эпох. Манновского «Иосифа» тоже можно рассматривать как исторический роман, но его герои — высочайшие умы своего времени, осмысливающие глубины бытия.

Оставляю в стороне вопрос, насколько исторически достоверна его интерпретация петровской эпохи — сам я близко ею не занимался. Но пьесы А. Толстого об Иване Грозном — вполне фальшивы, недобросовестны, тенденциозны; читать это сейчас невозможно.

22.08.1977, 11.07.1979, 26.09.1979

Голос народа

Увы, народ в истории не только безмолвствует, он еще оставляет исторические песни. О праведном гневе царя Ивана Васильевича, например, выведившего на Руси крамолу. И народолюбивые историки разводят руками перед этим голосом, приравненным к гласу Божьему: недаром ведь в народной памяти сложился светлый образ грозного царя. Ах, недаром!

Живи Сталин во времена, когда не было интеллигенции, — и нам осталось бы фольклорное (или якобы фольклорное) умиление («На дубу зеленом»). Не повезло негодяю: сложилась уже порода свидетелей, утерявших невинность холопского почтения ко всякой власти, силе, величию. Когда-то такими интеллигентами были летописцы: в их строках живет строгое нравственное чувство.

19.12.1978

Анекдотичные примеры бывают всего нагляднее: пришла к нам песня и о совсем недавней русской истории — о Распутине. Распутин — так это звучит. Красивый и смелый простолюдин с огнем в глазах пришел в царский дворец. Он проповедовал Библию, как пророк. Царь доверил ему править страной, и все было хорошо. Но пришла к Распутину беда — он полюбил царицу. И это оказалось для него гибельным. Кое-кому не понравился простолюдин-пророк, презревший запреты, провозгласивший свободную любовь и ставший любовником царицы. Ох эти русские! — сожалеет песня.

И попробуй вытесни потом из сознания миллионов этот образ подлинным.

10.02.1979

Переключки

Среди русских юродивых середины XVII века был известен Вавила Молодой, француз по происхождению и даже выученик Сорбонны. Видимо, это был гугенот, принявший православие и искавший аскетического подвига, для которого на его родине не было столь подходящих условий.

Не так ли устремлялись в нищую Советскую Россию интеллектуалы с сытого буржуазного Запада, чтобы приобщиться к ее высшей мистической истине?

(Кстати, этот Вавила Молодой был сожжен в срубе 5 января 1666 года.)

Неизжитость русской истории

Возможно ли, чтобы в Англии кто-нибудь стал оправдывать Макбета или Ричарда III, обосновывая политику современных королей? А у нас Иван Грозный до сих пор чуть ли не злободневный персонаж. Поразительна не только неизжитость проблем нашей истории, но сам образ мышления, ищущий, как в средние века, опоры в предании: в опричнине — поддержку и аналогию сталинскому террору, в царях, завоевателях и тиранах — целеустремленных пролагателей «исторически прогрессивного» пути к нынешнему державному порядку.

28.02.1978

Именно из-за этой неизжитости мы судим о том же Иване и его опричнине более яростно и заинтересованно, чем французы о погромщиках Варфоломеевской ночи. Там, кажется, уже всерьез и не спорят об этом; разве что о Робеспьере. Наше татарское рабство не изжито, увы, внутри нас — и потому мы не вполне свободны в суждениях о жестокостях 400-летней давности.

28.09.1978

Две цитаты на темы Грозного

«В годы, непосредственно предшествовавшие вступлению на престол Ивана Васильевича... Россия стала Телом Христа... Иван необыкновенно остро ощущал мистическую природу вверенного ему судьбой тела... И между двумя мистическими инстанциями — Россией и Иваном Грозным — отношения не могли установиться иначе как по законам невидимого царства духа, недоступного пониманию современных историков... Драматизм был в том, что получившая единую христианскую душу Русь стала вдруг как бы прообразом Царства Божия, которым не нужно управлять и в котором все совершается наилучшим образом по высшим законам религии, любви и братства. Но поскольку она все же не была настоящим Божьим царством... управлять ею все-таки было необходимо... Иван понял, что для того, чтобы управлять монолитной душой России, нужно оказаться вне этой души. Но как он мог оказаться вне России, находясь в центре России? Только одним способом: создав внутри России особую страну, которая Россией в смысле христианского тела не являлась бы».

Это об опричнине. Ничего себе?

В. Тростников. Трагедия Ивана Грозного. — «Русское возрождение». 1980. № 12

А вот Даниил Андреев — из «Розы мира»:

Эпоха Грозного и Смуты стала «рубежом в развитии русского сознания... Слишком явным и жгучим было дыхание антикосмоса, опалившее современников Грозного и Лжедмитрия. Впервые в своей истории народ пережил близость гибели, угрожавшей не от руки открытого для всех явного внешнего врага, как татары, а от непонятных сил, таящихся в нем самом и открывающих врата врагу внешнему, — сил иррациональных, таинственных и тем более устрашающих. Россия впервые ощутила, какими безднами окружено не только физическое, но и душевное ее существование. Неслыханные преступления, безнаказанно совершавшиеся главами государства, их душевные трагедии, выносимые напоказ всем, конфликты их совести, их безумный ужас перед загробным возмездием, эфемерность царского величия, непрочность всех начинаний, на которых не чувствовалось благословения свыше, массовые видения светлых и темных воинств, борющихся между собой за что-то самое священное, самое коренное, самое неприкосновенное в народе, может быть, за какую-то божественную его сущность, — такова была атмосфера страны от детства Грозного до детства Петра».

1980

1.01.80. В этом году надеюсь все-таки закончить «Легенду». Остальное — как Бог даст.

Политические предзнаменования этого года невеселые. Оккупация Афганистана создает круг проблем, все последствия которых трудно предполо-

жить... Внутренний климат сразу похолодает. О внешнем не говорю — но страшно думать о наших мальчиках, которые сейчас убивают и которых сейчас убивают в никому не нужных пустынях Гиндукуша.

25.01.80. Второй день не работаю. Утром с Леной, потом отвозил корректуру и получил 70 рублей от «Иностранной литературы». Очень кстати. Купил чай, человек 20 по дороге спрашивали меня, где я достал. Встретился с Лукиным. Он смотрит на положение совсем иначе, чем я. Это последняя судорога перед естественным уходом руководства. Американцы имеют все возможности превратить Афганистан в наш Вьетнам... Предсказывать трудно, но, перетерпев какой-то период неприятного времени, можно ждать ухода руководства и серьезных перемен.

Во всем этом много здравого смысла. Я стал как-то веселей смотреть на жизнь.

28.01.80. Вчера с трудом доделал главу, а сегодня, встав в 5 утра, и после возвращения Гали — сразу три главы... Да еще перепечатал одну. Да еще напечатал рецензию для Детгиза на 30 руб. Ощущение вздернутости, не могу спать...

У меня самочувствие лошади, которая чует конюшню: в полном изнеможении, но бежит все быстрее.

4.02.80. ...Зашел к Копелеву, у подъезда встретил выходящую Раю и спросил: «А что, никого не застану дома?» — «Марк, не смешите меня. Там человек пятнадцать». Встретил выходящего Аксенова с женой. Сидели Владимов с женой, Искандер. За день было 10 корреспондентов. По дороге в поликлинику я на стенде впервые прочел в «Советской России» статью о Копелеве — омерзительную, давно таких не было. Начинается она с описания мерзкого бородатого типа, который входит в посольство ФРГ с пустыми руками, а выходит, сгибаясь и спотыкаясь под тяжестью ящика: а что там, белье или коньяк, неизвестно, но в любом случае награда за предательство Родины. Кстати, на столе у Копелева действительно стоял прекрасный французский курвуазье, но Лева дал мне прочесть официальное заявление посольства ФРГ от имени правительства о том, что Копелев вообще ни разу не заходил в посольство... На вопрос корреспондентов: «Каких вы ждете репрессий?» — он ответил: «Что вы хотите, чтобы я подсказал властям, как со мной поступить?..»

14.04.80. Отвез работы в издательства, потом заехал к Баткину. Читал заключительную главу из «Леонардо». Разговоры о Возрождении, которое вдруг оказалось в центре современных споров. Конкретный повод — рецензия П. Гайденко на книгу Лосева. Мысль: титанизм людей Возрождения безнравствен, потому что они хотели опираться только на самих себя, на человека — не исходя из ценностей, которые выше человека, вне его. Лосев употребил слово «коллективные» ценности, читать это надо как «соборные». Пиама Гайденко, как и ее муж Давыдов, принадлежат к числу «нравственников», т.е. людей, которые считают, что в основе всех оценок должны лежать нравственные понятия, ценности; но что нравственность во все времена разная, кажется им неверным. За это многие упрекают и Бахтина: почему он призывает относиться к Рабле, к Средневековью с нравственными мерками тогдашней эпохи, а не сегодняшней?

Как бы ни мыслил человек того времени, сегодня мы вправе и должны *оценивать* прошлое по своим меркам. Складывается широкий круг однотипно мыслящих людей (хотя между собой они как будто не имеют ничего общего): тут и Аверинцев, и Палиевский с Кожинным, и Солженицын с Максимовым. Их объединяет неприятие XX века, неприятие модернизма, консерватизм (широко понимаемый), стремление найти опору в ценностях, данных раз и навсегда. Можно говорить и о неприятии сов. власти; но парадокс в том, что власть это вполне устраивает, потому что она давно утратила свою революционность, и ей нужны охранительные тенденции, консервативные, в то время как открытый подход к культуре предполагает культурное творчество, движение в неизвестном и не заданном заранее направлении. Он предполагает широту оценок, стремление не осудить и не заклеить, а понять. Принцип диалога в культуре предполагает плюрализм в политике...

30.04.80. Дочитал номер «Нового мира» с заключительной частью романа В. Орлова «Альтист Данилов» — и крайне разочарован. Это даже удивительно: как 40 финальных страниц могут свести на нет десятка полтора предыдущих листов. Напоминает фокус, когда факир тянет твердый шест, по нему даже можно вскарабкаться, вдруг — раз! — это оказывается веревка. Обманчив оказался стержень. Час «Ч» оказался театральным звуковым аттракционом, где пугают, а не страшно. Не случилось трагедии, не понадобилось никаких жертв. Я, признаться, гадал, чем все может обернуться, предполагал, что в пресловутый девятый слой ворвется напуганная звонком Данилова Наташа, что его порыв к человеческой жизни обернется действительной трагедией и жертвой — для него или для ближних. Ничуть не бывало. Манновскому Фаусту гениальное творчество давалось ценой отказа от любви и житейской теплоты, потусторонние силы не шутили: погубили женщину, погиб мальчик Эхо. Тут никому не надо гибнуть, а гениальное творчество дано, и теплотой житейской не надо жертвовать, даже отказываться от демонической природы, от бессмертия. Все остается при тебе. И тотчас выстроенное ожидание рассыпается песком. Никаких загадок, никакого уровня. Наташа не только не расплачивается страданием, но и добивается процветания, Данилов тоже; все прочие тайны оказываются пустячком, и вся вещь в целом — тоже. Хотя и симпатичным, со множеством находок, с большой выдумкой и т. п. Впрочем, мне, профессионалу, это как раз понятно: тут нужно найти прием, а потом извлекать из него сколько угодно эффектов. И уже не удивляет, что напечатали его, а не «Меньшутину»: это гораздо более приемлемая вещь, все в ней свое, понятное: легкая сатира на общество потребления, правильные мысли о достоинстве художественного творчества — все очень правильно, порядочно, интеллигентно, с хорошим юмором. Отчего не напечатать? А можно бы вытянуть эту вещь до уровня более высокого...

2.05.80. С трудом дочитал книгу Золотусского о Гоголе. Это хуже, чем просто скучная, бездарная книга. Вначале мне казалось, что она хоть занудливая, но добросовестная. Столько материала привлечено, в том числе малоизвестного, архивного, неопубликованного. Нет, не добросовестно это, а подчинено довольно убогой концепции. Гоголь стилизован под святого от литературы, которого

пошлые люди вокруг по природе не способны понять; наследием Пушкина Гоголю были «Отцы пустынноики и жены непорочны», Гоголь прежде всего христианин и т. д. и т. п. Подобраны цитаты, подтверждающие один и тот же ход мысли, но множество других игнорируется, да и подобранные интерпретируются с натяжкой. Упрощается вся реальная противоречивость этого человека; сплошь и рядом предлагается судить о нем по его словам, по намерениям, а не по реальному их воплощению. Все благостные слова Гоголя из писем, из «Выбранных мест» и пр. считаются доказательством, что таким он был на самом деле. Сомнительное открытие — его «роман» с Вилегорской; причина его холостяцкой жизни объясняется высокопарно: он был предан одной своей страсти — искусству, женитьбы он боялся, как Подколесин. Да зачем непременно женитьба? А хоть в бордель, простите, он ходил? Интересовался ли вообще женщинами? Поневоле с уважением станешь думать о фрейдистах: они считали такие вещи существенными и для человека, и для его творчества. И так во всем: велеречивые спекуляции о втором томе «Мертвых душ» — тоже основанные не на качестве существующего материала, а на благих намерениях автора, где воплощаются все мировые проблемы и борьба Христа с Антихристом, ни более ни менее. И весь тон, вся недобросовестная тенденция явно в угоду нынешней почвеннической партии, прежде всего партии (хотя в искренней уверенности, что это и есть абсолютная истина). И безвкусица стиля, и поверхностность частных оценок. Говорят, Золотуский недавно крестился — похоже.

Нарочно для сравнения достал книгу Синявского — какая сразу яркость, свежесть, какой талант!

3.05.80. ...Письмо от Давида Самойлова: наслышался о моей повести, хочет почитать. Может быть, поеду в следующие праздники в Пярну.

5.05.80. Позвонил в «Новый мир», Озерова сказала: очень сильное впечатление, но на возможность публикации смотрю без оптимизма... Сидуру с Юлей тоже понравилось: достаточно уже того, что прочли буквально взахлеб... Но все-таки он ставит выше «Габая»: если бы на таком уровне мастерства ты написал на современную тему...

6.05.80. ...Звонил Баткин, приглашал встретиться для разговора о моей работе, но я сказал, что уезжаю. Он сказал: «Я помню, вы мне говорили, что эта вещь имеет больше шансов быть напечатанной, чем “Прохор”. Так вот, я считаю, она вообще не имеет никаких шансов. Причем я это говорю категорически. “Прохор”, может быть, и пройдет. Я вообще удивляюсь, как вы отдали это в журнал и на что надеетесь...» Смешно, но я действительно надеялся.

9—11.05.1980. Пярну. В гостях у Давида Самойлова.

Я ехал туда не без некоторой опаски: каково встретиться после двух (если не больше) лет, когда почти не виделись. Но все сложилось само собой. Я разыскал дом на улице Тооминга (напротив дом с мемориальной доской Давиду Ойстраху), вошел без стука. Вся семья сидела за обеденным столом.

— Хоть поздно, но все-таки доехал, — сказала Галя. Оказывается, Давид перепутал и они ждали меня еще накануне. Какая-то их знакомая, любительни-

ца готовить, даже приготовила для меня вчера обед, и со вчерашнего же дня мне был заказан номер на отличной турбазе, в нескольких шагах от их дома.

Мы расцеловались. На столе была бутылка коньяка, я выставил еще одну — и пошел разговор, как в лучшие опалихинские времена, обо всем, о детях, обо всех знакомых, перемежавшийся чтением стихов. Потом прогулялись к морю, покатали детей на каруселях. Зашли в кафе (einelaud — по-местному), выпили еще коньяка под бутерброды с семгой, вернулись — выпили еще. Д. своей выносливостью поразил меня, как в лучшие времена: в тот день мы распили на троих три бутылки коньяка, не считая рюмочки в буфете, а на другое утро, когда пошли прогуляться с ним в магазин (здесь прогулка и поход в магазин совмещаются), заглянули еще в один einelaud, где Д. предложил опохмелиться: еще 100 грамм. Отказаться я не мог, хотя по мне это было слишком, и никогда я с утра не опохмелялся. А потом пили еще дома и вечером в einelaud. По-моему, на один коньяк он тратит не меньше 10 рублей в день (если все дни пьет так же; впрочем, был праздник. На городском валу играл оркестр).

Я попробую записать эти беспорядочные разговоры так же беспорядочно и без связи — как вспомнится.

У него сложилась целая новая книга стихов: «Залив». Я прочел ее в тот же вечер, на пьяную голову, потом несколько раз перечитал. Есть чувство новой книги: открытость, без готовых формулировок, хотя некоторым стихам и присуща чрезмерная «правильность». Некоторые я уже читал в печати, по мне, это не самые лучшие («Хлеб» и др.). В них все слишком правильно, спорить не с чем. Мне ближе, когда стихотворение рождает не столько мысль, сколько чувство. Некоторые стихи особенно близко воспринимались в этой обстановке, в прогулках по берегу. «Деревья прянули от моря», — прочел Д., показывая на группу прибрежных сосен, как бы сформированных ветром: они наклонены от моря, будто действительно хотят бежать. Вообще, все пярнуские стихи здесь воспринимаются и чувствуются глубже. «Чайка летит над своим отраженьем...» Эти стихи, оказывается, были написаны перед отъездом в Ялту, где умер Исаак Крамов. И так все было неправдоподобно хорошо, но в стихах прозвучало: «Тихо, как перед сраженьем. Быть беде». «Вот и не верь после этого поэзии», — сказала Галя. Еще одно стихотворение, посвященное Крамову, Д. читал на его похоронах («Мы не меняемся совсем»). Я был уверен, что они написаны на смерть Крамова. Оказывается, нет, они были посвящены ему ко дню рождения («Не знаем, где поставим точку»)... Вспомнили по этому поводу предостережения Пастернака: не писать о смерти, своей и предстоящей чужой, потому что поэзия — вещая, она может накликать смерть.

Он прочел мне еще несколько своих новых стихотворений («Я разлюбил себя» и др.). Я сказал, что это уже новая интонация, она не ложится в старую книгу, это начало новой. Г. была очень довольна: «Скажи, скажи ему. А то он твердит, что у него кризис, что он больше не может писать. Я тоже считаю, что это начинается новая книга».

Детей я поначалу не узнал и спутал, приняв Петю, ставшего необычайно толстым, за Павлика, а Павлика — маленького, живого — за Петю. Они очень похожи все друг на друга... Петя, конечно, несчастный, глубоко больной ребенок, Павлик в этой семье — единственный вполне нормальный человек, хотя тоже не очень здоров: астма, что-то с желудком. Мы с ним гуляли, катались дважды на «Ракете», дошли почти до самого конца полуторакилометрового мола — он вел себя как нормальный живой мальчишка, очень разговорчивый, расположенный. Ему не хватает полноценного мужского общения, товарищей; быть только с Петей — тяжело и не слишком полезно для психики. Я спросил его, любит ли он Петю. «Не знаю», — ответил он. И после некоторого размышления: «Когда болеет, люблю. Я ему даю все свои игрушки». Общение их со взрослыми постоянно на повышенных нотах, на крике, приказе и т. п.

А Варвара одна в Москве, живет со знакомой и ее дочерью, и этот отрыв от семьи вроде бы благотворно отразился на ее психике. Д. показывал забавный бланк типового письма Варвары родителям, где ей нужно было лишь вставлять: сколько она получила пятерок и четверок, какие видела фильмы и т.п. С вариантами в скобках: понравилось, не понравилось. За ней наблюдает врач, очень высоко оценивает интеллект и т.п....

Делились общими переживаниями, связанными с требованиями детей к нарядам и пр. Здесь они живут (по эстонским стандартам) более чем скромно. Когда сюда впервые приехало Таллинское телевидение, режиссер тихонько спросил сопровождающего: а это действительно знаменитый писатель?

При мне постучался в дверь молодой человек — поэт из Тарту, принес стихи. Д. отдыхал, и Г. приняла его стихи сама («а то бы Д. завел на два часа разговор»). По их словам, к ним едут сюда отовсюду, шлют стихи. У Д. обширная переписка: при мне он отправлял несколько писем и около десятка получил. Говорит, что в печати не видит интересных молодых поэтов (после Юрия Кузнецова, не такого уж молодого, никто не появился)...

Вечером начал читать мне свою прозу: главы «Дом» и «Квартира». Это куски, написанные в хорошей мемуарной традиции — о детстве, семье, родителях. Я обратил внимание на очень еврейское окружение его детства: дед, который молился в талесе, дядя-нэпман и др. Интересные размышления о тех, кто называют себя «внуки Суворова, дети Чапаева», а на самом деле они «сукины дети», которые ищут прежде всего власти. Сказал, что хочет написать об отце, хотя это очень сложно. «Он был субъективно состоявшийся человек, хотя объективно не состоявшийся. Он много занимался мной. В частности, от него я впервые услышал библейские легенды. Он повлиял на мое понимание национальной проблемы. Он был очень еврейский человек. Он считал, что в этом государстве евреи не должны быть на первых ролях. (Как в Израиле не должны быть на первых ролях арабы.) Он считал большой ошибкой участие евреев в гражданской войне, в ролях комиссаров и т. п. Когда живешь в стране среди другой нации, нельзя брать на себя расстрелы, приговоры и т. п. Он очень любил тип русского мужика, ценил их, всегда умел найти с ними общий язык».

В связи с этими рассуждениями мне вспомнился один эпизод, рассказанный им, когда к нему пришли поздравить с праздником две местные дамы-учительницы. Сосед Д., владелец верхней части дома, пришел к нему с претензией: его жену, гулящую пьяную бабу, вызвали в отделение милиции (очевидно, как тунеядку: почему нигде не работает), и он заподозрил, что Д. написал на него заявление. Одновременно поинтересовался, сколько бы Д. дал, если бы ему продали и верхний этаж (т. е. было нечто вроде шантажа). Д. прогнал его. Одна дама сказала: надо пожаловаться на него, его давно пора выселять. Д. ответил: так я не хочу. Все-таки я живу среди эстонцев. Я не хочу, чтобы говорили: приехал русский, выселяет эстонцев. Надо помнить, что ты живешь в чужой стране.

И еще на ту же тему: он написал поэму «Канделябры». Я читал ее первый раз уже в состоянии сильного подпития, и мне показалось, что она именно об этом состоянии: муть в голове, нет четких мыслей, скорей ощущения: «Заенделилась енделя, заендилась ендова». И из смутных намеков выявляется стремление к власти. «Они же как Емельки Пугачевы, — пояснил Д. — Они хотят бить, резать, чтобы самим в цари». И после разгула, пожара — на щемящей ноте заключительные строки. Из других стихов: поэма «Юлий Кломпус», которую, возможно, скоро напечатают (мне там понравилось вступление, а не понравилось упоминание имени Егора Исаева — тут он ни при чем). «Он при том, что он зав. отделом поэзии издательства “Советский писатель”, — откровенно пояснил Д. — Хотя я не уверен, доволен ли он будет этим упоминанием: в том-то и дело, что он тут ни при чем. У меня был вариант: что б сказал редактор Чхаев. Возможно, я это сниму». Еще две поэмы: «Учитель и ученик» и «Прощание» я привез с собой. О них разговор особый.

Из прозы прочел еще начало статьи о Марии Петровых, которую очень высоко ценит. Сейчас готовится ее издание. Он не преувеличивает степени своего знакомства и тем более близости с ней, считает, что это очень важно. Я спросил, как она относилась к своему положению. «Очень твердо, — ответил он. — Она вообще была очень крепкий человек. Она могла напечататься и выпустить книгу. Но она отвечала: не хочу». Я напомнил ему в этой связи строчки (не помню чьи) «о тех, которым раздоры вечные с собой... мешали овладеть судьбой». Мне казалось, что это о ней. Он сказал: «Не думаю».

Многое в этом доме и в его образе жизни напомнило мне Опалиху. Когда я сказал об этом, он ответил: «В Опалихе я был для местного начальства никто. А здесь я местная знаменитость. Я поэт, причем единственный в городе. Когда мне что-то надо, я могу сразу обращаться к начальству, и мне все сделают». Его действительно знают все. Когда я заказывал телефонный разговор с Москвой, он напомнил: «Скажи, что говорят из квартиры Самойлова», — и действительно, соединили почти мгновенно. Так же и такси по вызову пришло сразу. Рассказывал, как пьяный Г. не смог отсюда уехать в Таллин, попал в милицию, но когда он сказал, что приехал к Самойлову, милиционер сразу доставил его по адресу. Он в дружеских отношениях с администраторами гостиниц, в частности той турбазы, где устроил меня.

«Пярну — это город, где я, полуслепой старик, могу сам идти в магазин», — сказал он, когда мы шли с ним по магазинам. То есть здесь и ходить безопасно, и в магазине не обхамят. Он знает персонал едва ли не каждого *einelaud*, ему подают сразу, и когда он сидит и работает здесь за столиком, к нему никого не подсаживают, чтоб не мешали.

Он знаком даже со всеми бригадами проводников вагона СВ поезда № 34, где они обычно занимают двухместное купе. Тут можно курить, тут хорошо обслуживают. К тому же однажды он ехал в этом вагоне с местным начальством, проводники видят, что он пользуется почетом, — они это понимают.

После моего отъезда он собирался пойти договариваться с начальством о том, чтобы 1.06. отпраздновать свой юбилей в финской бане. Его уже поздравляли с юбилеем по местному ТВ.

Говорили о друзьях, о знакомых. Вспомнили Копелева, говорили о его планах отъезда. Д. посвятил ему стихотворение «Нельзя не сменить часового» — не бог весть какое, но моральная поддержка и оправдание отъезда. Вспомнили Кнабе, который, оказывается, только что прислал Д. письмо с просьбой о рекомендации в Союз писателей, историю о том, как Рая Орлова исключала его из партии. «При всей своей самостоятельности она всегда была в каком-то смысле “душечкой”. Она была женой крупного партийного работника — и считала себя преданной коммунисткой. Потом стала женой Копелева — и стала истовой диссиденткой. Сейчас она пишет, что ей стыдно за свое поведение в те годы. Я с ней не согласен. Почему стыдно? Разве она поступала против своей совести, считала, что поступает подло, и все-таки делала это? Нет, она была убеждена в том, что делала, считала, что это правильно. Я не считаю, что мы были тогда глупы. У нас были ложные идеи, но понятия были правильные». Потом стал рассказывать, что пишет сейчас об этом. «Когда после революции оказалась уничтожена интеллектуальная элита общества, дворяне, духовенство, высшая интеллигенция, их роль взяла на себя средняя интеллигенция, врачи, учителя. И они сумели сохранить некоторые ценности, дать нам основные понятия. Я нашел свои старые дневники, это очень интересно. Я многое правильно понимал, многому знал цену».

Я попробовал задать ему вопрос, как он поступал, когда на собрании надо было голосовать за что-то или против кого-то и надо было чем-то жертвовать. Но он не понял вопроса или уклонился от ответа. Тогда я выразился иначе: перед тобой до войны все-таки не вставало самого драматического выбора, судьба в этом смысле не предъявила самых крайних испытаний. Тут он согласился: да, это досталось другому поколению.

Когда он читал мне свои воспоминания с цитатами из юношеских дневников, я действительно удивлялся его ранней зрелости и природной способности чувствовать себя «счастливым при любой погоде», как выразился он в одном из стихотворений. Я сказал ему об этом, заметив, что познакомился с ним сравнительно поздно и не знаю, насколько это врожденное, насколько воспитанное свойство. Он согласился: это от природы. Ему бывает плохо (и сейчас, если вду-

маться, он полуслепой старик), но от природы в нем способность и желание радоваться жизни, людям. Он человек солнечной природы.

Это, конечно, обозначает и его границы, за которые он не хочет и не стремится заглядывать. «Я сделал свой выбор, я выбрал залив» — это программные строки. (Там еще и более определенно: «Я сделал свой выбор и вызов».) Долгое время, прожитое без его близкого влияния, позволяет мне сейчас оценивать и силу его, и ограниченность более трезво, чем прежде. Но какое это прекрасное явление природы!

Об идеях и понятиях мы говорили по разным поводам еще. Смутно помнятся слова о Ф. С.: «Он всегда жил идеями и менял их, как перчатки. Он был убежденным комсомольцем (или партийцем, не помню, как звучала формулировка), потом убежденным новомировцем, потом убежденным сторонником идей Солженицына, потом убежденным христианином». Мысль была такова: ему это просто, потому что понятий в нем нет.

Показал мне толстую красивую тетрадь, где теперь записывает стихи. «Раньше я писал на отдельных клочках, иногда их куда-то засовывал, забывал, потом случайно находил. Теперь я все записываю подряд и, когда открываю тетрадь, все хозяйство под рукой, вспоминаю, что было записано, иногда продолжаю».

О памяти. Я заметил, что на время работы над какой-нибудь темой становлюсь в ней специалистом, но потом все забываю.

— Я тоже. Это какое-то самосохранение мозга. Вот Слуцкий все помнит. Мы когда-то читали с ним книги параллельно. Он запоминал в пять раз больше, чем я.

Насколько я понял, Слуцкому (Б. С.) посвящены стихи: «Я всегда любил морозы, ты же оттепели ждал».

«Признак вдохновения — когда сами собой идут рифмы. У меня уже достаточный опыт, я рифму всегда найду. Но бывает, их нужно искать, вспоминать — значит, не идет работа. А когда они сами идут, тянут за собой другие, новые повороты мысли — это и есть вдохновение».

Вспомнили Игоря Померанцева. Я рассказал, как он приезжал к Гале прощаться и сетовал на то, что Самойлов от него отвернулся. И оба они с Г. огорченно возразили: «Как это неверно! Мы, наоборот, его искали, не знали, что с ним. Ведь писать ему можно было только до востребования, ответы не приходили. И только когда мы узнали, что он напечатался на Западе, мы успокоились: значит, с ним все в порядке. Ведь в него столько было вложено. Он пришел к нам 19-летним мальчиком».

Возможно, они и вправду так думают. Возможно, разговоры об их конфликтах и ссорах со старыми знакомыми отчасти основаны на неверном понимании. У меня самого было такое чувство, будто не было никакого перерыва между этой встречей и лучшими опалихинскими временами: попрощался, а теперь приехал. Но, скорее всего, я пропустил какое-то непростое, кризисное для него время. Когда я сказал об этом Д., он ответил: «нет, у нас все время было так. Конечно, когда Петя лежал на реанимации, было плохо. А так все хорошо».

Может быть. А может, это ему теперь так кажется. Потому что уже в Москве я услышал о его фразе из письма Л.: «У меня был период депрессии, когда я ни с кем не общался».

А вообще, интересно посмотреть на этого большого поэта в обычной домашней обстановке. Утром он встает и готовит кашу для детей («Когда готовишь манку, — объяснил он мне, — важно, как ее засыпать, чтобы не было комков») и кофе. Кофе иногда переливается из кофейника, потому что он по слепоте не всегда успевает заметить момент закипания. После обеда идет вздремнуть. В последний день моего пребывания там похолодало, он затопил печку, сел у дверцы; я заговорил с ним, он ответил не сразу — оказывается, вздремнул сидя.

Когда мы гуляли возле детских каруселей, стал говорить мне, что напишет о моей повести Наровчатову. Я сказал: «Ты сначала прочти». — «Я, конечно, прочту, но напишу все равно. Мне не надо ему писать специально, мы же с ним переписываемся регулярно, просто упомяну в очередном письме, что прочел очень хорошую повесть. Наровчатов в одном письме даже выразил обиду: ему кажется, что, приезжая в Москву, я избегаю его».

Рассказывал о работе Абызова по этнопсихологии. Я по этому случаю изложил концепцию Гумилева. Он сразу прокомментировал: «Но это же фашизм». (Думаю, тут дело не в моем изложении, я излагал довольно объективно.) Я рассказал про его отказ от выступления после Комы Иванова, он сказал: «Вот он и Анну Андреевну изводил такими вещами. А как она его любила, чего только ради него не делала!»

Рассказал, что В. Корнилов отозвался о его поэме «Прощание»: «Это лучшие твои стихи, но мне они не нравятся». Я сказал, что пока не могу их оценивать как стихи, для меня они слишком близки. Г. сказала: «Я тоже». На полях его экземпляра записаны реплики Чуковской: против слов «Но кто б ему наколдовал баланду и лесоповал» — «Я бы наколдовала», а против слов «Помог застенчивый палач: очкарь в аптеке» (он пояснил по моей просьбе: речь идет об употреблении Тошей лекарств против депрессии) — «Я не встречала еще здорового литератора».

О критиках, которые пишут про его стихи: ему понравилась последняя статья Рассадина. Когда я напомнил ему, что прежде он не особенно жаловал этого критика, он объяснил: «Они из всего стараются извлечь идею. У Рассадина, Бена Сарнова любимым поэтом был Эмма Мандель. Потому что им нравились у него идеи». Сейчас ему нравится, что критик не написал о зрелости, ясности и т.п., что обычно пишут о нем. Он увидел, что нет никакой зрелости, никакой ясности.

У него сейчас нет передних верхних зубов. Забавно рассказывает, как пошел было к протезисту, но это оказалась женщина такой ослепительной красоты, что он не смог раскрыть рта. К усам все время прилипают крошки, он их все время покручивает пальцами. На стене фотография, когда он был без усов: по моему, так ему было лучше. Я вспомнил, как он говорил: «У Слуцкого усы, у Левитанского усы, это уже как признак литературного направления».

25.05.80. Вечер Давида Самойлова в ЦДЛ. Полон зал знакомых. Шли кино-съемки, ярко светили юпитеры. По-моему, для глаз Д. С. это была пытка... Д. читал прекрасно, особенно вначале; потом заметно устал. Я радовался его молодому ясному голосу... В целом из последних стихов возникло ощущение декларированной, подчеркнутой игры («Я сделал вновь поэзию игрой»). Он наслаждается историческим анекдотом, довольно прямолинейно солидаризируется с Фетом, который не увлекся идеями прогресса, не захотел быть «рабом восставшего раба», зато умел слышать соловьев. И это: «Я б хотел быть маркитантом». Мне все это нравилось и было по душе, потому что я люблю этого человека. Но Галя заметила: «Мне кажется, за эти два года возникло какое-то отчуждение между ним и аудиторией. Его приветствуют скорее потому, что знают: так надо. И встают в душевном порыве — тоже потому, что знают. Исчезло какое-то электричество». И потом: «Мне вдруг показалось, что Давид не так уж близок к нам, как мы думали». Я над этим давно думал. У него совершенно другое устройство, другая жизненная философия, другие вкусы. Но почему мы должны судить о человеке по тому, чего в нем нет? Будем приветствовать то, что в нем есть и что он может дать, как никто другой. Я уже не раз записывал: он от природы счастливый, солнечный человек («при любой погоде») и эту сторону жизни выражает лучше, чем кто угодно другой; стихи у него настоящие. И от вечера осталось впечатление подлинной поэзии. А каково его место в русской литературе по абсолютным меркам, нам с близкого расстояния не оценить.

29.05.80. Все более определенные мысли о новой работе: Милашевич и Лизавин. Руки чешутся взяться, но ближайшие полгода будут заняты переводом...

7.06.80. Вчера позвонил Женя Попов, потом пришел... Разговор о литературе, о литературной ситуации, об отъезде Аксенова. О 60-х годах: тогда Аксенов, Евтушенко и Вознесенский, по сути, помогли власти заделывать трещины; они говорили подросткам, которые готовы были строить баррикады: не надо, попробуем по-другому, все-таки эта власть не такая плохая. А власти это не поняли. Разговоры его с Аксеновым об изменившейся ситуации: в 60-е годы можно было за что-то бороться, объясняться с властями, добиваться продвижения достойных людей. Сейчас не о чем и не с кем стало говорить...

23.06.80. Письмо от Давида Самойлова с категорическим, резким неприятием моей повести. Здесь языческая грубость, нет Бога, нет жалости и любви, есть смакование насилия и жестокости. В русской традиции всегда была жалость к руке карающей. А любоваться красотами стиля могут разве что «пересыщенные французы». Все это огорчительно, но теперь понятно. Я хочу ему ответить — не для защиты своей работы, а для выяснения позиций. Это спор принципиальный, не просто литературный, а мировоззренческий. Весь день под впечатлением письма обдумывал ответ...

5.07.80. Я, кажется, не заметил, как очередной раз изменились (уточнились) мои взгляды на литературу, правду, жизнь, гармонию. Взгляд стал жестче, реалистичней. Мне сейчас ближе поиск Е. Попова и некоторые мысли В. Ерофеева (я вспоминаю резкое неприятие его слов о поиске истины, о «вине» русской литературы два года назад — сейчас бы я над этим внимательней подумал), чем

облегченная проза (о поэзии не говорю) Д. С. Возможно, это не только мое развитие, но и уточнившееся время. Иную, даже нравившуюся мне прежде прозу стало просто невозможно читать: условно, облегченно, неподлинно, фальшиво...

12.07.80. С утра переводил Форстера, отвлекаясь мыслями о Д. С. На ночь я перечел 100 своих страниц — с радостью, облегчением и досадой. С радостью — потому что все-таки вещь держится, с облегчением — потому что она не имеет ничего общего с наскоками Дезика, а с досадой — на его самодовольную легкомысленность в отношениях с людьми, на эту манеру изрекать, а не обсуждать. Если бы я перечел свою работу раньше, я бы не стал ему отвечать. Бог с ним, это становится неинтересно...

Думаю об Алеше. Почему они увлекаются именно Бродским? В качестве ли стихов дело или в мифе, который в России, увы, почти фатально основан на столкновении с властью? Самойлова, Тарковского не так читают. Может быть, это их поэт? Возможно, подрастает новое поколение, более свободное, знающее? Им, конечно, больше дано, чем нам. А что из них получится, предсказать невозможно — это зависит не только от них. Алеша и его нынешняя компания — все-таки избранные. А если, не дай Бог, пошлют в Афганистан — что они смогут этому противопоставить? Как и все до них? Вот в чем трагедия и надлом.

22.07.80. ...Заехал к Баткину. Говорили о моих «Иванах»... Много оговорок, некоторые из них, возможно, справедливы, надо будет подумать. Дал прочесть свое письмо-статью по поводу «Заметок о русском» Лихачева. Многие мысли почти буквально совпадают с моими (напр., о «благодушии» лихачевской концепции). Ответ на лихачевские слова о «жалости к мучителям» — примерно о том же я отвечал Д. С. (Кстати, не у Лихачева ли взял Д. «жалость к руке карающей»?) В связи с этим я заговорил о своей переписке с Д. С. Баткин очень резко отозвался и о его претензиях ко мне, и об общей концепции («Я выбрал залив», «ваши московские новости» и т.п.). Меня даже немного смутила резкость его реакции — не слишком ли я утрировал в своем изложении? Стал его защищать. Долгий принципиальный разговор о трагизме современного мироощущения. Мы живем страшно, говорил Баткин (по поводу слов: почему нельзя жить в этой стране и как в ней жить?). Уклоняться от политики без лукавства перед собой в нашей стране невозможно, она проникает в поры. Мы все читаем одни газеты, смотрим один телевизор, слушаем одни новости. Можно «выбрать залив» в стране, где это действительно твой выбор; у нас это значит — отказаться от выбора, не взять на себя ответственности. Многие современные «духовные» искания — от поиска санкции вне себя, вне своей интеллектуальной ответственности, от желания прислониться к чему-то санкционированному. Тогда не нужно ни личного выбора, ни трагичного мироощущения. Вспомнил, как Игорь Голломшток говорил ему, что не может переживать за всех — только за тех, кого лично знает. Я сказал: «Но это обычно действительно так». Он стал мне возражать: «А меня все задевает. То, что происходит в Иране, и в США, и в Афганистане. Потому что это действительно касается меня лично, здесь. События в Аф-

ганистане, как и в Чехословакии, сразу отделили меня от большинства моих сограждан, например. Потому что большинство принимает официальную ложь или вообще об этом не думает. Это сразу меняет и мою личную ситуацию. А то, что происходит в Иране, в Пакистане, в Китае, чревато последствиями для всех нас. Эти древние цивилизации, находящиеся в стадии разложения, порождают сейчас силы, которые могут нести гибель миру. Я читаю все газеты, меня задевает вся эта ложь, хотя давно пора к ней привыкнуть...»

20.09.80. ...Папа все еще в реанимации. Кардиологи считают, что дело не в сердце, а в сосудистой спазме...

Тревога и горе вспоминаются, накатывают временами, в другое время я как будто думаю о другом, гуляю с Леночкой, даже смеюсь. Я не замечаю каких-то особых перемен в своем состоянии — но отчего же время от времени начинает болеть сердце? Что происходит в теле моем неосознанно, незаметно для меня?

Верно ли ощущение, что какие-то подспудные чувства больше обращены на тех, кто остается жить, чем на умирающих? Я помню свои тревоги перед операцией, которая неизвестно как могла кончиться: не за себя, а за то, как тяжело будет переживать мама. И сейчас, когда отец в критическом состоянии и я вижу, как он страдает, слышу, как он кричит, — жалко его невыносимо, но едва ли не больше тревога — за маму. Для него в худшем случае все кончится, но как ей жить с этим?

24.09.80. В гостях Витя Ерофеев. Похвалы «Иванам», некоторые из них были для меня неожиданными. По этой книге, считает он, чувствуется, что Россия по сути своей противоестественное образование и продолжает существовать только благодаря нечеловеческим методам. Я так не думал, но он с этим согласен...

30.10.80. В «Иностранной литературе» читал корректуру своей рецензии, потом к Копелеву. Там были Липкин с Лиснянской...

Разговор о визите Кани в Москву. В Белоруссии якобы мобилизовали пять возрастов, ГДР закрыла границу с Польшей. Введут войска или нет? Если введут, будет мировая война. Хочет ли руководство войны? Я сказал, что нет. «Мне кажется, вы относитесь к этим людям (руководству), как Толстой к своему Холстомеру, — возразил Липкин. — Вы приписываете им человеческие чувства. А у них логика другая, не человеческая». — «Инстинкт самосохранения — это не человеческое чувство», — заметил я.

Рая пригласила меня поехать с ними — к Светлане, на их проводы. Было много знаменитостей: Битов, Ахмадулина, которую я видел впервые (с Борисом Мессерером, ее нынешним мужем, очень симпатичным человеком), Окуджава, Войнович, Даниэль. Читали стихи на пленку. Белла производит, конечно, чарующее впечатление: и сама по себе, и чтение. Хотя смысла стихов я, как часто бывает, на слух не улавливал; возможно, при чтении глазами я бы не был от них в особом восторге. Окуджава пел («Все разъехались давным-давно, даже у Эрнста в окне темно, лишь Юра Васильев да Боря Мессерер только и остались в СССР», как «строят кабинеты для моих друзей» и др.)... Он много весь этот вечер рассказывал о своих американских впечатлениях, восхищенно. «Преступ-

ность? — Разговоры! Я проходил к себе в отель в час ночи совершенно спокойно. У знакомых профессоров дом в глухом лесу, вот-вот, кажется, выйдут индейцы. Они уезжают на месяц и запирают стеклянную дверь на ключ. Эмма Коржавин живет прекрасно»... И т. п. Как-то мне это даже не понравилось. Поминали Трифонова, который что-то писал о «бездуховности» Америки, ее телевидения и пр. «Трифонов негодяй, — сказал Окуджава. — Я ему говорил про это: что ты пишешь? Он отвечал: я так ощущаю».

Весь вечер общался с Битовым, который сидел рядом. Он сказал, что с удовольствием почитает мою рукопись, взял телефон, обещал позвонить, когда приедет из Ленинграда. Но, думаю, вряд ли позвонит...

(Занятно: Окуджава упомянул в песне Беллу — это уже факт литературы независимо от достоинств песни. Я могу писать мемуары об этом вечере, пересказывать разговоры, слова — когда-нибудь их опубликуют и будут читать с жадностью: не ради меня, а ради этих имен.)

Ну что ж, для вечности, из разговоров. Липкин спросил у Комы, почему Христос молился «авва отче», то есть два раза на двух языках произнес одно и то же слово? Кома отвечал, что это сложный вопрос: на каком языке говорил Христос? Вероятно, на арамейском; возможно, где-то существует подлинник Евангелия на древнееврейском языке. И перед смертью, обращаясь к отцу, он вспомнил язык своего детства, а в Евангелии эти слова растолковали для читателя, который этого языка уже не знал, то есть дали сразу и слово, и перевод...

Битов рассказывал, как возвращал однажды Ахматовой рукопись «Поэмы без героя» и начал: «Я, конечно, не умею говорить комплименты...» — «А почему же вы не научились говорить комплименты?» — сказала Ахматова и захлопнула перед ним дверь. «Сразу показала себя как женщина и вообще — выдала тот. Вообще великие люди говорят так, как будто давно обдумывали свои слова. Я не успел сойтись с Бродским. Когда я познакомился с ним, у меня еще не выяснилось к нему отношение. Общее признание меня не интересовало, а своего признания еще не было. Но сейчас оказывается, я при своей плохой памяти помню все его слова, вот признак масштаба». Говорил, как Бродский вначале почему-то искал признания у Слуцкого и был огорчен, что тому его стихи не нравятся.

Кома по поводу каких-то воспоминаний о Мандельштаме: «Я помню, Ахматова мне говорила: в XIX веке уничтожали письма и дневники, заботясь, чтобы не стали общим достоянием личные дела. А сейчас, наоборот, все тащат на свет свои воспоминания».

Еще Кома рассказал историю про Корнелия Зелинского, который в Новый (1958) год при нем целовался с Пастернаком. А чуть ли не через несколько дней напечатал мерзкую статью о его стихах «Ты значил все в моей судьбе», не поняв, что речь в них идет о Христе, и подумав, что это о наших днях, о Сталине и Ленине, что ли; то есть донес. Кома при встрече отказался подать ему руку, так тот в ближайшем выступлении потребовал буквально его ареста, и это имело для Комы довольно неприятные последствия, хотя до ареста по тем временам не до-

шло. (А рассказано это было к тому, что одно стихотворение Пастернака до сих пор носит посвящение Зелинскому.)

Битов вдруг: «И вот это — печаль, прощание?..» (Я понял: ему показались неполноценными, неподлинными чувства, которые мы в то время испытывали, когда говорили о грусти расставания, о потерях и пр. Вдруг сомнительными ему показались мы все, и он сам себе. Так я его понял.)

14.12.80. ...Сегодня занялся разборкой заметок к «Лизавину» и вообще фрагментов. Видимо, надо приниматься за работу, невзирая на условия. Мысли о том, чтобы подготовить поскорей что-то для печати (рассказ, детскую сказку), отпадают, видимо. Не так уж у меня много времени, сил и способностей, чтоб отвлекаться от главного.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Цветаева, Пушкин и Пугачев

Эти заметки возникли 4—5.01.1981. Под впечатлением писем Д. Самойлова, который обвинял моих «Двух Иванов» в смаковании жестокости, в недостатке художественного целомудрия и т.п., я взял читать известную работу М. Цветаевой «Пушкин и Пугачев» — и поразился, насколько это по теме нашего спора. Книга была в заграничном издании, не моя, поэтому я кратко, с выписками, законспектировал статью, попутно, на полях, комментируя ее положения. Сейчас для удобства чтения я воспроизведу конспект и комментарии последовательно, несколько упорядочив их, убрав повторения и т.п. (13.01.88).

М. Цветаева «Пушкин и Пугачев» (1937)

Пугачева «Капитанской дочки» писал поэт, Пугачева «Истории пугачевского бунта» — прозаик. Первым нельзя не зачароваться, от второго нельзя не отворотиться.

Пугачев «К.д.» взят и дан в исключительном для Пуг. случае — добра, в исключительном — любви. Всех-де казнию, а тебя милую. Причем этот ты, по свойству человеческой природы и гениальности авторского внушения, непременно сам читатель. (Всех казнил, а меня помиловал, обобрал, а меня пожаловал и т.д.)

Что у нас остается от «К. д.»? Его — пощада.

А вот что он с первых страниц повествования и пугачевщины — получает:

«...к нему привели Харламова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибленный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить».

(Велел казнить и Миронова, но у того глаз не висел. Тошнотворность деталей.)...

«С Елагина, человека тучного, содрали кожу: злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны».

(В «К. д.» ни с кого кожу не сдирали и ничьим салом своих ран не мазали. Ибо Пушкин знал, что от такого мазанья — на его героя — стошнило бы.)...

«Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся казнью его родителей. Пугачев поражен был ее красотой и взял несчастную к себе в наложницы, пощадив для нее ее семилетнего брата».

Пощада — малая, и поступок — чисто злодейский, да и злодейство — житейское: завождедев — помиловал. И мгновенный рипост: наш Пугачев так бы не поступил, наш Пугачев, влюбившись, отпустил бы на все четыре стороны...

«Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе Самозванца... Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненные, они сползли друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, долго оставались в том же положении».

Все чары в сторону. Мазать свои раны чужим салом, расстреливать семилетнего ребенка, который, истекая кровью, ползет к сестре, — художественное произведение такого не терпит, оно такое извергает. Пушкин, художеством своим, был обречен на другого Пугачева.

[Дальше история, как он предал товарищам своего любимца Карлицкого.]

Пугачев здесь встает моральным трусом — Lache, из-за страха товарищей предающим — им в руки — любимую женщину, невинного ребенка и любимого друга.

[Сравнение с Разиным — из песни о персидской княжне.]

В разинском случае — беда, в пугачевском — низость.

И — народ лучший судья — о Разине с его Персияночкой — поют, о Пугачеве с его Харловой — молчат.

Годность или негодность вещи для песни — может быть, единственное непогрешимое мерило ее уровня.

[Приведа еще несколько свидетельств о реальном Пугачеве]:

Теперь — очная ставка дат: «К.д.» — 1836, «Ист. пуг. бунта» — 1834...

Пушкинский Пугачев есть рипост поэта на исторического Пугачева, рипост лирика на архив: — Да, знаю, знаю, все как было и как все было, знаю, что Пугачев был низок и малодушен, все знаю, но этого своего знания — знать не хочу, этому не своему, чужому знанию противопоставляю знание — свое! Я — лучше знаю. Я — лучшее знаю:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Низкими истинами Пушкин был завален. Он все отмел, все забыл, прочистил от них голову, как сквозняком, ничего не оставил, кроме черных глаз и зарева...

Пушкин поступил, как народ: он правду — исправил, он правду о злодее — забыл, ту часть правды, несовместимую с любовью: малость.

И всю правду о нем сохранив, изъяв из всей правды только пугачевскую малость, дал нам другого Пугачева, народного Пугачева, которого мы можем любить: не можем не любить.

Пушкин нам Пугачева «Пуг. бунта» — показал, Пугачева «К. дочери» — внушил.

Ибо чара — старше опыта. Ибо сказка — старше были. И в жизни земного шара старше, и в жизни человека — старше. Пугачева мы знали уже... и в Верлиоке, и в людоеде из Мальчика-с-Пальчика, рубящем головы собственным дочерям, и в разбойнике, от которого Аленушка прячется за кадушку с маслом, во всех людоедах и разбойниках всех сказок, в сказке крови, нашей древней памяти...

Дав нам такого Пугачева, чему же поддался сам Пушкин? Высшему, что есть: поэту в себе. Непогрешимому чутью поэта на пусть не бывшее, но могшее быть. Долженствовавшее бы быть.

[И в результате вывод]:

Нет низких истин и высоких обманов, есть только низкие обманы и высокие истины.

Дело для нас не в Пугачеве, каким он был или не был, а в Пушкине — каким он был.

1

Я тотчас взял перечитать «Историю Пугачевского бунта». Не буду сейчас обсуждать, правильно ли оценила Цветаева побуждения и метод Пушкина. (Дескать, знал факты, однако сознательно — или бессознательно, но именно из таких побуждений и именно так — отобрал и преобразил их.) Не уверен, что сам Пушкин подписался бы под цветаевскими восторгами. Будем говорить не о нем и не о Пугачеве, не об оценке его восстания и его личности, не о соответствии цветаевской концепции фактам, а о смысле этой концепции.

Мне кажется небезразличной дата написания статьи — 1937 год. Уже совершилась духовная подготовка к возвращению в послереволюционную Россию, вытеснены из памяти непосредственные впечатления о реальности, зарево из детской сказки о добром разбойнике затмило реальные пожары, правда литературного «мужицкого бунта» затмила личный опыт соприкосновения с ним, отраженный в дневниковой прозе послереволюционных лет.

Эта проза: заметки о поездке на юг, о жуткой, зловещей жизни тех лет, когда от голода умерла младшая дочь Цветаевой, — оказалась помещена в том же томе, что и статья о Пушкине и Пугачеве. Между прочим, там с ненавистью упоминается имя Дзержинского. А уж вот кто, казалось бы, «добрый разбойник». Сколько он сделал хотя бы для беспризорников, то есть детей, осиротевших не в последнюю очередь его стараниями.

Тогда она видела этих сирот близко, в упор, как в «Истории пугачевского бунта» — семилетнего расстрелянного. И могло ли утешить, что тебя — (кого-то другого) помиловали?

Разве не были мы воспитаны на чтении легенд о сталинских благодеяниях? (Как он послал врача и лекарства спасти заболевшую девочку и т. п.) Допустим, это даже и не легенда, допустим, был такой случай — какова его цена на фоне прочих злодейств? От реального мятежа она почему-то отшатнулась, убежала. Потому что вплотную он — со всеми запахами, кровью, язвами, неправдами (и правдами, правдами не в последнюю очередь).

Но иногда мне кажется, что Цветаева оттолкнулась от революции скорей в силу личных или вкусовых обстоятельств (муж, некоторые пристрастия), чем в силу идейных убеждений. Идеино, духовно она недаром чувствовала себя сродни Маяковскому.

Со временем оказалось, что расстрелянную девицу и ее семилетнего брата все-таки можно отстранить из памяти — хочется отстранить. Нас очаруй заревом. Это для Достоевского детская слезинка перевешивала все слова о мировой гармонии.

Цветаева оказалась в русле другой русской традиции. Это была традиция, склонная приветствовать народный бунт, видеть в нем некую высшую правду. В заметках для себя — сознание: «Не приведи Бог увидеть», в публичных призывах — что-нибудь вроде: «К топору зовите Русь». Революции действительно желали, ее накликивали. «Пусть сильнее грянет буря!»

(«Да, вот сидел такой интеллигент XIX века в белой манишке с галстуком, на столе кофе, макал перо в чернильницу и писал что-то вроде этого: «К топору зовите Русь», — сказал пришедший ко мне 5.01 Е. Попов, с которым я обсуждал эту тему. И виделось это ему так: приходит какой-то добрый разбойник вроде Пугачева, мужицкий царь и обещает всем волю. Ну, какое-то количество помещиков придется, конечно, уничтожить, но вообще, как-то без крови, без вышибленных глаз. Как-то они сами исчезнут, их не станет... А человек, между прочим, состоит из крови, сухожилий, из дерьма, наконец».)

Правда Цветаевой — действительно в каком-то смысле правда детского взгляда, который не пугается сказочного разбойника. Ребенок читает без содрогания, как волк съел зайца, потому что не видит ни реальной крови, ни кишок, не слышит хруста костей. Но мы, увы, не дети, и безответственно не знать, безнравственно не показать, что такое настоящие разбойники и каково попасть в их власть. Возможно, взрослое знание не только приобретение, но и потеря, возможно, блажен, кто сохранил детский, романтический взгляд на жизнь. Но если он писатель и хочет что-то поведать другим — надо быть осторожным: как бы они ему не поверили всерьез. Особенно если времена подоспеют серьезные.

В этом смысле русская литература, пожалуй, несет свою ответственность за реальный поворот русской истории. Хотя в реальности писатели и ужаснулись реально грянувшим событиям — тот же Горький не узнал в них желанной, грянувшей бури. Впрочем, некоторое время пытались и реальным заревом очароваться — Блок в «Двенадцати», Маяковский, еще повторявший: «Ножичком на месте чик...» Надолго не хватило.

Не очаровались реалисты трезвые до жестокости, вроде Бунина.
И здесь имеет смысл поговорить о поэтике.

2

В «Истории Пугачевского бунта» есть много подробностей, которых писатель XX века не опустил бы. Например, как была взорвана колокольня с пушками, да так удачно, что пушкари остались при этом живы, а один даже не проснулся, продолжал спать. Платонов за такую деталь ухватился бы. И уж наверняка не отвернулся бы ни от страшного расстрела брата и сестры, ни от одной из подробностей, которые Цветаева считает нетерпимыми для художественного произведения.

В XX веке литература терпела и не такое — вспомним некоторые сцены у Фолкнера («Свет в августе»), Хемингуэя («По ком звонит колокол»). Кстати, все это писалось близко к страшному году, когда писалась цветаевская статья.

Пушкин был писатель начала XIX века, у него была своя поэтика, своя оглядка на читателя — если бы он слишком обогнал свое время, его бы просто не восприняли.

(«Наверняка он, когда писал «Капитанскую дочку», думал о том, что скажут дамы, — заметил по этому поводу Е. Попов, — не станет ли им противно от иных описаний, что скажет цензура».)

Но главное, у него была другая задача. Он не грешил против истины, но он ограничил ее взглядом 16-летнего дворянского недоросля, который мог просто не фиксировать ничего другого. (Правда, сама Цветаева проницательно ловит Пушкина на невольной подмене точки зрения по ходу повествования — так увидеть и осмыслить иное не мог 16-летний, для этого надо было быть 36-летним Пушкиным.)

Наш взгляд — взгляд другого века. Это не наша заслуга, и не стоит судить писателей прошлого с высоты нового опыта. Не требуем же мы от Гомера современного понимания реализма. Правда, мы не берем его поэтику за современный литературный образец, а пушкинскую до сих пор берем. Но не пристало нам поступаться знанием, добытым в муках нашего века, новым опытом и отвагой писателей, которые в нашем веке его по-новому осмысливали.

Увы, увы. Не своей заслугой и не на свое счастье мы знаем о жизни, человеке и мире, о страданиях, гибели и беспредельных возможностях злодейства больше, чем знал Пушкин. Нельзя же делать вид, что за сто лет ничего не произошло ни в литературе, ни в развитии общества, ни в нашем историческом знании. Хотя бы потому, что не нам хвастаться результатами своего исторического развития (для которого небезразлична была и деятельность духовных учителей).

Мы слишком склонны умиляться словам западных писателей о «святой русской литературе». Американцам мы не умиляемся — они о себе рассказали сами без умиления, трезво, жестко, иногда жестоко (устаами Фолкнера, Стейнбе-

ка, Колдуэлла и др.). Не потому ли они сумели наладить реальную жизнь, что сами себя не обманывали разговорами о литературном целомудрии и возвышающем обмане?

3

О народе. Я уже размышлял на эту тему по поводу отношения к Ивану Грозному: для песен тоже были отобраны легенды об исключительной милости (как царь спас добра молодца от правежа, наградил казной, наказал обидчиков и т. п.). Ведь Разин из песен — тоже не реальный Разин; о реальном Разине есть исторические свидетельства, сравнимые со свидетельствами о Пугачеве.

Народ — лучший судия?.. Тут в чем-то другом было дело. Не в поиске истины («народ» этим не озабочен), а может быть, в необходимости иметь усиленную основу — пусть не бог весть какого, но устойчивого существования. (Для этого нужна и государственность любой ценой, и военная победа.) Истины самых мыслящих, совестливых, трезвых людей бывают не только не нужны для поддержания этой устойчивости, но опасны, разрушительны.

И что такое «народ»? Если понимать под этим словом массу, прежде называвшуюся «простонародьем», т.е. массу людей минимального образовательного ценза, то почему я заведомо должен признавать первородство любых его оценок, нравственных, даже литературных? Русская традиция народопоклонства порождена отчасти давней неразвитостью у нас культурного, интеллигентского слоя, его самосознания, отчасти задавленностью самого народа, которому всегда недодавали, что вызывало совестливые комплексы у интеллигенции. В этой совестливости была своя истина, было свое достоинство. Но теперь уже почти нет того народа, который творил песни, исходил из предания. Сейчас его формирует не мифическая «народная память», а телевидение (словно кот-баюн, способный рассказывать приятные сказки) да еще водка. Так ведь и сто лет назад представление о «народе-богоносце» было больше вымечтанным мифом, чем действительностью; опыт следующих лет это слишком показал. (Тем более миф сейчас — некий «религиозный ренессанс».) Во всех слоях существовало меньшинство, независимо от образовательного ценза; вот оно для меня авторитет. Но это не то же, что «народ».

Какие «народные ценности» помешали немцам пойти за Гитлером? Ведь Гитлера принял народ — в отличие от совестливых одиночек. Кто поставлял у них и у нас кадры палачей, охранников, доносчиков? Обманутый инстинкт может привести к национальной катастрофе (в случае поражения, конечно; победа видоизменила и растянула бы вырождение народа; немцев катастрофа от вырождения все-таки спасла).

Словом, у «народа» и незаурядной (незаурядно мыслящей) личности просто разные задачи в истории. И те и другие нужны, только личности вовсе не за чем бездумно обожествлять «народ» и его критерии. Важно знать им цену. Это не мешает восхищаться тем, что заслуживает восхищения.

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Пушкин писал это, защищая миф о Наполеоне. Толстой предпочел низкие истины о незваном герое. В этом был смысл. В афоризме Пушкина я, вообще говоря, никогда не слышал особой гордости, скорей ироническую насмешку над общей, понятной и тоже не лишенной своего смысла человеческой слабостью.

Цветаевское пристрастие к Наполеону, вообще романтическое отношение к героям мне безусловно чуждо. Возможно, среди свойств, которые мы, люди XX века, потеряли по сравнению со своими предшественниками, — это способность к восторгу перед историческим величием, перед Наполеоном, Сталиным и Гитлером, перед волнующей гибельной стихией мятежа.

Написав статью, Цветаева убедила себя вернуться в страну победившего мятежа. Конечно, для возвращения было много сложных причин, но была и эта романтическая ностальгия.

Расплатой за нее оказались расстрел мужа, лагерь дочери, самоубийство. Склоним голову перед ее трагедией — это и наша трагедия.

1981

1.01.81. Пробую начать новый год не с деловых планов (их немного и отчасти они условны, отчасти не от меня зависят: дописать рассказ, писать роман, напечататься, переводить для заработка и т. п.), а с попытки прояснить самочувствие. Делаю это по привычке с пером в руке, на отдельном листке, потому что мысль пока неточна, неярка. Не раз как будто мелькало подлинное понимание, но не успевал его сформулировать.

А это, пожалуй, самое важное: разобраться не в действиях, удачах и неудачах, а в их духовной цене и подоплеке. Состояние счастья зависит не только от внешних событий, от положительных или отрицательных эмоций — их, в конце концов, немного и они редки, — а от душевной ясности или смуты, которая отчасти зависит от твоей способности овладеть жизнью, душевным состоянием, понять себя и мир.

Попытка прояснить самочувствие

Чего желал бы я себе в новом году?

Здоровья и благополучия в семье. Немного удачи.

А для себя (насколько от меня зависит) — ясности душевной.

С этой ясностью странное дело: налетающие иногда приступы тоски как будто и зависят не от меня. От пятен на Солнце, что ли? Сразу по-другому начинает работать логика: все не так, некогда работать, некогда поехать, перестаю быть писателем, вот помру — и вся жизнь неудачна.

Потом это состояние проходит, и совершенно другое, столь же логичное ощущение: я живу, как сам хочу, сам распоряжаюсь своим временем. Не так уж плохо обеспечен. Пишу талантливо; во всяком случае, работами я не поменялся бы с более удачливыми. Самая ценная награда за труд — его радость. (По Спинозе: добродетель не нуждается в награде, ибо она сама есть блаженство; призвание — подлинная благодать; гении — счастливейшие люди.)

(Читал газеты с речами на съезде российских писателей: перечень имен, слова. В уме и сердце пустота. Им, что ли, завидовать?)

Можно ли быть довольным жизнью в наших условиях, независимо от условий?

Можно: 1) хорошо устроиться в жизни, 2) уметь наслаждаться простыми радостями, тем, что вокруг тебя: еда, женщины, семья, природа, произведения искусства, 3) не думать о политике, пока она близко тебя не коснется, не думать о политиках, о войне в Афганистане, о сидящих в тюрьмах диссидентах (зачем, дураки, лезли, сами виноваты)...

Почему это невозможно:

1) Способность бездумно радоваться жизни просто не всем дана от рождения, для этого нужна определенная степень неразвитости (умственной? душевной?). Человек бывает счастлив или несчастлив уже от рождения.

2) Связанная с этим, производная от этого профессиональная невозможность: писатель не может не думать о судьбах страны, других людей и пр. Во всяком случае, тут должно быть честное, ненарочитое самочувствие. (Оговорка: есть типы писателей и виды творчества, для которых это несущественно, они пишут, например, для детей или о природе. Считать ли это более низким типом литературы? Кто установит иерархию? Но главное, это дано или не дано.)

3) Иногда я говорил себе, что это проблема не чисто наша, она существует и в других странах, существовала всегда и в России. Но, пожалуй, такой тотальности духовного угнетения, такого давления еще не было. К тому же не всем просто день ото дня питаться ложью — во всем, на всех уровнях. Это отравляет. Накапливаются яды и в психике человека, и в общественном организме. (Признаки одичания, вырождения.)

Мой характер, природный, душевный строй, тип профессии определяет такой путь:

1) Жить несуетно (гнаться за успехом уже, пожалуй, поздно). Углубляться в жизнь, писать о ней, насколько позволяют время и силы.

2) Но не забывать и «практического разума», насколько можно не поступаться принципами и достоинством; стараться устроить свою жизнь, публикации и пр.

Я достаточно знаю людей, чтобы угадывать в каждом мало-мальски развитом человеке ту же тоску, неудовлетворенность — независимо от степени успеха и ступени житейской лестницы. (Речь не идет о тех, для кого главное — посидеть за «хорошим» столом, «хорошо пожить».) У литературных сановников,

например, угадывается комплекс неполноценности при мысли о неосуществленных претензиях: они ведь тоже метили в Львы Толстые.

Во всех этих рассуждениях надо, однако, помнить про опасность равнодушия, вялости (душевной и жизненной). Если все равно, то и действовать не надо.

Или вот думаешь, что никто сам по себе не хочет подлостей, не считает себя подлецом, говорит себе, что жизнь заставляет вертеться. Я до сих пор, на пятом десятке, все не привыкну, что человек может просто поступить с тобой подло.

(Пишу и чувствую приблизительность всех этих суждений. Я иногда ощущаю что-то более глубоко, но не успеваю зафиксировать...)

5.01.81. ...Вчера вечером взял почитать Цветаеву «Пушкин и Пугачев» — и сразу узнал знакомые мотивы. Зачесались руки записать, ответить...

23.02.81. Жизнь людей великих более представительна по человеческому качеству; в то же время исключительность ее положения и ее проявлений мешает большинству людей узнавать в них «свое». Мой литературный стиль или принцип позволяет возводить в степень великого обыденное, выявлять в нем гениальность, трансцендентность.

3.03.81. ...Вечером заехал к Померанцу, туда пришел Хазанов Геннадий Моисеевич³, о котором я слышал как о писателе, печатавшемся в журнале «Время и мы». Симпатичный, образованный, с юмором человек. Очень хорошо прочел мою вещь, очень высоко оценил. Гриша заговаривал о возможности напечататься за границей, я сказал, что в течение года надо будет, видимо, на это решиться. Не удержался и на этот раз, упомянул отзыв Самойлова... «Это подтверждает мою мысль, — сказал Гриша, — что почвенники не способны вести диалог с историей от первого лица». Зина зачем-то спросила, еврей ли я или только половинка. Услышав мой ответ, Хазанов сказал: «Знаете, я даже разочарован. Я считал, что такую вещь мог написать только русский». — «Я русский писатель», — ответил я. «Да, но у меня были свои представления о границах возможностей писателя-еврея в России». Он мне написал письмо, которое я еще не получил.

Зашел разговор вокруг фразы Моэма, должен ли писатель писать «хорошо»; о том, что в русской литературе меньше заботятся о форме выражения, чем о внелитературной сути. Хазанов высказал мнение, что антикультурные традиции в русской литературе (напр., у Достоевского) не случайны и имели печальные последствия для судеб русского общества, русской истории. Померанц поправил: «Скорей грех, общий для Достоевского и Толстого, был в обождествлении народа как высшей инстанции. Это имело тяжелые последствия, ослабление личного начала. В личности больше от образа Бога, чем в народе». Говорили о внелитературном в литературе, о том, что такое Бог в литературе. Я сказал: «Когда в тексте говорится “Бог”, это может быть философско-религиозное произведение, но это еще не литература. Мне нужно, чтобы говорилось о коровах, а чувствовался Бог». Гриша: «Но в философской лирике может и пря-

³ Борис Хазанов - псевдоним писателя Геннадия Моисеевича Файбусовича.

мо упоминаться Бог». Я: «Прямое упоминание Бога производит впечатление на уже обращенных верующих. Другое дело потрясти человека пластическим образом, чтобы он испытал духовное прозрение».

24.03.81. Путевые заметки: Москва — Обнинск — Калуга — Козельск.

Калуга. В Худфонде объявление: Экскурсия в Москву на выставку «Мы строим коммунизм», в Музей изобразительных искусств и др. (Так и написано: и др. Т.е. за колбасой.) В Москве новый промысел: старушки за неделю накапливают продуктов для иногородних: мяса, колбасы, апельсинов. Те приезжают раз в неделю, в очередях не стоят, дают этим бабкам трешку или пятерку. И еще, может, в самом деле успевают сходить на выставку «Мы строим коммунизм».

+150. Разлив, все тает. Вдоль дороги на Козельск вешки с сосновыми пучками наверху. Метят дорогу, когда она скроется под водой — а это вот-вот случится. Мост через Оку, деревянный, хлипкий, низкий. Лед вокруг обрубили: малейшая подвижка снесла бы опоры. На автобусной остановке рассказывали, как шофер высадил всех из перегруженного автобуса, велел перейти пешком. А нас перевез. Это оказался последний автобус — на другой день мы уже не смогли бы выехать.

(Для романа.) Мысль Милашевича (впоследствии додуманная Лизавиным: о неизбежности победы большевиков как начала крысиного, лишенного сдерживающих принципов, чести и т.п. Бороться против них может лишь сила равноценная, а значит, ничуть не лучше (фашизм), потому что интеллигентного противника будут останавливать соображения совести, необходимость учесть разные интересы и пр. А этим — незачем; хамью — потому что они, по сути, лишены такой потребности, идеологам — от способности диалектически выворачивать свою мысль и совесть ради конечной справедливой цели (революционная целесообразность).

25.3.81. Козельск — Сухиничи — Калуга.

В Козельском ресторане «Огонек»:

— Пиво есть?

— Достану, — отвечает официантка. А оно тут же, на виду. Но не скажет: есть.

На автобусной остановке:

— В эту сторону автобус идет?

— Бывает.

Что значит «бывает»? Когда? Это — как молния: иногда попадет, иногда нет.

Иностранцам, наверно, трудно понять русскую глагольную форму «бывает». «Есть это в магазине?» — «Бывает». Был — есть — будет. Бывает.

Плакат в козельской гостинице: «Чередуйте умственный труд с физическим!»

Стенд с данными по продаже молока на 20 марта. Колхоз «Путь к коммунизму» (председатель такой-то, секретарь парторганизации такой-то, шеф — стекольный завод и т.д.) изображен в виде человека, зевающего на черепахе. А колхоз «Октябрь» — на ракете. Еще два — на авто и лошади.

«Этот флаг поднят в честь колхоза “Победа коммунизма”, обеспечившего лучшие надои молока».

Во что вылилось интимное отношение к труду-кормильцу, дающему содержание жизни!

Мы с Поповым шли по Козельску, куда приезжал по пути в Оптину пустынь Достоевский, где жил Лев Толстой (отсюда он отправился в свою последнюю поездку до станции Астапово). Как они видели этот город? — фантазировали мы. Как нанимали извозчика, обедали в трактире? И, может быть, удрученные провинциальной скукой, мечтали о городе будущего? Вот он, город будущего. Без монастыря, церквей, уже провонявший бензином. Нетрудно высчитать, что с тех пор потеряно. А что приобретено? Водопровод в домах (не во всех, конечно), кино, телевизор с Майей Плисецкой. Хоккей, Алла Пугачева. Город сильно застроен, разросся. Роскошный Дом культуры. Но почему-то не радуется он среди грязи обычных, непарадных улиц.

В Сухиничах, в пристанционном магазине купили вино под названием «Вино» производства какого-то краснодарского колхоза. Яблочное.

Пьяный мужик на станции в Сухиничах: «Феликс Эдмундович Дзержинский говорил: 5 лет поработал — мусор, гнать его к ебене матери!» Наверно, сводит счеты с каким-то начальством. Но при чем тут Феликс Эдмундович? Бред. Я сам был подвыпивши, и во всем виделся бред.

Удивительно красивый весенний пейзаж за невымытым замызганным окном. Холмы, овраги, проталины, пятна снега, потоки воды, набухающие речки. Мы смотрели на это слегка хмельные и чувствовали, что эта красота еще будет нам сниться.

26.03.81. Калуга — Козельск — Боровск.

Козельск. Рассказ, как в ресторан «Огонек» пришли газовщики отметить окончание работы. Они здесь прокладывали трассу и получили в расчет больше 1000. У ресторана их уже ждал «воронок». Всех отвезли в вытрезвитель, очнулись они без копейки. И милиция пригрозила, что, если будут жаловаться, они из Козельска не выберутся.

В козельской гостинице нас устроили ночевать в коридоре. Монтажник-украинец соседу:

— Почему русские стареют раньше хохлов? Вот я заехал к свояку, он на два года меня младше, а передо мной — старик.

Боровск. Я гляжу из окна кафе (полированные столы, современный интерьер, мягкие стулья). А за окном вид почти такой же, как лет 100 назад. Только

вместо асфальта был булыжник, а вместо автобуса «Икарус» — извозчик. (Другой автобус, местной линии, набит не просто битком — даже у сиденья водителя старушка втиснулась полулежа.) А сзади церковь без куполов поросла травой, на ней две таблички, большая «Керосин» и маленькая — стрелка вправо: «Туалет». Конечно, асфальт мягче булыжника, «Икарус» быстрее извозчика. Но прибавилось ли — не счастья даже — смысла в жизни этих людей? Какой-то пролетарий синюшного вида сует руку: «Здравствуй! Эй, борода! Ну, поговорить хоть можно?» Он встретился нам дважды, и не будь со мной Попов, я не удержался бы, заговорил. Хотя весь разговор заранее ясен, кончится просьбой 20 копеек.

А только что мы проходили мимо дома, в котором три года жил Циолковский, учительствовавший здесь.

— Ну где здесь место светлым личностям? — спрашивает сам себя Попов.

Дети в хороших курточках и сапогах, половодье для них — забава. Но им, наверно, тут скучно. Осталась ли рыба в изгаженной Протве?

Мы попали, конечно, в пору не самую живописную, когда еще нет зелени, а снег уже сошел, и открылась грязь, убогость, не прикрытая садами (и грязь-то современная: угольный шлак, бутылочное стекло). Зато все откровенно, обнажено. Прекрасный простор, на окрестных холмах великолепные церкви, на одной маковка скривлена набок, как у паралитика. В одной церкви птицефабрика, к другой присобачен Дом культуры, в третьей этот самый «Керосин», в четвертой автобаза.

А в Боровско-Пафнютьевском монастыре — техникум. Стены потихоньку реставрируют, но в самом храме фрески оббиты, забелены. И те же кучи грязи, строительного мусора, шлака, битого кирпича. Не может такая обстановка (вместо былой красоты, чистоты) не влиять на душу; в этом живешь, купаешься, этим дышишь. Оскверненные церкви, оскверненная земля.

У монастырских ворот — афиша кино «Сибириада». На стене в уборной у церкви:

Писать на стенах туалета
(вторую строчку забыл)
Среди говна и мы поэты.
Среди поэтов мы говно.

На постаменте памятника Ленину надпись: «Проснись, Ильич, Россия голодает!».

Мозаика в Козельском Доме культуры стоит тысяч 5. Богатство им дает военный городок, многокилометровый. И под Боровском мы ехали вдоль военного забора на автобусе минут пять. Как метастазы — зоны. Поэтому здесь невозможен туризм, а значит, нет денег чинить церкви.

27.03.81. Вчера вернулся из трехдневной поездки с Поповым по Калужской области. Обнинск — Калуга — Козельск — Сухиничи — через Калугу опять в Обнинск — Боровск — Москва. Подробности на отдельных листочках. В дороге

бесконечные разговоры обо всем — и о литературе, литературе, литературе. Записывать этот многодневный треп нет ни возможности, ни надобности...

В вагоне мы распили бутылку вина 280, заедали купленной в Калуге курицей. И в подпитии, за прекрасной беседой, когда за окном поворачивался дивный весенний пейзаж, мне казалось, что я нашел нужный для будущего моего повествования тон: несерьезный, снижающий. Надо было сразу записать кое-что, что мне тогда казалось ясным. Сейчас я многое забыл. Но, как ни странно, в этих поездках я понял что-то очень важное для замысла о Милашевиче и Лизавине. Общий тон: эволюция жизни за эти 10 лет, безразличие истории к жизни людей, которая успела за эти годы пройти — без смысла, без радости... нет, мне пока еще трудно сформулировать все это в четких фразах, но есть ощущение...

30.03.81. Немецкое слово *Zeitgenosse* куда определенной русского «современник». Все равно что *Parteigenosse*: товарищ по времени. «Современник» — более безличное, фатальное соприсутствие во времени: скорей «товарищ по несчастью».

Пора вам знать: я тоже современник —
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

Это вам не *Zeitgenosse*! Тот старается быть как все, «современным», с «современным» вкусом, взглядами, манерами. А этот и рад бы не быть... Но, поскольку в русском «современнике» просвечивает и *Zeitgenosse*, Мандельштам отрецивается:

Нет, никогда, ничей я не был современник...

И не о противоречивости поэта надо тут говорить, а о двусмысленности, многозначности слова, которым приходится пользоваться.

6.04.81. ...Посмотрел мультфильм по «Левше» Лескова. Надо бы перечитать, но помнится близко к тексту: гордость гордостью (аглицкую блоху подковал), но атаман-патриот Платов ямщика все время в спину сапогом, у Левши чуть дом не разносят, его самого тащат под микитки, а в награду за патриотическую работу — штоф водки. Все это в лубочно-ироническом духе, но так подумать: аглицкого механика небось мистером величали. Может, это большая гордость, а не сомнительный спор, что замечательней: механическая блоха или подковка к ней? Важнее всего для наших судеб, что об этом даже не думают — только о подковке.

10.04.81. Меня сейчас интересуют кризисные, переходные эпохи — когда на стыке, переломе возникают (так говорят) высшие, судьбоносные вспышки человеческого гения.

Я считаю таковой нынешнюю эпоху, но особых взлетов, увы, не жду. И все-таки. Что дает мне основание говорить о кризисе, переходности? И сто лет назад в России было чувство изжитости строя, культуры, необходимости перемен. К 14-му году кризис назрел, к 17-му — прорвался. Но возникшая система оказалась мертворожденной, это стало ясно чуть ли не сразу. Вымечтанное светлое будущее вслед за желанной революцией в считанные годы обернулось извращением, распадом, но вместе с тем и окостенением. Реальная система потерпела крах экономический, философский, общественно-политический; всем, в общем-то, ясно, что она загнивает на корню, едва успев родиться.

Но в этом мертворожденном качестве она обнаружила пугающую способность к самовоспроизводству и к расширению. При всей своей несостоятельности она неумолимо покоряет мир и может стать общей нормой, ибо в ней есть что-то, отвечающее потребностям именно нынешнего многомиллиардного массового человека.

Да, кризис длится уже не один десяток лет, становится перманентным. Но, может, я выдаю желаемое за действительное, называя это время переходным? Слишком долго нам кажется, что так нельзя — а оказывается, можно, и скорей, глядишь, переломит, приспособит нас, чем рухнет система.

Потому наше трагическое мироощущение более бесплодно, чем мироощущение Сократа или Данте, живших на переломе своего времени.

11.04.81. ...По мысли Д. Самойлова, Блок представлял ту русскую традицию, которая ставила требования к себе выше требований к миру.

Как все на свете, это палка о двух концах. Возможно, потому русская интеллигенция не привыкла к конкретной ответственности за исторические судьбы страны, как за свою собственную. Ее во многом устранили от этой ответственности — но отчасти она самоустранилась. Не реальная программа, работа; главное — ожидание слома. И, как зачарованные кролики, смотрели на революцию.

Может быть, потому наша литература была всегда лучше нашего мира.

12.04.81. ...О Юлике надо бы когда-нибудь написать подробнее. Нашему знакомству уже четверть века, характер отношений за это время бывал разный. Но лейтмотив неизменно праздничный. В нем чистейшим образом воплотилась природа и призвание артиста, художника — радовать людей. Счастливый дар; при всех перипетиях его нележкой и сложной судьбы он, по-моему, должен делать его счастливым и прибавляет счастья окружающим. Не про многих это можно сказать.

«Он не просто очень талантлив, он еще очень хороший человек», — сказал мне незадолго перед смертью Илья Габай. Верно. А еще добр, всегда готов прийти на помощь.

Умен, конечно. Но талант, пожалуй, превышает ум. Абстрактные его рассуждения никогда меня особенно не впечатляли. Но это как раз та область, где точек пересечения бывает меньше. Вкус его в оценках вообще порой вызывает у меня недоумение. Но это совсем зыбкая область. Несомненно главное.

16.04.81. Бесконечность и вечность для ограниченного человеческого ума непостижимы, а другим человек не обладает. Другой он может только вообразить — это начало религии. Очевидно, в человеке есть потребность выходить за свои ограниченные пределы, безнадежно напрягая умственные и духовные усилия. Безнадежность эту можно предвидеть, но отказываться от усилий нельзя; в них — способ аккумулировать энергию, приходящую из бесконечности и поддерживающую наше существование.

22.04.81. ...Вдруг вспомнил, как Попов, рассуждая о погубленных нашими обстоятельствами писательских судьбах, обмолвился: «Не у всех же такая стойкость, как у тебя». Значит, я произвожу впечатление стойкого.

Что ж, если меня сейчас не печатают, я готов 2—3 года потратить на итоговый свой роман о Милашевиче—Лизавине (только бы дал Бог эти 2—3 года)... и другие рукописи. А дальше печататься на Западе и полагаться на Провидение. Да и есть ли у меня выбор?

Радио последние дни совсем не слышно: глушат очень плотно...

24.04.81. ...Когда я писал об Илье Габае, мне приходилось размышлять над известной сентенцией: тонуций и зовуций на помощь человек не заботится об артикуляции своего голоса.

Да, но об этом заботится вода, в которой он тонет, или огонь, или дуло винтовки, или боль — заботятся так, как не сделает это никакое литературное мастерство. В литературе, увы, подлинность чувства еще не обеспечивает сама по себе адекватности выражения; о ней надо заботиться самому.

27.04.81. ...Заехал к Н. У них под окном галдит очередь. Оказывается, пункт приема макулатуры. Занимают очередь с ночи, ругаются: «Я здесь стою с трех утра!» И все, чтобы получить талон на Дюма, Ольгу Форш или Достоевского. По рожам видно, что эти люди сами ничего не читают, да и некогда читать — при таком стоянии в очередях. Это уже валюта. Врач во время обхода открыто намекнул больному журналисту: завтра у моего сына день рождения, он фантастикой увлекается...

30.04.81. ...Алеша часами бренчит на гитаре. Надо отдать ему должное: он многого добился. Я передал ему стихи Габая, Копылова, Гиляровой, и он кладет их на собственную музыку, как и стихи Бродского, Тарковского, Горбаневской. Конечно, музыка не бог весть какая, но такой речитатив — способ усваивать стихи, а он знает их уже десятки наизусть, весь полон ими, и у него развивается настоящий вкус. Мне это очень нравится. А что еще: у этих ребят, моего сына и его друзей, обретают новую судьбу Габай и Копылов. Может быть, это моя дань их памяти. Два экземпляра моих «Масок» ходят по рукам среди его друзей, он передает мне восхищенные отзывы, кто-то собирается сделать ксерокопию. Может, такой и окажется моя судьба: пойду по рукам среди новой молодежи. Это была бы не самая плохая участь. Надо передать им все мои рукописи, пусть читают, снимают копии...

2.05.81. Помню, как в юности мне раз-другой показалось, что я стал больше понимать в жизни, увидев актеров, разгримированных после спектакля, или музыкантов симфонического оркестра, покупавших в антракте апельсины в буфе-

те. Потом я ехал с ними в автобусе, видел усталые, будничные лица в свете не софитов, а тусклых фонарей и думал: жизнь-то — вот она какая...

10.05.81. ...Интересная работа Lindenberг'a о духовной предыстории фашизма. Тема знакомая по нашим спорам и моим размышлениям о духовном кризисе. Духовно фашизм развился на ощущении реального кризиса. Даже добросовестные интеллектуалы готовы были считать, что он отвечает каким-то требованиям времени. Впрочем, слово «добросовестные» надо поставить в кавычки; никто не доводил своих мыслей до конца, все это были общие, полумистические, полуэмоциональные восклицания — и ужасающая безответственность. Когда даже Jung говорит о «еврейской» и «германской» психологиях — это отвратительно, что бы мне ни объясняли про его отличие от рядового нацистского погромщика. Конечно, сам он не пойдет бить витрин, но неужели он не понимает, на какую почву падают его сомнительные во всех отношениях слова? Я вспоминаю, как Лукин объяснял мне, что нынешний русский национализм — вещь не случайная и оправданная по-своему, как и вообще консервативная реакция на либерализм. Конечно, у всего есть основания; но когда речь идет не об академическом диспуте, а о столкновении темных страстей, все приобретает иную цену. Ответственность требует помнить, что твои благонамеренные идеи могут быть использованы самой подлой чернью. Но это может случиться со всякой идеей? Возможно, и все же идеи демократии, либерализма, терпимости даже в извращенном виде не грозят взаимоистреблением...

Вчера по телевизору военный парад, гусиный шаг, открытие нового громадного сооружения Вучетича. Человеческого чувства за всем этим уже осталось мало, смотреть на это стыдно. Жалко хороших людей, у которых подменили даже трагические воспоминания. Но сами они меня, конечно, не поймут; массам это нравится.

17.05.81. Иногда удается поймать ощущение жизни, которая может казаться жестокой, хотя на самом деле она безразлична. Близкие нам люди умирают, исчезают навсегда — а мы должны жить дальше, и не вправе покончить с собой, не вправе предаваться даже безысходному отчаянию. Это было бы нечестно, не по правилам: нас же заранее предупреджали, что все кончится.

Начинаешь думать: это страшно, слишком просто — и в то же время непостижимо сложно. Вот жил человек, и вдруг тело его смято, изо рта и ушей хлынула кровь, и осталась от него мерзкая чужая оболочка. Куда же делся он, тот, кого мы только что любили, кем восхищались? Без понятия духа, без религии этого убедительно не решишь. Но и религиозные объяснения условны и скорей снимают проблему, чем решают ее.

Мой подросток сын заставил меня еще раз почувствовать, как мало превосходства дает возраст. Я все еще чувствую себя таким же ищущим, ничего не понимающим, как он. Если мне кажется, что я больше понимаю, это не дает мне никаких преимуществ в реальной жизни. Только могу я меньше, и меньше надежд. Возможно, это связано с личными моими особенностями, со сложностями судьбы. Но и на других стариках я замечаю плохо скрываемую беспо-

мощность перед молодыми. Не в умственном споре, конечно, не в конкретных профессиональных знаниях — тут не о чем говорить; а в жизненной готовности как таковой.

19.05.81. Из рабочего дневника. Ощущение Лизавина: сколько талантов пропадает в нынешней провинции. Просто потому, что нет хороших учителей, нет возможности получить образование, обеспечить себе средства к существованию, заниматься любимым делом. И все силы уходят в песок, талант перерождается в чудачества, причуды, изобретение велосипеда. Нет среды, живого обмена, нет возможности выбрать место жительства.

21.05.81. Время от времени возникает чувство беспомощности — настолько люди моего типа вытолкнуты из сферы, где можно хоть в какой-то мере влиять на решения. В сфере же, где эти решения принимаются, — жестокий отбор, структура, которая почти фатально диктует выбор. Отклонения слишком незначительны, чтобы видеть в них надежду. Хотя для ограниченной человеческой жизни и частные перемены могут значить очень много.

Всегдашнее спасение — и рок — людей, что они при любом строе живут в сфере, которая полностью не покрывается и не определяется политическим и общественным строем. Всюду работают, решают профессиональные и семейные проблемы, любят и воспитывают детей, болеют, умирают. Люди на Западе сплошь и рядом чувствуют себя несчастнее нас и не понимают, в чем мы можем им завидовать. Конечно, у них лучше с продуктами, одеждой, машинами. Но это важно лишь в сравнении. А мы сравниваем с ближними людьми и видим, что живем не хуже их, а если хуже, то сами виноваты, надо уметь зарабатывать. А если сравнивать с относительно недавним временем, то совсем хорошо живем. Завидовать всерьез может тот, кто побывал на Западе и видел, что у них лучше. Но там уже, считай, излишества, можно и без этого. Конечно, обидно тратить такую часть своей жизни в очередях, обидно чувствовать себя запертым, лишенным возможности побывать в Париже. Дальше начинается уже комплекс проблем, которые интересуют сравнительно ограниченный круг людей. Свобода получать информацию, возможность выражать мысли, печататься, самоосуществляться духовно. Возможность высказаться, даже если слова твои унесет ветер, — но не чувствовать себя обязанным лгать, не чувствовать, как тебе каждый день плюют в душу. К этому уже чувствительны далеко не все. Есть люди, которые могут себя чувствовать более счастливыми при этом строе, чем другие на Западе.

Конечно, стыдно это терпеть и чувствовать себя бессильным. Но я слишком сознаю, что, не вытерпев, скорей всего, разделю бы судьбу Ильи. Да и не в сознании дело. Он по природе своей не мог терпеть, а я могу. Не то чтобы я толстокож, нет, у меня достаточно тонкая нервная организация; но одновременно существо мое вырабатывает какие-то анестезирующие, что ли, элементы, которые притупляют боль и позволяют искать выход в терпеливой стойкой работе.

Из рабочего дневника. Любовь к Зое лишает Лизавина этой анестезии. Он становится раним и незащищен. Но чувствам возвращается острота, и он, стра-

дая, понимает, что до этого не жил. Это, наверно, не счастье, но это жизнь, это полнота. Хотел бы он вернуться в прежнее состояние? Этого просто не выбирают, как не выбирают рождения. Рождение — это, конечно, боль, это крик, это движение к смерти, но это жизнь, а прежнее состояние (если мы способны его помнить) — утробная растительная дремота.

30.05.81. С Ягломом в Переделкино... Я давно не был на кладбище. Когда-то могила Пастернака находилась на краю, над простором, радовавшим глаз и душу. Теперь она оказалась затиснута в разросшейся тесноте. Кладбища растут не менее быстро, чем города...

Зашли к Евгению Борисовичу Пастернаку... Мы сидели возле маленького дома за столом, пили чай. Только усилием можно было напомнить себе, что это и есть та самая дача и те самые сосны, которые раскачивает ветер, «жалуясь и плача». Какие-то люди въезжали на машинах прямо во двор, входили в открытую пустую дачу, как на экскурсию. Е.Б. оглядывался на это с усмешкой... И за нашим столом сменилось несколько гостей, которые передвигались за чайными чашками, как при безумном чаепитии в «Алисе». Разговор об издании двухтомника Пастернака и пр. О стихах, написанных на бумажках, которые оставляют на могиле и которые они потом собирают. Но к поклонникам отношение ироничное. «Ко мне два года приходил один молодой человек, кажется сам поэт, восхищенный Пастернаком. А в прошлом году пришел совершенно потрясенный и перевернутый — смертью Высоцкого. “Конечно, Пастернак, Блок, Есенин — все поэты, но Высоцкий — вот это наше” ...»

5.06.81. Саша Соколов. Между собакой и волком.

Почти неделю я вчитывался в эту книгу. Взяться за чтение удавалось лишь вечером, в постели. Я уставал, и меня сразу же клонило в сон.

Занятно, что я не сразу замечал переход в состояние дремоты. Некоторое время я как будто продолжал читать, глядя на страницы, — но читал что-то, не имеющее отношения к написанному, какую-то свою спутанную полусознательную путаницу.

Плавность и естественность перехода, возможно, что-то говорит о сути книги.

Это невнятица, бормотание о жизни малоумного, косноязычного, убогого нищего, переложенные на язык рафинированного, изощренного не только в «высоком штиле» интеллектуала. Здесь все на словесно-смысловых сдвигах, отсюда подмигивающая муаровость узора (Итиль — читай: Волга; мокропогодица). Вся эта вещь, до мелких клеточек, переведена с привычного русского языка на причудливую смесь высоко-славянского с низменно-вульгарным, простонародно-диалектным, все подмигивает полуцитатными намеками.

Несколько выписок, сделанных по ходу чтения (наугад, почти подряд), могут служить иллюстрацией:

«тень, однако, на прясла чтобы не наводить» (из «тень на плетень»);

«в глазах городнищенских как бы вам не упасть, паче чаяния, в грязь лицом» (из «упасть в глазах», «ударить в грязь лицом» и просто «упасть в грязь»);

«с валенками — дефектив» (из «дефицит», «дефект» и «детектив»);

«Я обычно с коллегой одним соображал на двоих. Скажи, подфартило: у одного этой нет, а у меня противоположной... куда, поется, правое копыто, туда и левая клешня, причем там скорее на первое тянет, а тут на второе смахивает» (о двух одноногих, которые в больнице пользуются одной парой валенок. Комментарий всех этих словосочетаний может занять страницу).

Читателю, кроме русского, более того, советского, искушенного в языке и реалиях именно последнего времени, это принципиально недоступно.

«Не лепо ли бормотухи хватить» — вот сгусток языкового хаоса.

Именно языковой эксперимент и придает незаурядность истории, которую «простыми словами» и рассказывать нечего: все сразу съезжится, свернется — ни то ни се.

Ироническое, проказливое обаяние, заставляющее вспомнить обэриутов, особенно чисто звучит в стихах:

Что это мне oncle мой любезный не пишет,
Хоть бы пиктограмму он предпослал, родственник милый.

Даже еще не прочитав до конца, более того, ничего не успев понять толком, чувствуешь загадочную, таинственную талантливость. Пусть это талантливость диковины, пусть это интересней для профессионала (как Хлебников): разглядывай, поворачивай, извлекай для себя уроки. Но эта вещь, конечно, рассчитана не на одно чтение, и по мере того, как из хаоса проступают очертания сюжета, лиц, судеб — своеобразного горького эпоса, — усугубляется наслаждение: артистично, изобретательно, виртуозно. Гурманская вещь; если и есть тут простая, трогательная нота, как в «Школе для дураков», то она запрятана куда глубже.

24.06.81. ...Из рассказов Липкина. «Когда Анна Андреевна хлопотала за Бродского, она обратилась за помощью к Наровчатову. Тот, конечно, не помог. Меня это очень удивило. Он тогда не был даже влиятельной фигурой, так сказать, подполковник, но не генерал. Я спросил ее, почему она все-таки обратилась к Наровчатову? И знаете, что она мне ответила? “Он красивый”».

12.07.81. *Oteraa, Puhajarve*... Почему беседа с косноязычным, не шибко умным встречным мужичком есть «познание жизни», а диалог, вычитанный в книге, — «книжная премудрость»? Не сказывается ли тут другая мерка: разговор — лично твой, особенный опыт, а книга — нечто общедоступное, тиражированное?

14.07.81. Может ли современный город с его абстрактными плоскостями, объемами и пространствами вдохновить художника, как Витебск — Шагала? Как абстракция это уже было. Но введение человека в это бездушное, не по человеческой мерке сработанное окружение может породить скорей кошмарные видения.

25.07.81. *Oteraa, Puhajarve*. Меня умиляют здешние карусельщики. Похоже, они пошли сюда работать по призванию. Не накатались в детстве, и это, как го-

лод, осталось сидеть. И теперь, когда нет публики, они время от времени катаются сами — вместе со знакомыми, а то и просто так. И не надоедает.

12.08.81. Взял у дочки почитать Д. Лондона, «Лунную долину». Розовые, добродетельные мужчины и женщины, краснеющие от прикосновения друг к другу, голубоглазая чистота, невинные браки — как раз чтение для девочек. Но в то же время энергия, пробивная деловитость, вкус к кулачной драке, отстаивание своих прав (кровавые подробности забастовок), постоянная ориентация на традиции и энергию предков-первооткрывателей, свободных людей. Чтение уже не для меня, но чувствуешь американскую жизненную традицию и ее отличие от русской. (На каких предков оглядываться потомкам крепостных?)

28.08.81. ...Магазины после Эстонии удручают своей пустотой — а ведь и Эстония сейчас не та, что 5—6 лет назад. Третий день у нас пустой холодильник: ни мяса, ни молока, ни овощей. Не знаю, что купить ко дню рождения...

Вчера я неожиданно попал на выставку «Москва — Париж». Пошел узнать, как достают билеты, — и оказалось, можно сразу попасть. Это не выставка, а целый музей — обалдеть можно, во всех отношениях... И выть хотелось от тоски: ведь половина из наших музеев, из запасников (и Кандинский, и Шагал, и Филонов), мы по богатству можем почти сравниться с Францией — это не на беглой, в виде милости, выставке смотреть надо, этим надо дышать постоянно, как воздухом. Все это надо иметь в репродукциях, всматриваться, изучать. Какое богатство! Какая даровитая страна! И какая несчастная, обойденная среди других народов! Конечно, рано или поздно только это и останется. Но целые поколения оказались обокраденны, обеднены. А слава, репутация художника (и страны) должны все-таки создаваться своевременно — потом на него будут смотреть иначе, равнодушной, он будет казаться эпигоном, подлинный приоритет его не будет очевиден.

7.09.81. ...Позвонил Искандеру, заехал к нему. Ему понравились «Иваны», даже очень. «Ты опрокинул в историю все свои современные настроения, это правильно. Если хочешь замечаний: мне не хватает здесь жизненных реалий. Может быть, кому-то так не покажется, но мне их было мало». Сидит, работает над главой из «Сандро», считает, что всего ему осталось главы 2—3. Мы долго с ним говорили, перейдя на «ты».

Фазиль: «Я противник бездуховной литературы. Поэтому я резкий противник Зоценко. Гоголь показывает нам ужасную страну, населенную застывшими масками, но при этом у него чувствуется боль, сострадание. А Зоценко говорит: ничего возвышенного в человеке нет, все эти Дон-Кихоты и прочие — животные, все люди, если их копнуть — животные...»

16.09.81. Читал сборник «Mein Judentum»⁴ и неожиданно увлекся. Сколько судеб, сколько разнообразных мыслей, которые перекрывают мои собственные! Еще раз поймал себя на провинциальной самоуверенности. Жизненный опыт людей так разнообразен, что я даже представить себе не могу. И какой громадный потенциал дарований погиб с уничтожением восточноевропейского еврейства! Традиция интеллектуальной жизни здесь была так интенсивна, что

⁴ «Мое еврейство» (нем.)

этот многомиллионный ступок мог еще долго питать всю Европу и весь мир, поставляя — из среды этих миллионов — хотя бы десятки мыслителей уровня Эйнштейна, Кафки, Брода... Думается, Европа до сих пор не оправилась от последствий этой потери. Уровень культуры, интенсивность и значительность духовной жизни в современном мире все более усредняются, у нас в России это чувствуется даже болезненней. Началось, пожалуй, с Первой мировой войны, потом Октябрьская революция — а дальше пошел фашизм, Вторая мировая война, иррациональное противостояние систем, поглощающее интеллектуальные и духовные ресурсы, *Vermaßung*, осреднение. Еще года до 25-го европейцы поддерживали разгон, заданный до войны. Тогда и были завершены почти все принципиально новые открытия и духовные свершения века. Потом лишь доживали старики, начавшие жить тогда (Эйнштейн, Томас Манн, Шагал, Пикассо, Пастернак, Фрейд). Мы в сравнении с ними — безнадежные плебеи, если не хамы.

18.09.81. Утром немного поработал. А для заработка делать ничего не стал, поехал к Баткину. Его, оказывается, в августе вызывали для беседы на Лубянку. Разговор касался «Метрополя»...

Говорили о публикациях. Ему ничего не светит. Он удивляется моей «стойкости»; пояснил: я не пытаюсь передать рукописи на Запад. «Рукописи все-таки горят, что бы ни говорил Булгаков. А книги остаются. Я не хочу преувеличивать свою болезнь, но все-таки она мне напомнила, что все может оборваться. Я потерплю еще год-другой, потом буду искать способ напечататься». Я передал ему слова Комы о возможном существовании людей, пишущих не для современников, а для более далеких потомков. «Я этого не понимаю, — сказал он. — Во-первых, я пишу в какой-то мере для самого себя. Во-вторых, я все-таки связан со временем и имею в виду какого-то читателя».

Говорил о новой работе («Медичи»), которую отчасти считает лучшей полемикой с Аверинцевым. Аверинцев, по его убеждению, сейчас на ложном пути, он не столько открывает, извлекает неизвестную истину из текстов, сколько подыскивает в них доказательства своей заранее известной мысли. И для этого он идет даже на очевидные натяжки, подмены. Направление у него — вполне идеологическое, консервативное: культура — это не вечно меняющееся, всегда неожиданное, а нечто постоянное, устойчивое, неизменное...

23.09.81. Вчера как никогда плодотворно и сосредоточенно поработал над романом. А сегодня решил сходить в Историческую библиотеку, почитать прессу 20-х годов. Чтение интересное и ужасающее: погромное хамство, самоуверенность, ложь, нищета, ерничество, борьба с религией и самогоном, откровенность в признании своей нищеты, трагического положения, власть слова — и сегодняшнее знание, что все это перемололось, забылось. Особенно интересно было читать подшивки «Крокодила». Но использовать это в романе пока не вижу возможности. Я чувствую, что надо уходить от быта в область более духовную, как это делал Платонов (которого я только теперь начинаю понимать глубже). Но не знаю, как это делать. Прочитанное растворится скорей воздухом, чувством времени.

28.09.81. ...Зашел к Искандеру... Он показал мне книжку с дополнительными главами из «Сандро», которую только что выпустил Проффер, не поставив его в известность. «Конечно, приятно видеть свою книгу, но ни к чему сейчас, хотелось бы немного покоя, спокойно поработать». Он опасается, не стало ли его имя опять одиозным и не приведет ли его рекомендация к обратным результатам. Но готов завтра идти в издательство говорить обо мне. «Меньшутин» ему понравился.

Он был немного нездоров, но попросил меня посидеть. Говорили о разном. Он этим летом в Малеевке перечитал «Тихий Дон». Обсуждали с ним вопрос авторства.

«Я увидел, что в этой книге грандиозная, выдержанная до мелочи, последовательная философия. Суть ее можно сформулировать так: над Россией тяготеет некий рок. Русским суждено уничтожать друг друга и погибать. Война и революция — исполнение этого рока. Ни в одном произведении мировой литературы я не помню столько смертей. И ни одна не похожа на другую, каждая своеобразна, каждая увидена ярко: как падает тело, одно так, другое так. И при этом нет предпочтения белым или красным — все трагично, все с ощущением этого рока...»

О возможности моей публикации:

— Нет, иногда проходят самые неожиданные вещи. Знаешь, в Ленинграде есть такой прозаик... как его?.. Федор Абрамов. У него напечатали такую вещь, «Две зимы и три лета», я просто диву давался, там такие резкие вещи. Попробуй я написать, как распространяли заем, — ни за что бы не пропустили.

— То-то и оно, — сказал я. — Он все же пишет об этом, как советский человек, а у тебя сразу почувствовали бы: не наше.

1.10.81. Как это обычно бывает, не смог писать, зачитавшись Н. Я. Мандельштам. Надо сначала от этой книги «избавиться». Все-таки книга поразительная, и даже после многого прочитанного за эти 10 лет — несравненная, не только по внутренней свободе, но по глубине, уму, беспощадной честности. И благотворно действует на самоощущение: кажется не так уж страшно то, что с тобой происходит, чувствуешь цену собственной драмы и не хочешь от нее отказываться, не хочешь менять ее ни на какие мнимые блага. Приобщаешься к миру подлинных ценностей, без подмены. Как бы только держаться на таком уровне? До жизненной последовательности мне далеко...

Боже, как хочется работать!

2.10.81. Читая сейчас воспоминания НЯМ, я не без стыда вспомнил свой снобизм при первом знакомстве со стихами о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны»). Не лучшие стихи, странная концовка. И много раз не находил возражений (хотя сам не думал так), когда слышал, что при таких стихах нечего предъявлять претензии к власти: сам знал, на что нарывался.

А сейчас мне хочется сказать, что во всей русской поэзии злосчастного советского периода я не знаю ничего более величественного. Он едва ли не единственный выговорил вслух и впечатляюще то, что каждый знал лишь про себя, а с другими разве что шептался. И не сделал из этих стихов тайны для

ящика стола. Говорят: а чего он этим добился? Как — чего? Благодаря одному этому стихотворению наша поэзия не осталась безгласной. Он спас ее честь в веках, воплотив общий гул в слово, и дал этому слову прозвучать вслух. Что может быть больше? А на что идет, он действительно знал. Поэт, сознательно проявивший готовность идти на смерть за право стать голосом своего времени и своего народа, совершил подвиг. Конечно, если бы схожие стихи написал некто безымянный, не обладавший поэтическим уровнем Мандельштама, это был бы человеческий, достойный уважения поступок, но еще не явление поэзии. Мандельштам же совершил и поэтический подвиг.

9.10.81. По поводу слов Искандера о Ф. Абрамове: «У него печатают такое, что у меня бы не пропустили» (см. запись 28.09). Дело объясняется не внелитературными возможностями Абрамова и не разницей национальных оттенков. Различен литературный и человеческий воздух, различается направленность их книг.

У Искандера залог человечности, истинных чувств и движений — способность уклониться от государственных требований и форм; только так можно сохранить личность, теплоту, отдавая государству неизбежную, тягостную, формальную, порой гибельную и трагическую дань. Абрамов же хочет убедить читателей и своих героев, что они должны и могут быть хозяевами своего государства, пусть хотя бы в пределах своей области. То, что мешает им таковыми стать, — искажения, недостатки, их можно преодолеть.

Власти такое родство чувствуют и ценят при всей критике.

18.10.81. Фольклорные ансамбли — это не протест против *Vermaßung*⁵, это иногда *Vermaßung* в национальных костюмах. Приобщение к «коллективной личности» отнюдь не способствует выработке личности индивидуальной. «Коллективная личность» — разновидность *Vermaßung*. Доводы нацистов во всех странах вполне однотипны — по шаблону. Русское *Vermaßung* отличается от французского, как русская развитая личность — от французской.

27.10.81. «Ожог» Аксенова — очень чуждая мне книга. Чуждый мир (московская якобы-элита), чуждый образ мира, чуждые нравственные основы и представления.

Он и раньше не был моим писателем. Сейчас эти чуждые свойства достигли предельного качества, а то, что могло бы сблизить: отношение к системе и пр., — оказалось сомнительным, как и обретенная якобы-свобода. Неприятие власти выглядит истеричным, не более того; свобода говорить об этом без цензуры оказалась столь же малым приобретением, как свобода говорить о вещах неназываемых, невыразимых прямыми терминами, давно найденными на заборах и на стенах общественных уборных.

Все подавляют вырвавшиеся на волю видения ущемленного и жаждущего компенсации подростка. О сексе не говорю; но и тоска по кулачному суперменству сквозит едва ли не в каждом эпизоде. Все затруднения разрешаются, как в воспаленной мальчишеской фантазии: а вот дам ему в зубы, возьму свое — будь то пара туфель (болевой прием в обувном магазине, где тебя не хотели обслуж-

⁵ Буквально «омассовление» (нем.)

жить гады-продавцы, директора, ревизоры), будь то баба. Потому что баб только берут, немедленно, грубо, брутально. Какая тут любовь! — это понятие не отсюда.

Не надо быть психоаналитиком, чтобы и в кулачных, и в сексуальных видениях увидеть общий корень: подсознательную тоску по насилию.

Но тогда — чем это подсознание и эта этика отличают авторских alter ego от насильников-зубодробителей, следователей, лагерных охранников и уголовников? Подсознание тут то же.

Понимал ли это автор? Чувствовал ли? Боюсь, что нет.

(Superman, Übermensch и сверхчеловек отличаются лишь национальным колоритом, вот в чем дело.)

Огорчает, что вся московская сволочь, им же описанная, стукачи, литературное начальство, прожженные и пропитые негодяи и циники воспримут эту вещь со злорадством и торжеством: ну и что тут лучшего, чем у нас? Все в одной грязи валяемся, он это только подтвердил.

Конечно, какая-то правда в описании этой среды, этой психологии тут есть, в этом ценность книги. Но, во-первых, и правда относительная — и в этой среде, и в нем самом на деле все сложнее, интереснее, лучше.

И если тебе так отвратительна эта жизнь, эти попойки в ЦДЛ и на дип-приемах, дома и за границей, этот мир валютных магазинов, высокопоставленных сволочей и проституток обоюго пола — кто тебя заставлял в нем вариться даже в годы, когда писал эту книгу? Да, наверно, и после нее — если судить по заграничным сценам. Какая свобода тебя влечет, какие идеалы, какое самоощущение? И если судить по книге — при чем тут система? А иностранцы что — лучше?

Магаданские сцены, конечно, глубже и интереснее других, что-то здесь даже неожиданно. Но если он действительно все это видел (в чем я не всегда уверен) и уже тогда так это воспринимал, тогда совсем непонятно: как он мог после этого, с таким знанием писать «Коллег», «Звездный билет» и «Пора, мой друг, пора»? А потом переиздавать до самых последних лет и дарить при отъезде как нечто, до сих пор его представляющее?

Досадно все это. Хотелось бы, чтоб люди и литература, противопоставляющие себя режиму, были подстойнее.

29.10.81. Утром решил проехать по провинции. Нацелился на Переяславль, но поехал не через Загорск, как надо бы, а через Александров, потом Берендеево. Там прождал часа два автобус, пока не узнал, что автобусов не будет «из-за распутицы». Попуток тоже не было, вернулся домой. Тем не менее поездкой весьма доволен. Прежде всего мыслей в пути родилось множество: дорога ли этому способствовала, обновившиеся ли впечатления? Мне время от времени надо просто освежать зрительные и эмоциональные впечатления, чтобы не терять «камертон». Так, посмотреть хотя бы на лица, фигуры, улицы нужно было для того, чтобы не сделать моих «шестерых в кафе» слишком «московскими» и красивыми. Большинство мужских лиц небритые, пропитые, все плохо одетые, в сапогах — и т. п. В магазинах, конечно, ничего нет, ни молока,

ни масла, и в Александрове это особенно режет глаза из-за появившихся роскошных, просторных магазинов с большими надписями: мясо, колбаса, молоко, масло — при пустоте этих просторных залов, оборудованных новейшими холодильниками. Вообще центр застроен до неузнаваемости; перемены идут в двух направлениях: внешний модерн — опустошенное содержание. Впервые зашел в монастырь и тамошний музей, причем не в исторический, а в советско-революционный раздел; не без пользы. Например, там фотография человека, распространявшего работу Ленина «Что такое “друзья народа”...», а в тексте сообщается, что социал-демократы собирались в его поместье. Я этого человека «вычислил» — и теперь подтвердил.

Ребятишки у милицейского стенда обсуждают объявление с просьбой опознать труп мужчины, найденный в подъезде дома... по улице... в поселке Струнино. Рост... куртка, плавки светло-голубые, сапоги 41-го размера, портянки серые, в кармане расческа и духи «Родина».

Старик на автобусной станции увидел, как я разворачиваю карту области, вдруг заговорил: «Все в порядке. Скоро все приберем к рукам. Правильно?» Я не сразу понял, но он продолжал: «Куба уже наша, правильно? Скоро и остальное приберем. Все будет в порядке».

Спокойствие людей, которые ожидают «машины» два часа, а потом, не дождавшись, так же спокойно топают по грязи пешком: что значит для них время? Разговоры старух: кто пьет, кто умер, кто кому продал дом. Знакомых (тоже, наверно, старух) называют только пренебрежительными именами: Катяка Миронова и т. п. «Она говорит: у меня на похороны отложено 600 рублей и еще процентаг. А что процентаг! Каких-то 60 рублей! Вот она померла, а денег оказалось всего 300, остальные Васька пропил. А она говорит: 600 рублей отложила на похороны!» — «Она осенью картошку-то уберет, продаст, а деньги на книжку». — «Еще она пчел держала». — «Это не она, это у Машки Фирсовой пчелы». Ярославский, окающий говор.

Теперь там и часы переведены на час раньше московского времени. Поезд из Ростова на Ярославль опоздал ровно на час — это уже привычно. Женщина отсиживает свои рабочие часы в совершенно пустом киоске «Союзпечати»: только фотографии артистов и артисток кино в роскошных туалетах с мехами. Старуха ведет на веревке козу. На столбе четыре объявления, и все о продаже коз («с двумя козлятами, вторым окотом»). Дети из школы тоже ждут автобуса, потом топают пешком. Они все-таки милы. Женщины иногда стараются одеваться хорошо, по-московски.

4.11.81. Начал писать первую главу романа. Пока есть ощущение запаса и перспективы. Уже недели две, если не больше, ничего не делал для заработка...

13.11.81. Из рабочего дневника. Мысль Феллини: фашизм в психологическом плане — это своего рода торможение, задержка на фазе отрочества. Такая задержка, такое подавление естественных процессов развития организма приводят к взрыву темных компенсаторных механизмов (осуществление мстительных мечтаний подростка. Пропаганда секса — тоже фашизм).

Для себя: провинциализм как затянувшаяся отроческая незрелость, незрелость, неспособность и нежелание мужественно и зрело вступать в отношения с жизнью. Они кичатся своим невежеством, стремятся утвердить себя и свою группу не с помощью силы, которую дают знания, способности, опыт, уважение к культуре, а с помощью всяких уловок. В этом смысле Карл — символ провинции; еще и потому его так любит Милашевич.

25.11.81. Из рабочего дневника. Читая описания современного пьянства и скотства в неподцензурных публикациях, я вижу в них недоуменный, горестный и в то же время брезгливый взгляд цивилизованного европейца, наблюдающего экзотических дикарей.

А писатель должен видеть всех, как Господь Бог, проникновенно.

26.11.81. Честность — не только моральная категория, она зависит еще от уровня, от интенсивности интеллекта. Насколько способны мы дать отчет в мотивах и характере собственных действий? (Как ни судить о личной нравственности Ницше или Достоевского, интеллектуально они дают образцы именно честности, проникая в запретные и темные углы своих и чужих душ.)

28.11.81. Вчера на ночь открыл том переписки Пастернака с Фрейденберг — и не смог оторваться. Я открыл посредине, году на 46-м — пошли годы работы над романом. Я не сравниваю себя, конечно, с ним — но так понятно это чувство счастья среди духоты и невыносимой жизни. Конечно, наше время не кровожадно, как те годы, но я долго делал ошибку, считая по этой причине, что у нас более благоприятные возможности для духовного самоосуществления, для публикаций, признания. Нет, воздух нынешний так же враждебен культуре, всему высокому и подлинному. Немногочисленные прорывы всегда выглядят случайностью, и даже то лучшее, что сейчас пробивается в свет, высшей, пастернаковской меркой не померишь. (Самого безусловного, Бродского, удивительно распознали уже в зародыше и попробовали придушить.) Это важно сознавать, чтобы трезво смотреть на мир и понимать неслучайность происходящего с тобой. Надо только позаботиться, чтоб не печатали тебя по тем же причинам, по тому же счету, что и Пастернака. И еще хорошо бы не сломаться. У него был заряд и основы из более счастливых времен. Его уровень был задан от рождения. Я порой сам удивляюсь, что с такими малыми исходными данными сумел к чему-то приблизиться.

(Почему я решил, что в этой атмосфере меня могут печатать? Значит, я пишу недостаточно хорошо. Но я помню, совсем иное ощущение было у меня после единственной публикации. Нет, что-то возможно, что-то пробивается; кто говорит о кризисе и упадке? Ах, наше самодовольство! Наверно, так (искренне) думают об уровне и возможностях нашей литературы те, кто проходит в печать.)

Последнее время (в том новом, уравновешенном состоянии, которое пришло с началом работы и более трезвым спокойствием по части печатания) я много читал воспоминаний и свидетельств о страшном прошлом — и не раз уличал себя все в той же ошибке... Боюсь, мы мерим заниженными мерками... Закономерность же не изменилась, варьируются лишь степени.

30.11.81. Утром писал гл. 7 (История болезни). Потом ездил получать деньги и к Кома Иванову... Кома собирается в Таллин на конгресс по связям с внеземными цивилизациями, у него подготовлен доклад о лингвистических аспектах... По этому поводу зашел разговор о «летающих тарелочках». Кома считает, что в истории человечества много неясного, что позволяет не исключать возможности вмешательства в земную жизнь космических пришельцев. Нобелевский лауреат Крик считает, что гены жизни вообще занесены из космоса. Не объяснено чисто земными факторами возникновение человека... Необъяснимы внезапные вспышки гениальности в Древней Греции за 5 веков до н.э.... Или тот факт, что Сталин умер очень вовремя; еще несколько дней, и мировая история могла бы получить другой ход: на десятые-двадцатые числа марта была назначена массовая высылка евреев... НЛО стали наблюдать впервые после битвы на Курской дуге — самого крупного скопления военной техники в одном месте... Многие сведения о непонятных явлениях не попадают в печать по негласному договору между державами, потому что достоверная информация о существовании каких-то внеземных сил, которые следят за землей, может вызвать реакцию населения, непредсказуемую и не поддающуюся контролю властей. Есть же гипотеза о том, что когда-то на нашей земле был поставлен цивилизацией, несоизмеримо превосходящей нашу, эксперимент по созданию жизни, и нельзя исключить, что поставившие этот эксперимент заинтересованы следить за его развитием, и в кризисные времена в эти события вмешиваются. «Могли бы вмешаться пораньше», — сказал я. Впрочем, я же заметил, что такую информацию действительно нельзя допускать до людей, потому что они стали бы действовать слишком беспечно и безрассудно, уверенные, что в последний момент все равно вмешаются.

2.12.81. Начал гл. 9, до сих пор неясную... Вечером у Завадской слушал Померанца: «Жестокое сладострастие в “Крейцеровой сонате” и у Ставрогина». Доклад был длинный, в середине я, признаться, немного задремал, особо интересных мыслей не воспринял. Я пригласил с собой Баткина, и он, вслед за Завадской, изрядно потрепал докладчика. В Ставрогине, заметил Баткин, не столько жестокого сладострастия, сколько мелкого пакостничества, трусости...

3.12.81. Разболелась Леночка, не пошла в сад, все утро пришлось быть с ней. Работать почти не удалось. Написал письмо Померанцу (с сомнением, стоит ли, говоря о Достоевском, противопоставлять «соблазн свободы» «сверхценностям» и объяснять трагедию его героев тем, что они этими «сверхценностями» пренебрегли; это материал для проповеди с готовыми заранее выводами, тогда как Достоевский дает творческий импульс)...

7.12.81. С утра писал... Kleil пока не проясненные кусочки. Немного не успел до конца, когда пришел Попов. Принес свою изданную в Ардисе книгу. В печатном виде она производит впечатление; пока не читал. Хорошо поговорили. Я, в частности, попросил его сформулировать принцип, по которому не печатают (если отвлекаться от идеологии, острых проблем, религии, секса — которые все-таки пропускают). Но вот ничего нет — почему не печатают? Он сформулировал очень четко: свобода, вот чего не допускают. Это должно обязатель-

но подходить под какую-нибудь рубрику, оправдывать ожидания читателей — и властей, в том числе литературных. Должно быть понятно, чего от тебя ждать, ты должен находиться в определенной ячейке, рубрике. Чтобы меня приняли в Союз, я должен был 10 лет ходить по журналам, принять участие в шести совещаниях молодых писателей, заводить знакомства, создавать себе имя, чтобы ко мне присмотрелись, поняли, чего от меня ждать (с иностранцами не встречается, выпивает, но не до потери облика, водит знакомства с людьми неодиозными, пишет рассказы народные, пусть плохие, но, может быть, станет лучше). Т.е. проверка почище любого отдела кадров. Или надо понравиться главному редактору, который тоже за тебя отвечает, как кадровик, или через партийные знакомства, пробиваться с помощью каких-то сил — тогда ты тоже понятен. А пока ты не понятен — ты чужой, тебя чувствуют... «Острота» деревенщиков, в общем, вполне укладывается в критерии, установленные властями...

8.12.81. Пришло письмо от Померанца. Чувствуется оттенок обиды. Он повторил мне в ответ достаточно умные вещи, которые при первом чтении производят впечатление бесспорных. Я сразу же вечером ответил и отослал письмо. Охотно соглашался, что чего-то не понял, ни в чем его не оспариваю, просто не могу (сам для себя) решить вопрос: почему при такой бесспорности истин, нашем давнем знании о них, даже готовности следовать им все в земной жизни так трагично, требует такого надрыва? И это для чего-то даже нужно, это входит в мировой замысел (как входит в него зло и тьма). Зачем? «Мне показалось (так примерно писал я; стоит записать, чтобы потом не забыть), что вы больше сделали упор на непреложности истин, чем на этой загадке... Боюсь, что Достоевского мучили не пути постижения истины и следования ей, не “практика отделения света от тени”, а эта экзистенциальная, что ли, неразрешимость».

А потом, уже отправив письмо, подумал, что и истина его не так уж непреложна.

31.12.81. Пожалуй, главное приобретение 1981 года — утверждение в новом самочувствии, более четкое и уверенное, чем еще несколько месяцев назад. Я убедился в этом, перечитывая некоторые записи прошедшего года. Даже немного странно было читать запись 1.01, где я умом все понимаю, но ловлю себя на неуверенности, ущемленности, многочисленных комплексах... Я почувствовал, что, примеряя возможность публикации, я все-таки применял к себе чужие, не свои мерки, и эти чужие мерки вдруг, почти мгновенно, потускнели для меня, обнаружили свою неполноценность. Поразительно: ничего внешне не изменилось, не прибавилось ни публикаций, ни успеха, ни денег, ни признания — да и что еще получится из нынешней моей счастливой работы, неизвестно. Но внутреннее состояние обрело стержень, и хотя бывают приступы хандры, есть о чем себе напомнить, и выправиться легче. «У меня нет сейчас никакой грыжи, никакой ущемленности», — выразился Пастернак. Показательно и другое: я сейчас с бо́льшим пониманием перечитываю те места у Пастернака, у О. Мандельштама, у Н. Я. Мандельштам, которые прежде смущали меня своим высокомерием, что ли. («Единственно значительное в вас то, что вы жили в одно время со мной» у Пастернака, некоторые выпады против «литературы» и «писа-

телей» у Мандельштама, многое у Надежды Яковлевны.) Не потому же, что сам постиг состояние «гения»? Не в том дело. Но для меня внутренне упростились некоторые счеты и отношения с другими, это тоже важно.

Бесмысленно планировать на будущий год какие-нибудь публикации, разве что заработки. А вот роман довести до достойного состояния хотелось бы. Мне кажется, что этот год будет еще отсрочкой перед надвигающимися событиями, может быть последний относительно «спокойный» год. Надо за это время подготовиться к событиям, которые я предчувствую. Ready is all⁶.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

На темы Достоевского

Пушкинская речь — чистейший образец проповеди у Достоевского. Есть проповеди куда сомнительней — таковы многие публицистические пассажи из «Дневника писателя». Но тут все несомненно: благородство замысла, чувства, идеи. Классический характер жанра подтвержден устным исполнением: воздействием голоса, реакцией публики. «Когда же я провозгласил в конце *о всемирном единении* людей, — сообщал Достоевский на другой день жене, — то зала была как в истерике... люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись *друг другу быть лучшими, не ненавидеть друг друга, а любить...* Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений».

Впечатление, право, такое, будто он сам над своими словами посмеивается. Только допустить, что это в самом деле самоирония, — воспринимаешь их по-другому. Но действительно ли он иронизировал — в письме жене, да еще подчеркивая отдельные слова? Могла ли она не принять их всерьез? Или он все же сам на короткий срок поверил в благодетельную силу возвышенных истин?

Не знаю, как читала это Анна Григорьевна, но нам, простым людям, читать это всерьез как-то неловко. И не только потому, что мы уже могли убедиться в неосуществленности воображаемых клятв. Сам Достоевский наверняка понял это едва ли не сразу, верней — уже в миг произнесения, уголком своей художнической мудрости знал. Но с ним не раз бывало и другое — когда художник в самом деле помалкивал, как помалкивал и религиозный мыслитель (мыслитель, а не проповедник).

Я пишу эти заметки по следам спора с Г. С. Померанцем, одним из умнейших наших толкователей Достоевского. Он размышлял о соблазне свободы, опасность которого чувствовал Достоевский, об иерархии ценностей, о «сверхценностях», которые превыше свободы... Впрочем, на слух я мог слишком вольно и приблизительно запомнить формулировки его мысли; вот его разъяснение из позднейшего письма: «Свобода — не простая возможность выбора.

⁶ Слова Гамлета: «Готовность — это все» (англ.)

Это полнота жизни, неотделимая от любви, неотделимая от (заданных нам) иерархии света и тьмы и любви к свету, а не к тьме. Любви, пробивающейся к свету сквозь тьму — пока не останется ничего, кроме чистого света». И дальше, после конкретизации этой мысли на примере Ставрогина (который «отстаивает право выбора между светом и тьмой», что означает выбор тьмы и самоубийство свободы): «Смею Вас уверить, что в этом Достоевский был уверен. Мучила его (как и всех нас) — практика отделения света от тьмы, карамазовские вопросы».

Что ж тут спорить! Мы, слава Богу, не Ставрогины и предпочитаем добро злу. Достоевский тоже не злодей, призывал ко всемирному единению и хотел верить в конечное торжество света. По-человечески он наверняка был солидарен с мыслями симпатичнейших своих героев, Зосимы, например, Сонечки Мармеладовой — не со Смердяковым же и тем паче не с чертом, привидевшимся Ивану!

А вот у Достоевского-художника, смею все-таки думать, и черт по-своему прав. Конечно, он не выражает последней истины — так и Зосима ее не выражает, и Алеша. По-человечески он с ними, но как художник знает неизмеримо больше. В этом знании, более полном — и страшном, не утешительном — он равняется с Творцом, который потому и Творец, что кроме света воспользовался и тьмой, не мог без нее обойтись. Иначе, при сплошном-то свете, получилась бы одна бесформенность, то есть «скучища неприличнейшая», по выражению черта, и этой дьявольской неприятной поправки не опровергнешь простым швырянием стакана. А может, и ничем не опровергнешь.

Не требует доказательств, что добро и свет предпочтительней зла и тьмы. Но неужели потому, что выбор зла наказывается разрушением и гибелью — личности ли, общества? Часто ли кончают с собой по-ставрогински — оттого, что, решив служить злу, потерпели крах? Куда чаще — от чувства безнадежности, несправедливости этого мира, где насильники на самом деле не кончают с собой, а процветают, или от скуки и бессмысленности повседневного, ничем не освещенного прозябания, либо от роковых, ничем не заслуженных ударов судьбы. Да, гибли злые царства, но и новые были не добрей, а добрые (если считать, что они были) тоже почему-то не оказывались вечны. Какой-то изначальный, непреодолимый трагизм есть в самих основах мироздания — вот что труднее всего осмыслить.

Если бы речь шла только о практике применения несомненных истин, мы обсуждали бы проблемы (действительно драматические) на уровне Короленко, но не Достоевского. (Расстреливать ли, к примеру, насильника, погубившего ребенка, или принципиально отвергнуть смертную казнь?)

Мы не дотянем до уровня мысли Достоевского — только до середины, — если примем за таковую благородные истины о необходимости любви, о стремлении к свету, о соблазне свободы. То, что собеседник Ивана Карамазова назван чертом, вовсе не предполагает, что его доводы заведомо ложны и неприемлемы, что это просто соблазн, которому, постаравшись, можно найти опровержение, но можно и не стараться, положившись на автора: не зря же эти доводы он

обозначил как «дьявольские». С Сатаной сам Бог говорит всерьез (об Иове, например), а не прогоняет почему-то раз навсегда ради вящей своей славы и правоты. (Да еще вопрос, может ли прогнать, если б и захотел? Впрочем, не мне вторгаться в область теологических споров — им, наверно, не одна сотня и даже не тысяча лет.)

Знание Достоевского трагично, а мы порой говорим о нем (или по его поводу) так, будто преодолели трагизм, причем не трагизм «практического» осуществления, а заложенный в основу бытия и до конца не разрешимый в пределах земной жизни.

Это знание куда как нелегкое, не для всех посильное (да к тому же обидное); жить с ним, не ломаясь, стремясь к свету без надежды сподобиться сплошного сияния, в вечном противоречии, с вопросами без ответов (оправдывает ли конечное сияние слезу младенца, муки всемирной истории, возможен ли конец истории, и если возможен, то обрадуемся ли мы ему?)... — нет, трудно все это.

Можно только уйти от этого трагизма — в чистую и более-менее бесхитростную веру, в просветление на буддийский лад. Может, это даже высшее состояние духа, ступень, на которой превзойдена, как суета сует, как Майя, вся наша скудельная проблематика. Но на такой ступени совершенства романы писать уже незачем; Достоевский тут ни при чем.

Стоит ли пояснять, что я этой ступени еще не достиг?

3.12.81, 10.12.81, 6.01.82

Праведник и художник

Парадокс в том, что совершенно-мудрый, просветленный, возвышенный праведник не может быть художником. Высшее понимание невыразимо и не требует выражения, его суть — молчание, сияние, бескрайность. Для общения с посвященными достаточно условного знака. Искусство же, связывающее сферу небесную и сферу земную, вырастает из житейской грязи и должно убедить еще не убежденного.

Если тебе открылось то, чего никто еще не видел, не постиг, не выразил, — как найти для этого слова, понятные другим, для еще не бывалого — слова общезначимые?

«То, что чисто, свято, умиротворено познанием, то мертво для искусства», — писал Т. Манн по поводу задуманной Вагнером «буддийской» драмы. И о нем самом: «Если б не искусство, он мог бы стать святым».

Вот Гоголь всерьез надорвался на попытке совместить одно с другим. Смутьившись собственного смеха (есть ли в нем идея положительная?), он метнулся к проповеди, не вполне сознавая, что это означало отказ от искусства. Роман оказался уничтоженным. (И послужил ведь он при этом искусству мощнее нас всех: собственную жизнь превратил в трагедию.)

Заметки при чтении

«Село Степанчиково» и близкие по времени работы Достоевского мне, помнится, было тяжело читать: душно от этого безнадежного издевательства над душой. Хотя страшного здесь, казалось бы, меньше, чем в великих романах. Здесь нет катарсиса, вот в чем дело, и постоянного предчувствия катарсиса, очистительной грозы.

27.05.77

Как молоды герои «Братьев Карамазовых»! Ивану 23, Дмитрий чуть старше. То же другие: Перхотин, Колганов, Раkitин, женщины. А читая, все время принимаешь их как тридцатилетних и даже старше — это зрелые мужи. Иван до 30 лет хочет наслаждаться жизнью, а там — хоть кубок об пол. Неужели так сместились понятия о зрелости, границы зрелости?

Разве идеальный герой Достоевского, «идиот» Мышкин — не тот же Иван-дурак? (из рабочего дневника «Двух Иванов»).

2.12.78

Постоянный мотив у Достоевского — косо́й луч заходящего солнца, миг высшей радости, проникновенности, любви к жизни.

Почему солнце всегда заходящее? Любуются ли его герои хоть раз восходящим солнцем? Я что-то не помню.

13.08.81

Каждый раз с особо сочувственным интересом читаю отзывы современников о Достоевском. Вот сейчас о «Подростке»: крайний натурализм, *недопустимое в литературе изображение* всей той грязи, которая накапливается в подпольях, полное незнание действительной жизни, бесконечные разговоры между лицами одного и того же типа, выражающимися одним и тем же языком, грязности, решительно непозволительные в литературном произведении, приключения, решительно невозможные в действительной жизни, не реальная правда, а плод больного воображения писателя, писатель односторонний, людей он рисует всегда на грани ненормального и всегда преувеличивает их душевные переживания, поэтому его произведения не производят и не могут произвести целостного художественного впечатления. И т. п. (подчеркнуто мной).

Самое интересное, что все это правда. Критики выговорили ее, не стесняясь, потому что тогда еще не знали, что он — великий писатель. Это правда с точки зрения привычного реализма (Толстого). Современникам трудно сразу усвоить другое измерение, в которое их вводит гений.

3.08.81

Читая комментарии к «Бесам». Сколько шумевших когда-то имен! Деятели революционных кружков, адвокаты, публицисты, литераторы, известные теперь больше по упоминаниям, чем по сочинениям. Персонажи общественно-

литературной хроники, петит примечаний. Так прозвучат когда-нибудь нынешние имена. Я не хотел бы оказаться среди них.

28.12.78

1982

1.01.82. Писать роман и зарабатывать — вот главные мои планы на этот год.

22.01.82. «Я жил не слишком густо», — сказал поэт. Многие пишущие могут сказать это о себе, особенно с определенного возраста. Столько души, да просто жизненного времени забирает себе литература.

26.01.82. Очень немного поработал... Заехал в журнал за книгой для рецензии, потом к Померанцу. В ходе разговора я все-таки задал им (верней, Зине) давно сформулированный вопрос: не заслуживает ли внимания реплика черта о том, что сплошная осанна будет — «скучища неприличнейшая»? И почувствовал, что этот вопрос праздный. У них есть собственный опыт; им знакомо просветление, чувство, о котором сказано в Апокалипсисе: «времени больше не будет», и они готовы представить это не мгновенной вспышкой, а вечным состоянием (если можно говорить о продолжительности, когда время остановилось). Остановившееся время, блаженство, сплошной свет — это испытанное ими состояние, степень приобщения к глубинам бытия и личного просветления...

«Люди, никогда не испытавшие любви, не верят, что любовь возможна», — сказала Зина. «Мы с Гришей живем 21 год, и наша любовь не только не слабеет, но становится сильнее. Те, кто сами этого не знают, не могут понять». Верно. И их убеждение делает их счастливыми. Они пожилые больные люди — и умеют быть счастливы созерцанием природы, елкой, которая опять очень красиво украшена (я смотрел на нее под музыку Вивальди)...

Говорили также о различных временных мерках истории. Мерилом может быть человеческая жизнь, но могут быть и тысячелетия; тогда история представляется по-разному... Узнал, что подал заявление на выезд Хазанов...

1.02.82. Читаю статью о М. Алигер. Что говорить, многострадальное поколение. С сочувствием внимаешь их горечи:

...И о нас уже не спросят
поспешающие вслед,
что и судят, и поносят
тех, кого на свете нет...
Ах, как много мы хотели!
Ах, как мало мы смогли!
В иных упреках, право, есть резон,
И мы их заслужили полной мерой,
И все-таки, какой крутой разгон!
Как бились мы за каждый перегон!

Как верили! Как жили этой верой!

Все так, и не мне судить, я никого не упрекаю, тут нет человеческих счетов. Но совокупная память, отбирающая имена, мерит своей мерой, не спрашивая. И по этой мерке оказывается, что М. А. и те, на кого она ссылается: Твардовский, Эренбург, Казакевич, — хоть и вправе причислить себя к жертвам страшного времени, но все же в ином смысле, чем, скажем, Платонов, Мандельштам, Булгаков или Ахматова. Они, хоть и жертвы, печатались, представляя реально имевшуюся литературу, и тогда считали себя вправе ее представлять. Да, их творчество исковеркано эпохой — но была альтернатива: не печататься. Эту, несравненную, трагедию вместе с трагической жизнью испытали другие, и память нового поколения просто компенсирует им то, что те, другие, все-таки имели при жизни. Тут своя справедливость. Всех жалко, но одинакового отношения ко всем ждать не приходится, да и справедливо ли? И то, что наиболее трагичным больше и воздается по заслугам, — не просто совпадение или вкусовая прихоть. Тут не то что приходилось выбирать, но: или ты был кем-то, или нет.

Память и сочувствие нового поколения все-таки воздают по справедливости: тем, кто не имел читателя и отклика при жизни, кто не имел возможности представлять от имени своего времени, кто не был услышан. А кто говорил, представлял и получал за это признание при жизни — что ж, их голос и судьба тоже были искажены, наверно, они хотели другого. Но кто остался жив, еще может попробовать по-новому. Кое-кто и пробует. Никогда не поздно.

3.02.82. ...Из рабочего дневника. Говорят: восстановить историческую подлинность. Да, жизнеописания Македонского и Цезаря подогнаны под солнечный или какие-то другие мифы. Мы-то знаем, что ничего божественного на самом деле тут не было.

Но ведь в жизни их все-таки воспринимали сквозь призму этих мифов. Жили ведь не просто так, а в мире мифологических, религиозных и прочих представлений. И это не просто идеи, это подлинность, плоть тогдашней жизни.

Так и демифологизировать нашу революцию — значит лишить ее подлинности. Миф, утопия направляли дела многих.

6.02.82. ...В газете фамилия начальника ОБХС — Арестов. Разбоева — нар. судья. Комплектов — начальник протокольного отдела МИД.

А у Солженицына — значащие имена тюремщиков, следователей, прокуроров.

Классицисты-драматурги отдавали дань не только литературному канону, наделяя своих героев значащими именами. Какая-то связь между именем (фамилией) и человеком нередко все-таки есть. Есть фамилии, возникшие из прозвищ, и обозначенные ими качества предков вошли в генотип. Есть духовное влияние имен на их носителей, возможно, подталкивающее судьбу (Арестов). Есть имена, взятые себе по выбору (в 20-е годы).

11.02.82. Сменилось поколение, Илья Габай дождался новых, восторженных и жадных читателей: друзей и сверстников моего сына. Между тем как сам я нахожу все больше умственных аргументов в споре с его жизненной и поэтической позицией. Но это значит лишь, что я все больше удаляюсь от юности. Это не хорошо и не плохо, это естественно. А И. Г. останется поэтом людей юных — независимо от возраста.

18.02.82. Быстро устаю от работы. Несмотря на тяжелую голову, мелькают сильные мысли, но связно не пишется...

Удивительное это все же состояние: из небытия, из воздуха спускается, возникает целый мир: города, люди, судьбы, мысли. Еще недавно ничего этого не было. Вещество мозга идет на это, не убавляясь, однако, а, наоборот, обогащаясь. Только устаешь, и на многое другое тебя не хватает. Чувство, что я впервые пишу по-настоящему.

19.02.82. Пользуясь платоновским словом, сейчас появились и «заместители интеллигенции». Собственно, представляют за интеллигенцию только они, заместители. И платоновское сравнение маргарина с маслом годится: вкус похож, но непитательно. (Вместо Пастернака интеллигентом считается в лучшем случае Наровчатов.)

23.02.82. Читаю Пастернака. Только с возрастом до меня дошло: он начал свой роман в 56 лет и закончил на седьмом десятке — с чувством, что это первая и единственная его по-настоящему стоящая вещь. Тут он был не прав, но не в этом дело, а в нарастании творческой воли. Вот один из признаков гения: рост до смерти.

5.03.82. Всякий человек чувствует душой истину, иногда большую, чем художник. Но художником становится из них тот, кто этому чувству сумеет дать выражение, форму — неизбежно обедняя при этом полноту истины. Насколько ему удастся ее не обеднить, настолько он значителен. (Таково и творчество исполнителей: для них истина — уже существующее в замысле произведение, но без голоса, лица, звука.)

11.03.82. ...Я очень устал. Иногда в полудреме мне чудится какое-то проникновение в глубины жизни. Когда я пробую отдать себе в этом отчет, всплывают банальности вроде: из тьмы вышли, во тьму уходим, и всех жалко... Но это простое ощущение хотелось бы показать в основе всех сложностей своего романа.

13.03.82. ...Заехал к Лукину. На мой традиционный вопрос о возможности конструктивной программы он стал развивать мысль о единственной для нашей страны возможности: «добром царе», т. е. здравомыслящем человеке, который, обладая огромной властью, мог бы провести кардинальные, постепенные, но далекоидущие преобразования по «деверсификации империи». Но возможность появления такого человека при нынешней реальности отбора в верхних эшелонах власти равна политическому чуду. И все-таки надеяться надо; то, что распространяются настроения безнадежности среди тех, кому нужно принимать решения, — уже плохой признак.

Из его рассказов: «Говорят, в Дагестане новичкам, например армейским офицерам, объясняют: в райком партии вы не ходите, это все подставные лица.

Если нужно решить какое-то дело, обращайтесь к таким-то кунакам. Настоящая власть — осужденные преступники, которые скрываются где-нибудь в горах и продолжают править через подставных людей».

16.03.82. Проходит время — и что стало с картиной жизни, изображенной писателем и казавшейся еще недавно вполне приемлемой? Краски гнилые, облезлые, пожухшие, лица как у некачественных манекенов, пейзаж на проволочной сетке — все ползет, жухнет, не выдерживает пристального взгляда: фальшь, надутость, пустота.

(Я листал сегодня на прилавке том Леонова — и не стал покупать.)

18.03.82. ...Заехал на часок к Сидуру... Показал мне серию своих акварелей. Милые, розово-зеленые обнаженные в неожиданной для него нежной манере.

— Вот в чем я свободен, — сказал он. — И западные люди мне в этом завидуют. Мне надоело заниматься скульптурой — я стал для души делать акварели. И не думаю, как к этому кто-то отнесется, того ли от меня требует репутация, рынок. Они так не могут, им надо подтверждать свою репутацию.

Вот если ты будешь писать книгу, совершенно не думая о возможности ее напечатать, ни у нас, ни там — потому что там это тоже непросто, — тогда ты можешь написать хорошо.

Ко мне тут ходили из американского телевидения, хотели снять обо мне фильм. Не пошло. Их не устроило то, что я сказал. Они стали спрашивать меня о свободе, я сказал, что тут, в подвале, среди своих работ, чувствую себя совершенно свободным, и нигде свободней себя бы не чувствовал. Они явно ждали от меня другого. Рассказали, видимо, о беседе со мной начальству, им тоже требуется подтверждение, потому что это довольно дорогостоящая вещь: освещение, операторы. Видимо, не прошло. Ну что ж, останутся американские телезрители без лицецерения моей физиономии. Не буду же я приспособливаться к ним, говорить так, чтобы им понравиться.

Я думаю: ну, уехал бы, ну, получил бы миллион — ну и что? Что я имел бы больше? Ездить я никуда не хочу, мне это неинтересно.

Из других разговоров:

— Я всегда говорил, что в искусстве, вообще в человеческой философии ничего принципиально нового не существует. Первобытное, египетское искусство, буддизм, христианство: все главное уже было сказано, все найдено. Возможны только разработки, незначительные изменения...

Потом мы пошли прогуляться, сделали круг по Хамовникам, до Пединститута и обратно.

— Я вот только хожу и присматриваюсь к особнякам, — сказал Дима. — Мне хочется иметь особняк, чтобы выставить там свои работы, — и больше мне ничего не нужно. А то я вот задумал одну скульптуру, с тебя ростом, и не могу делать, куда ставить. Я стал чувствовать, что невозможность иметь собственность — это очень плохая вещь. Нам ничего не принадлежит. Дача? Какая она моя? Земля мне не принадлежит. Квартира — она кооперативная, тоже не моя. Мастерская — вообще даже не Союза, ее надо арендовать у ЖЭКа.

Встретили беременную женщину.

— Я все никак не использую тему, которую она мне дает. Она расстегнула шубку, и из-под этой формы у нее выпирает другая. Это очень красиво.

— Что такое счастье? Вот я прогулялся с тобой час по улицам, никому не сделал зла — и мне хорошо.

31.03.82. ...Из рабочего дневника. Достоверность нашего знания о жизни есть достоверность нашей жизни. Чем глубже мы пробьемся к ней, тем достоверней сон нашего существования.

Копнуть глубже вот эту очень важную тему: наше кино о революции не можешь смотреть — фальшь. А иностранные, про индейцев, сыщиков, гангстеров? Можешь, потому что не хватает конкретного знания и воображения, чтобы сопоставить с достоверной плотью жизни. Что знал мир о нашей революции? Прежде всего слово «революция», и оно важнее всего. Слова, идеи, формулы газет перекрывали плоть жизни; они доступны, они усваиваются. А как пили чай, чесали вшей, теснились в каморках — в это не взглядишься. Значит, ничего не знаем. Поколения родились в этом и умерли незамеченные. Что осталось? Мифы, слова.

(Но и без слов нет правды. Это важно понять.)

1.04.82. ...Из рабочего дневника. Я вошел в эту работу с честным и убежденным намерением не чураться никакой опасной, запретной проблематики, освободиться от цензуры внутренней и от мыслей о цензуре внешней. Но вот сейчас, после семи месяцев работы, я испытываю опять же отчетливую потребность убирать все фельетонное, злободневное, будь то коррупция или диссидентство. Злободневность должна выводиться из произведения, как частный случай.

Как определить нынешнее состояние работы? Я вроде Господа-творца, решившего создать живого человека. И вот у меня уже есть скелет, кое-где он прикрыт мышцами и неполными частями внутренностей, а в немногих местах мышцы уже прикрыты кожей, и виден завиток волос, и цвет зрачка у глаза намечен, хотя сам глаз еще не полон, а второго и нет вовсе, да и скелет, между нами говоря, не завершен, кое-где заменен временной провололочкой, пунктиром, кое-где кость не того размера, от другого человека, надо заменить. Все еще надо сделать, и мышцы нарастить, и нервы протянуть, а главное — вдохнуть жизнь. (Впрочем, по мере творения даже относительно готовые части, глядишь, живут, дышат — под конец это получится само собой.)

4.04.82. Гулял с Леной, читал Ионеско... Вечером к Городницкому. Внушительный сбор: Искандер, Эйдельман, Стругацкий, Смилга, Графовы, Лукины, Диков; поздней приехала Тата Губерман и брат Губермана Давид, который руководит бурением сверхглубокой скважины на Кольском п-ове. Привез в подарок керн с глубины 11 тыс. метров. Алик тоже показывал камень, поднятый со дна Средиземного моря; это базальт, очевидно образовавшийся на суше, значит, какая-то поверхность здесь опустилась, но в очень древние времена, еще до Атлантиды... Все блистали остроумием и тостами...

Из рассказов Эйдельмана:

— Сталин с Павленко просматривают список представленных к награде. «А это кто?» — вдруг показывает Сталин на одну фамилию. «Иосиф Виссарио-

нович, это говно, но это наше говно». Сталину очень понравилась эта фраза. Вошел Маленков, и он его спрашивает: «Ты наше говно или не наше?»

А как-то Сталин с Маленковым встречаются Хрущева. «Никита, — спрашивает Сталин, — а верно, что ты поляк?» — «Нет, я не поляк, вот, отец у меня такой-то, мать такая-то». — «А Гоша, — показывает на Маленкова, — говорит, что ты поляк». И оставляет их вдвоем с Маленковым.

Тост: «У них была не настоящая дружба, а мы выпьем за настоящую».

Стругацкий рассказывал, как допрашивал по поручению командования японца, спросил, пьют ли у них. Он ответил по-английски: «Little by little», т.е. «понемногу». Но так как японцы не выговаривают «л», получилось «ритр». Стругацкий перевел: «литр за литром» — «и не ошибся», — добавил он.

Тост: «За понимание!»

7.04.82. Читаю Б. Хазанова «Я воскресение и жизнь». Какой блистательный мне открылся писатель! Ум, нежный трепет жизни, наполненность каждой клеточки повествования, чувство времени. Вот наугад: «Если бы он оставался у себя на небесах... Тогда про него забудут. Бог, он вроде раскулаченного, все добро отняли, лишили всех прав; пусть еще спасибо скажет, что жив остался... Его, как бы сказать, сослали, а он самовольно вернулся. В этом его преступление перед советской властью».

Наверно, лучше бы выписать более «детское». Повесть чем-то мне напомнила «Детство Люверс», раннюю прозу Пастернака... А что еще у Хазанова? В том же ключе? Или разные регистры, разные возможности?

Как говорить после этого о печатной литературе, которая в официальной реальности единственная существует, рецензируется, входит в критические обзоры, знаменует вехи литературного процесса? Конечно, и там есть вещи достойные, сравнимые, но образ времени скорей тут. И все больше будет открываться тут, в литературе из параллельных миров.

13.04.82. ...Встретился с Хазановым у Померанца. Начали, конечно, со злободневной политической проблематики: будет ли катастрофа, и если будет, то когда. Померанц считает, что еще можно ждать десятков лет. Хазанов развивал довольно убедительный вариант зажима: военная дисциплина, суд за пьянство и прогул, суды над взяточниками, жестокая диктатура и при этом несколько демонстративных шагов в сторону Запада, вроде ухода из Анголы, которые могут побудить Запад дать нам кредиты. Логически и этот вариант не опровергнешь, очевидно, он носится в чьих-то умах, хотя ясно, что это может дать эффект только временный. Но надежда на здравомыслящего генерала, «доброе царя» тоже вряд ли сбыточна. Говорили о повести Хазанова. Он пытается сейчас восстановить роман, который у него забрали при обыске. («Перескажите своими словами», — сострил я. Ему шутка понравилась.) Говорили о том, можем ли мы создавать современную литературу, сравнимую с западной. Я проповедовал утверждать, что мы можем предъявить десятков полноценных имен. Но когда мой список был ограничен именами людей, начавших писать в советское время, то есть не русских, а советских писателей, я смог назвать действительно очень немногих: Платонов, Булгаков (Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цве-

таева при таком подходе отпадали). Хазанов утверждал, что мы живем в принципиально антилитературной ситуации. Не следует преуменьшать значительность советской литературы, которая создала громадную промышленность, огромный редакторский аппарат, который следит, чтобы не прорывалось живое слово, воспитала армию читателей и т.п. (После таких слов я подумал: действительно, смешно мне соваться в издательство. Но бывают же исключения. Кстати, Гриша подтвердил, что моя рукопись ушла на Запад.)

Разговор о предопределении: существует ли судьба? Хазанов развил сюжет о человеке, который просто сел не в тот трамвай, и потом вся жизнь его пошла по совершенно другому пути; встретил другую женщину и т.п. (Но, может быть, если бы он сел в другой случайный трамвай, его жизнь в конечном счете пришла бы к совершенно тому же?)

14.4.82. Хотел заняться «Судами», но не смог настроиться. Читал Хазанова и делал заметки для романа: это плодотворный способ работы. Хазанов не сомневается в неотвратимости катастрофы, и я ловлю себя на мысли, что, хотя сам говорю и думаю об этом, но как-то не всерьез, все еще надеясь как-то объехать судьбу на кривой. Всю жизнь эта неосознанная попытка перехитрить кого-то и устроиться не как все, а на особый лад, без жертв, но при этом честно. А жизнь, или судьба, или Провидение насмешливо ставят все на место, подталкивают меня на путь, очевидно мне предназначенный, и когда я чувствую это, то догадываюсь, что катастрофа может оказаться вполне реальной, что в советскую литературу мне никогда не вписаться, не узнать при этом ни успеха, ни благополучия, что не получится у меня как-то лучше, чем у Музиля, или Мандельштама, или Ильи Габая, что другие страдали и терпели жизненные драмы не потому, что были глупее или хуже меня, наоборот, потому, что были пронизательней и лучше. Конечно, жизнь могла бы быть хоть чуточку благоприятней — есть же где-то в мире свобода высказаться и напечататься. Мне, пожалуй, больше и не надо: написать то, что я хочу и как я хочу, и зафиксировать в печатном виде.

Когда прикоснешься, даже по чужим свидетельствам, к реальной жизни, реальным людям, трагедиям, реальной литературе, Дом литераторов представляется заполненным какими-то розовыми, искусственно выведенными слизняками, вокруг которых поддерживается особая температура, особый воздух; что-то нечеловеческое, вызывающее брезгливость. Конечно, я не прав. Сам сживал там и хотел сживать. И знаю достойных завсегдаеэв этого гадюшника.

Между прочим, вдруг подумал, что жизнь моя даже внешне не так убога. Наоборот. Вот хотя бы за одну апрельскую неделю: сидел в ресторане «Националь» с видом на Кремль, с оркестром и севрюгой — и это было самое интересное впечатление. Сидел в компании лучших литераторов Москвы: Искандер, Стругацкий, Эйдельман. Трогал руками камень, поднятый со дна Средиземного моря, о котором писали в газетах, трогал другой камень, добытый с глубины 11 км. Опять же ел икру и наслаждался прекрасной застольной беседой. Общался с Померанцем, Хазановым — умнейшими и достойнейшими своими современниками... Был на премьере по Хармсу, и это было хорошо.

Неужели я хочу чего-то еще?... Дома творчества? Банкетов на съезде писателей? Тошнит от одной мысли. Денег? Вот это да. И возможностей ездить — но тут я тоже волен больше многих.

Наконец, за скобки выносятся главное: работа.

16.04.82. После «Я воскресение и жизнь» прочел сборник «Запах звезд» Хазанова. Это мастер зрелый, с богатым регистром возможностей. Но в первой (последней по времени написания) повести меня пленило чувство богатства жизни — даже в пределах тесной квартиры. Конечно, для ребенка все — богатство, но и взрослым дано иногда вспоминать, что они живут под небесами. Хочется спорить, когда автор видит во всех согражданах лишь безнадежно искалеченных, когда даже русский пейзаж кажется отвратительным. Но он сам себя опровергает в других местах: есть у него и красота, и любовь, и юмор, и жалость. А что мир видится ему страшней и безнадежней, чем мне, — так у него и опыт другой.

23.04.82. ...Вчера взял читать на ночь письма Т. Манна, сначала поздние, затем решил посмотреть, что он писал в моем возрасте, к 45 годам. Насколько это менее интересно, чем поздний Манн! Вся статья уже вроде бы тут, но подлинная насыщенность, глубина, понимание пришли уже гораздо позднее. Мне кажется, что у меня все еще впереди — если только надеяться, что проживу достаточно долго для этого.

24.04.82. Читаю про одного немецкого подражателя Кафки, что он обогатил его инструментарий социальным звучанием. И никакого понятия, что Кафка, «обогащенный» социальным звучанием, теряет общечеловеческое величие, превращается в создателя фельетонных аллегорий.

Одно дело, когда не интересуется политикой человек по добровольному выбору и из склонности — какой-нибудь шведский фермер. Другое дело, когда обложенный со всех сторон государством уклоняется, закрывает глаза — страха ради иудейска. Важно не столько содержание (интерес, отсутствие интереса), сколько характер импульса, движущего нами.

25.04.82. Не работал, ходил в лес, смотрел хоккей. Вечером заехал к Иванову. Общее ощущение уже близких перемен, неотвратимого кризиса, непредсказуемого будущего. Когда я упомянул, что Хазанов подал заявление на выезд, он сказал: «Зачем же сейчас уезжать? Сейчас здесь будет самое интересное». Говорил о пьесах Петрушевской и Гельмана, которые видел недавно. При общем хорошем впечатлении — чувство, которое он назвал «истеричностью»: крик, как все ужасно, мрачно, безнадежно. А сейчас не это нужно.

Заговорили о судьбе (я последнее время неизменно перевожу разговор на эту тему). Он в это твердо верит. Он считает, что нами кто-то распоряжается, и если ход событий кажется нам случайностью, это только потому, что наш слабый ум не способен распознать закономерности... «То есть вы в принципе религиозный человек?» — спросил меня Кома, и я вынужден был согласиться...

Недавно он выступал в Политехническом музее, где говорил о состоянии науки и называл всю нынешнюю систему ее организации непроизводительной

тратой человеческой энергии... Десяток тысяч человек (цифра не преувеличена) не может признать ненужным то, чем они зарабатывали долгое время очень большие деньги...

Рассказывал свою гипотезу о том, что гориллы и шимпанзе — мутанты, в которых выродились предки человека в результате атомного взрыва, который произошел в Зап. Африке, где на территории нынешнего Габона обнаружена необычайная цепочка урановых месторождений (бывшие атомные реакторы?). Общий предок человека и человекообразных обезьян до сих пор не найден... Он любит такие гипотезы; вероятно, это стимулирующая игра ума. Я способен относиться к ним только с юмором.

30.04.82. Вчера взял у Леша «Теленка»... — и зачитался до 4 ночи, а потом до рассвета едва смог заснуть часа на полтора... Как же целеустремленно, как последовательно осуществляет этот человек свою судьбу, свою миссию, свое понимание литературы — и правды! Это неизбежно рождает оглядку на себя, проверку своего пути и своих возможностей. Первое размежевание просто и ясно: я — просто не он, у нас разные судьбы, разный жизненный опыт, разная сила характера (все в его пользу, вне всяких сравнений). Второе: то, что меня безусловно восхищает, вызывает преклонение и кажется непреходящим явлением в литературе, — это жанр «художественного исследования»: «Архипелаг», «Теленок». В сфере чистого вымысла уже больше оговорок. Третье: эта правда, которую рвался сказать он и которую именно он способен был сказать, как никто другой, действительно требовала такого осуществления судьбы, такой целенаправленности, такой привязки ко времени. Через 50 лет и даже через 20 лет ей была бы не та цена. А Музиль, который по-своему разгадывал шифр своей судьбы, осуществил ее незримо для мира и без оглядки на сроки жизни — разве он не столь же велик на свой лад? Просто понимание, задача и правда своего творчества у него были другие, и другая разновидность мужества, другой тип таланта, характера — другая судьба. Надо прислушиваться к своему зову, разгадывать линии своей судьбы...

Чудно мы сотворены! За эти сутки я спал не более полутора часов, сильно болен, ослаблен, мало ем — а мозг работает чисто, и сегодня без всякой усталости напечатал три главки гл. 3. Да еще помимо этого читал Солженицына, делал записи. Мог бы поработать и больше, да не рискнул: как бы не отдалось нечувствительным путем на сердце. Не хотелось бы разбалчиваться. На улице — предвесье мая, +180, ходят без пиджаков, почки готовы полопаться, да уже и лопаются. Завтра, глядишь, все оденется в дымку.

7.05.82. Позвонил Хазанов-Файбусович. Поехал за деньгами, денег не получил, а с Файбусовичем встретились, прогулялись по бульварам. Он сейчас заново пишет изъятый у него роман: о своей юности, послевоенных годах. О лагерной теме если уже писать, то иначе, не просто реалистично; нужно показать, что это за мир. Думать, что существует общество угнетенных, которым противостоят палачи, — наивная романтика. Среди угнетенных есть свои палачи, а среди начальства, особенно в низких звеньях, такие же подневольные, те же

мари месяц. На мое несогласие с его словами о том, что русский пейзаж оскорбляет глаз: «Я знаю, вы скажете: леса, поля. А приходилось вам? — конечно же приходилось — осенью идти по дороге? Дорога — центр русской жизни, и как это ужасно!» Я рассказал ему идею своего романа, он восхитился замыслом: сколько возможностей! Меня это стимулирует, конечно.

Еще из его разговоров:

— Я сейчас учу еврейский язык. Познакомился с замечательным человеком, он работал заместителем конструктора Туполева, но при этом ухитрился унаследовать традиции девяти поколений раввинов, был ректором ешибота. Сейчас ему 82 года, на иврите он говорит, как мы с вами по-русски. Однажды я забыл головной убор и стал извиняться, потому что преподаватель говорил нам, что Священное писание надо изучать только в головном уборе. Он махнул рукой: «Это совсем новый закон, ему нет тысячи лет. Раньше этого не требовалось».

— Иногда испытываешь чувство, что наряду с нашим существует какой-то невидимый мир, проникающий в наш, видимый, входящий в него, как пиджак в пиджак.

Может быть, через месяц, может быть, завтра все может измениться, прорвутся неизвестно какие силы. Все это непредсказуемо.

— Ипохондрик очень конкретно, реально описывает признаки несуществующей болезни. Например, Мопассан в письмах: «У меня в мозгу образуется излишек солей, которые выходят через нос, и я все время слизываю языком соль». Это, между прочим, удивительно совпадает с Гиппократовым описанием насморка как избытка слизи в мозгу. Тут конкретное ощущение болезни. Или: «Когда я держу руками свою голову, это голова мертвеца». Почти буквально так описывается клинический случай прогрессивного паралича. (Человек считает себя мертвецом или считает мертвыми части своего тела.)

В физиологизме Платонова тоже есть что-то болезненное.

После разговора с Б. Хазановым о филологии вдруг довел до конца мысль. Главное, что отделяет меня от Гессе, — это слова в *Glasperlenspiel*⁷ о том, что жителям Касталии запрещено было творчество, т. е. создание новых стихов и т. п., только комментирование, сопоставления, высокая схоластика. А понял я вдруг, что эта позиция по отношению к творчеству — сверху вниз, взгляд служителей духа на поставщиков сырья. И что я действительно неотесанный мужлан рядом с Резо Каралашвили. (Не исключено, что и он это почувствовал.) Я-то не стал бы менять своего первородства, но возможно, к созданию культуры больше имеют отношение высокие комментаторы; они плетут ткань культуры из нашей пряжи.

9.05.82. ...На ночь читаю Гоголя, «Записки сумасшедшего» — это абсолютный шедевр. Вот у кого точность, емкость, глубина — при видимой легкости. Эта проза не просто опередила свой век, она и сейчас впечатляюща и впереди нас.

⁷ Имеется в виду роман Г. Гессе «Игра в бисер».

11.05.82. Удивительная пора года — чистое наслаждение, не хочется упустить ни минуты. В березах что-то девичье или юношеское, перед свадьбой. С утра дождь настоял воздух так густо, что трудно дышать. Черви выползли на асфальт, чтобы не захлебнуться...

12.05.82 ...Дивная майская гроза. Какая-то зеленая туча, непрерывный гром и шум ливня оглушают, как водопад.

13.05.82. ...Наша «стабильность» поистине озадачивает: похоже, что так еще может тянуться и тянуться, вопреки всем человеческим закономерностям.

29.06.82. ...Позвонил Баткину, которому сегодня 50 лет, он долго рассуждал со мной о необходимости для человека печататься, иметь отклик. «Чтобы принять следующую порцию пищи, человеку нужно все-таки опростаться, простите за раблезианское сравнение. Жить в состоянии невесомости противоестественно, это даже не та невесомость, которую испытываешь, плавая в воде: то все-таки среда. А тут какая-то космическая невесомость, в безвоздушном пространстве. Библер называет это шизофренией. Он еще обладает свойством, которого я, к счастью, лишен: без конца переделывает написанное. Пока оно от тебя не оторвалось, не отброшено, то о нем думаешь, не можешь от него избавиться. Так произошло с его книгой о Канте, которая, конечно, не напечатана и, наверно, не будет напечатана, потому что она толстая, непонятная и никому не нужна. Но когда зашла речь о том, чтобы ее отдать через ВОАП куда-то на перевод, он спохватился: эта работа написана три года назад, там много надо переделать. Так до сих пор и не отдал». Вспомнил об О. М. Фрейденберг, после смерти которой остался сундучок работ, все они были пронумерованы, расположены в строгом порядке и совершенно готовы к изданию. «Это подвигло меня предпринять действие, которое может показаться смешным: я принялся за составление плана своего 4-томного собрания сочинений, 4 тома по 20 листов, и вижу в этой работе смысл...»

(Я в этом разговоре почему-то выступал оппонентом, роль которого — доказывать, что можно жить и без публикаций, — что, конечно, смешно.)

30.07.82. Еще на темы Гессе. Люди могут жить и творить, не зная ничего о своем месте в культуре и не заботясь об этом. Гессе знал и заботился.

Банальность, эпигонство могут обрести цену, введенные в совокупность культурных связей. (Явление, введенное в контекст культуры, приобретает весомость, не зависящую от отдельного, обособленного уровня.)

3.07.82. Дождь. Написал еще два эпизода 2-й гл. Вечером приехал Яглом, рассказал, что недавно арестовали группу участников частного математического семинара; его контингент составили студенты технических вузов, которые из-за национальности не прошли по конкурсу в университет... Занятия были чисто математические, за это не арестовывают... Эту группу в КГБ уже окрестили «еврейским университетом». Всех, кроме одного, на другой день выпустили. Какие это будет иметь последствия (в частности, для политики университетских экзаменов), пока неизвестно. Но лучше вряд ли станет. На физфаке в этом году конкурс три человека на место, на мехмате вряд ли больше, но это не меняет экзаменационной политики: из пяти задач в прошлом году решить можно было

две, от силы три, на другие просто не хватает времени, такие они подобраны громоздкие. Отбор практически начинается с устного экзамена. Илья Яглом решил задачу олимпиадного типа, тем не менее он и на устном экзамене получил 3. Когда он пришел опротестовать решение, ему сказали, что он опоздал, протестовать надо в течение часа. Он все-таки прошел, но даже не хотел идти учиться...

12.07.82. Все эти дни был поглощен эпопеей Алешиных экзаменов, верней, единственного экзамена: за письменный он получил 2. Он правильно решил четыре задачи из пяти, но принципиально опускал слишком очевидные, по его мнению, обоснования. Они ему казались ясными, как таблица умножения. Это и поставили ему в вину, признав нерешенными все четыре задачи. Те, кто решил всего две задачи, простенькие, но подробно оформленные, получали тройки и допускались к дальнейшим экзаменам. При нынешнем конкурсе (800 человек на 300 мест) после первого экзамена осталось сразу 300, и они проходили. Была еще надежда, что на апелляционной комиссии разберутся, поймут, что это не ошибка, а свидетельство именно слишком хорошего понимания. Пришлось и тут убедиться, что никого тут не интересуют ни способности, ни уровень, ни наука. 25 мальчишек, решивших отстаивать свои позиции, буквально заперли в аудитории, не разрешили сделать выписки из работ для апелляции, даже забрали ручки; не разрешили выходить, продержали голодными с утра до 12 ночи, а собирались держать и до трех утра, если бы не забастовали лифтеры. Еще 6 часов продержали на другой день — из чистой мести строптивым, издевательски, и все апелляции отклонили... У выхода стояла группа людей, как потом поняла Галя, из семинара Фукса, который основал математическую группу для этих отвергнутых еврейских детей. Они в день устного экзамена спрашивали задачи у вышедших. Одним задавали задачи буквально устные, и они получали пятерки, другим — олимпиадного типа. Так поступили с Алешиным одноклассником, самым блестящим учеником, который ответил на все устные вопросы так, что они рты раскрыли; потом ему задали дополнительный. Он сказал: «Я эту задачу не смог решить на городской олимпиаде и сейчас не буду решать». — «Идите, два». Все это мы знали и раньше, но надо было на своей шкуре убедиться.

Алеша был предельно взвинчен, сейчас успокоился... Никакой заинтересованности в наборе способных студентов; фашистское холодное издевательство, откровенная подлость. И надо среди этого жить, пробиваться — если не хочешь уезжать из страны. Надо доказывать и осуществлять себя здесь.

13.07.82. ...На ночь читал Мандельштама. Поэтическая интенсивность такова, что больше получаса всерьез не выдержишь, чувствуешь себя переполненным. Кучей пошли этюды к роману — я приближаюсь к новому уровню письма, новому литературному измерению. Я давно до него добираюсь и, возможно, если овладею им в первых трех главах, дальше уже смогу на нем держаться...

15.07.82. ...Попробуем представить, как стал бы читать Пушкин Мандельштама. Ну хоть бы «Кто время целовал в измученное темя» или «Как тельце ма-

ленькое крылышком». С напряженной попыткой проникнуть: вот как стали писать через 100 лет! Слова все понятны, но это новый этап поэзии (как ученый оценил бы новый этап науки), это требует усилия от непривычного слуха, чтобы приспособиться, дорасти, вникнуть. А как бы он читал... ну, не знаю кого: Твардовского. Жизнь другая, а поэзия...

8.08.82. *Puhajarve*. Алеша сдал и второй экзамен на «отлично» — принят в институт. Огромное облегчение... Гале звонил Файбусович-Хазанов, он 15-го уезжает насовсем. Я рад за него: возможно, не только житейски, но и литературно он там развернется во всю силу. А за себя огорчен: только с ним познакомился и успел его оценить, как приходится расставаться, и, скорей всего, насовсем. Со сколькими уже так расстались!..

Сегодня Таня разбудила меня в шесть, пошли ловить рыбу и поймали 6 больших плотвичек, одного подлещика и одного настоящего леща. Еще один лещ у меня сорвался, верней, Таня не удержала, он ткнулся о мостки и оборвался вместе с крючком. Прекрасное туманное утро, тишина...

12.10.82. ...Зашел по пути к Сидуру. Он не очень здоров, новых скульптур, кажется, нет, занимался летом живописью... Заговорили об одиночестве художника. «Художник должен быть одинок».

Как он читал в журнале «Наука и жизнь» статью доктора Илизарова, какая у него была трудная жизнь, как он добивался цели, и, кроме работы, ничего у него не было. «Правда ли, что вы никогда не отдыхаете, не ходите в кино, в театр?» — спросил его корреспондент. И тот ответил, что правда. «Один раз я получил путевку в санаторий, но через шесть дней сбежал. Не смог. Когда я работаю, я живу, на остальное нет времени. Говорят, есть хорошая книга “Мастер и Маргарита”, я попробовал почитать, но больше пяти страниц не смог — некогда».

Это было рассказано по поводу того, что сам Дима имеет возможность читать только перед сном, когда примет снотворное. И 20 минут, пока оно действует, он может читать.

Я сказал, что мне чтение необходимо, оно дает новые импульсы для работы.

— А у меня импульсы все время передо мной, — сказал Дима. — Я даже альбомы по живописи не смотрю. Была выставка Пикассо, я не пошел: про него я все уже знаю. Пересматривать свои старые папки с идеями — это слишком большой труд. Иногда оказывается, что я в новой работе повторил идею, которую уже когда-то нашел...

9.11.82. ...Заехал к Баткину. Он мрачен, хорошего впереди не видит, но хочет, чтобы что-нибудь произошло.

— Еду утром в переполненном автобусе. Все стиснуты, и в этой тесноте идет бредовый разговор. Какой-то мужчина объясняет другому, что лучше бы пройти пешком одну остановку, а там проще сесть, там многие выходят. А тот ему отвечает: «Я не могу пешком, я опоздаю». Все это повторяется по несколько раз, они говорят, как будто не слышат друг друга; но это можно опустить. На каком-то витке разговор трогается дальше. «Я не могу пешком, — очередной

раз бубнит тот, — я опоздаю». — «Не опоздаете. У нас никто не опаздывает». — «Ну, нет, иногда опаздывают, — встречается вдруг кто-то третий. — Вот, коммунизм обещали к 70-му году, да опаздывают». — «Не к 70-му, а к 80-му», — вступает четвертый. И абсурд обретает новый поворот. «Нет, к 70-му, я помню, как Хрущев говорил». — «Я Хрущева читал не хуже вас. К 80-му». Тут я счел нужным вмешаться: «Действительно к 80-му, так что опоздание не такое уж значительное».

Надо при этом иметь в виду тесноту, сдавливающую грудь и делающую голоса хриплыми, полузадушенными.

А однажды я возвращался домой в почти пустом автобусе, можно было сесть. Я огляделся на лица сидевших: обычные советские лица, усталые, тупые, оскопленные. И вдруг мне стало страшно. Это может показаться романтическим преувеличением, но мне стало страшно, что среди этих лиц я проживу всю свою жизнь и никуда не вырвусь.

Миша (сын) однажды сказал мне: «Я ненавижу этот народ». Я, конечно, поправил: «Ты хочешь сказать, что ненавидишь режим, систему, власть». Но он настаивал: «Я ненавижу этот народ». И когда я попробовал оспорить его, он положил меня на лопатки. «Народ — учителя, которые меня травят, ученики, с которыми я учусь, толпа в автобусе, продавцы в магазине. Все они — это и есть народ, который я ненавижу».

Мы все сетуем, что уничтожена культура, раздавлена интеллигенция. Но все гораздо страшней: уничтожен народ, и его возродить гораздо трудней, чем интеллигенцию.

Я задал ему вопрос, занимавший меня после чтения переписки Пастернака с Фрейденом (о которой мы тоже говорили): как ему кажется, какое время было хуже, наше или их? (Если отвлечься от того, что их время было более кровавым и можно было просто погибнуть с большей вероятностью, чем сейчас.) Он, подумав, сказал:

— Тогда было в чем-то проще. Было ясно, что ты живешь в сталинском концлагере, в аду, — но он не мог продолжаться бесконечно. Ясно было, что он так или иначе должен когда-то кончиться. Ужасней жить в болоте, зная, что это может продолжаться всю жизнь... Говорят: мы еще пожалеем Брежнева. Нет, я хочу перемен. Что угодно, к лучшему или худшему, только бы не продолжалось это зловоние.

О Польше:

— Это развитие мне кажется необратимым. Народ приобрел опыт, который забыть нельзя уже нынешним 15-летним. Там сохранился рабочий класс, крестьянство, интеллигенция. То, чего не осталось у нас. Там выработались структуры и методы борьбы — это уже после десятилетий подчинения Сов. Союзу. Нет, это начало поворотного пункта истории. Хотя поворот может длиться дольше, чем мы проживем.

О книге Н. Эйдельмана «Пушкин и декабристы»:

— Он все хочет спроецировать их историю на наши современные обстоятельства: Пушкин был мудрей декабристов, он чувствовал историческую пер-

спективу, он понимал, что переворотом Россию враз не изменишь, нужно ее сначала просветить. Конечно, и декабристы были достойные ребята, заслуживающие самого высокого уважения, но мы-то теперь видим, что Пушкин был прав. Надо не бунтовать, а просвещать.

И вот прошло еще полтора года лет, а Россия все еще не просвещена, еще надо лет 300, чтобы ее просветить. А мы успокаиваем себя ссылкой на Пушкина.

Еще об истории:

— Конечно, лет 20 назад мы не могли себе даже вообразить многого, что происходит теперь.

— Чего, например?

— Ну, что тупик окажется таким очевидным. Что закупки зерна за границей превратятся в систему, и этого даже не будут скрывать. Что будут существовать параллельно две экономики. Языки развязались, все уже всё знают.

Сравнил Фрейденаберг и Аверинцева.

— У Фрейденаберг были какие-то идеи. Пусть спорные, пусть какие угодно. Но у Сережи я что-то не вижу особых идей.

— У него другая функция, — сказал я.

— У него функция сакральная.

О последней книге Д. Самойлова:

— Конечно, поэт действительно талантливый, значительный. Но откуда это самодовольство? Когда человек один выходит на дорогу, тут уже ясно, что можно ощутить счастье, тут звезда с звездой говорит. Но чем он доволен? Что он живет в Пярну? Что у него хорошее пищеварение?.. В лучших стихах — о Дельвиге, скажем, — приятное бормотание, где он ничего не старается доказать. Его никогда не ругали, всегда хвалили. Он сразу стал классиком.

11.11.82. Ночью Белка разродилась восемью щенками, двое были мертвыми...

Весь день читал в библиотеке газеты прошлого месяца, а когда вернулся, Танюша сообщила мне новость: умер Брежнев. Еще вчера ночью, в 8 часов, но сообщили только сегодня в 11 часов. Можно назвать это: конец эпохи. Даже «конец прекрасной эпохи», если воспользоваться заголовком поэта. Между тем «Голос Америки» сообщил об этом как о второй новости после известия о намерении освободить Леха Валенсу. (На каких условиях? Означает ли это победу властей?)

27.11.82. ...Сегодня не работал, весь день увлеченный чтением Федорова. Все в этой книге фантастично: и содержание, и то, что это напечатали в советском издательстве. Наверно, как личность он не мог не производить впечатление, в нем все черты гениального самородка — но у меня он не вызывает никакой симпатии. Я, грешным делом, очень сомневаюсь в его доброте, в характере его нравственности, потому что в писаниях его все проникнуто презрением и неприязнью ко всем (практически), кто не совпадает с мерками его откровений. Важное свойство его учения — в абсолютности и буквальности этих откровений; ничто не должно восприниматься метафорически. Даже те, кто говорили о своем сочувствии идеям Федорова (Л. Толстой, В. Соловьев), были им осмеяны и отверг-

нуты. Кто отступает от абсолюта хоть на вершок — тот отринут и проклят. Это видно по его письмам к разным людям.

Он ненавидит католичество, ислам, буддизм (о котором у него совершенно дикие представления) и не исключает справедливой войны с ними (об этом прямо в тексте: «Борьба с ним может быть не полемикою только, но и войною»). Кроме русского православия — все неверно. И Китай плох. Жители Бухары и Самарканда называются кочевниками, живущими грабежами и войной. Верещагину делается выговор за симпатию к исламу. Он ненавидит Ницше и Толстого (с которым вроде бы лично общался), ненавидит плотскую обычную жизнь и, по-моему, женщин. Мне кажется, это не просто словесная условность: разговор только об отцах и сыновьях, с редкими оговорками о дочерях (понимаемых только как Святой Дух), еще реже — о матерях; но «жены» упоминаются только с отвращением, как отвлекающие сыновей от духовного долга отцам. («Прилепясь» к женам, забывают отцов.) Неприязнь к городу; сельская убогость полагается не только вечной, но и наиболее желанной; городские удобства излишни и отвлекают от сути жизни. (Интересно, где при этом будут устроены сложные химические лаборатории и прочие мастерские для восстановительной обработки человеческого праха — самой настоящей, об этом подробно). И т. д. и т. п. Не говорю о самой утопии плотского воскрешения отцов (в том числе, наверно, и тех, кто терзал до смерти детей, как писал Достоевский, палачей и извергов). Реальная возможность этого не обсуждается, но всякий, ее не признающий, отлучается от истины и от спасения. Если не будем воскрешать мертвых, они будут мстить физически, заражать нас и пр. Т. е. довод — не столько любовь, сколько страх перед угрозой. И т. д.

Я не очень верю в искренность восторгов его почитателей. (Не понаслышке ли они судили о его идеях, читали ли сами эти тексты? Он и на Маяковского оказал влияние, и на Хлебникова.) Но для моей работы это оказалось на удивление «в масть». Молитва отца Герасима перед новой ракой в Мавзолее и последнее радение его секты на кладбище вдруг удивительным образом связались в последовательную идею... И некоторые идеи Ионы (физическое преобразование будущего человека, даже возможность у него крыльев — я это предвосхитил).

1.12.82. *Из рабочего дневника.* В чем суть сложившейся системы? Людей заставляют жить в нереальном, мифическом мире: без истории, без знания окружающей действительности, ее сути, ее механизмов, — а иначе уже нельзя, на этом все держится, и гигантское сцепление структур власти, и подчинение масс. Всем плохо — но все уже иначе не могут.

9.12.82. ...Приезжал Женя Попов, как всегда, очень содержательно с ним поговорил... По его словам, писатели с аэропортовских улиц чего-то ждут от Андропова, даже пессимисты делают оговорку, что какие-то перемены возможны...

Заговорил о его рассказах: адекватно ли он выражает свое ощущение жизни в этой картине распада, без устойчивых ценностей, без красоты? Разве их у нас нет? Он вначале сказал: не знаю. Потом заметил: «Какой-нибудь раб в древнем Риме не очень смотрел, условно говоря, на Парфенон, ему, условно го-

воря, надо было за пайку работать». — «Ты считаешь, что мы все-таки неполноценные люди, калеки?» — «Марк, но ведь социалистический лагерь реально стоит, вот он, из него никуда не денешься». Я заметил, с каким интересом слушают нас иностранцы. «А ты заметил, — сказал Женя, — как где-нибудь в пивной с интересом слушают недавнего зэка? Это интересные истории, не ощущения».

О недавнем диалоге Лихачева со Свиридовым. «Лихачев по-своему прав. Он ездит по жизни на машине. Он видит народ в виде вежливого дворника, которому подает по воскресеньям на чай. В виде деревенской молочницы, у которой жена покупает ему молоко по 5 рублей литр. А попробовал бы он поехать на 272-м автобусе утром в часы пик, когда его толкнут и обругают: как он заговорит о свойствах русской души? В сущности, его отношение к народу такое же, как у богатого фарцовщика, который очень благодушно относится к людям, потому что все они у него подмазаны...»

О молодежных ансамблях, для которых имена Окуджавы, Высоцкого, даже западных кумиров — пустые звуки. Они живут на другой планете. Мы не можем знать жизнь, потому что этих жизней бесчисленное множество. О фольклорном ансамбле Покровского: «Это прямая анти-Матера».

10.12.82. Утром стал просматривать десятую главу — она ясна гораздо меньше, чем мне казалось. Ясен ее характер, набор персонажей, замысел — но все это только еще надо написать. И не как-нибудь, весь смысл моей работы — в уровне.

Я еще раз подумал над этим, когда вечером попал на чтение Пригова и Рубинштейна. Все было довольно занятно: на улице Герцена прекрасное помещение о двух этажах, называется, если не ошибаюсь, методический центр по организации свободного времени молодежи при ЦК ВЛКСМ. Внизу довольно просторное кафе, вверху комната и большой зал без рядов стульев, стулья несут с собой. Собралось человек 150, приятные молодые лица. Я подумал, что этого не хватало в наши с Галей времена, а теперь я, пожалуй, уже и староват для таких мероприятий. Внизу выставка вполне абстрактных картин (потом оказалось, что автор — доктор биологических наук). В зале листают журнал «А — Я». «Как на Монмартре каком-нибудь», — заметил сидевший рядом со мной Витя Ерофеев. Организатор призывает выступить на следующем вечере любых желающих. Конечно, все это под наблюдением, в этом весь смысл; думаю, все отдадут себе в этом отчет — но как безвредны для властей абстракционизм и концептуальные стихи Рубинштейна. (Пригов уже реалист, он не так безвреден, но все-таки.) Выступление Рубинштейна проходило в обстановке небольшого скандала, кто-то из зала кричал: «Хватит!», кто-то стал выходить... К этому отнеслись спокойно: приходят желающие, для других есть помещение внизу. Рубинштейн более «чистый», даже «дистиллированный» концептуалист; из его текстов изъято предметное содержание, это формулы оценок несуществующего содержания. Была еще довольно интересная вступительная полемика; говорила некая Седакова, неординарная девочка (или, как я понял, скорей дама; как говорил Рейн, она знает восемь языков). Мне показалась существенной вот такая ее

мысль: концептуализм (во всяком случае, стихи такого рода, как у этих авторов) возник из неудовлетворенности ценностями, которые предлагает «позитивное» искусство; слишком много девальвировано; и если предлагать выбор между стихами, скажем, Дементьева и пустым конвертом (или перематывание клубка на глазах зрителей в течение двух часов), я лично выбрала бы конверт. Чтобы утвердить свои ценности перед лицом вызова такого негативного искусства, искусство положительное (т.е. все-таки утверждающее какие-то ценности) должно обрести напряженность, какой оно сейчас не имеет.

Вот эту напряженность я сейчас и ищу — но как она трудно дается, как легко впасть в пошлость «якобы-знания». «Подвиг» (в смысле подвижничества), который я взвалил на себя, оказывается трудней, чем я думал; то есть я примерно к такому испытанию и готовился, но в душе держал мысль: вдруг все удастся полегче, проще. Не только литературно, это психологически очень трудно (может быть, всего трудней именно по-человечески)...

Ерофеев обещал дать почитать свою новую работу, говорил, что с интересом вспоминает мою работу. Но этот интерес ко мне держится на литературной инерции, которая постепенно начнет угасать, если ее долго не поддерживать новыми успехами. А личный интерес я способен вызвать лишь у тех немногих, кто меня близко знает и заранее верит в меня. Я все меньше общаюсь, все меньше живу, все больше работаю. У меня просто речевой аппарат становится неприспособленным для общения, и я не знаю, чем это обернется, если продлится еще год (а ведь на меньшее не приходится рассчитывать). Когда меня спрашивают, как мои дела, я удерживаюсь от соблазна рассказывать про шевеления в «Сов. писателе», отчасти из суеверия; но это хоть показало бы людям, что я рыпаюсь, что меня чуть-чуть было даже не одобрили, и если не получилось, то не потому, что недостойн, а вот, мешают разные сволочи... Я напоминаю себе, что «удачливым» не в чем завидовать, что суета не добавляет счастья. Все бы так; но я сам сейчас не совсем живу, и это плохо.

12.12.82. Итальянские католики-простолюдины чтили Христа гораздо меньше местных святых и местных мадонн (которые были многочисленны, как языческие амулеты). Другие совершали сотни чудес, не в пример Христу. (Об этом пишет А. Я. Гуревич.) И я подумал, что Достоевский, противопоставляя такому католическому «прагматизму» (когда вера зависит от практических чудес) православный идеализм (ближе к самому Христу, который отверг искушения такого рода), противопоставлял скорей интеллектуально-духовное христианство простонародному. Потому что православная масса тоже объединяла Христа с полуязыческими чудотворцами (вроде Николая — об этом пишет Успенский). Т. е. Достоевский, видимо, судил о православии по схимникам, странникам, но не по реальным крестьянам.

19.12.82. ...Читая Зингера. Вера в сверхъестественные силы отчасти может быть волевым решением. Дело не в ней самой, а в том, что она, принятая однажды, должна определять и всю прочую жизнь человека. Т. е. человек решает жить во всем так, будто не он сам распоряжается своей жизнью — им распоряжаются, за ним следят, он помнит об этом. Это определяет образ жизни, отно-

шение к миру, к себе. Или же ты гордо делаешь ставку только на себя, на свой выбор, и это экзистенциально. А иначе — дамская болтовня.

Из рабочего дневника. Похоже, первоначальный мой замысел меняется на прямо противоположный. Я намеревался вместе со своим героем докопаться до правды о жизни, тогдашней и нынешней, понять, как все было, — и после разнообразных подступов прихожу, кажется, к мысли, что истину о жизни, истории знать не дано. И не только из-за слабости нашего ума, из-за чьего-то злого умысла — нет; но, может, ложь — одно из важных условий нашего существования, только она принимает разные обличья и называется разными словами (напр., культура, искусство). Мне не нравится пока этот вывод — и хватит ли честности (вот парадокс) проверить его непредубежденно?

Но даже если это окажется исследование о неизбежности мифов — именно благодаря знанию, что это миф, — вспыхивает иногда полное, предельное понимание. Больше, чем мгновенную вспышку, удержать не удастся — но если бы хоть по вспышке на главу, уже огромное достижение!

20.12.82. *Из рабочего дневника.* Может быть, вот дополнение мысли:

Стремление к истине родственно стремлению к гибели. Но оно (как любовь) губительно только для отдельного человека. Зато этим губительным самосожжением, страстью, любовью человек *поддерживает энергию мира* — это единственная надежда Господа. (Не всем дано знать то, что знает один. Общая память затягивает раны, для Единства мы в отдельности — лишь топливо, средство.)

31.12.82. *Из рабочего дневника.* Никому не удавалось творить историю в соответствии со своим замыслом. Реальность рождается из столкновения противоречивых сил, она всегда убудочна. У нее нет творца, в отличие от произведений искусства, поэтому она не может удовлетворять ничей вкус. Но потому она и богаче, и абсурдней любой нашей концепции. Бессмысленны и безнадежны попытки редактировать ее задним числом, делая выговоры «творцам истории» (как А. С.). Может быть, главная наука отсюда: не слишком насиловать ход событий, осмотровей навязывать свои представления.

Возможно, потому, что работа все эти дни была на подъеме, я заканчиваю год в хорошем тонусе. Оглянувшись, вижу, что так его и начинал, и в общем сумел сохранить все эти месяцы достигнутое равновесие. Как никогда спокойно было и с заработками, что позволяло мне не суетиться. Хотел бы на будущий год пожелать себе такого же спокойствия духа. И, может быть, каких-нибудь сдвигов во внешнем существовании.

В этом году Алеша поступил в институт. Все, кроме Танюши, были сравнительно здоровы. Мама, пошатнувшись, сумела удержаться. Еще бы такой год — я, возможно, что-то успел бы.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

На темы Л. Толстого

Читаю Н. Гусева о Толстом — лучшая из всех читанных мной биографий. Еще одна попытка подступиться к этому явлению. Что говорить, он титан: по мощи духовной работы, по грандиозности охвата. Но как мыслитель он все время оказывается гениальным дилетантом. Для писателя это отнюдь не упрек: дилетантство в его природе. Толстой всерьез считает себя призванным и способным заново перепроверить и обосновать все основы умственной, нравственной, исторической, политической жизни. И при таком соединении дилетантства и уверенности гения основы эти оказываются просты, как дважды два; все сложности — ненужные произвольные искажения, привнесенные в простую жизнь своекорыстием, ложью, похотью и пр. Право, если вообразить воплотившимися его представления о простой, нравственной, природной жизни, она оказалась бы скучней и примитивней, чем у реальных животных (там птицы зачем-то поют, а олени за что-то бьются), не говоря уж о реальных мужиках. Поистине надо слишком верить в свою гениальность, чтобы считать мир таким доступным своему простому пониманию, пренебрегая учеными сложностями профессионалов, историков, социологов, философов, психологов, экономистов.

А еще поразительно, что все построения и прогнозы позднего Толстого ориентированы на мужика — тип, который уже через полвека, то есть на протяжении одной жизни, практически перестал существовать. Показательна история о тамбовских переселенцах, которые с громадными трудностями добрались до границ Китая и стали обрабатывать землю там, обороняясь от маньчжуров. История эта явно неполная (почему поднялись с места, чего искали, почему именно там?), но вот уже в «Анне Карениной» философия о том, что русский народ «имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю... Этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселять огромные незанятые пространства на востоке». И в другом месте: «Русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства»...

Почему призвание народа — распространяться вширь, какая в этом нравственность, как это согласуется с мужицким учением Толстого о «жизни по Богу»? Размышлять над этим теперь — просто праздное занятие, как бессмысленно сейчас говорить об «особом отношении» русских к земле. А ведь Толстой собирался писать после «Анны Карениной» книгу о «мысли русского народа в смысле силы завладевающей».

Многое в позднем творчестве Толстого повисло в воздухе потому, что исчез читатель, на которого оно было рассчитано: мужик-хрестьянин.

18.04.81

Еще на темы нации

Статья Вл. Солоухина «Сказки могут и умереть» («Лит. газета», 22.09.82). Солоухин пытается определить понятие народной культуры, народного искусства.

«Первое ли место отведем мы здесь генам, биологической наследственности?» — начинает он. Вопрос остается риторическим. (Вон турки превращали болгарских детей в янычаров, резавших братьев по крови.)

«Я бы сформулировал так: все явления культуры, которые способствуют народу оставаться народом, которые усиливают его центрирующие силы, которые способствуют формированию его социального самосознания, его общественного идеала, есть народные явления культуры; искусство, несущее в себе эти функции, есть народное искусство.

Те явления культуры, искусства, которые нейтральны с этой точки зрения, хотя бы они были со всех других точек зрения искусством, нельзя, видимо, называть народными.

Те явления искусства, которые ослабляют внутринародные, скрепляющие, цементирующие связи, являются антинародным искусством (тогда сказки могут и умереть)».

Последняя фраза все ставит на свои места. Первая путана, явно с оглядкой на власть (а может, кое-что и под нажимом редакции вставлено): «социальное самосознание», «общественный идеал» ищи хоть у Маркса, хоть в Библии — при чем тут народность?

А вот когда доходит до «антинародного», тут так и хочется спросить: а примеры? А примеров целую экспозицию можно было увидеть на выставке «выродившегося искусства» — с национал-социалистической точки зрения все они, без сомнения, попадали в разряд «антинародных».

И тогда замечаешь, что и под первым абзацем вполне подписались бы национал-социалисты. Они бы, правда, не оставляли риторическим вопрос, первое ли место здесь занимают гены («кровь и почва»).

А все остальное? Они знали, чьи книги бросали в костер. Не только Фейхтвангера, но и Э. Кестнера, и Г. Манна — тех, кто разлагали народную мораль и единство, вместо того чтоб их цементировать. Почитайте-ка обоснования, с какими бросали в костер книги.

В какой из трех разделов по этой рубрикации занести Шостаковича, Пикассо или Шагала?

«Существует как бы дух народа, который может присутствовать или не присутствовать в произведении искусства и который улавливается даже не разумом в первую очередь, а внутренним слухом, сердцем».

Наверно, Венецианов такому «слуху» покажется русским, потому что на нем крестьянки в русских одеждах.

А «Последний день Помпеи» Брюллова? И сам немец, и картина итальянская.

Значит, не прав был автор величания:

И стал последний день Помпеи
Для русской кисти первый день.

Русское здесь скорей уже государство, чем «народ».

(А «сказки могут умереть» — вздор. Они зафиксированы навеки, только расскажут (перескажут) нам новые не бабушки-сказительницы. И «Кот в сапогах» или «Золушка» формируют нас с детства не меньше, чем «Финист — ясный сокол». А французский костюмчик Мальчика-с-Пальчика на картинках для детей — не меньшая этнография, чем лапотки Аленушки.)

Даже с языком тут не все так просто. Эразм из Роттердама и англичанин Томас Мор писали на языке общеевропейской культуры — гуманистической латыни. Центроостремительным силам какого народа они содействовали? Их и нейтральными не очень-то назовешь — идеалом их было стирание различий между народами христианской Европы.

Значит, антинародные?

Идеал этот погиб под развалинами и головнями религиозных европейских войн. Не будем оценивать, правильный или неправильный путь выбрала для народов история. Но, может, вообще это не мерило достоинства.

Витош Ствош сделал для поляков скульптуры в Кракове; у немцев он звался Фейт Стосс (Feit Stoss) — автор скульптур в Нюрнберге. Скульптуры от этого не стали национальными, народными или антинародными, они «способствовали самосознанию» и «формировали идеал» христианской Европы.

То же относится и к явлениям общей мусульманской культуры на громадном пространстве от Индии до Испании. А кто был Феофан Грек? Греческий или русский иконописец? Он был прежде всего православный иконописец. Русская иконопись отличается от византийской или болгарской не больше, чем московская школа от новгородской или чем тот же Грек от Рублева и Дионисия.

Эразм Роттердамский, писавший на латыни, — к какой он принадлежал нации? Национальная литература начинается с языка, только язык и оказывает существенным в этом разговоре. Язык больше, чем кровь. Поэтому Гоголь и Бабель, Фазиль Искандер и Анатолий Ким — писатели русские, а не украинские, еврейские, абхазские или корейские. Что в них русского, кроме языка? Материал, национальный колорит, фольклор? (Давно было замечено, что чиновники в «Ревизоре» по психологическому складу — скорее провинциальные хохлы, чем русские.)

Когда я слышу: нация — это коллективная личность, — я слишком подозреваю, что у говорящих это не все в порядке с личностью индивидуальной. Коллективная личность — это ансамбль песни и пляски в фольклорных костюмах с хлопаньем и топаньем в такт.

24.09.82, 14.09.83

Говорим ли мы о национальном, о религии, культуре, истории — везде надо видеть не столько состояние, сколько проблему, напряжение, динамику, развитие, живую жизнь в ее трагической противоречивости.

3.12.83

12.01.83. Говорят, Достоевский никогда не успевал довести свои работы до совершенства, вынужденный спешить к условленному издателями сроку. Можно ли представить Достоевского, обогащенного стилистической отделкой в духе, скажем, Флобера? Сомневаюсь. Косноязычие, задыхающаяся, лихорадочная речь составляют не случайную суть его поэтики. Во всяком случае, сомневаюсь, что это был бы лучший, более совершенный Достоевский.

Между тем все мои литературные попытки направлены именно на соединение несоединимых совершенств.

18.01.83. Писал гл. 18... Сходил на лыжах, хотя снега еще мало. Кругом рассказы о том, как останавливают людей на улице, в очередях, в кино: почему не на работе? Неприятно, унизительно и вряд ли даст результат. Правительство решило обращаться с народом, как погонщик с ленивым и хитрым животным. Добрых перемен это не сулит.

22.01.83. ...Стал читать Гроссмана «Жизнь и судьба». Как в былые времена, прочел сразу 300 стр. мелкого шрифта. Это явление в литературе, во многих отношениях чудо — и по истории своего возрождения, и по тому, насколько автор опередил время: ничто за 20 лет не устарело, не потускнело. В этом отличие от некоторых романов Солженицына, которые воспринимались как «романы века», а теперь превзойдены. Нет, есть тут что-то надолго, что не будет превзойдено. Сравнение с Толстым напрашивается сразу — его школа. Но Толстой был раньше, и это делает его открывателем. Зато в чем-то Гроссман Толстого превосходит, и это превосходство не личной гениальности, а страшного знания о людях и жизни, которое принес XX век по сравнению с XIX. В суждениях Гроссмана (и его героев) об истории, государстве, войне, добре и зле, увы, больше правды, чем в иных суждениях и проповедях Толстого. Он трагичней, бесстрашней; его Иконников не обещает той благодати и надежды, что умиляла автора в Каратаеве — и обманула в конечном счете. Этот ничего не обещает. Еще одно сравнение: с Пастернаком. Эта книга, как и «Доктор Живаго», тоже напоминает о суетности и мелочности многих забот. Как художник, он, наверное, Пастернаку уступает, но в понимании истории, страны, государства, революции — неизмеримо его превосходит. (Что-то общее есть даже в строении фразы, в коротких периодах, главках; и писались романы почти одновременно.) А всю «советскую литературу» (скажем, Симонова, которого я, впрочем, не читал) этот роман сразу переводит в разряд «макетной псевдореальности».

В газетах итоги выполнения плана — откровенно вычитывается провал по всем статьям. Цифры урожая второй год не сообщаются, только, что он «значительно больше прошлогоднего»...

У Гроссмана есть прекрасные и горькие слова о бездушии оптимистов. Я, кажется, от этого бездушия избавляюсь.

Чтение Гроссмана, в частности, заставило меня усомниться, что я справлюсь со своим романом скоро. Не торопиться — да и куда? Надо работать все-ррез.

Я пробую обосновать свою линию поведения: никак не отождествлять себя с властью, не получать от нее никаких привилегий, но и не подставляться ей, не оказываться перед ней совсем незащищенным, не давать ей стать действительно властью над тобой. Даже не считать позором неучастие в войнах и стройках, обрушенных ею на нас без нашего спроса. Позиция, возможно, не героическая, но и не подлая. Хотя может накатиться на всех так, что захватит и сомнет — надо и к этому быть готовым. Ready is all.

23.01.83. Весь день читал Гроссмана — и не только потому, что не мог оторваться; увы, надо было оторваться для дальнейшей работы. Но я иначе не мог работать.

Дочитав роман, я взял первую часть этой книги, «За правое дело», в которой никогда не мог прочесть даже нескольких страниц. Увы, и сейчас не смог — хотя персонажи те же, уже вошедшие, казалось, в душу, и стиль тот же, и правдоподобие деталей, описаний. Но все не то. Вторая книга отменяет первую, делает ее почти не существующей. Нет сомнения, что дело не только во внешней цензуре. Автор нашел в себе силы переродиться, вернул себе память, ум, знание, мужество, честность, глубину, которых не позволял себе иметь в такой предельной степени. (И чего не сумел сделать Эренбург, главу которого о Гроссмане я тоже перечел.) Урок: никогда не поздно. Первая книга — это не «другая сторона» правды, это, по сути, неправда. Правда оказывается (по словам Сидура) страшной и безобразной.

Честность (писательская) связана с глубиной ума, со способностью копать все глубже и глубже. Но еще и со смелостью — с готовностью идти до конца, до предела.

Из размышлений Иконникова следует, что чувство любви к человечеству и мирозданию по-настоящему может прийти только через конкретную, частную любовь к отдельному человеку. С этим связана и надежда, что природная жажда свободы и доброты поможет человеку противостоять тоталитарным системам. Но Гроссман сам же и показал, как сладко бывает отказаться от свободы, выбора, подчиниться власти, снять с себя ответственность. И можно бестрепетно смотреть в глазок газовой камеры и копить золотишко из вырванных зубов для своей семьи. Домашний уют, любовь к кошкам — и отказ от свободы не просто совместимы, но просты. Свобода трудна, трагична. Надежда — на других.

Чтение книги Гроссмана иначе, чем «Доктор Живаго», напоминает о подлинных ценностях и суетности суеты. Но по-разному. «Живаго» — все-таки роман о гении, и право на исключительность там утверждается, и правда не столь глубока, мужественна, страшна, беспощадна. Гроссман в чем-то идет дальше.

Меня вдохновляют и ободряют такие взлеты духа.

Я пишу эти заметки применительно к работе над романом, здесь много стимулирующего. Поэтому я буду здесь избегать оценок общих, не для практических надобностей. Хотя и их не грех вставить.

Из письма матери Штрума: «Чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней». (О евреях в гетто, которые пытаются уверить себя и других, что все будет хорошо, — не принимают страшной правды.) «Бедняки, жестянщики, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрился запасти кое-какие продукты».

«Одной из самых удивительных особенностей человеческой природы, вскрытой в то время, оказалась покорность. Бывали случаи, когда к месту казни устанавливалась огромная очередь и жертвы сами регулировали движение очереди... Гигантские массы... когда велели, голосовали за уничтожение... В этой покорности людей открылось нечто неожиданное».

Роман был закончен в 1960 году — до появления Солженицына. Он значительней «Одного дня» и выше последующих романов Солженицына. Но Солженицын вышел первым и стал символом новой литературы. Читательские отклики позволили написать «Архипелаг ГУЛАГ», предопределили судьбу и Нобелевскую премию (заслуженную). Вот что значит напечататься вовремя хоть однажды. «Жизнь и судьба» — высокая литература, но жаль, что она не могла 20 лет назад сформировать многое в нашем сознании.

26.01.83. ...Рассказы о том, как в метро требуют у человека предъявить, что он читает, и т. п. Естественно, настроение страха, тревоги, неуверенности... Неизвестно, что происходит «по квартирам», но важно, что на поверхности недовольство...

3.02.83. *Из рабочего дневника.* С трудом, понемногу кропаю фантики. Тон, связь все не даются в руки. О глубине мысли я не волнуюсь, она возникнет сама, если будет из чего. Чего я хочу сейчас: чтоб читатель хоть изредка смеялся от души, чтоб звучала игра в этом сцеплении абсурда и гротеска. А уж если станет не по себе — то по той же причине, по какой проглядывает нам сквозь смех и слезы ужас жизни.

12.02.82. *Из рабочего дневника.* Фантики, еще почти не сформулированные, неясные, вбирают (могут, должны вобрать) в себя всю полноту экзистенциальной проблематики. Судьба, абсурд жизни, бесчеловечность истории — все должно возникнуть не в словесных формулировках, а в возможностях их игры...

Бытовой фантик (испражнения) среди идейных (лозунги, стихи) дает картину трагической жизни без всяких комментариев...

17.02.83. Кропал фантики. Мне известна разгадка (сюжет, идея), но я не знаю, как ее загадать. Это не просто вопрос формы: вопрос о смысле и бессмысленности жизни может решаться по-разному в зависимости от расположения фантиков. Неожиданно для себя втянулся в какой-то эксперимент, требующий виртуозности.

13.3.83. ...Сегодня полдня простоял со щенком на Птичьем рынке. Множество народа. Чуть было не собрался домой ни с чем. Одна старушка, увидев, как я, выпустив щенка погулять, возвращаю его в сумку, вдруг сказала: «Дай тебе Бог здоровья. А я уже думала, ты его бросить хочешь. Не бросай, будет еще воскресенье». У самой лукошко с котятами, собака на поводке, в комбинезоне для тепла. «Я была русская красавица, в 27 лет подалась в город Калинин. Тогда

работы не было, квартиры не было, строек не было. Никто не думал, что я домработница».

Потом загляделись на щенка две пожилые женщины с молодым человеком, я предложил им: «Дарю». Уже почувствовал, что могут взять, стал, как опытный продавец, нахваливать. «Только, — говорю, — не бросайте». — «Да что вы, — говорят, — вы же видите, каким людям отдаете». Отвез щенка с ними на такси до улицы «Правды»...

15.03.83. Вот какие мгновения я хотел бы почувствовать и уметь выразить. Сегодня на горке с Леной. Она скатилась вниз на санках. Снег стаял, остатки наста блестели на солнце, уже близком к закату. Мимо шли с работы люди, все больше пожилые, старухи из магазина, знакомый алкоголик катил внучку. Проходили мимо меня усталые, близкие к смерти двуногие, такие же, как я. Прошли и исчезли, и скоро исчезнут совсем из жизни, как исчезли поколения до них, и я исчезну. И столько во всем этом грусти, красоты. И дети с нежными губами на санках, и солнце уходит за дома. Невозможно чувствовать это каждый миг, но хоть иногда.

19.03.83. Душевное равновесие не устанавливается раз навсегда. Требуется постоянная работа, чтобы его поддерживать, и одним из инструментов этой работы можно считать дневник. Я подумал об этом, просматривая некоторые записи прошлых лет.

Всегдашняя болезнь — неспособность оценить современников. Но мне кажется, что мы еще и угодили в какой-то переходный промежуток между завершившейся культурой и назревающей, еще не ясной. Не только в России. Кафка и Джойс, Пикассо и Шагал, Эйнштейн и Бор, Уотсон и Крик, Шенберг и Шостакович кажутся последними новаторами прошлой эпохи; новая пока не заявила о себе. Но в России перепад особенно чувствителен: он совпал с физическим концом поколения, набравшего уровень еще до революции (до катастрофы). В 1965 году умерла Ахматова — последний русский поэт; остались поэты советские.

24.03.83. Тамбов — Моршанск. За два дня с моего приезда снег почти стаял, березы по щиколотку в воде. Удивительно красивый черный цвет земли на парах, прошлогодняя стерня палевая: как и трава, и дымка голых ветвей. Яркая зелень озимых. (9 мая в Чухломе снега было чуть меньше.)

Читал «Лотос» А. Кима. Накануне я прощался с родителями перед поездкой в Тамбов, они разговорились со мной о временах своей молодости. И вдруг это чтение. То же чувство: вины, нежности, страха перед жизнью, писательской своей маломощности. Я пишу сейчас в тряском автобусе Тамбов—Моршанск и хочу только запомнить ощущение. Захотелось вернуться домой, всех обласкать.

26.03.83. Моршанск. Кажется, я уже бывал здесь или видел во сне: одноэтажные дома, каменные ряды, базар, памятник. Типичный районный город, но крупный, промышленный. Единственный громадный собор с куполом разрушен.

Ночевал у няни Димы Рачкова, Ефросиньи Ивановны. Она с 10 лет (сама с 1914-го) в услужении, у Рачковых с 13 лет. Когда Дима родился, ей было 20 лет. Весь вечер — рассказы о детях, об их детях, показывала фотографии. Ими одними жила и живет. Милая, добрая, умиротворенная.

Рассказывала, как провожала в 1-й класс Димину Леночку и встречала ее, а туфельки, уже с каблучками, несла под мышками, чтобы согрелись. Была склизь, гололед, упала — и чувствует в ребрах боль. Оказалось, этими каблучками себе два ребра сломала.

Еще из ее разговоров:

— Женщина идет, такая красивая, все зубы у ней вот тут золотые.

О Брежнев:

— Как же он допустил себя, чтоб умереть? Так его жалко! Помню, по телевизору, он с Мавзолея сходил, ручкой помахал. Так и врезался.

13.04.83. Я начал утро чем-то вроде молитвы: просил дать мне в этот день душевного спокойствия и веселья, сосредоточенности, доброты, достоинства. Это хорошо подействовало; такая медитация нужна не меньше физической зарядки. С утра медленно поработал над гл. 10. Сосредоточенности, конечно, не хватало, надо следить за собой...

14.04.83. Иногда возвращается мысль, что не так уж мне много осталось, что настоящее испытание до меня еще не дошло, отсрочено, что ясность духа и достоинство тогда лишь подвергнутся проверке. Еще бы немного успеть. Ни на чем не основана моя уверенность, что судьба распорядится как надо и, пока я не завершил свой труд, ничего со мной не случится...

Из рабочего дневника. Вчера мне рассказывали о новых кинофильмах («Инспектор ГАИ» и др.). Как это пропустили? Как показаны разложение, бездуховность, ужас нашего общества!

Да это и в «Известиях» можно вычитать. Дозволенность играет с «разоблачительной» литературой странную штуку, сразу делая ее пройденным этапом. У меня впечатление, что какой-то этап литературы миновал, не успев по-настоящему состояться. (В нужное время не увидели света книги о коррупции, пьянстве, разложении — в духе «жесточкого реализма»; но как-то уже и без них все стало очевидно. И ужасы коллективизации — уже не откровение.)

Для меня урок — эти уровень и тему надо оставить позади, они должны быть включены в какое-то более высокое понимание. (А всего два года назад, когда начинал, это казалось новизной.) С другой стороны, мы не можем не отражать ощущений и тем своего времени. «Вневременной» литературы не бывает.

27.04.83. ...Алеша принес от Лукина рукопись «Хромой судьбы» Стругацких. Читал с большой симпатией. Но странно, а может быть, даже и смешно: я как будто бы свысока смотрел на эту проблематику литераторов, посещающих свой клуб, вступающих друг с другом в окололитературные отношения, все эти проблемы рецензий, сделок с властью и пр. У меня их просто нет: еще нет, или я их превзошел, так и не испытав? Мне кажется, литература все-таки со мной. Но я не в этой литературе.

4.05.83. ...Читаю книгу о процессе Габая и Джемилева. Горькое чтение, близкие имена, прекрасные люди, безысходные судьбы, трагическая история, живые времена, когда отмирала последняя надежда — теперь нет и ее. Теперь бессмысленно даже говорить с судом, беззакония даже не пытаются скрыть, голосов не слышно, да они уже и немного откроют нам нового. И неизбежное чувство собственной вины: ты с ними не оказался, ты остался бессловесным, беспомощным... Чем-то другим надо это искупить.

21.05.83 ...Пушкин — плод европейской прививки на русском дичке. Выпала недолгая четверть века, когда европейские понятия чести, достоинства (дворянских), определявшие еще мушкетерский кодекс, органично вошли в кровь поколения вместе с европейским чувством формы — и облагородили ее. В этом смысле он не потомок бояр, позволявших таскать себя за бороды, и не потомок разночинцев. Вряд ли верно называть Пушкина выражением именно русского духа — скорее Аввакума или Достоевского. Недолгий цвет, удушенный после 1825 года.

23.05.83. На тему знаменитого вопроса Достоевского: позволителен ли «Шепот, робкое дыханье» во время лисабонского землетрясения? Поэт, тем более великий, если он не сошел с ума, писать такие именно стихи среди развалин просто не станет, не сможет. А если напишет пейзажные стихи, они поневоле будут чем-то иными, чем написанные в идиллическом саду.

Поясню: в войну березка воспринимается и фигурирует в поэзии по-иному, чем на мирной даче, в эпоху загрязнения среды — по-иному, чем в буколические времена. И даже если не говорить о крайних ситуациях: время влияет на нас и на наше видение мира, даже когда мы не сознаем этого сами. Так, импрессионистический и кубистский пейзажи порождены были новым видением и пониманием мира, новой физикой, философией, войнами.

(Я задумался над этим, слушая пейзажную лирику Д. Самойлова.)

25.05.83. ...Заехал к Фазилю. Он встретил меня в белых трусах: жара. Сидел и слушал пластинку, которую ему прислали из Израиля: какой-то уехавший композитор (забыл фамилию) написал песни на стихи разных авторов, в том числе Искандера... Женщина хорошо пела их под гитару.

Подарил мне новую книгу с дружеской надписью... Уверен, что мне рано или поздно будет нужно писать в ЦК...

Еще о впечатлениях от начальства:

— Я как-то присутствовал на большом банкете, посвященном 90-летию Лакобы. Там сидел местный главный вождь с лицом — как бы это описать?.. Сейчас появился такой тип постаревшего комсомольца; вроде бы еще не старый, но и вышедший из возраста, а в лице вот такое комсомольское (Фазиль изобразил). Сидел, слушал, как его восхваляют ораторы: «Под вашим замечательным руководством...» Сидел, кивал, даже не оборачиваясь. С одной стороны, это ему было и приятно, но и требовало внимания, напиваться ему было нельзя. Ужасно! Среди низовых руководителей, секретарей райкомов, есть порядочные люди, один вдруг сказал, что меня читал; но вообще эти люди у власти ужасны. Они выходцы из крестьян, в первом поколении, и забыли все обычаи, все нрав-

ственные нормы, грызутся, как пауки в банке, забывают о достоинстве, обо всем. Такая гниль, такое разложение...

Тоня принесла маленького Сандро, он закапризничал, Фазиль взял его на руки. Малыш (ему сейчас 3 месяца) затих, Фазиль продолжал, время от времени целуя его в темя:

— У меня был небольшой период депрессии. Со мной такое бывает. Но сейчас опять начинаю писать. Связано ли это с чем-нибудь конкретным?.. Знаешь, я три раза был в кап. странах, два раза в ФРГ и один раз в Греции. И у меня было изумительное психическое состояние. Физическое состояние прекрасное, а через него передавалось на психику. Это было ощущение свободы. Я чувствовал себя в свободном воздухе. Свободные люди, свободные лица. Мне было легко. И пьяные там были. Я видел целую группу пьяных хиппи, но они были даже симпатичны. Там пьяные были не от чувства распада, гнета, а тоже свободные. Мне хочется написать рассказ только на эту тему: как советский человек ощущает чувство свободы... Может быть, моя свобода объяснялась тем, что я снял с себя ответственность за наши дела, но не приобрел ответственности за их...

— А почему наши, попадая туда, так плохо пишут? — спросил я.

— Я тебе грубо скажу. Здесь человек держался на борьбе, на сопротивлении, это могло составить ему имя. Там это уже не интересует, надо показать свою способность просто к искусству. Показать, что ты художник, а не просто борец, который, конечно, вызывает симпатию.

— То есть ты хочешь сказать, что репутация этих людей здесь была не основательной?

— Да. Даже такая крупная фигура, как Солженицын. Я читал главы из его нового романа. По-моему, это очень плохо. Он такой темпераментный страстный борец, пусть и не всегда с ним можно было согласиться, вдруг отказывается даже от литературы, становится просто историком, и это так неинтересно... А лучший пример Коржавин. Здесь он блистал, он был действительно обаятельный, он вел какую-то борьбу. А там он никому не нужен. Он ужасно тоскует... Вот в Гену Файбусовича я верю.

— А как ты себя чувствуешь в Абхазии? — спросил я.

— Как тебе сказать? Я там не совсем свой, и в Москве не совсем свой. Может, так и положено художнику — быть всюду не совсем своим? Были бы деньги, надо бы уехать отсюда, поселиться в какой-нибудь сохранившейся деревне. Такие еще есть. Почувствовать жизнь. Здешняя обстановка для меня неблагоприятна, я не могу быть «аэропортовским» человеком. Смелости не хватает порвать, уехать... Но хотелось бы, чтобы было несколько интеллигентных людей, которым можно было бы показать написанное.

От него заглянул к Кнабе. С большой пользой поговорил с ним:

— Сейчас укрепляется отличное от XIX века понимание истории. Помимо идеологических, политических и других элементов становится ясно, что история осуществляется во взаимодействии конкретных людей друг с другом, в семье, в отношении к вещам, в интересе, в поведении маленьких групп.

Новый период истории можно датировать примерно 56-м годом. Это год XX съезда — но, кроме того, в это примерно время из разных концов страны в Москву для поступления в вузы стало приезжать все больше молодых людей, не связанных с прошлыми традициями и прошлыми ценностями, интеллигенты в первом поколении, которые заявили о своих правах. Старая арбатская интеллигенция оказалась оттеснена. Это совпало с успехами химии, которая смогла создавать дешевые ткани, предметы обихода, доступные молодежи без большого заработка. Этот процесс примерно в те же годы происходил во всем мире. Символом его можно считать рекламу фирмы Levis: молодежь в джинсах на фоне Тюильри. (Показал мне эту рекламу.) По бедрам и ногам этой вот молодой особы вполне можно судить о ее простонародном происхождении. Закончился этот период примерно в 68-м году — это год оккупации Чехословакии и распада группы Битлз: события исторически равноценные...

Для истории важно, какие человек носит штаны. Николай I не случайно морщился при виде фраков: в эпоху военной формы фрак был символом свободы мысли, выпадения из системы. И это можно проследить на многих примерах...

Из рабочего дневника. После беседы с Кнабе: не увлекаться концепциями, научный уровень мне не нужен (да и не посилен, и уведет не туда). Все переводить на самодельный, комичный язык кратких намеков... Но — полезно помнить, как много людей осмысливают мир по-разному и плодотворно, отлично от тебя...

12.06.83. ...Читал «Самопознание» Бердяева — стимулирует мысли. Главное здесь — чувство соответствия между типом личности и философией, к которой он склонен, которую развивает как наиболее истинную, по сути же — наиболее имманентную себе. Для другого типа личности истинно другое, и действительно истинно. Философские споры поэтому выглядят иногда недоразумением. Интересны пункты его самопознания (одиночество, тоска и т. п.); по этой рубрикации каждый может проверить себя, установив сходства и различия. Ход его мысли (о творчестве как помощи Богу и пр.) иногда напоминает мой; но у меня есть своеобразие.

14.06.83. ...Заехал в Самойлову. Все было как всегда: Давид милый, разговор о том, о сем — но почему-то нарастало чувство грусти... Внешне он в ладу с собой — по существу своей солнечной натуры; но в иные минуты не может не чувствовать горечи. В «Лит. обозрении» я прочел его рассуждения о переводе — очень средние. Впрочем, он, как никогда прежде, представительствует. Накануне читал в Музее Маяковского. Какой-то мальчик подсказывал ему забытые строки — знает наизусть все его стихи. Этот круг возле него остался...

На замечание вошедшей Гали: «Опять сплетничаете?» — Давид:

— А что? В сплетне нет ничего плохого. Что такое Анна Каренина? Одна растянутая сплетня.

По поводу «Дяди Вани», которого смотрел только что у Товстоногова. Постановка не понравилась. «А пьеса?» — спросил я.

— Впечатление такое: мне бы ваши заботы, господин учитель. Когда я услышал: в человеке все должно быть прекрасно... И потом: мы еще увидим небо в алмазах — это было уже слишком.

17.06.83. *Радищево*. Я шел утром к озеру купаться. Вдруг, очнувшись от своих мыслей, увидел, как прекрасен утренний лес. Воздух светился в косых лучах среди громадных елей, пели птицы. Почему мы этого не чувствуем постоянно, почему среди красоты погружены в сегодняшние мысли (не помню уж какие)? И вдруг подумал: может, в этом есть своя правда? Может, мы не должны менять свои чувства и мысли под цвет меняющегося окружения (в прекрасном лесу — о прекрасном лесе)? Может, так сохраняется цельность и единство внутреннего существа.

9.07.83. *Радищево*. ...Ходили за малиной, набрали 3 литра. Чудный день, сплошное наслаждение. Леночка в лесу пела песню (и сейчас, засыпая, пела), воспроизвести которую невозможно. Там повторяются слова «любвя», «красота», «цветы».

Когда выйдешь ты из леса,
Ты увидишь (прибавляет для рифмы) с интересом
Ты увидишь красоту, и любвю, и цветы,
Мне нужно только любвю и красоту.
Да, красота и любвя вокруг.

Забыл записать, как вчера Белка встретила меня у электрички. Я думал, Галя с Леной тут же — нет, она сама бегала меня встречать, тосковала.

16.07.83. Утром у станции обосновались цыгане. Сперва человек 15, все женщины с детьми, прямо на траве, кто-то под пологом из синтетической кисеи. К вечеру их оказалось много. На ветвях сушились нижние юбки, тоже из какой-то прозрачной синтетики, детские колготки. Потом сложили вещи в оранжевые и зеленые туристские рюкзаки, ходили с пластиковыми сумками — романес XX века.

Цыганка с младенцем на руках, рядом мальчик большой ест луковицу. Поест, поест луковицу, подойдет к матери, пососет сосок, потом опять ест луковицу.

Вечером появились мужчины. В кустах какой-то юный красавец жестоко бил цыганку, коленом в живот, она не издала ни звука. А двое цыган рядом смотрели на это без всяких эмоций. Поздно вечером снялись, оставив после себя загаженную поляну.

21.07.83. О Коле Иванове. Если бы он жил в другой стране, интересующиеся у нас могли бы знакомиться с его идеями, находками, выводами. Но это было бы другое дело. Он не просто ученый. Для нас он — явление культуры, один из тех, кто определяют ее уровень и обеспечивают ей возможность существовать, не загнивая. Т. е. его роль в культуре неотделима от личного присутствия, от этического, а не просто интеллектуального воздействия.

Я сказал: один из тех. А много ли таких насчитаешь? Хватит пальцев на руках.

19.09.83. Желчная раздражительность и непримиримость Мандельштама, пеннистая доброжелательность Пастернака ко всем и вся. Вторая счастливей и удобней для жизни, но в первой больше истинной уязвленности жизнью (и, может, реального внимания к ней).

15.10.83. ...В «Лит. газ.» истеричная статья некоего Сахнина. Надо вспомнить призывы военных лет: вставай, страна огромная, надо мобилизовать все свои силы, чего бы это ни стоило, мы не позволим вражеским самолетам летать не только над стратегическими объектами, но даже над картофельными полями, необходимо подтянуться, в картотеках западных спецслужб есть все сведения о наших писателях и художниках, об их слабостях, у нас пытаются выбить из головы наши идеи... — и в том же бесстыдном духе, вполне напоминающем 50-е годы.

27.10.83. Утром купил «Правду» — статья с призывами к бдительности. «Враг не дремлет — будь начеку! Так было раньше, так должно быть сегодня и завтра... Наш глаз должен быть зорок, чтобы разоблачить врага в любом обличье». (Это об «отщепенцах».) «Спасибо вам, дорогие бойцы невидимого фронта... Вы нужны нам, как воздух, как солнце... Мало еще бывает лекций и бесед о воспитании бдительности... Почему широко импортируются из-за границы пошлые эстрадные песенки и кинофильмы?» Знакомые голоса... Думаю, обстановку 40-х годов в полной мере возродить не удастся, все-таки время не то, люди изменились. Но испортить жизнь на несколько лет нам могут.

4.11.83. ...Позвонил Сидур, и я вечером поехал к нему. Показал небольшой проспект Дортмундской выставки с моим текстом на немецком языке. Я прочел — в переводе мне понравилось...

Разговоры о том же.

— Меня сейчас не интересует ни возможность выставиться, ни журналисты. Интересна только работа. Когда она самовыражение — значит, она настоящая. Только начинаешь думать, как бы понравиться, здесь или там, все равно — это губительно.

Упомянули Илью Габая. Я сказал, что за эти 10 лет многое изменилось.

— Да, — сказал он. — Я просматривал то, что писал лет десять назад, — я очень изменился. К тому, что происходит у нас, я лучше относиться не стал. Но гораздо хуже стал относиться к тому, что делает Запад. Я потому и не хочу разговаривать сейчас с журналистами: они лгут, говорят, как наши пропагандисты. Получается, что я невольно выступаю сторонником собственного правительства.

О современных веяниях. В «Правде» была, оказывается, статья, где автор с ностальгией писал про времена, когда молодые люди чистили зубным порошком парусиновые туфли и под бодрые марши шли на стройки. А сейчас западные влияния, в магазине «Березка» продают сумки с изображением похотливого кролика — символ журнала «Плейбой».

— Мерзавец, — сказал Дима, — хоть бы постыдился писать про «Березку». Что это такое, кто и зачем туда ходит? А нас призывает чистить парусиновые

туфли зубным порошком. Появился уже ряд таких статей, со ссылкой на июньский пленум. Могут и вывод сделать, жизнь понемногу замрет. Вот разница между Западом и нами. Там, что бы ни происходило в политике, жизнь не замирает. А у нас явно замерла. Но все это, конечно, бессмысленно. Жизнь движется вперед, а не назад и будет развиваться.

22.11.83. День рабочих разъездов... Заглянул по пути к Фазилю. Он мрачен, жалуется, что его не печатают (целых полгода!), считает, что на него лично «направлены какие-то лучи прожектора», писал об этом резкое письмо в ЦК, считает, что и мне нужно то же.

Написал за лето две главы из «Сандро», осталась еще одна, но он не может на нее решиться.

— Она должна быть очень эмоционально накалена и очень мрачная, хотя внутренне светлая, но слишком тяжелая судьба была у этой женщины. Я не могу сейчас за это взяться... Не знаю, что из этого будет. Мое развитие происходит так, что все мои темы, мысли только углубляются и обостряются с годами, мне кажется, что я что-то глубже понимаю, но то, что я пишу, оказывается все меньше и меньше печатным. И я не знаю, что с этим делать. Уже даже в отрывках нельзя предложить некоторые вещи. При самом большом желании этого не напечатают, а при среднем желании не напечатают и остального. У меня до сих пор так удачно складывалось, что ошметки того, что я пишу, удавалось напечатать и на это жить. Я за все время почти не занимался халтурой, ну, может, полгода за все время. Как-то перевел два стихотворения Киплинга... мне не понравилось... что-то для театра. Если бы можно было не печататься, писать и на что-то жить. Денег осталось на полгода, тут еще ребенок, мы няньку взяли... Не знаю, что будет...

(Я передаю слова Фазиля, упуская собственные вопросы и фразы. Например, я спросил: «Сколько времени тебя не печатают?» — «Полгода». Я с трудом сдержал улыбку: разве это срок?)

— Я иногда думаю: будь я лет на десять моложе и понимай то, что понимаю сейчас, я бы махнул на все рукой и уехал отсюда. Жил бы внутренне спокойно за границей и писал.

Я заметил, что это иллюзия: внутренний покой может быть и здесь, несчастным можно быть и там. Он опять стал мне рассказывать, как был за границей три или четыре раза и каждый раз чувствовал себя там душевно уравновешенным. Может, потому, что все проблемы и вся ответственность оставались здесь. Про это я уже слышал.

Я заметил, что жить вне тревог и забот времени тоже нельзя, они тоже питают душу.

— Я читал какого-то американского исследователя, — сказал Фазиль, — но это очень совпало с моими собственными мыслями. Возможно, я изложу неточно, но это и моя мысль. В последних стихах Манделштама гнет страданий так велик, что это разрушает поэзию.

Эта власть, эта система особенно страшна. Уже не ново называть ее государственным капитализмом, но это особый капитализм. Он берет свою приба-

вочную стоимость с людей не только в материальном смысле, он душу требует, требует духовной прибавочной стоимости.

Я заговорил о фантомности нынешней литературы, когда обсуждают, спорят о каких-то несуществующих явлениях.

— Да, да, — откликнулся он. — Я как-то взял «Лит. газету», там дискуссия, начала я не читал. Не мог понять, о чем они спорят. Проханов написал какую-то книгу, о ней спорят, говорят какие-то глупости. Ведь он же бездарь, никакой писатель! Я его знаю, мы с ним были в одной редколлегии. Он мне как-то подарил свою книгу, я не смог читать. Один знакомый рассказывал, как-то он зашел к нему домой и застал его за пересъемкой на пленку какой-то своей рукописи. Очевидно, у него были и другие варианты. Но теперь он полез в начальство, был в Афганистане, какую-то книгу написал. Получил новую квартиру, вроде бы в правлении большого Союза. При всем том, когда видишь его — у него всегда вид побитой собаки. Должно быть, он чувствует, что жизнь у него лакейская, и это неуютно... Знаешь, когда человек испытал сильный голод, он начинает много есть без разбора, и съест щи с говном, все равно. Но когда наестся, чувствует себя уже не очень хорошо, потому что много пришлось проглотить говна.

27.11.83. С утра дождь, снег протаял до земли, +40. После вчерашнего разговора вдруг записал на листках множество новых идей. Верней, уточняются, связываются воедино многие старые мысли и наблюдения, разрозненные, вставленные ради казуса.

Писал, писал (десятка три листочков) и вдруг на 30-м дошел до мысли, которая мне кажется важной, — запишу ее без стенографии, чтобы не утерять:

Жизнь требует формы; выработка формы есть противостояние хаосу, преодоление энтропии и, значит, служение жизни. Для высокоразвитой личности выработка формы связана с поиском истины и подлинности, она не хочет раствориться в хлюпающем болоте. У общества свои нормы, для него истина во все не обязательна. Достаточно единообразия в системе X (пусть даже это X — безумие). На нем можно обеспечить гармонию и счастье огромного большинства.

Отсюда разделение задач и уровней. Об истине может заботиться только личность (высокоразвитая). Но для жизни не так нужна истина, как равновесие целого (более или менее подвижное). Истина может оказаться страшна и даже запретна; гармония держится на условности, культуре и лжи.

2.12.83. «Лидер новой волны» в скульптуре, джазе или поэзии звучит как «лидер команды» в спорте. Соперничество и первенство, самовыражение и успех, ранжир в таблице звезд оказываются там и там близкой природы. (Читая Аксенова.)

21.12.83. Читая Н. Эйдельмана. Изумительное лицейское товарищество заставляет задуматься о своей способности к дружбе. Их братская связь не нарушалась всю жизнь (впрочем, порой по нашим меркам недолгую): ни разницей судеб, положений, ни разницей уровней, вкусов, взглядов. Корф и какой-нибудь Мясоедов, Горчаков и Кюхельбекер. Отбора не было (если не считать со-

словного, образовательного при самом зачислении в Лицей, общности школы). У меня отношения неблизкие, случайные год от года отсеивались, образовывалось иное, избирательное сродство — по уровню, вкусам. Но дружба тут лишь элемент, а там — в чистом виде — только она в основном и связывала, да общность воспоминаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Наше время

Опыт XX века не просто нов по сравнению с предыдущими, как нов каждый новый век; он во многом отменил опыт предыдущих веков, во всяком случае, внес в него поправку. Это опыт мировых войн, тоталитарных идеологических государств, миллионных гекатомб, порабощения и унификации масс, небывалых средств глобального воздействия на умы. Лапотный деревенский уклад существовал столетия почти без изменений до наших дней, как существуют до наших дней последние дикари первобытного общества, не менявшиеся тысячами. Все это исчезло или исчезает на глазах одного поколения. То, что останется неизменным — какие-то природные задатки человеческого существа; они не отменены, как не отменены законы Ньютона открытиями Эйнштейна. Но после Эйнштейна мы знаем неполноту и условность ньютоновых истин. Мы знаем о человеке и обществе такое, чего не знал XIX век, о чем лишь догадывались Достоевский, Фрейд, Ницше.

(Для людей начала века конец прошлого был своим, близким, как родительский дом. А теперь вдруг дом снесен, вместо него каменная башня с удобствами, телевизором, новым обликом повседневности, а главное — новым духом. Старые понятия уже не годятся для объяснений нашего века.)

Когда мы пробуем сослаться на прошлый (или на чужой) опыт (и при царе не было свободы, цензура всегда была), мы не понимаем принципиальной разницы: тоталитарное идеологическое государство стремится подчинить, растворить в себе жизнь, стать единственной целью и смыслом. Этого еще не было в истории. (Читая В. Гроссмана.)

24.01.83.

Важное отличие идеологического тоталитаризма от простых, личных, военных диктатур. Где-нибудь в Латинской Америке оппозиционеров убивают, пытаются тайно; это куда страшней, чем ссылки диссидентов. Но это означает парадоксальным образом: (1) борьбу с реальной оппозицией, нелегальной, организованной, иногда вооруженной; (2) она может существовать, только если допускаются возможности для нее: возможность разных мнений в обществе, доступность информации, открытые границы, свобода умов. В Сев. Корее не стреляют в оппозицию именно потому, что она невозможна: тотально структурированные мозги, общественные институты. Сама возможность иных мыслей (а не

действий) с детства исключается, все общество стянуто сетью структур, которые не допускают шевеления мыслей (произносимых вслух, конечно; что творится в головах, не так важно, хотя и в головах поневоле устанавливается порядок). Зачем в таком обществе аресты, пытки и расстрелы подпольщиков, профсоюзных активистов, городских партизан, партийных оппозиционеров? Диктатура настолько овладела обществом, что ничего подобного не может быть. Гитлеровцы после Хрустальной ночи и решения еврейского вопроса до войны могли обходиться и без дальнейших убийств: кому полагалось, сидели в концлагерях и по исправлении выпускались. Это могла бы быть сравнительно мирная диктатура — именно в силу своей тотальности; потому она страшней всего. Если в послевоенной Испании при Франко арестовывали и судили профсоюзных активистов, значит, им дана была свобода хотя бы для подпольных действий, возможность ездить за границу и обратно и т.п. Когда вытравлена даже мысль о возможности самостоятельных действий — вот ужас, бескровный, убивающий душу.

3.04.83

Страшная, уродливая, но устойчивая система сложилась в результате всех советских пертурбаций. Эта устойчивость основана на взаимосвязи всех составляющих: низкие зарплаты, но и низкие цены на хлеб-соль, непродуктивность хозяйства, но и возможность разворовывать, распродавать богатства громадной территории, отсутствие свободы, но и отсутствие способности что-то требовать, менять. Эта способность атрофирована за десятилетия в самих характерах, умах. Разветвленная карательная и сыскная структура делает невозможной малейшую структуру сопротивления.

Уже испытано: любая попытка перемен — экономических ли, культурных, идеологических, политических — сразу делает все неустойчивым и грозит распадом. Возможны лишь ремонтные меры и постоянные усилия по «подморозиванию». Другие страны от куда меньших трудностей переживают кризисы — но меняются и потому развиваются. Наша стабильность (которой могут завидовать другие) — окостенелая; в дальней перспективе она чревата катастрофой. Но попытка серьезных перемен сейчас грозит крушением убыстренным.

Оппозиция у нас может существовать лишь постольку, поскольку ее допускает власть. Это не отменяет инакомыслия в разрозненных умах, напротив, при нынешних возможностях информации (через радио, несмотря на все глушения и т. п.) оно неизбежно и будет все более массовым. Но структур организованной, дееспособной оппозиции власть вполне может не допустить. Хотя время от времени она, расслабляясь, допускает нечто подобное — не от благих помыслов, а из неизбежной потребности: время от времени возникает самоохрнительное чувство, что застой опасен, что нужны перемены, нужно попробовать иначе. Но сразу же выявляется опасность распада, цепной реакции, и после минимальных коррективов, да и выпуска пара, намордник затягивает-

ся опять. Советский период истории, в общем, последователен, зигзагов было мало: НЭП да 56-й год.

9.04.83

Дело не только в том, действительно ли мы переживаем кризис и какой. Не менее существенно, что с нами уже говорят и обращаются, как с переживающими кризис. И выявилась смесь страха перед силой, которая в отчаянии способна на безрассудство, с презрением, злорадством, осторожным выжиданием. Еще десять лет назад этого не было.

7.05.83.

Нет, мы даже не вполне сознаем противоестественность своей жизни. Что корчить из себя блаженных или гордецов: мы принуждены к противоестественному сожительству с режимом политических гангстеров, грубых хамов. Нас насилуют, используют — и требуют еще в ответ каких-то слов, телодвижений. А нам неприятно думать, что нас насилуют, мы убеждены, что соглашаемся по искреннему желанию. Насильник, конечно, хам, но ведь в нем даже что-то есть, не правда ли? Иные доходят в своей искренности до полного обожания. Они сами бы рады на любые услуги, но уже потасканы, там уже предпочитают других — свеженьких, с румянцем стыда и трогательного сопротивления. Иных ставят начальствовать над другими. И ведь услуг требуют не каждый день. Иногда в покое оставят, даже надолго. Иногда вовсе не обратят внимания. А еще можно сослаться на недомогание — выговорить отсрочку. Можно притвориться спящим. И даже мертвым.

Можно, конечно, покончить самоубийством взаправду.

12.04.82.

Чтобы в такое время не сломаться, не покончить с собой, нужна либо стойкость и сила, либо известная степень нечувствительности. Возможно, это время больше позволяет выстоять таким, как я, кто превращает в добродетель пороки терпения.

13.04.74

1984

1.01.84. Ночью звонок Димы из Тамбова: «Ну что, просуществуем мы до 1984 года?» — «А что нам остается? — ответил я. — Должны просуществовать».

Уже третий год мое душевное состояние связано с романом и, в общем, уравновешено. На днях я подумал: может быть, даже слишком. Перечитанный позавчера «День в феврале» напомнил мне об относительности всех достижений: творчество должно быть все время живым, развивающимся, каждая новая вещь поддерживает предыдущую.

13.01.84. Из рабочего дневника. Суть провинциальной практики (ср. социализм): чтобы все были счастливы, надо не допускать крайних несчастий (голода), но давать людям возможность жить в скромном равенстве, без зависти, без соперничества и с убеждением, что им лучше всех — другим хуже.

Для этого — закрытость от соседей, информация газетная, слухи...

Милашевич и к Шурочкиной неподвижности приспособил счастье. Некоторые фантики так и растолковываются: мгновения счастья для неподвижного и больного... Главное — равновесие.

28.01.84. Думаю над фантиками, но пока не работаю. Возможно, чувство тупика преувеличено...

Из рабочего дневника. Фантики — попытка поэтического осмысления реальности (этого требует его философия, потому что сама реальность невыносима) (?)

Комично-примитивистская интерпретация психологической (отвлекаясь от социально-политической и экономической) подоплеки произошедшего всемирного переворота (как торжества и требования провинции). Ищут протеста против скуки, омассовления, механизации — но находят то, что удовлетворяет разрастающуюся массу. Т. е. то же содержание (фашизм — антидуховен), но языком, который способен успокоить, обмануть.

29.01.84. Из рабочего дневника. Чувство кризиса, разговоры о кризисе — во все не в первую очередь выражение фактического положения дел. Эти разговоры скорее выражают неблагополучие в отношениях духа с реальностью и с самим собой...

Революция исполнила эсхатологические ожидания времени, когда отказал разум, только желание: что-то иначе (Ганшин). Чувство переломной эпохи, конца времен порождает огромную энергию. Такие настроения являются реальностями в социальной жизни — больше, чем экономические отношения и пр.

Нужны конструктивные, несущие надежду идеи. Тот, кто их внесет в вакуум, побеждает.

31.01.84. С утра читал в библиотеке уездные газеты. Довольно много интересного. Только надо найти систему повествовательных координат, в которую бы все это уложилось.

Вечером заехал к Натану Эйдельману. Подарил мне своего «Карамзина». Показал приказ Комитета по печати, где выносятся выговоры руководителям и редакторам издательства, главным образом за то, что дали на всю полосу портреты Александра I, Аракчеева, Фотия, Булгарина и др. «Это же материал для Би-би-си: считать идейной ошибкой, что портреты исторических деятелей даны в формат полосы». Разговор с ним об истории, Пушкине.

«Насколько законно применять исторические аналогии? Конечно, напрашиваются аналогии с падением Римской империи. Дело не только в том, что за сто лет население там сократилось с 4 млн. до 250 тыс., а в том, что поколение, жившее через сто лет, уже начисто забыло все, что было. Всю культуру, все ценности. Можно говорить, что у варварских государств, возникших на территории Римской империи, были свои достоинства — не в этом дело. Важней, что

было совсем другое, и только через тысячу лет Возрождение вспомнило эту культуру. Мне кажется, с нами будет что-то похожее. Без всякой войны — может быть, горячего не хватит. Но через тысячу лет наши ценности никто не вспомнит.

Я записываю анекдоты о новых вождях. Инстинкт историка. Есть очень интересные. Как-то я отдыхал с Черноуцаном, работником ЦК, который сейчас, на старости лет, женился на Маргарите Алигер. Я за ним много ходил, расспрашивал.

А знаешь, что Ленин истерически смеялся, когда узнал, как прошел разгон Учредительного собрания? Нам сейчас кажется это просто: вышел матрос Железняк, сказал: «Караул устал ждать», — и все разошлись. Но тогда это не представлялось так просто. Все-таки первое в России демократически избранное представительство. Ленин этого момента боялся. И когда ему рассказали, как все прошло, он рассмеялся. Через минуту заметили, что он не может остановиться. Это был истерический смех.

Есть ли рок в русской истории? Я бы выразился так: когда есть выбор между мягкими либеральными решениями и жестокой диктатурой, более вероятным оказывается второй вариант. В России было несколько таких моментов. Первый — XVI век, когда Россия из Московского княжества превратилась в громадную страну при Иване III и Василии и намечался путь реформ. Иван Грозный все перевернул. Второй — в конце XVII века, когда при Алексее Михайловиче начинался постепенный поворот к Западу. Пришел Петр и сделал все резко, грубо. Третий — около 1825 года. Есть серьезные сведения, что Николай I был готов на крупные реформы. Но восстание декабристов сделало это невозможным. Думаю, оно в конечном счете нанесло вред. Без него многие преобразования осуществились бы раньше. Затем двадцатилетие 1861—1881 годов — все закончилось выстрелом Гриневицкого. Наконец, после 1905 года, Столыпин. Это было очень серьезное дело. Когда он говорил: дайте мне 20 лет, и я изменю Россию, — он говорил всерьез. Ты знаешь, как его убили? Его убил Богров, но пропуск на вход во дворец дал ему шеф жандармского отделения. То есть крайне левые и крайне правые объединились против Столыпина. На свою погибель, как выяснилось потом, но они тогда этого не знали. Вот судьба России».

«Что могло бы быть с Пушкиным, если бы он остался жив после дуэли? Скорей всего, отправился бы в ссылку, в деревню и жил бы, как Баратынский».

4.02.84. ...Встретились в метро с Карабчиевским, он мне передал свою работу о Маяковском. Говорили с ним о литературе, о публикациях. Я произнес когда-то подуманное: может, если меня еще можно печатать, значит, я недостаточно хорошо пишу? Он ответил четко: «Это неправильно. Настоящая литература здесь, а не там. Я печатаюсь там, потому что у меня нет выбора». Помянули «Метрополь», он сказал: «Я очень невысокого о нем мнения. Если уж противопоставлять себя печатной литературе, надо давать лучшее, что есть у каждого».

Сейчас, читая его книгу, я убедился в большой четкости его взглядов, вкусов, критериев, четкости, которой, может быть, не всегда хватает мне.

5.02.84. Дочитал книгу Карабчиевского. Блистательная, убедительная, очень профессиональная работа. Я, правда, не сделал того, что обычно из добросовестности стараюсь делать: не перечел Маяковского, чтобы проверить впечатление. Но первый том взял, посмотрел: во многом он, к сожалению, прав. Меня, впрочем, не пришлось особенно убеждать, я примерно так к нему и относился, особенно после Ходасевича. Но здесь все выстроено в цельную концепцию: личность, творчество, судьба. Некоторые впечатления, державшиеся на слух, по инерции, со школьных еще лет, без критической перепроверки, не выдержали пристального взгляда. Я был заранее не слишком расположен к Маяковскому, но именно поэтому старался придираться к доводам против него, из чувства справедливости. Нет, ничего не опровергнешь. (Вот у Ходасевича заметил мимоходом передержку: фраза насчет венских кокоток, о юбки которых вытрем наши штыки — не авторская все же, а голос кого-то с улицы. Хотя в общем контексте творчества и Маяковский мог бы так сказать.) Немного сложнее с общим отношением к футуризму и пр. Называть этих людей мошенниками слишком просто, тут не их личное изобретение; как бы к нему ни относиться, течения начала века оставили свой след в культуре.

Читая, думал о своей работе, сделал несколько заметок. Меня смущает, что каждое впечатление кажется находкой — как будто я заполняю какую-то пустоту (а она пока бездонна). Может быть, дело в методе работы — слишком много здесь началось с идеи. Может, в моем характере, впечатлительном, увлекающемся настолько, что кажется, будто у меня нет собственных суждений. Например, когда Кома читал о Хлебникове, мне он казался очень интересен. Сейчас перепроверяю свое непосредственное ощущение от Хлебникова после Карабчиевского — не так уж, пожалуй, я этим автором восхищен. Но когда я в него внимательно вчитываюсь, я все-таки кое-что у него беру... Недостаток ли это мой? Или, может, достоинство? Сейчас, в пору тупика, мне слишком многое в себе кажется недостатком.

6.02.84. Карабчиевский об отсутствии юмора у Блока или у Пастернака — ограниченность ли это? «Ограниченность их, вообще говоря, номинальная, потому что и тот и другой, обладая мощным талантом и чувством меры, никогда или почти никогда не входят в соприкосновение с собственными границами, следовательно, их не ощущают... Граница — понятие динамическое, она возникает как осязаемая реальность только при попытке ее пересечь».

А я пытаюсь пересекать границы постоянно, хочу объять необъятное.

8.02.84. Пишу, сильно обескураженный. Утром, зайдя в тупик с попыткой начать наконец 5-ю главу, решил немного перечитать уже готовое — и испугался, так все убого, вымученно. Какой-то Леонид Леонов — отсутствие чувства реальности. Что же это такое? На что ушли три года? Неужели в самом деле покинула меня сила? Или ее никогда и прежде не было? Надо перечитать все предыдущее и удостовериться, вернуть себе равновесие. Нет, наверно, я не вполне

прав. Нравилось же многим. И даже в написанном есть, наверно, свои достоинства, только не найден какой-то поворот. Ничего, ничего, справлюсь.

Чтобы вернуть себе равновесие, взял перечитывать «Иванов» — и отошло. Это настоящая проза. Я, оказывается, много забыл и теперь удивлялся: неужели я это мог написать? Откуда у меня это взялось? Нет, еще поработаем. Но в «Иванах» я сейчас, пожалуй, чуть-чуть уточнил бы акценты, может быть, больше заботился о чувстве меры...

Я не написал сегодня ни строчки, но день оказался духовно насыщенным.

10.02.84. ...Читал «Вкус» Битова. Талантливо, умно — и, как всегда, вызывает чувство сопротивления. Хочется защититься от несправедливости — героя ли? себя? Потому что сопротивление, конечно же, от неизбежного узнавания собственных двойных мыслей, непререкаемых на определенном интеллектуальном уровне. Человек попроще и жизнью наслаждается проще, у него свой механизм компенсации. Но и у высокого интеллектуала — свой. Он знает, что в жизни есть что-то выше пошлых мыслей и проявлений. У Битова, например, писательство. Может, в том и несправедливость, что он оставил своему герою свое худшее (которое есть у всякого), но не наделил ни писательством, ни чем иным, что позволяет все-таки жить.

Читал «Душу патриота» Попова. С удовольствием: юмор, чувство абсурдного времени, знакомые обстоятельства и персонажи, возникающие порой из болтовни серьезные мысли, симпатичная честность, не позволяющая уверять в понимании там, где на самом деле не понимаешь, — все симпатично, талантливо.

Но мне сейчас, пребывающему в кризисе и не уверенному в своей, может быть, не по силам задуманной работе, кажется немного облегченной взятая им задача. Слишком по силам. Не понимаю — ну и не буду мучиться, посмеюсь над всеми и над собой. Ощущение стоит понимания.

Дочитал до места, где он узнает о смерти Брежнева, созванивается по телефону с друзьями. Вдруг звонит мама: слышал, Андропов умер? Такие совпадения настраивают на мистический лад. (Я тотчас позвонил Попову и, не застав, рассказал о совпадении Светлане.)

Кончилось короткое, не слишком славное царствование. Что его теперь судить? Ему было мало отпущено времени. Хорошо, что не сделал ничего слишком плохого. И, может, своим коротким присутствием уберет главное кресло от кого-то худшего. А лучшего нет. Таня (которая сейчас начинает интересоваться политикой) предложила мне погадать, кто будет новым вождем. Я назвал четыре кандидатуры соответственно четырем мастям. Выпал пиковый король — Черненко. Признаться, я считал это не самым вероятным, но только что передали в последних известиях, что председателем похоронной комиссии назначен именно он. Это значит, дележ прошел. Думаю, это один из худших вариантов; остается надеяться на то, что ему уже восьмой десяток.

12.02.84. С утра читал Дудинцева «Не хлебом единым» — и зачитался. Это не большая литература, в чем-то давно превзойденная, там совсем не чувствуется страх сталинского времени, а лагерь упомянут как место, где можно поду-

мать; и разговоры о коммунизме, о комсомольском значке, который жжет грудь, — уже не звучат. Но все-таки воздух времени чувствуется, проблемы и сейчас те же, неизжитые, только сейчас о таких вещах пишут в газетах. Надо представить, как это прозвучало впервые после долгого умолчания, понять злобу людей, слишком узнавших себя в персонажах книги, чтобы воздать ей должное. Она и сейчас все-таки читается.

15.02.84. *Из рабочего дневника.* Сложить целое из частиц — невозможно и неверно. Целое не есть сумма частиц. Частность, факт доступны описанию и пониманию именно потому, что они вычленены, выгорожены из целого. Целое же непостижимо уму и доступно лишь интуитивному проникновению, воображению.

25.02.84. ...Купил «Теорию прозы» Шкловского. Начало, где воспроизводятся главы 20-х годов, интересно, дальше преобладает старческая необязательная болтовня: он все ищет в искусстве формы, приемы. Хотя с годами нет-нет да и пробьется подлинное чувство. Например, эпизод, когда автор вдруг расплакался в уборной от стариковской слабости. Это и трогает в искусстве. Зато стал читать подаренную Алеше книгу Чухонцева — вот действительно сильный поэт и в чем-то мне близкий. Те же мысли о доброте, о вине перед близкими людьми, о печали, о литературной судьбе. У него это всего вторая книга. Но все-таки уже вторая, и он известен. У меня и того нет. Но я не слишком волновался бы, если бы знал, что нынешняя работа состоится. Впрочем, почему не волноваться? Надо волноваться и чувствовать вину, стыд, печаль.

1.03.84. Немного поработал с утра. Не получается... Вечером к Карабчиевскому. Славный, талантливый человек. Посидел за столом с его семьей и одной приезжей американкой, которая изучает русский язык...

Из разговоров Карабчиевского:

— Эмигрантская литература не лучше нашей, даже хуже, там есть откровенное графоманство. Может быть, потому, что уехали не самые сильные писатели. Но она сейчас сделала невозможной нынешнюю советскую литературу. Лет пять назад начал ощущаться тупик печатной советской литературы. И, возможно, из него уже не выбраться. Существование литературы тамиздатской и самиздатской сделало невозможной литературу полуправды, намеков. Практически все ее знают, все имеют в виду ее, когда читают работы советских писателей, живущих здесь. И то, что проходило раньше, сейчас не проходит. Раньше можно было писать про фашизм или про Чили, а читалось: Советский Союз. Теперь это невозможно. Теперь, когда какой-нибудь Боровик пишет про Чили, — это только про Чили, а про нас мы сами много знаем. Мы ищем другую правду. Всякая неполная правда в этой системе уже воспринимается как ложь и губит доверие к писателю. Трифонов умер — и вовремя умер, сейчас он был бы невозможен. Он хороший, прекрасный писатель, но сейчас такой уровень правды уже невозможен. Теперь, если написана действительно честная, талантливая книга, она не может появиться здесь.

— А можно ли это обойти? — сказал я. — Например, писать не в реалистической повествовательной манере, а прибегать к фантастике, сюрреализму — как Булгаков, допустим?

— Булгаков ничего такого серьезного не сказал. Глубоких мыслей, которые приписывают его роману, у него на самом деле нет. У него много просто слабых вещей, и даже в романе есть главы проходные, сырые. Он, по-моему, детский писатель и когда-нибудь таким останется. Но вообще я считаю, что такой тип литературы доступен только гению. Гофман, Гоголь, Кафка. Для них это органично, для других имитация.

Тут мы вспомнили Набокова, которого Карабчиевский высоко ценит, хотя и с оговорками. «Приглашение на казнь», например, он не очень любит и считает вторичной книгой после Кафки. Мне понравилась самостоятельность и подлинность всех его суждений, даже тех, с которыми я не согласен.

Он несколько раз называл Битова великим писателем, «может быть, единственным великим после Достоевского».

— После Достоевского никто так не чувствовал и не показывал разницу между мотивом и действием. Принято считать, что человек проявляется в поступках, действиях. Чепуха. Поступки и действия чаще определяются средой, обстоятельствами. Существенны затаенные мотивы, и их он анализирует очень глубоко.

— Но мотивы, верней, то, что Достоевский называл «двойными мыслями», не составляют основы человека, — заметил я. — Битов ловит человека на двойных мыслях, которые есть у всякого, но не дает ему основы, которая тоже есть у всякого и позволяет жить, быть цельным. Он пускает гулять по свету персонажей, составленных из двойных мыслей, искусственно, как будто без кожи, потому что ни один человек реально так бы не мог существовать... (Ну, и т. д.)

— Это интересно, — сказал он.

О Владимове. Он был с ним близок, высоко ценит, но считает, что слова в литературе он не сказал.

— Битов сказал, даже Аксенов сказал. А он пишет, как уже писали до него. Очень добросовестно, умно, талантливо. Но «Руслан» все-таки сконструирован. Не может собака так думать. Он животных вообще не любит, я знаю. Он довольно равнодушный человек. Это ничего не значит. Человек может быть равнодушным, а писатель нет. Но вот когда Айтматов описывает свою верблюдицу, он ее чувствует, он с ней сживается. Я понимаю, какие оговорки вызывает Айтматов, но так его со счетов не сбросишь...

«Метрополь» мне лично пошел только на пользу. Другим он принес неприятности, а моя позиция была хамская — я только выигрывал. Главное, что он мне дал, — я избавился от плебейского комплекса. Потому что у меня был какой-то комплекс неполноценности перед профессиональными писателями. И вот я познакомился с профессиональными писателями, увидел, что они говно, и от этого освободился.

5.05.84. Гулял с Леной в лесу. Перечел принесенный Алешей «1984» Оруэлла. Очень кстати: у меня оказалось несколько неосознанных и ненужных заим-

ствований из него (хотя и кажется, что кое до чего я сам дошел). Сильное впечатление, испытанное много лет назад от этой книги, в общем, подтвердилось. Он сильнее и неопровержимей многих других, потому что понял возможности власти над умами, душами, мыслями. Менее убедительными показались на этот раз диалоги с мучителем и капитуляция героя. Не потому, что это невозможно. Но есть и другие возможности, другие доводы. И что-то в самой природе человека и человеческого общества (заложенной Богом?) противится торжеству гибельных сил. Есть порог мучений, за которым уже не личность меняется, а наступает смерть или безумие. Мучения не проходят бесследно и для мучителя. Есть биологические законы, по которым человеческое общество вырождается и гибнет физически, когда основы его существования неестественно искажены (генетическое вырождение, бесплодие, измельчание, умственная дегенерация).

27.05.84. Писал главу 1. Медленно и не очень убедительно, но теперь я, по крайней мере, знаю, к чему веду и чего хочу... Заехал к Сидуру, отвез ему перевод... Рассказал, как Евтушенко в одном разговоре у Окуджавы стал вдруг ругать Даниэля, сидевшего в это время: нет, русский писатель так бы не поступил. И: русский, русский. Сидур заметил, что человек в тюрьме, нельзя о нем так говорить. Евтушенко в ответ: это все сидурость, ложный гуманизм. А на другое утро явился в мастерскую, заключил Сидура против желания в объятия и стал говорить: «Ты меня прости, я на магнитофон говорил, там сидели два таких типа, все записывали, а мне надо лететь в Чили, меня могли не пустить». «Какой мерзавец! Я тоже знал этих типов, но меня он на разговор перед ними вытянул. А самому надо лететь в Чили». Об эмигрантах, почему они становятся такими фатально неинтересными за границей. О том, что надо просто писать, равняться на великих, не заботясь об отклике и славе. О себе: «Мне надо было закрепить свои скульптуры. Теперь несколько уже стоит, я вижу фотографии: вокруг коляски с детишками. Мне этого достаточно».

29.05.84. Вчера читал на ночь стихи Мандельштама, обнаруживая, что я многое до сих пор читал поверхностно, не вникнув в смысл, в каждое слово, и потому не запомнив. Какое это чудо! А сегодня попутно взял том со статьями и рецензиями Блока. «Интеллигенция и революция» — мощная статья, чувствуется искренность, талант, высокая мера. Мое преимущество лишь в том, что я знаю, чем все это кончилось. Мог ли он это предвидеть? Ведь сейчас ясно, что все зародыши лжи имелись уже тогда. Блок не был оторван от жизни, он пишет и про окопы, и про реальность усадеб. Но высокие слова его статьи все-таки абстрактны. История определяется не этим.

3.06.84. ...Много мыслей и заметок порождено чтением Фолкнера («Авессалом»). Оно обнадеживает меня доказательством, что можно основать реалистическое глубокое повествование на сравнительно ограниченном наборе реалий. У него один реквизит на много романов: лошади, мулы, платья и шляпы женщин, комбинезоны и шляпы мужчин, дома и хижины, запах цветов и пота, и все это вводится время от времени, вкраплено в мир мысли — а создает ощущение очень плотной реальности. Помню, как я был удивлен, узнав, что этот

мастер военных рассказов на самом деле в войне не участвовал, не успел до нее доехать. Любой жизненный опыт недостаточен для того, о чем мне надо рассказать. Литература, ограниченная пределами только своего жизненного опыта, возможна, но это другая литература. Фолкнер, Томас Манн, Набоков доказывают мне возможность высокой литературы, для которой опыт — лишь одна из основ.

У Шагала есть литографии, где из хаоса пятен, линий, красок рождаются лица, фигуры, но всегда остается чувство, что надо всмотреться пристальней, еще и еще, и что-то откроешь неожиданное. Так оно всегда и бывает. Хаос неисчерпаем, он рождает при нашем сотворчестве. Теперь сравните это с прекрасным линейным рисунком Матисса, где автор знает все до нас, для нас и являет в прекрасном образе. У каждого своя честь. Смешно попрекать Фолкнера отсутствием пушкинской краткости, завершенности и простоты. И наоборот.

10.06.84. Заехал к Карабчиевскому. Его впечатления от разговоров в Ростове. Тюрьмы в области переполнены, преступность повальная, масса нераскрытых дел (беседа с милиционером в гостинице). На шахтах несчастные случаи — повседневное дело. Взрывается газ, падают клетки, техника безопасности скверная, геологические условия все хуже, костылей в городе не купишь. Но в шахты идут, потому что заработок хороший. Продуктов нет никаких, талон в месяц на 4 грамма «животного бутербродного масла», молоко к 10 утра раскупают, но много мучных изделий (из американской муки). Все больше болезней: желудочных, психических; в больницу самую рядовую сейчас очень трудно устроиться.

О литературе. Я уточнил его вкус: он выше всего ценит Сэлинджера и не очень любит Фолкнера. О Гранте Матевосяне он уже другого мнения: оправдались худшие ожидания, он стал писать неинтересно... Недавно перечитывал «Дом на набережной» Трифонова — по его словам, это уже просто скучно. О бедности современной литературы, и эмигрантской, и здешней. «Вероятно, мы оказались просто несостоятельными», — сказал он. Я ответил: «Не хочется так думать. Но если окажется, что так, никто о нас не пожалеет, нам не посочувствует, и мы не вправе ссылаться ни на время, ни на обстоятельства».

3.08.84. *Zvejniekciems*. Жара, вода прогрелась до 200. Днем на пляже к нам присоседилась Анна Михайловна Бухарина, поговорили с ней. Рассказывала о поездке Бухарина в Париж в 36-м году якобы для закупки архива Маркса у деятелей 2-го Интернационала, которые вывезли его в 33-м году из фашистской Германии. На самом деле поездка была специально спровоцирована для будущего обвинения. (Архив так и не купили. Она была с ним в Париже.) Существует, оказывается, официальная дата расстрела: кажется, 14 марта 1938 года. О книге С. Коэна сказала: «Он изображает Николая Ивановича бóльшим демократом, чем тот был на самом деле».

Прочел «Гроздь гнева» Стейнбека и две других его вещи. Он сильный писатель, хотя есть некоторая журналистская тенденциозность. Сейчас никому нет дела до проблем фермеров 30-х годов, и вряд ли все было совсем так.

7.08.84. Перечел «Евг. Онегина». Писал ли кто-нибудь о юморе Пушкина? Я бы сейчас взялся. Об иронии Пушкина. М.б., уменьшавшейся со временем — когда появилась тяга к «Отцам пустыннокам».

17.08.84. *Zvejniekiems*. Обвожу взглядом комнату. Рядом со мной на диване Леночкин заяц Зоя и кукла Вера. Галин мешок с рисованием. На спинке стула сушится простынка. На кровати детская одежда. На полу корзина, на треть заполненная брусникой. На тумбочке Танино вязанье и книги: Мандельштам, Пушкин, Герцен, Гофман. Банка брусники с сахаром. Под тумбочкой ласты. На подоконнике игрушки из глины, взятой в море. Кошелек, в нем, я знаю, 25 руб. За дверью на кухне Галя жарит лисички, Лена рассказывает свой сон. За окном садик с цветами.

Вечер.

Леночкин сон: «Будто я совсем маленькая и еду на коляске. Только меня никто не везет, коляска едет сама. Останавливается возле киоска с мороженым, из коляски высовывается такая длинная палка, дает деньги, берет мороженое. Крем-брюле и шоколадное». Дальше следует серия покупок, возможно, уже не из сна, импровизированно.

Читая «Былое и думы» Герцена. События 48-го года во Франции, когда победили не идеи Прудона, а Луи-Наполеон, избранный большинством населения, показали Герцену крахом, катастрофой. А для нас — в чем тут крах? Франция, мир, люди — жили дальше. В истории никогда не могли осуществиться никакие идеи, и только искренним поборникам идей это казалось крахом. А то, что казалось победой идей, — разве лучше?

20.08.84. *Zvejniekiems*. Пришла на берег купаться старуха лет 75, с палкой. Ползком, на корточках, вошла в воду, легла там, на корточках ползала в волнах. Купалась.

1.10.84. ...Читал в «Вестнике» один из солженицынских «узлов»: заседание Думы. Как литература это не очень интересно, но раздражение и презрение автора к «либеральной» болтовне мне понятно и вызывает сочувствие. Только вот: дело ли писателя оценивать все с высоты прожитых лет, когда знаешь, чем все обернулось? Изнутри мы и сейчас нащупываем будущее в потемках и мало что можем. А у него звучит сквозь строки: если бы я там был, я бы все повернул иначе, я бы объяснил, как надо.

4.10.84. С утра читал в библиотеке. Кое-что интересно, особенно две брошюры Циолковского о будущем общественном устройстве и преобразовании мира... Вот оно, русское провинциальное мышление — сразу глобальное. (Недаром мы вышли в космос раньше, чем стали сытыми...)

6.11.84. Немного продвинул работу. Вечером к Городницкому. Искандер с Тоней, Лукин с семьей, Юлик с Ирой, Кома со Светой, Диков с Олей и нежданно Игорь Губерман с Тамарой и дочкой. Живет сейчас в Малоярославце, бодр, остроумен (хотя, когда смеется, держится за сердце). Повторял, какое это счастье: сидеть среди друзей, ходить по городу. «Стоит посидеть, чтобы это

ощутить». Юлик очень в тон его настроению спел «Диссидентскую блатную» и «Лошадь за углом». Фазиль читал стихи и поэму. Я его стихи плохо воспринимаю.

Вообще чувство дружеского доброго вечера. Фазиль под конец сильно напился... Когда глядишь на него в такой компании, вспоминаешь слова, которые он же сказал про Горенштейна: «Думаешь, что этот человек нашел сундук с чужими рукописями и выдает их за свои».

Из четверостиший Губермана:

...Тетя Песя остается пессимисткой,
Потому что есть ума у тети Песи.

Его рассказ, как на симпозиуме по социальной психологии он представился специалистом по дезинформации. К нему подошел директор Бурятского института и поинтересовался: а от какой организации вы представитель? «Я думал, что ответить, а язык мой в это время выговаривал сам: от соответствующей. Тот сразу все понял. “А у нас, говорит, были представители вашей организации, они интересовались «вертикальным» распространением слухов: пускали слух и прослеживали его распространение не вширь, а по вертикали”».

Губерман, пожалуй, один из остроумнейших людей, с которыми я встречался, и остроумие его сейчас более сдержанно (может, из-за присутствия ребенка), в нем нет провалов вкуса.

Кома (как и я) был один из самых молчаливых за столом, со мной заводил разговор все больше о политике, я привлек к разговору Лукина. Общее впечатление: ждать особенно нечего, хотя какая-то глухая борьба чувствуется... Когда мы сидели в машине (они подвезли меня до метро), Кома сказал: «Вообще уже утомляет затянувшееся гниение власти». Рассказал подробности «захвата» дачи Пастернака, когда массу вещей растащили и попортили. Испортили исторический рояль, на котором играл не только Нейгауз, но и Рихтер, Юдина в день похорон Пастернака. Как милиционер бил и топтал ногами пластинки Нейгауза, а на вопрос, зачем он это делает, сказал: «А что, они по рублю стоят, в магазине есть лучше диски».

9.11.84. После каждого удачного дня работы мне кажется, что что-то уже получается — как после каждой неудачи возобновляется чувство тупика. Но если я сейчас действительно нащупываю верный тон, значит, до сих пор я сделал массу лишнего. После четырех лет работы я прихожу к тому, с чего другие писатели обычно начинают. Впрочем, даже отвергнутое может присутствовать в готовом, просвечивать сквозь него и обогащать. У Шагала есть такие литографии, где формы выявляются из хаоса линий и пятен — это очень обогащает их по сравнению с простотой прежних плоскостей...

20.11.84. ...Встретился в Исторической библиотеке с Эйдельманом, потом проехали и прошли по улицам. Он подарил мне новую книгу о Пушкине-историке, я ему — журнал с повестью. Говорили о мифе и истории (я как раз читал в библиотеке полемику об Иване Сусанине). Он передал слова Лихачева:

«Мы с вами живем не в век реализма, а в век романтики. Никого не интересует правда». Очень интересно рассказывал о своих «Записках историка», в которых исторические разыскания переплетаются с современностью. Надо бы за это за-сесть, но отрешиться от заработка ему, оказывается, трудно, при всех успешных публикациях последних лет: жизнь на две семьи. Кстати, в библиотеке он читал литературу о Древнем Египте, пишет на эту тему статейку, рассказывал о своем интересе к Египту. Чем он только не интересуется!

30.11.84. С трудом и без успеха пробовал работать. Сильная мозговая уста-лость, надо отдохнуть. Звонил Ивановой в издательство: никаких новостей. Вече-ром к Померанцу... Его вызывали «для беседы» и предложили подписать предупреждение о том, что в случае продолжения своей деятельности он мо-жет быть привлечен по статье 194—1. У них было пухлое досье его сочинений, но конкретно говорили о переданном по радио «Акафисте пошлости» и про ка-кое-то выступление на квартире Старчика. Он это отверг в особом заявлении («Я не стал бы подводить хозяина квартиры»)..

Рассказывал о женщине, которую обрекли (не осудили) на четырехмесяч-ный домашний арест за то, что она ездила в Горький и привезла сведения о Са-харове. Мужу разрешили выходить из дома, а ей только по необходимости.

По каким-то американским данным, на содержание КГБ расходуется 84 млрд долларов в год. Это цена стабильности при низком жизненном уровне...

Народные легенды об Андропове: будто его убили за то, что он хотел раз-облачить взяточников, и убила дочка Щелокова.

Из разговоров о Солженицыне: «Он путает молнию, которая прошла че-рез него, со своей собственной сущностью...»

13.12.84. Работал. Купил том с письмами Л. Толстого, открыл наугад почи-тать: какой самобытный ум! Никакой оглядки в оценках. Далеко не всегда сим-патичный, редко близкий, но всегда напряженный, полнокровный. Как раз в моем возрасте он заканчивал «Анну Каренину» и был уже автором «Войны и мира».

31.12.84. Уходящий год был годом разнообразных кризисов и (буду наде-яться) намеков на их преодоление. Был затяжной кризис в работе — похоже, я с ним начинаю справляться. Был денежный кризис — из него я явно выбираюсь. Был кризис здоровья — пока обошлось. Была затянувшаяся безнадежность с публикациями — и тут что-то забрезжило. Со всем этим был связан кризис самочувствия — но тут зарекаться нельзя, хотя он, казалось бы, больше зависит от меня самого, чем от внешних обстоятельств. Уже несколько дней не могу справиться с приступом мрачности, в общем-то беспричинной. (Дневник — род терапии: вот написал и тут же почувствовал, что надо с этим кончить, это от меня зависит...)

31.12.85.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Конспектируя Циолковского

К. Циолковский.

Будущее земли и человечества. Калуга, 1928. Гублит № 2327.

Необходимо завоевание плодородных и беспечальных тропических земель. [Для этого нужна многомиллионная армия добровольцев и все средства техники.] Фронт трудовой армии должен начать свои действия с самого берега океана и иметь в длину несколько тысяч верст. Но допустим только одну тысячу, тогда понадобится примерно 10 млн человек при ширине фронта в 10 метров и при расстоянии воинов на один метр друг от друга.

Первая полоса в 10 м ширины должна быть очищена без ограждения сеткой. После этого весь работающий фронт покрывается частой мелкой сеткой, не пропускающей насекомых, змей, зверей и предохраняющей таким образом работников от болезней. Сетка имеет вид длинного колпака или ящика, кое-где перегороденного такими же сетками. Удобней будут отдельные колпаки, составляющие одну линию фронта... Основа этого ящика, т. е. клетка прочная, металлическая, гибкая, передвигается по мере надобности на колесах вместе с находящимися в ней людьми. Дна нет, люди стоят на почве, но могут через двери выходить наружу... Это своего рода водолазный колокол... Затем площадь под сеткой обрабатывается и засаживается подходящими культурными растениями. Потом опять перед сеткой на расстоянии нескольких десятков метров они уничтожают дотла всю растительную и животную жизнь и передвигают на чистое место свои клетки. Тут почва засаживается чистой культурой самых выгодных для человека растений... После этого воины выходят из клетки и уничтожают органическую жизнь следующей полосы почвы... При каждом шаге рабочей клетки вперед задняя свободная полоса почвы, уже засаженная, покрывается тотчас уже неподвижной клеткой больше простого строения, так как ей передвигаться нет надобности. Обработанная полоса почвы предоставит готовое и безопасное жилище для 100 поселенцев. На каждого придется 1 ар почвы. Клетка должна не ржаветь и поэтому покрывается неокисляющимся составом. [Внутри клетки устраивается жилище.] Через 40 лет все население земли найдет роскошный приют, прокормление и досуг. Остается только размножаться, наполнять землю и господствовать над природой. Человек перестанет нуждаться в одежде. Излишнюю влагу из воздуха будут поглощать специальные щелочи. Потом их прокаливают на специальных фабриках. Чистота воздуха от бактерий и пыли достигается пропусканием его через особые фильтры из тканей, сетей, порошков и жидкостей.

[Дальше развивается идея добычи воды из воздуха при помощи крыш из черного железа. Атмосферное давление должно быть понижено.] Затем человек победит моря и океаны. На море или озере выстраивается фронт в виде плота, простирающегося во всю длину береговой линии либо бассейна... Плот должен быть выстроен очень прочно, он продвигается вперед по воде, а промежуток

между ним и берегом заполняется другим плотом, более крупным, покрытым почвой, растениями и жилищами. Так по мере продвижения людей фронт продвигается все дальше и дальше, пока не заполнит все озеро и море. Чтобы ветры не могли производить сильного горизонтального давления на этот плот, он сверху закрывается одной гладкой, прозрачной для лучей крышей. Так что плот составляет как бы одну громадную оранжерею, разделенную изнутри на множество отделений. Между плотами оставляются промежутки и каналы для судоходства. Испарения воды регулируются по желанию... Водные животные, не получая солнца, должны исчезнуть или сократиться до минимума: большое нравственное удовлетворение, ибо прекратятся страдания существ от хищных рыб, птиц и зверей, которые делают водные обиталища адом... Обилие влаги, горизонтальность места, дешевизна транспорта — все это большие преимущества по сравнению с сушей.

На человека с его 100 кв. м почвы приходится около 1000 тонн атмосферы. Таким будет вес воздуха над его головой, верней, над его аром. Как избавиться от этой массы, оставив необходимое для растений и человека?.. Человеку не надо так много кислорода. (В горах люди здоровей.)

[Результат]: Никакого зла на земле нет, потому что животные уничтожены, человек же достиг совершенства. Отсутствие воздуха вне оранжерей и жилищ дает возможность получать большие скорости для межпланетных снарядов.

Циолковский К. Э.

Общественная организация человечества. Вычисления и таблицы. Издание автора. Калуга, 1928. UdSSR, Russie. Склад всех изданий у автора. Адрес указан на русском и французском языке

С помощью формул и математических выкладок устанавливается порядок счастливого общественного устройства на 1,6 млрд человек, хотя население Земли доходит до 1,9 млрд. Излишние 0,3 млрд относятся к отрубникам, правонарушителям и некоторым больным. Отрубники — это не желающие входить в состав общества и подчиняться его дополнительным законам. Они соблюдают законы отрубников, как и все («не насилуй»), и имеют на душу надел, равноценный 4 десятинам почвы в теплом климате. Не считаются также насильники и правонарушители... Но они иногда гениальны или хоть полезны — лишь при условии ограничения свободы... Без опеки человечества они невозможны, с опекой — они терпимы, а иногда даже драгоценны. Они представители крайнего индивидуализма, порою очень даровитые. Всех их делают по возможности счастливыми и смотрят на них как на детей или больных, в происхождении которых виновато само человечество. Их размножение ограничивается смотря по свойствам, но браки доступны, как и всем. Род гениальных тщательно поддерживается.

См. также сочинение того же автора «Горе и гений», 1916.

Каждое общество разделяется на мир мужчин и мир женщин. Каждый мир управляется своим же полом... Я разделяю оба пола. Если этого не будет, то не будет и лучшего отбора, ибо мужчины тогда будут выбирать женщин за половую привлекательность, а женщины мужчин за то же, но не самых достойных в отношении общественности и науки.

К. Циолковский. Ум и страсти, 1928.

Приходит в голову: сумма радостей у всякого существа (за все время его жизни) не равна ли сумме страданий за то же время? Тогда полное количество ощущений или интеграл всякой жизни, как бы она сложна или проста ни была, всегда равны нулю... Если это так, выходит, что жизнь, то есть ощущение, есть только взбаламученный нуль, небытие, приведенное в колебание.

4.10.84. 15.11.84

1985

10.01.85. ...Несколько раз вдруг вспыхивало яркое чувство жизни. Заснеженные ели за решетчатыми воротами библиотеки и снег на черной решетке. В открывшуюся дверь автобуса — женщина на остановке постукивает каблучками от мороза, приплясывает и кружится в вальсе, прижав к себе обувную коробку. Потом дверь закрылась, поехали дальше.

7.02.85. Еще пять рукописных страниц, есть чувство настоящей работы... Ездил с Таней на лекцию Эйдельмана о Булгарине и Пушкине. Очень интересная, и опять показала мне, какие глубины скрыты за поверхностью даже банальных фактов. Булгарин, один из родоначальников массовой культуры и удачливого журнализма: «Северная пчела» процветала и имела тысячи подписчиков, тогда как пушкинский «Современник» прогорал. Формула «народности» (вместе с православием и самодержавием) как одна из причин успеха Булгарина: не интеллигенция, не аристократы были его адресатами, а широкая читающая публика. Вообще, «народность» как неизменное условие и критерий успеха — очень злободневно. «Отсутствие воздуха» у Пушкина как отсутствие понимания, читателя; одиночество. «Покуда жив будет хоть один пиит» — не случайно же пиит, а не человек, не мужик. «Народ» как победитель в войне 1812 года.

16.02.85. С утра немного поработал, но продвинулся мало. Потом поехал к Кнабе, привез ему почитать «Меньшутина», он подарил мне журнал со своей статьей о вещах. Разговор на эти и другие темы. О переломе в традиции русской литературы, которая полтора века видела свою честь и назначение в противостоянии властям; теперь это себя исчерпало, обсуждается более глубокая возможность жизненного самоосуществления независимо от обстоятельств... О том, что 60-е годы (которые он определяет периодом 1955—1968 с небольшим «последствием») сейчас раскрывают себя как «великая эпоха культуры»,

смысла которой, среди прочего, в поисках более непосредственных, неофициальных возможностей жизни; ее приметы — хиппи, битлы, Франсуаза Саган, дешевые химические материалы, экономический расцвет, политические надежды. Начало этого периода совпало с XX съездом, конец — с распадом группы Beatles, оккупацией Чехословакии, парижскими баррикадами. Характерно, что ни один крупный представитель 60-х годов их не пережил (как я понял, творчески: назывались имена Феллини, Антониони). О Трифонове: он реакционен, его не интересует современная жизнь; оглядываясь в прошлое, он видит идеалистов-революционеров, надежды которых оказались разбиты, а современность — вырождение, упадок нравов и т.п. «Характерно, что никто из его героев не живет на Арбате». Арбат, по его понятиям (это была тема лекции, на которую я не сумел пойти), — цитадель московской интеллигенции, которая воспряла в 30-е годы и восстанавливала, поддерживала культурную традицию, пусть на невысоком уровне (на стенах квартир висели портреты Чехова и Толстого, не больше), но они определяли культурное лицо эпохи. О путевых заметках Трифонова: что он видел в Италии? Тетушку, бежавшую из Ростова и до сих пор обсуждающую те времена. В Финляндии он находит каких-то старых большевиков, видевших Ленина. Европа, живая, пульсирующая плазма, в которой происходят великие события, его не интересует. (Я подумал: а что бы он прибавил к описанию Коллизея? Я тоже всюду ищу свое, Европа для меня — одна из возможностей отчета, сравнения, чтобы лучше понять себя, свою страну.) О фильме про Евтушенко, который снимал какой-то югослав, где Евтушенко жалуется на уходящую популярность, пытается понять причины.

28.02.85. Начал просматривать гл.8, довольно вяло — сбил с рабочего настроения аксеновский «Остров Крым», который сегодня же и дочитал до конца, чтобы не отвлекал. Против ожидания, мне понравилось. В отличие от «Ожога», здесь нет героя, с которым безусловно можно бы отождествлять автора и который мучится больше всего тем, что ему «недодано», который хотел бы стать вровень с сильными, имущими и пр. Сам замысел удачен, есть у Аксенова чутье к приметам времени, политическое понимание. Увы, мне по-человечески чужды мерки ценностей, которые много значат не только для героев, для автора: обладание определенным набором вещей (роллес, сейко и пр. — все время перечисляется джентльменский набор), суперменские добродетели (деньги, драки, гонки, секс без любви). При долгом чтении это уже вызывает невольную тошноту. Конечно, к финалу он сам заставляет своих героев ужаснуться этой жизни, но другой-то нет. Христианство героя и чтение Платона — все бутафорское, в это невозможно поверить, духовного измерения в этой жизни все-таки нет. И еще: хотя со времен Брежнева прошел всего год-другой и ничего не изменилось, есть уже в этой теме какая-то внутренняя пустота. Заметил некоторые переключки с моей работой — значит, надо уходить от общих мест...

2.03.85. ...По телевизору показывали рекламу нового фильма «Победа» по роману Чаковского со Сталиным в качестве главного героя. Уже и сопроводительный текст утвержден: Сталин был сложной, противоречивой фигурой, но в минуту опасности он отбрасывал мелкие черты и делал все для блага страны. В

фильме он великий вождь. Похоже, это уже решено. Противно, нет слов, но все-раз переживать эту политику я уже не могу.

11.03.85. ...Приехал из библиотеки домой — и узнаю («Вы будете смеяться», — как объявлял в анекдоте диктор телевидения): умер Черненко. Новый вождь страны, видимо, Горбачев. Никаких серьезных перемен от этого не жду — разве что чудо (как говорил герой Булгакова). Но не похоже. Как надоела эта тягомотина, вязкость!

15.03.85. ...Я чувствую, что эти записи совершенно не передают подлинного содержания каждого дня: перемены настроения от надежд к унынию в зависимости от того, как идет работа, лепет Леночки, которая подставляла льдины под струю воды из водосточной трубы и наблюдала, как вода пробивает во льду дырку, загадки, которыми она докучала мне, пока я печатал на машинке положенные мне три страницы перевода, ослепительное сияние луж, досада, когда обнаружилось, что в холодильнике не осталось продуктов, купленных мною позавчера, разговор с Галей о том, что она, возможно, не уйдет с работы... — все эти перемены настроения, мимолетные мысли, на которые отвлекаешься во время работы...

17.03.85. Ночью неожиданный приступ сомнений и малодушия... Я напоминаю себе штангиста, который, чтобы победить, заказал неподъемный вес — ни он, никто другой такого никогда не поднимал, — но что делать, его устраивает только победа. Бывает же, в предельных состояниях человеку удастся что-то выше его возможностей.

23.03.85. Не мог работать. Дети дома, настроение несосредоточенное. Вечером поехал к Городницкому на день рождения. Как всегда, славная дружелюбная компания. Блистал Юлик. Когда Игорь Губерман, впервые слушая знакомые нам песни, буквально катался от хохота на диване, это обостряло и восприятие людей, слышавших песни не в первый раз. Блестящий, остроумный талант...

Л.Г. вошла в лифт, покрасневшись: «С. сказал мне пакость. Он сказал: “Ты одна из тех немногих женщин, которые, одевшись, становятся еще красивее”».

10.04.85. Закончил гл.11. Напечатал мелочишку для заработка и отвез вместе с обзором в «ИЛ»... Навестил в больнице Баткина. Ему существенно легче, уже разрешили ходить по ступенькам, он, конечно, превосходит разрешенную ему норму в несколько раз. Выглядит внешне плохо, как-то обрюзг, располнел, несмотря на довольно жесткую диету, но в разговоре, как всегда, бодр, умен, энергичен. Говорил почти все эти полтора часа, и с удовольствием.

О своей работе: размышления о личности в связи с Макиавелли. Он считает личность приобретением нового времени, тогда как его оппоненты, от Библиера до Гуревича, считают, что можно говорить о личности и в античности, и в средние века. На мой вопрос, нельзя ли просто условиться о терминах, он сказал, что это сделает принципиально невозможным понимание культуры. «Можно говорить, что в средние века были профсоюзы, только они назывались цехи». — «Но и сейчас есть профсоюзы у нас, есть во Франции». — «Это хоро-

ший пример, — согласился он. — Но в том-то и дело, у нас нет профсоюзов, и не понимать этого опасно».

О Музиле, которого он уже прочел: «Я сказал дома, что с каждой страницей этой книги становлюсь немного умней, и, когда мне не поверили, предложил опыт: назовите наугад страницу. И какую бы страницу мне ни назвали, там находилась существенная мысль. Это грандиозное эссе. И грандиозное, запланированное поражение».

О Натане Эйдельмане, работу о Пушкине-историке которого он сейчас читает. «Я написал ему большое письмо по поводу прошлой книги о Карамзине, он мне потом позвонил, и я почувствовал, что он просто не хочет обсуждать. Пропадает подлинный трагизм и противоречивость Пушкина. Да, он лучше и раньше декабристов увидел, что Россия внутренне еще не готова к революционным переменам, но делать из этого вывод, что правильной и спокойней сидеть, не рыпаться, ждать, пока за несколько столетий Россия созреет? Мы и сейчас ждем. Как можно писать о Пушкине-историке и упустить тему “Пушкин и Чаадаев”? Ведь Чаадаев тоже был не совсем не прав, и фраза: догадал меня Бог родиться в России с умом и талантом — многого стоит. Гоголь эту фразу произнести не мог, потому что он не был европейцем. Пушкин был первый и наиболее полный в России европеец, хоть и был невыездной. Даже Тургенев, проживший за границей большую часть жизни, не был таким европейцем. Та “всемирная отзывчивость”, о которой говорил Достоевский, это и есть европеизм. Европа все могла принять и усвоить, от японского рисунка и буддизма до африканской пластики. (Я добавил: еще в XVIII веке она начала усваивать арабский Восток и Индию.) Как можно писать о Пушкине-историке и обойти тему “Путешествие из Москвы в Петербург”? Ужасная статья. Если русский крестьянин на самом деле живет настолько лучше французского, почему было восстание Пугачева? Ведь Пушкина история интересовала не сама по себе, только в связи с политической. Он думал о России, о ее судьбе, будущем, отсюда его интерес и к Петру, и к Пугачеву».

О религии. Можно ли считать религией тот «интерес и вкус к вечному и бесконечному», как выразился Шлейермахер? Или то, что имел в виду Эйнштейн, говоря о «боге Спинозы»? Баткин ответил, что нет. Религия — определенная система взглядов, включающая и конфессиональный комплекс. То, о чем говорю я, он назвал философией. (Но философия бывает разная, например, прагматизм, где эта тематика вообще не играет роли.) «Ницше, видимо, прав, сказав: Бог умер, и мы, выражаясь словами Камю, живем теперь без хозяина...»

14.05.85. ...Вечером пришло прекрасное большое письмо от Хазанова. Там есть, между прочим, умное размышление о том, что литературное произведение должно созреть по своим внутренним законам. «Сам Творец, создавший мир за шесть дней, не мог уложиться, допустим, за пять дней». Хорошо сказано! Все-таки очень хотелось бы закончить в этом году. Впрочем, «не как мне будет угодно, а как Тебе».

Купил в уличном киоске книгу Юрия Казакова, там есть статья «Мужество художника», которая мне давно нравилась. С удовольствием ее перечел, но подумал, что одно качество писательского мужества он упустил: мужество доходить до предела в осмыслении истины; это бывает самое трудное. Между прочим, он пишет: настоящий писатель должен работать по 10 часов в сутки. Я сейчас так и работаю, только 6 часов из этих 10 идет на заработок.

Сегодня с удовольствием прошел пешком через Москву-реку от Пятницкой улицы до Яузских ворот. Там есть очень красивые старые места, и Кремль слева среди зелени. Давно не ходил, давно не чувствовал всем существом жизни. И нездоровье мешает. Кашель почти прошел, но в груди все время першит. Давно не дышал свободно.

16.05.85. С утра немного посидел над гл. 1... Вечером встретился с чешской переводчицей: Милушей Задражиловой (Miluše Zdražilová). Попросила показать ей Андроников монастырь, я, к стыду своему, никогда там не был, но дорогу нашли, прогулялись до вечера. Она моя ровесница, уже сидящая. Ей пришлось уйти с преподавательской работы после 1968-го и до сих пор удается получать работу только благодаря друзьям. Обстановка, по ее словам, трагическая, власть взяли посредственности, которые стараются ничего не пропустить. Молодое поколение старших не понимает, считает, что в 68-м году надо было как-то иначе, дипломатичней, но сами ничем не интересуются, только частной жизнью, вещами, едой, танцами. Положение русиста особенно сложно: к русским, к русской литературе отношение сейчас такое же, как к немцам после войны: в 45-м году уничтожали даже пластинки Баха и Бетховена. Не стало общественной жизни, все разобщены. Ходит по рукам хорошая литература, но, чтобы ее достать, прочесть и отвезти, нужно время, а времени не хватает. Она сейчас работает в каком-то министерстве топлива или что-то в этом роде, получает по русским деньгам 220 руб., но работа нудная, ежедневная: перевод технических текстов на русский язык. Сюда она приехала случайно на совещание в энергетический НИИ вместо заболевших или отказавшихся от поездки специалистов, ей здесь откровенно нечего делать, но она должна проводить время на совещании. И из гостиницы звонила с опаской: может быть, подслушивают, запишут и донесут, что она звонит и встречается с людьми, не имеющими отношения к служебной командировке; их предупредили, чтобы этого не делать, у нее предчувствие, что она сюда больше не попадет... Она переводила Орлова «Альтист Данилов», Искандера, «Дневник писателя» Достоевского, делала монтаж по переписке Гоголя. И однажды какой-то ее профессор принес ей вырванную из журнала мою повесть, которая ей тем более понравилась, что она угадывала кое-что из переписки... Договорилась с одним редактором перевести эту вещь для журнала «Мировая литература» (что-то вроде нашей «ИЛ»); но когда перевод был уже закончен, этому редактору вдруг надоело унижаться, что-то пробивать, и он ушел разносить письма. Новый редактор, тоже, в общем, дружески настроенный, повел себя несколько осторожней. Стали собирать обо мне сведения (ведь не был известен даже номер журнала и что это за издание; только по шрифту можно было догадаться, что это «Новый мир»; профессор тем

временем умер). Я больше нигде не появлялся, и возникло сомнение, не диссидент ли я, не эмигрировал ли и т.п. «Я уже думала, что вы на самом деле не существуете, — сказала она. — Я очень рада, что вас нашла». Первый, кто подтвердил мое существование, была Инна Лиснянская... А потом упомянула обо мне в разговоре с Натаном Эйдельманом, которого тоже переводила, он засмеялся и сразу дал мой телефон. Убедившись, что я существую и что со мной, в общем, все в порядке, она считает, что перевод все-таки когда-нибудь напечатают...

18.05.85. ...Из рабочего дневника. Провинциальная идея (способ провинциального счастья) по сути своей противостоит осознанию себя в истории, в связи с ощущением принадлежности к народу, культуре, в сравнении себя с живущими на земле другими типами людей.

Это тоже достойный размышления способ счастья, тоже мудрость: осознавать обособленное величие и бесконечность каждого момента. Для укола чувства не нужно связи с прошлым, с тысячелетней культурой; Бог в каждой капле и травинке...

Милашевичу эта вырванность из хода времени не просто близка — она необходима, чтобы оправдать свою жизнь с Шурочкой.

Ему кажется, что это совпадает с идеей революции и новой власти: устроить все окончательно — т.е. вырвать людей из хода истории и осуществить мечту религии о прекращении времени (а возможно, и русско-восточную идею).

По этой же причине его перестает интересовать *реальность*. Его не интересует мир вокруг, правда истории, правда окружающей жизни. На его фантиках фиксируются подмены, это совпадает с намерениями власти, и ему это нравится.

21.05.85. С утра немного поработал. Кажется, только сейчас мне открылась действительно серьезная идея «провинциальной философии»: это одна из возможностей устроиться в мире, близкая попытке восточных мудрецов: отключившись от исторической жизни, ценя каждое отдельное мгновение. И как всякая другая философия, она обнаруживает трагическую недостаточность, невозможность. Бог, видно, устроил мир иначе, но мой герой в каком-то смысле бросает вызов Богу... Ах, если бы на таком уровне одолеть!..

20.06.85. Не удалось поработать. Поздно встал, а потом приехали Лемпорт и Силис смотреть Галины работы. Коля подарил красивую гипсовую скульптуру, Лемпорт — рисунок (неинтересный). Очень высоко оценили Галины работы. Есть цельность, есть развитие, сила, форма, цвет. Я смотрел работы их глазами, и мне тоже это казалось серьезно. Думаю, их похвалы были искренними. «Мы бывалые люди, — сказал Силис, — мы бывали в Париже и в Афинах, там так не рисуют. Может, то, что ты ни на кого не оглядывалась, работала бескорыстно, сыграло добрую службу». «Разве на выставках такое увидишь?» Галя была ошарашена... Посидели за столом, выпили — среди прочего, «за семью, которая создает такую обстановку»...

Потом прошли с ними пешком до метро мимо акведука, они любовались плавающими утками. Задержались возле скульптуры Мухиной и др. «Требуем мира». «Такой хороший был день, и вдруг все испортили, — сказал Лемпорт. — Такой маразм!»

26.06.85. Наверно, такому, как я, меньше всего пристало писать о Борхесе. Я не читал ни одной работы о нем и ни одного комментария к нему. А он человек комментария. Ключевое слово к его творчеству — культура. Даже когда он пишет о бандитах и пиратах — речь об определенной системе знаков и ценностей, т.е. о культуре. И так называемому непосредственному впечатлению открывается лишь первый слой — остальное должно раскрыться на перекрещении ассоциаций, толкований, аналогий, комментариев. Возможно, и сказанное мной уже кем-то о нем сказано. Но именно потому впечатление человека вроде меня не лишено смысла.

25.06.85. ...Неожиданно позвонил Сидур, захотел приехать. У его Миши, оказывается, теперь есть машина. Приехал ненадолго, похоже было, что интересней всего ему было увидеть квартиру, детей. Был мил, доброжелателен. Из Галиных работ выделил самые ранние, в том числе гравюры, про другие говорил: профессионально, красиво. Последнее слово в его устах не звучало похвалой. Из обнаженных выделил те, что дальше отстояли от природы и были менее красивы...

20.07.85. *Из рабочего дневника.* Милашевич говорит, в сущности, о серьезных вещах, но таким самодельным языком (провинция, цветы, утраченный сад, волны эфира), что это трудно принимать всерьез. А это просто его способ мыслить и жить. И фантики — начальный, но серьезный способ философии, творчества, осмысления мира, овладения им.

9.08.85. *Каигири.* Месяц жизни на цыганской улице. Яркие цветастые одежды, взвинченная до крика, до истерики интонация, жестикуляция, так что даже обычный житейский разговор (впрочем, непонятный) заставляет ожидать драку, если не поножовщину. Однако каждый раз ничего не происходит; покричав, помахав руками, расходятся. (Помню, как гадалка Маня шла через всю улицу, что-то грозно крича и выставив перед собой руку с указующим перстом, как античная героиня.) Но, может, наши спокойные разговоры кажутся им такими же пресными, скучными, как наши серые (со вкусом) одежды.

13.09.85. *Из рабочего дневника.* Да, мысль высказанная (и даже подуманная) уже существует, как заряд электричества в облаках, но для того, чтобы возникла молния, нужен второй — способный услышать, прочесть, понять. Только тогда опыт, память, мысль, книга будут существовать реально. Для существования духовной ценности нужны по меньшей мере двое — создающий и воспринимающий.

14.09.85. ...Приехали Натан Эйдельман с Юлей, Ким с Рачковым... Смотрели Галины работы, причем работы этого года выглядели особенно ярко.

Я поинтересовался мнением Натана о современной ситуации. Он подошел к ней исторически:

— В ближайшие 15 лет нам надо либо совершить научно-техническую революцию (а это потребует и переустройства системы и идеологии), либо превратиться во второразрядную державу вроде Турции, бывшей империи, которую все будут бить. Я тут чувствую себя марксистом, чем горжусь: действительно существует несоответствие между производительными силами и производственными отношениями. Но есть громадное сопротивление аппарата. Что-то похожее на отмену крепостного права: вопрос этот стоял еще с середины XVIII века. Теперь достоверно можно утверждать, что все русские императоры, ну, может, кроме Павла, — и Екатерина, и Александр I, и Николай — были за отмену крепостного права, но аппарат не давал. Пока не разразилась катастрофа, поражение в Крымской войне. Поворот необходим и неизбежен, другое дело, что мы до него можем не дожить, и неизвестно, кто его осуществит, Горбачев, или Лигачев, или кто-то еще. История выбирает для своих целей иногда самую неожиданную личность. Хрущев совершенно не подходил для своей задачи — но сделал огромное дело.

Он весь вечер излучал темперамент, ум, энергию, рокотал, рассказывал анекдоты — восхищал меня...

15.09.85. *Из рабочего дневника.* Какое нам дело до истории, до умерших? Но для мистического, космического чувства нет мертвых. Раз мы в мире, через нас проходят силовые линии от других людей, живших и живущих. Мы по-настоящему служим жизни, когда это осознаем.

20.09.85. ...Читаю «Палисандрию» Саши Соколова — с недоумением. Неожиданно, как всегда, талантливо — и противно. Не пойму, какую он все-таки хочет выразить истину — о жизни, мироздании, о человеческой душе, о стране, мире, о культуре, искусстве, о самом языке, наконец? Нет, самодовлеющие упражнения, литературный онанизм. Но талант, ум, образованность — никуда не пропали. Жаль, если таков его путь...

25.09.85. Напечатал 3,5 странички. Я замечаю, что с каждой переделкой изменяется и уточняется не только сюжет и построение вещи, но моя концепция, мое мироощущение. Мне хотелось ухватить чувство жизни во всей ее полноте, не боясь абсурда, ужаса, жестокости, равнодушия бытия; но вот заметил, что упускаю гораздо более важное: любовь, доброту, красоту, сострадание. Это проявляется в эпитетах, в подборе слов, в акцентах. Сейчас выстраивается что-то действительно цельное; надо стараться не упустить ни одной грани, надо стремиться к честности и в то же время мудрости. Моя сильная сторона — в способности передать именно это неуловимое, ускользающее ощущение жизни, и найденный в этой книге тип повествования дает для этого особые возможности. Сегодня почему-то вспомнил Джойса и записал о нем: «Джойс — один из тех, кто хотел выцарапать у Бога загадку бытия. Как Прометей, как Лев Толстой, как Эйнштейн, всяк по-своему».

Для отдыха гулял по лесу и словил себя на том, что не воспринимаю красоты, погружен в свои мысли. Немного опомнился, попробовал воспользоваться советом Гессе: вдыхайте не просто воздух, но Атмана. На какой-то миг мне это удавалось, и я чувствовал, как проходит болезнь. Как редко нам дается

подлинное соприкосновение с жизнью; но в работе нужно постоянно сверять себя с ним.

Вечером с большим усилием дочитал корректуру «Насреддина». Одурел от работы.

26.09.85. Напечатал еще 3 стр. Пока работа не завершена, она видится мне все более богатой возможностями. Загадка Милашевича становится равноценной загадке жизни; Милашевич — словно Бог, сотворивший свой мир, — как и каждый человек; попытка проникнуть в него порождает это чувство неисчерпаемости мира в каждом человеке... Иногда мне мерещатся для этого очень точные слова. Как-то вечером я кратко записал для памяти мелькнувшую богатую мысль, утром сумел вспомнить по ним лишь сухую схему.

28.09.85. ...Приехал Женя Попов. Долгий, как всегда, интересный разговор с ним обо всем. О новой повести Распутина, к которой он относится резко отрицательно. Во всяком случае, как литература это плохо. Это могло бы быть публицистикой (вроде очерков Успенского), но Распутин претендует на большее, на то, чтобы ему кланялись за сказанную правду. «А какая тут правда? Это игра по правилам, установленным сверху. Спрашивать с потрясенным видом: что же происходит, кто же виноват? Как будто любой мужик в очереди этого не знает». И написано, по его словам, претенциозно, плохо... Зато ему понравилась «Палисандрия» Соколова, он видит в ней игру, доводящую до предела многие линии современной литературы. Может быть. Я сегодня вечером взял снова почитать эту книгу: игра-то есть, а что дальше?..

29.09.85. Утром пришел пакет из «Нового мира»: решили наконец вернуть «Меньшутину», сопроводив рецензией С. Отдает должное таланту автора, но ему эта повесть не по душе. (Там есть такие слова: «Талант, как известно, редкость. А талант, опирающийся на столь высокий уровень словесного мастерства, — редкость еще большая». Советует не упускать меня из виду как потенциального автора «Нового мира».) Я с интересом бы прочел его мнение о повести уже напечатанной. Но как будто он не понимает, что внутренняя рецензия — это не просто «совещательный голос», это формальный документ, повод для отказа. Можно не кривить душой и свое мнение высказать, но идею публикации поддержать. А там уже мнения могут быть самые разные. Досадно это, ведь он меня знает и вроде хорошо ко мне относится. Хотя публикации я все равно не ждал. Но ведь тут речь идет не столько о литературе, сколько о литературной жизни, возможности литературного существования (или несуществования)...

Прочел на улице стихи Вознесенского в «Правде», даже содрал их со стенда для памяти. Образчик бессовестной игры по заданным правилам. «Что-то с нашей страной становится... Интенсификация совести».

2.10.85. Еще 6 стр. Вечером заехал к Померанцам... По словам Гриши, невозможно осуществить никакую экономическую реформу без психологических, идеологических преобразований. У шаха персидского были замечательные планы реформ, но они ломали весь привычный способ мышления, каждая машина несла с собой элемент европейского, западного образа жизни, и муллы взбунтовались, и за ними пошел народ... Он и Зина дали мне почитать свои работы. Я

начал читать размышления Гриши о его полемике с Солженицыным, о связи монотеизма и психологии диаспоры, о самоощущении человека без корней и почвы, живущего в воздухе. Многие уже знакомо, но в подытоженном, обобщенном виде производит доброе впечатление. Удивительно: ему 67 лет, я познакомился с ним, когда он был немного старше меня нынешнего, вся его жизнь с тех пор прошла на моих глазах: без успеха, без публикаций, но более чем достойная. Возможно, это и моя судьба. Что ж, я к ней готов. А если бы удалось написать нынешнюю вещь хотя бы вполовину так, как она все еще видится, — большего я бы и не делал.

Вызревает возраст, когда все меньше значит успех и внешнее самоощущение, все больше значит самоосуществление внутреннее, созревание плодов мысли и души (даже если их и не удастся продать). Было бы здоровье да обеспечен хлеб насущный.

6.10.85. ...Сейчас для меня самого проявляется роль и соотношение отдельных, вначале случайных и произвольных идей, элементов. Например, смеха, юмора. Я почувствовал, что до сих пор он бывал самоценным, я сам не понимал его смысла и роли. Может быть, он искажает поверхность жизни, не давая взглянуть в глубину? (Христос не смеялся, женщине нельзя быть смешной.) Нет, ведь я чувствую, он дает взгляду высоту и может действовать целительно: он помогает сдуть поверхностную пленку, пенку, показывает, что это поверхностно, над этим можно посмеяться, подлинная глубина — под поверхностью, которую открывает смех. Надо над этим еще подумать...

Юмор — это скромность перед Господом, готовность признать, что касаешься лишь поверхности, но одновременно и высота понимания, чувство, что бездна есть, и милосердие к тем, кому заглянуть туда страшно.

9.10.85. Начал гл. 7. Трудней, чем было до сих пор. Гулял по лесу. Удивительно красивый октябрь, клены желтые, сейчас листья на земле. Читаю Ерофеева, «Русская красавица». Против ожидания, интересно. Это как в таблице Менделеева есть пустые клетки, которые должны быть заполнены: никто еще не описывал великосветскую московскую шлюху, а это существенная фигура. И литературно интересно: довольно точно выдержана ее точка зрения, ее путаный стиль. К концу стало интересно описание провинциальной дороги, разговоры на современные темы. Но который раз при чтении такого рода убеждаюсь, насколько чужда мне, неинтересна и, в сущности, несладка так называемая сладкая жизнь. А читая в таком роде многое (скажем, подряд Аксенова, последнюю вещь Саши Соколова и др.), ощущаешь аберрацию мироощущения, приходится себе напоминать, что в мире все-таки есть (как это ни покажется странным и даже наивным) любовь, честь, достоинство, чистота.

12.10.85. Остановленная шахматная позиция может восхитить хитроумной взаимосвязью, выверенной целесообразностью всех фигур: каждая поддерживает другую, защищает, перекрывает враждебные ходы. А все потому, что это сложилось в процессе направленной игры, из сцеплений, ход за ходом, которыми не ты один владел. Нарочно такое составить — попробуй.

14.10.85. Напечатал 5 стр. — результат трех дней... На ночь взял почитать книгу Рассадина о Фонвизине. Ощущение от исторического чтения о XVIII веке: интересно, но все на поверхности. Дворцовые интриги и адюльтеры, возвышения и падения, заговоры, убийства и чудачества. Любопытно, конечно, читать, сколько тысяч крестьян получил любовник императрицы, но все уровень сплетни, исторического анекдота. А была ли где-то другая жизнь, на больших глубинах духа? В России, возможно, и нет. Даже Церковь ничем не блещет.

1.11.85. ...Купил том «Дневников» Толстого, почитал в дороге. Это по-своему более значительно, чем все его произведения, — это его жизнь. И видишь несообразности, неточности мысли, но за ними главное — страстный, напряженный поиск. Дорогой несколько существенных мыслей, отчасти и на темы работы (о невозможности для развитой личности приспособляться к уровню простонародной мысли, вкуса, нравственности, о том, что упрощение мысли и идеи счастья — путь к смерти). Сейчас у меня усталая голова, завтра попробую записать это на отдельном листке. Вообще, этот мой дневник отражает лишь часть моей повседневной жизни, и не самую существенную: развитие мысли, заметки откладываются на других листках, как и работа. Интересно бы как-то все свести вместе, получилась бы картина духовной жизни, да и с подробностями мелких впечатлений. На этот раз, заканчивая работу, я не имею в виду, как обычно, работы следующей. Наверно, надо будет первым делом привести в порядок свои заметки, может быть оформить нечто вроде эссеистической книги; эта работа видится мне более простой, чем нынешняя. Да и детская сказка — долг за мной; уже и дети подросли, может быть, для внуков сделаю.

2.11.85. Вчера по пути к метро мне пришло несколько существенных, кажется, мыслей; сразу не смог записать, теперь попробую припомнить.

1. Развитие, усложнение, напряжение мысли служит жизни и удалению от смерти (но, может, и от счастья). Рецепты личного счастья могут быть просты, потребности примитивны, желания вполне растительны — но это уже уступка безразличию, энтропии. Так в моей книге Макарий, служитель смерти, довел до логического предела учение Милашевича о счастье.

2. Великие религиозные учителя провозглашали блаженство нищих духом (Христос) или созерцание (Будда), но сами они приходили к этому через такой мучительный поиск, которого не пожелали бы своим последователям, и эти последователи себе не желали.

3. Для развитой личности не может быть меркой и идеалом простонародный уровень мысли, вкуса, нравственности. (Другое дело народ как совокупность — ему нужны для устойчивости и самосохранения механизмы именно невысокого уровня.) Я задумался над этим, когда сочинял своего скомороха в «Иванах», перебирал подлинные образцы скоморошьяго фольклора — что может в этом вдохновить современного интеллектуала, очарованного Бахтиным, идеями простонародного низа и т.п.? Нельзя всерьез проникаться мудростью частушек, мудростью простонародного примитива. (К чему-то такому призывал Л. Толстой, теперь Солженицын.) Да, можно владеть какой-то простой и даже основополагающей правдой, не выезжая из своей деревни, не нуждаясь ни

в самолетах, ни в телевизорах, ни в идеях философов, ни в прекрасных книгах, ни в музыке, — разве приобретения многих веков добавили нам счастья? Но это развитие, обогащение, усложнение мысли, непрерывность духовного поиска поддерживает Замысел и служит ему, а примитивная простота, исполняя свою роль, ведет к остановке и замиранию. (Я говорю именно о примитивной простоте невозмутимо счастливых, а не о мнимой простоте святых, которая вырабатывается искусом, мучением мысли и тела, уходом из царского дома, готовностью к распятию и пр.) Я переводил для заработка мифы папуасов маринданим: можно восторгаться этой своеобразной поэзией, которая обосновывает охоту за головами и дает опору для жизни нагишом среди болот — но применять ее к себе? А это сплошь и рядом пытаются делать наши интеллектуалы применительно к нашей народной духовности.

Т.е. речь не об образованности, не об интеллекте, а о том, что перерабатывается в душе, о сложной простоте, которая дается не без, а в результате духовной работы.

4.11.85. Закончил гл. 13... И это несмотря на то, что пришлось срочно бежать в магазин, стоять в часовой очереди за праздничным заказом, потом кормить Леночку, потом вернуться к работе опять. Кажется, что-то получилось... Все эти дни — никакой усталости (тьфу-тьфу), мог бы работать и больше, если бы не домашние обстоятельства. Ни с кем не хочу видеться, никому не завидую. Было несколько звонков, среди них один курьезный: знакомый услышал, будто меня сегодня принимают на секретариате в Союз писателей. Звали на лекцию, предлагали какую-то работу — ничто меня не трогает. Зато прогулялся в лес. Я последнее время хожу по одной и той же дорожке в разную погоду, при разном освещении — как это прекрасно!

19.11.85. Ну что же: сегодня я гений? Никто мне этого пока не сказал и, возможно, не скажет, но я допечатал последнюю главу, 320 стр., 20 без малого листов. Поставил дату: 1981—1985 и написал от руки (для полноты чувств) давно задуманную поправку к гл. 1, которая сразу стала читаться вполне пристойно. Еще, конечно, потребуются много мелких доработок, вставок, переделок, но вещь существует, и надо только понять, какова она. Через несколько дней что-то станет, наверно, ясно...

Хочу сегодня еще полистать свои записи времен работы: как она мне трудно давалась, какие были кризисы, какое чувство отчаянья. (Может, мне еще и предстоят переживания с этой работой.) Но пока мне почему-то кажется: я сумел удержать высоту первоначального замысла, соединить все: детективный сюжет и философскую глубину, юмор и красоту языка, фантастику и психологизм, грубую правду жизни, пластичность и взлет поэзии. Еще есть тревога, что все это лишь авторская иллюзия, но несколько дней я могу побыть с этим чувством, с этой надеждой.

20.11.85. Ночью был сильный приступ астмы, я проснулся, наглотался супрастина и, пока немного не полегчало, читал «Русскую красавицу» Ерофеева. Утром встал не в лучшей форме... Отвез рецензию в Детгиз, получил еще книжку... Из редакции заехал к Ерофееву, отвез ему роман. Поговорили. У него

много публикаций, много предложений, особенно он горд беседой с Лосевым в № 10 «Вопросов литературы». В нем есть что-то от прирожденного критика, но сам он считает эту деятельность второстепенной, главное для него — проза. Уверенно и умно рассуждал о литературе. Современная литература для него не существует, он ее просто не читает, критика, поэзия — тоже. Без ложной скромности выделяет себя из прочей критики, лишенной вкуса и чувства стиля; с ним можно согласиться...

Проезжали с ним на машине мимо кинотеатра на Арбате, там афиша фильма «Толстой». «Вот наша культура, — сказал Ерофеев, — один к одному. Бондарчук в роли Пьера Безухова, Герасимов в роли Толстого. Но для писательства именно наша страна замечательна. В Польше не обязательно писать, там пар через рот выходит. А на Западе вообще через что угодно. Я завел видео, смотрел американский фильм про гомосексуалистов. Это ужас, не понимаю, почему наши власти этого не показывают».

Он был доволен встречей: «Хорошо пообщались». Мне было тоже интересно. Он серьезно и энергично мыслит, я и к вкусу его отношусь серьезней, чем к прозе. Но я представил себе диапазон вкусов нескольких людей, мнение которых мне интересно: они бы редко в чем совпали и друг другу не всегда бы понравились. Тут нет одной истины, каждый разрабатывает лишь какую-то возможность истины; и я в том числе.

21.11.85. ...Вечером по радио слушал выступление Б. Хазанова, он участвовал в симпозиуме об эмиграции. Говорил умно и достойно. Мне понравилась приведенная им цитата из Мультиатули: «Heimweh ist besser als Holland» («Тоска по родине лучше, чем Голландия»). В собственном выступлении он развивал мысль, что эмигрант продолжает жить в своем родном языке, в нем его связь с родиной.

5.12.85. Утром неожиданно пришел договор из «Сов. писателя» и одновременно договор из «Прогресса» на Гессе... Сразу, конечно, поднялось настроение и дышать стало легче в буквальном смысле...

7.12.85. Переводил Гессе, гулял с Белкой по лесу. Тает, дождь. У Гессе в «Письме обывателю» есть пассаж о нежелании смотреть на «мерзости и свинство» жизни (автор зол на спутника, который показывает ему злчные места). По нынешним понятиям, это чистоплюйство. Как можно в таком случае знать реальную жизнь? Но у Гессе другая задача и служба, его не реальность интересовала, а некие духовные ценности, которые надо культивировать независимо от реальности.

9.12.85. С утра полистал напоследок свою работу, потом отвез в редакцию рецензию, сделал в библиотеке обзор и вечером заехал к Померанцу. Он отвел меня к машинистке, верней, машинисту: бородатый молодой человек с образованием программиста, симпатичный, интеллигентный, «свой»; обещал сделать работу к Новому году...

Рассказ Зины о своем отце, который стал коммунистом после того, как турки в городе устроили резню армян. У Гриши ощущение перед катастрофой; разговор о том, что надо и ее принять. Я возражал: то, что мы делаем — это все-

таки сопротивление гибели. Конкретные его мысли: если ввести разумную экономику и уволить миллионы алкоголиков на 50-рублевое государственное пособие, они начнут грабить и убивать на дорогах; отличие от Китая в том, что у нас после 60 лет гораздо меньше осталось людей, способных работать. По наблюдениям С. В. Каллистратовой, зажим сейчас такой же, как прежде. Готовятся еще три процесса, среди них — Феликса Светова... Политическая активность частных людей сейчас, пожалуй, не имеет смысла; нет надежды... Грише кажется, что в политике предстоит зажим, ухудшение. Дал почитать новые главы своей книги с рассуждениями о «скорой помощи» и «помощи медленной» (революция — попытка скорой помощи, Солженицын ищет скорой помощи; важнее медленная; мне эти термины кажутся более уместными на примерах частной жизни). Подарил фотографию.

10.12.85. ...Позвонил Попову, высказал свои впечатления о его рассказах. Такие вещи надо говорить, критики у нас нет...

18.12.85. Пришла «Лит. газета» с выступлениями на писательском съезде. Муторное ощущение. Мир условных, низкопробных ценностей; из сцепления этих условностей, недомолвок рождается целая концепция, где все как в настоящей литературе: проблемы, критика, дискуссии; только сопоставление с реальностью обнаруживает ее мнимость. «Когда же появится драматург, подобный Вампилову?» — восклицает, например, Белов, как будто не знает о пьесах Петрушевской, которые не печатаются, не ставятся, о многих других, как будто не знает, почему это не печатается, не ставится. «Надо еще разобраться, почему сложилось такое положение», — восклицает кто-то другой, говоря о засилье бездарностей, о переизданиях книг, которых никто не покупает. Как будто тут надо разбираться, как будто не ясно и так, что и почему. И призывают к правде — сами правды не произносятся. Не говорю уж о совсем низкопробных, которым и сказать нечего. Да еще слог каков! Какова претензия на гениальность — у Бондарева, например. Неужели кто-то может это читать всерьез? Ну разве что сказали слово против поворота северных рек на юг — может быть, и впрямь помогут приостановить это варварство; да ведь и говорят потому, что уже разрешили. Поболтали, разошлись, а что осталось? Чувство мути. Впрочем, что производит впечатление, так это перечень разных литфондовских благ, которые даются писателям.

31.12.85. Не работал. Чтобы разогнать беспричинную хандру, сходил на лыжах в лес — км. 18, до окружной автомобильной дороги, по прекрасной лыжне, солнце ярко светило. Потом принял душ и съездил к родителям... Новый год встречаем, как всегда, семьей.

Грех жаловаться, год Коровы был действительно мой: закончил книгу (хотя не знаю, что из нее вышло), получил от издательства договор и даже деньги (хотя не знаю, вошла ли книга в план), материальное положение, как никогда, обещает быть безбедным (хотя и выплаты этого года перенесли на будущий). Хорошо бы год Тигра подтвердил начатое в этом.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Детские разговоры

Я записывал разные словечки в разные годы сначала за первым ребенком, потом за вторым, теперь вот и за третьим.

Леночка рисует произвольные линии, а потом определяет, что нарисовалось — неожиданно и очень точно.

— Это пеликан такой смешной в ботинке.

— А это крокодил проглотил баранки (внутри несколько кружочков).

13.01.82

Стихи:

— У меня болят бока,

И живот, и каблука.

16.05.82

— Это меня микробы покусали, — объясняет со знанием дела свою болезнь.

7.06.82

Показывает мне каменную лестницу:

— А там, под ней, заморская страна.

— Что такое заморская страна?

— Ну, страна, где живут заморцы.

4.08.82

Подняла сорванный цветок:

— Бедный цветочек, он ведь живой. Он увял — как мы умрем, правда? Умрем, а потом вырастем снова, как цветочки.

— Мама, мы родились и умрем, а ты ведь всегда была. Ты же нас всех родила. Разве нас Леша родил? Нет. Разве нас Таня родила?.. А если мы умрем, рыбки ведь будут жить и никогда не умрут?

23.08.82

— Это было давно, когда никто еще не родился, и небо еще не родилось, и дорогу еще не построили. Ничего еще не было, только пустой квадратик.

30.10.82

Лена рисует принцесс: фигура на одной стороне, а на обороте фата.

— Это принцесса злая.

— Почему?

— Видишь, она смеется. А эта добрая.

— Почему же она плачет?

— Потому что ее обижают. Видишь, у нее слезы, целая лужа. А это (рисует на другом листе) еще одна лужа, она раньше наплакала, видишь, какая большая (в целый лист)?

25.12.82

Всегда прав ребенок, без сомнения рисующий свой мир, каким он его видит. Неправота начинается с сомнений, что твой мир не похож на мир, который рисуют другие, более умелые.

Величие и прелесть детского взгляда на мир — в его искренней двойственности. Дети, в общем-то, с какого-то возраста знают, что чудес, волшебников, Дедов Морозов, говорящих зверей не бывает, что взрослые поддаются им понарошку, что их самодельные машины не поедут, — но какой-то частью души всегда всерьез допускают возможность, что это может случиться, всегда ждут этого.

19.04.81

Я читаю уже третьему ребенку стихи Чуковского, к которым привык с детства как к чему-то само собой разумеющемуся — вроде неба, деревьев, цветов. Но только сейчас, взрослому, мне открывается головокружительная их смелость.

Маленькие дети,
Ни за что на свете
Не ходите в Африку, в Африку гулять.

Как просто! Гениально просто.

В Африке акулы,
В Африке гориллы...
Будут вас кусать,
Бить и обижать...

Как просто: бить и обижать!

Но папочка и мамочка уснули вечером,
А Танечка и Ванечка в Африку тайком.

Это код, модель всякой тайны, запрета и нарушения, это квинтэссенция сказочной простоты.

4.08.80

Есть писатели, в произведениях которых нет детей. Это обычно люди, которые не вспоминают своего детства и у которых нет детей. Гоголь, например. Булгаков. Любопытно бы исследовать эту тему: бездетная литература.

Впрочем, до XIX века дети вообще оставались как бы вне литературы.

1986

7.01.86. Занимался переводом. Позвонил в издательство: из плана 87-го года меня все-таки вычеркнули...

Успел еще сходить на лыжах. Вечером гости... Привезли посмотреть журнал «А-Я»... Интересные работы Пригова, рассказы Сорокина... Существующие ценности, прежде всего литературные, достойны только осмеяния; после рассказов Сорокина «серьезная» литература воспринимается пародийно. Но каких-то ценностей взамен дезавуированных все-таки не создается. Эти люди теперь образуют нечто вроде течения, влияют друг на друга, им кажется, что в жизни только это и есть...

Впервые прочел Лимонова — это чистая мерзость. Но едва ли не показательней, чем он сам, хвалебные статьи о нем француженок в парижской прессе. Им это нравится: откровенный цинизм, скотство, искусство как средство заработка и карьеры, восхищение богатством — мир без любви, без красоты, без Бога. Это многое объясняет — вплоть до готовности к террору (например, вместе с палестинцами). Сейчас стало ясно, что на Западе не было другого положительного идеала, кроме нашего, — нашего социализма. Когда перестали понимать, что это такое, когда увидели, чем обернулась эта идея в нашей реальности, осталась пустота; а Бог всерьез уже не вернется. Их мерзость тоже достаточно отвратительна...

Вечером позвонил мой машинист: рукопись готова.

9.01.86. Весь день читаю свой роман. Впечатления никакого, только исправляю опечатки...

20.02.86. Занимался переводом, ходил по магазинам, пробежался на лыжах. Вечером в Гослите слушал рассказы Вити Ерофеева. В сравнении с ним я выгляжу скромным традиционалистом, даже странно, что меня могли упрекать в пристрастии к жестокости, натурализму и пр. Интересная проза, не рассчитанная на катарсис. Чтобы она не оставляла тягостного чувства, надо относиться к ней не совсем всерьез.

24.02.86. ...Утром неожиданный визит Померанца: ему захотелось продолжить разговор о романе. Я был тронут: в 67 лет вдруг сорваться и приехать ко мне поговорить. Правда, надежда моя, что он перечел роман, не оправдалась; он говорил примерно то же, что по телефону: ни один мой герой не нашел пути к высокой жизни, которая возможна даже в наших условиях, даже в провинции. Он подтверждал это рассказами о своих многочисленных корреспондентах из разных городов и даже прочел большое, очень умное письмо одной несчастной и незаурядной женщины, которая в духовном одиночестве напряженно ищет чего-то, к чему-то пробивается. Я с ним не спорил, но поставил вопрос: когда кажется, что находишь что-то, не окорачиваешь ли свой поиск истины, не останавливаешься ли перед каким-то дальнейшим шагом — возможно, в

бездну? Моему Сиверсу не позволяла остановиться гротескная болезнь... впрочем, не о том речь. Я пытался показать, что приближение к высокому постижению жизни у меня происходит на разных уровнях, не в образах и не в судьбах героев, а во вспышках, иногда в строке, иногда в словечке, брошенном мимоходом, во всей ткани. Между прочим, саму идею фантиков он оценил и даже воспринял довольно близко. В любом случае я был очень тронут этой заинтересованностью...

17.03.86. Где-то я читал такую притчу. Волшебник предлагает человеку на выбор мудрость или любовь. «Но разве возможна мудрость без любви?» — удивляется человек. «Я вижу, ты в моих дарах не нуждаешься», — признал волшебник и исчез.

Ничего, а?

Впрочем, я этой притчи, кажется, не читал. Сам вдруг придумал. Пока вы этого не знали, небось думали: а ведь мудро!

6.04.86. ...Вечером позвонила Светлана Иванова, я поехал к ним беседовать о своей книге. Оба на удивление абсолютно ее не восприняли (соответственно и не приняли)... Кома увидел здесь больше всего демонстрацию разных литературных возможностей — и с этой точки зрения отдал мне должное, даже сказал, что я «завершаю литературу XX века», но не понял главного: зачем все-таки этот прием фантиков, что означает провинция и провинциальная философия. «Мне не хватает еще одной главы, где мне показали бы все происшедшее связано, изнутри главного героя». Многие частные и общие претензии были связаны с реалистичностью обоснований: такова ли роль провинции в нашей истории? (Как будто здесь речь просто о реальной провинции, а не о некоем духовном измерении.) И т. п.

9.04.86. Сегодня я получил компенсацию за огорчения прежних дней: Натан Эйдельман прочел меня три раза и сказал, что хотел бы иметь эту книгу при себе постоянно. «Неловко говорить такие слова, но это великая книга. Здесь чувство, что все, о чем мы говорим, спорим, все наши сплетни, житейские обстоятельства — все это так, между прочим. Но есть бытие. У нас быт становится бытием — замечательно сказано! Много замечательных подробностей: и этот билет на две минуты прослушивания радио, и этот Карл... — да много чего. Но главное — ощущение тайны жизни. Я ловлю себя на том, что иногда в какой-то момент вдруг вспоминаю твои фантики. Цветы, травы... или вот, не сажусь в троллейбус, а иду пешком. Нет, даже бывает страшно: как будто ты что-то про меня знаешь, с тобой надо осторожней. Нет, серьезно, даже странно, что я с тобой так запросто сижу. Я не знаю, с чем сравнить это в литературе».

Ну не бальзам ли? И много подробностей по делу, с чувством этой самой многомерности вещи, ее существования на разных уровнях, которого другие не замечали. Так что я вздохнул не без облегчения: значит, это было не просто мое желание, замысел, мне это не почудилось, это присутствует в тексте и отсюда вычитано. Наиболее существенное замечание: «Иногда мне, читателю, не хватает здесь простого черного хлеба, какой-то простой ясности. Утомительно все время напрягаться, что-то ускользает. Между прочим, я не исключаю, что при

каких-то условиях, с каким-то хитрым предисловием это даже могло бы быть напечатано. Но я не уверен, что это будет пользоваться большим успехом. То есть возможна какая-то видимость моды, но настоящее понимание дастся немногим...»

Дело не просто в похвале, немного отлегло. Вот ведь, прочел же человек три раза и хотел бы еще. Только об этом я мечтал: чтобы кто-то прочел больше одного раза и тогда судил. Сегодня утром я уже приготовился записать в этот дневник слова разочарования, сформулированные в письме к Коле. Очень редко чувствую, что воспринята многомерность, многозначность проблематики... Конечно, гениев современники не понимают, но отсюда не следует, что непонятость — признак гения; может, понимать-то и нечего. Нет, все-таки, надеюсь, есть.

«Еще об ощущении, которое оставляет книга: вопреки всем ужасам, которые там есть, нет чувства безнадежности, жить все-таки хочется. Вспоминается фраза Фолкнера: “Бедные мы сукины дети”. Меня обрадовало, что Натан вспомнил эту фразу: я тоже ее очень люблю и часто вспоминал во время работы: она иногда была моральным камертоном.

Поговорили и на общие темы. Натан все-таки чего-то ждет от нынешнего развития. Что-то меняется, медленно, постепенно. «А кроме того, я, как ни странно, верю в исторические аналогии. Я вижу несомненно, что при жизни одного поколения (т. е. каждые 20—30 лет, между рождением у отца сына) всегда случается какое-то историческое событие. Последнее было в 56-м году, приходит время. Сейчас какой-то упадок, усталость. Не случайно же нет ни одного значительного писателя моложе 40 лет». — «Может, мы просто не знаем?» — сказал я. «Нет. Высоцкого тоже не печатали, но его знали... И у меня постоянная аналогия с эпохой падения Римской империи. Я как-то занимался временем между IV и VI веками нашей эры. В IV веке в Риме было 3 миллиона жителей, город процветал. В VI веке жителей стало всего 30 тысяч, они еле влачили существование. Их никто не убивал, они сами умирали от голода, от неприспособленности к жизни. Другая цивилизация, другой язык, другая культура. Сейчас я вижу что-то похожее, и завистливые варвары вокруг».

Потом он уехал читать лекцию о Булгарине.

11.04.86. Альфред Адлер: «Процесс компенсации, глубоко лежащий в основе всей человеческой жизни, — творческая сила. Она создала человеческую культуру как средство сохранения человеческого рода».

В каком смысле культура есть средство сохранения человеческого рода? Для сохранения волчьего или другого животного рода она вроде бы не нужна. (Есть биологические, еще не культурные механизмы, предупреждающие взаимоистребление, вырождение и пр.)

13.04.86. С новым интересом перечитывал много раз уже читанные главы Музиля о «сверхлитераторе». Они открылись новой стороной. В сущности, он хотел бы, чтобы человек был только личностью и заботился только об «отношениях с Богом», но не о социальной роли. Это невозможно, и даже не уверен, что

это правильно, но это то, чего я все время хотел, осознанно или неосознанно, и на чем все время терплю крушение...

Уже можно подвести первые итоги восприятия романа... На успех рассчитывать не приходится. Надо опять готовиться к очередному преодолению судьбы, не теряя себя, без всякого искательства, со всей возможной свободой, доброжелательностью и бескорыстием. Благо денежные дела обещают на ближайшие годы быть хорошими, как никогда.

29.04.86. Решил съездить в Переславль-Залесский... Бродил четыре часа, постепенно проникаясь чувством родственного узнавания. Конечно, Спасо-Преображенский собор XII века заслуживает всех восторгов, и монастыри, и церкви, но я с особым чувством всматривался в деревянные домишки на берегу реки Трубуж. На мостике через реку ловят плотву, при мне каждую минуту клевало, смолят и красят лодки, женщины полощут на плотах белье...

В электричке женщина убежденно объясняет своему спутнику: «Да как же этого не понимать? С чего все началось? С начала начал, то есть с Бога. Без этого ничего не понять. Ты только делай на своем месте все правильно, не воруй, никого не обижай, всем делай хорошо». — «И врагам?» — усмехнулся спутник, простоватого вида парень. «И врагам», — сказала она с убежденной улыбкой...

В газете скупое сообщение об атомной аварии в Чернобыле.

18.05.86. Уже который год на опушке нашего леса, у самой железной дороги поет в мае прекрасный соловей. В промежутке между громыханием электричек можно услышать его трели и щелканье. Почему он не покинет эти места, непригодные для пения? Очень человеческий вопрос...

21.05.86. ...Как-то я просматривал свои заметки о современности 5—10-летней давности. Конечно, они сейчас становятся общими местами. Но за последнюю четверть века сформировалось целое новое поколение, воспитанное на вялости, равнодушии, апатии, цинизме, коррупции. Анахроничными выглядят представления о гражданских добродетелях, самоотверженности. Есть прекрасные люди, но как их выявить?

1.06.86. Поехал с Таней на вечер Самойлова. Давид был в прекрасной форме, сверх ожиданий, читал новые стихи, которые я уже знал по журналам. Читал прекрасно, и зал принимал хорошо, но я воспринимал лишь отдельные удачные строки да общую музыку... Разве дело в уровне нынешних стихов? Это лишь раздел в общей, уже несомненно существующей книге большого поэта. Зал был не полон, и на подходе к ЦДЛ не спрашивали билеты, как бывало обычно, даже предлагали. Не знаю, может, это связано с летним воскресным днем...

7.06.86. ...Съездил на дачу к Померанцу. Сразу возник разговор о высоких духовных премудростях, который мне обычно трудно поддерживать. Но на этот раз было интересно и полезно для души как напоминание о чем-то существенном, на чем в последнее время не удастся сосредоточиться. К ним, судя по рассказам, последние годы тянутся люди между 30—40 годами, приходят с вопросами, с духовным поиском... Зина говорит, употребляя слова «бесконечность», «благодать», «свет» и т.п. Разговор о роли внешних впечатлений для вну-

тренного чувства. Обязательно ли это должно быть прекрасное дерево, море или величественный закат? А может быть, тюремная стена? Консервная банка? Что угодно. С Гришей мы быстрее понимали друг друга.

11.06.86. ...Приезжал Кнабе, привез мою рукопись... Изменений в культурной и цензурной политике он не предвидит. Когда какие-то сотрудники экономического института, приняв всерьез разговоры о повороте к новому, попробовали предъявить для публикации свои лежавшие без движения работы, цензор сказал: «У меня инструкции остались неизменными; как закрывал я эти темы раньше, так закрою сейчас...» Обменялись впечатлениями о вечере Самойлова. Он считает, что выбор «залива» обернулся для его поэзии утратой связи с развивающейся жизнью. Ему не понравилась его манера держаться перед публикой. «Он не заметил, что в зале уже другой народ, более молодой, другой социологический и антропологический тип; он разговаривать с ними не захотел».

27.06.86. ...Позвонила Юля: умер Дима Сидур, похороны завтра. Я разговаривал с ним во вторник. Для меня это тяжелая потеря, которую я, как обычно, осознаю вполне лишь потом. Последние два года мы почти не виделись из-за его болезни. Но с ним многое связано.

28.06.86. Похороны Сидура. Ему стало хуже вскоре после того, как я говорил с ним по телефону, вечером 24-го. Ночью его отвезли в больницу, были некоторые улучшения, ухудшения, но вечером 26-го произошла остановка сердца...

В доме я еще раз внимательно посмотрел его работы. Это огромное явление. Кое-что было новое, например «мягкие скульптуры», которые шила по Диминым эскизам какая-то художница-костюмерша, бумажный «Автопортрет» по мотивам рисунка, подвешенный под потолком... Говорил Илья Кабаков. Он сравнивал Сидура с Муром, Липшицем, Джакометти, Архипенко и назвал квартиру, где мы сидели, «мемориальной»...

Дима был очень красив в гробу, мало изменился.

2.07.86. ...Читал в «Лит. газете» сокращенную стенограмму писательского съезда. Смешанное чувство бессмысленности, стыда — и тайной надежды. Все знают, что к чему и что почему, и выискивают способы, как бы сказать нечто близкое к правде, не подвергая себя опасности. При этом какие-то результаты возможны: будут продвинуты какие-то конкретные книги, переменятся чьи-то конкретные судьбы (может быть, и моя в том числе) — это уже немало... Беда в том, что наиболее умные, честные и достойные не имеют доступа к трибуне — по условию; а еще большая беда — что они, возможно, даже вовсе не самоосуществились из отвращения к порядку вещей, цену которого знают лучше других. Наверняка из стенограммы оказались еще выпущены наиболее пикантные и острые подробности. Но мы уже пережили период таких полусмелых речей и полунадежд. Люди, которые остаются у руля, гарантируют, что существенных перемен не будет.

8.07.86. *Красноярск*. Бродил по берегу речки Качи. Остатки старинных красноярских трущоб. Домишки с окнами, вросшими в землю, ставни с железными шкворнями, которые продеваются в специальные дыры в рамах внутрь дома,

закрывая ставни на засов. Мутная вонючая вода. Испитые лица, мятые пиджаки, запах туалетов, пивных ларьков. На рынке колбаса 10 руб. кг.

23.07.86. *Дивногорск*. В ожидании автобуса разговорился с геологом, который в разгар сезона получил неожиданный отпуск. (Все приборы именно в это горячее время переводились на одну частоту, некоторые работы приостановились, он поехал рыбачить...) Говорил о гибнущей природе. Он исходил всю страну, и всюду — вырубленная тайга (в одном месте лежат штабеля, срубленные еще в 1942 году, — вывезти их нет никакой возможности), оголенные склоны, заболоченные реки, больная рыба; больны даже медведи, их мяса нельзя есть: появилась таинственная «медвежья болезнь», от которой разлагается кровь.

11.08.86. *Шумиха*. Вернулся из путешествия по реке Мане... Наши спутники, люди между 40—50 годами, напомнили мне туристическую юность: те же шутки о завхозе, которого бьют галошами за скупость и за щедрость, те же рассказы о перевернутых байдарках и плотках, о ночевках в 50-градусный мороз и т.п. Та же атмосфера: песни у костра, сушатся сырые вещи. Только на гитаре играл не кто-нибудь, а Юлик Ким, и среди рассказов были очень серьезные: как разгребали погибших под лавиной и пр.

24.08.86. Увидел птичку с желтым пятном на крыльях, с красным зобом. Как она называется? Господи, да это же щегол! Тот самый, о котором стихи: «Хвостик лодкой, перья черно-желты, ниже клюва в краску влит». О котором рассказы и басни. Теперь ты его видишь — не просто птичку, а щегла, воспетого поэтом:

Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Совместившись с именем, птица становится чем-то большим, чем была только что, безымянная. Имя обретает плоть; дух, соединившись с реальностью, обрывает богатством смыслов.

24.09.86. *Поезд Москва—Прага*. Ужасно не то, что всего приходится ждать, ужасно то, что все рано или поздно приходит. Даже смерть.

29.09.86. *Прага*. Не успеваю записывать последовательные впечатления этих дней. Гуляли по городу. Богатство всех стилей, чувство преемственной культуры. Впечатления от вида витрин, прилавков, особенно мясных, кондитерских магазинов, обуви, одежды. Я думаю, члены правящей касты, которые ездят на Запад и интересуются вещами, должны в душе ненавидеть и презирать свою страну — и в то же время зубами держаться за свою власть, свои привилегии.

(Поправка для себя: если бы я жил здесь постоянно, я покупал бы так же мало и имел бы так же мало возможностей, как мои друзья, живущие здесь. Не хватало бы денег, и нельзя на этом сосредотачиваться. Но приятно чувство этой свободы: если очень нужно, ты сможешь купить...)

В воскресенье с Милушей в гуситскую церковь. Она встроена в обычный жилой дом, ее можно узнать лишь по изображению чаши на фронтоне... Это

единственная церковь, где могут служить женщины. Мы сидели наверху возле органа, пел муж священницы. Оба знакомые Милуши... Красивая литургия: восстановленные старинные гуситские песнопения, строгие, простые слова (я следил по молитвеннику и многое понимал)... Странное чувство, когда входит в черном облачении с белой лентой женщина в элегантных туфельках с короткой стрижкой... Не выходя из церкви, мы поднялись на лифте в квартиру Михлеровых. Священница была уже в плиссированной юбке и кофточке. Михлер курил трубку, угостил меня вкусной вишневой настойкой. Обсуждали, что мне еще посмотреть в Праге и Чехии, куда съездить...

Вечер у актрисы и писательницы Зузанны Кочовой, вдовы Буриана. (С балкона великолепный вид на Градчаны.) Сюда по понедельникам собирается молодежь и старики. Заинтересованно и жадно расспрашивали меня о положении в Сов. Союзе. Когда я сказал, что оно пока неясно и все может измениться, закивали головами: мы тоже так думаем; мы бы хотели надеяться. Потом Милуша сказала мне, что обо мне очень расспрашивали, я произвел впечатление. Одна женщина, вдова замечательного писателя Тополя, сказала, что впервые готова изменить свое мнение о русских. В этом кругу все еще живут «после землетрясения», чувством катастрофы, поражения.

Я несколько раз спрашивал: есть ли молодые интересные писатели, которые пишут в стол? Сначала отвечали, что есть, потом в разговоре приходили к выводу, что они пишут плохо, что они их не очень знают. Почти никто после 68-го года не пишет. Надо жить, зарабатывать, всех прогнали со старых мест... Во всяком случае, современным чешским самиздатом они даже не интересуются.

30.09.86. *Прага*. Милуша с балкона показала человека, мывшего магазинную витрину щеткой на длинной палке: это бывший корреспондент чешского радио в Москве Лубош Добровски. Его прогнали со всех работ, зарабатывает на жизнь этим.

Поездка в Терезин...

1.10.86. *Прага*. ...Проф. Дрозда (у которого отец погиб в Терезине) рассказывал про свою семью. Бабушка была чешкой, дед немец, некоторые из детей стали яркими нацистами, были потом выселены; бабушка тоже уехала. Говорил об отношении к немцам: когда-то главная неприязнь была направлена против них — во имя самостоятельной чешской культуры. «И вот всех немцев из Чехии погнали — и мы остались одни со словаками и русскими». При этих словах собеседники рассмеялись. Со словаками сложные счеты. (Я заметил, тут обычно говорят не «Чехословакия», а «Чехия».) «Они всегда нас предавали, и во время оккупации (когда Чехия перестала существовать, они образовали самостоятельное государство), и в 1968-м («опоздали» на съезд партии)». Поэтому сейчас некоторая ностальгия по немцам и подчеркнуто хорошее к ним отношение; ощутили, что немецкой культуры теперь не хватает. Здесь все было переплетено; немцы не были завоевателями, их приглашали.

Анекдот о чешском отношении к антисемитизму. Советский дирижер в разговоре с чешским оспаривает, что у нас есть антисемитизм. «Вот у меня в оркестре 35 евреев, а у вас сколько?» — «А я не знаю». Это было рассказано по по-

воду интервью Горбачева о «еврейском вопросе» в Сов. Союзе: у нас столько-то евреев занимается наукой, столько-то процентов в искусстве и т.п. Вот лучшее доказательство.

Как всегда, живо интересовались возможностью перемен. Понимание ситуации полное.

Бывшая студентка на «ты» со своим бывшим профессором.

8.10.86. *Прага.* Утром за мной зашел Карел Штиндл, и мы поехали на Белу Гору, к монастырю Св. Маркеты (Маргариты), где похоронен проф. Ян Паточка... По пути Карел развивал дальше чешские представления о демократии. По словам одного чешского историка, демократия — это такой строй, который обеспечивает права меньшинства и одиночки. Обычно считается, что государство должно заботиться прежде всего о большинстве, но нужна демократия, которая заботилась бы о меньшинстве...

12.10.86. *Прага.* ...Вечером за мной пришел Карел Штиндл, мы пошли к его друзьям по журналу «Тварж»: Эмиль Мандлер, бывший директор издательства «Горизонт», и Богуслав Долежал; сейчас все трое — программисты. Расспрашивали меня о ситуации в Сов. Союзе, излагали свои представления. Они разрабатывали свою политическую концепцию, исходя из положения, что в Сов. Союзе ничего измениться не может; то, что перемены все-таки происходят, вселяет в них оптимизм. Основное их положение: надо исходить из реальности, добиваться улучшений в рамках существующей системы, начиная перемены с себя. Разработка концепции, сказали они, дело долгое. Когда же я спросил, что они считают возможным сделать практически, сейчас, Мандлер мне ответил с улыбкой умного еврея: ждать. Ждать, думать, готовить предложения, по возможности распространять свои взгляды. Нас очень мало, сказали они. При этом непонятно, с кем они говорят и каким образом могут распространять свои взгляды. Публикации на Западе они отвергают из принципиальных соображений, потому что это уже оппозиционная деятельность, а они не хотят быть оппозицией. Радикальная оппозиция с ними разговаривать не желает — для нее они коллаборанты. Реально речь идет о разговорах в узком кругу и о нескольких машинописных экземплярах своих работ. Показали мне свой журнал «Тварж» выпуска 64—65 и 68—69-го годов. — журнал, дважды запрещенный... Исходя из собственного опыта, они считают, что, если даже разговоры и публикации, которые можно наблюдать в Сов. Союзе, продолжатся еще два года, это может привести к необратимым переменам, к разложению правящих институтов. («У нас тоже так было».) В сущности, им, как я мог понять, нравится то, что делает Горбачев: медленные осторожные перемены в рамках существующей системы.

Меня удивили слова, которые сказал мне Карел, прощаясь: «Вы первый человек из Сов. Союза, с которым мы говорили за последние 18 лет». Мне это показалось странно, но Милуша и Ладя подтвердили: советские писатели и русисты, которые приезжают по своим делам официально, общаются в очень строгих рамках; да большинство из них такого рода, что с ними никто и не хочет говорить. То же относится к советским специалистам. Туристы привязаны к

своим группам и маршрутам. Я действительно в каком-то смысле исключение и Чехию увидел, как ее увидели немногие.

Церковный анекдот, который пересказала мне Милуша (а ей его рассказал ее профессор, к которому она обратилась в невыносимо трудную минуту). Один человек нес крест и возроптал: «Господи, почему ты дал мне такой тяжелый крест? Нельзя ли полегче?» Бог услышал его молитву и сжалился. «Хорошо, — сказал он, — вот тут у меня все кресты, иди выбирай сам, какой тебе кажется полегче». Человек пошел и стал примерять разные кресты. Этот слишком тяжелый, тот неудобный. Перебирал, перебирал, наконец остановился на одном, который показался приемлемей других, и показал его Богу: «Я хочу этот». — «Это и есть твой крест», — сказал Бог.

14.10.86. *Поезд Прага—Москва*. Утром собрали чемоданы и поехали в Крайу на могилу Ярослава Сейферта... Посидели потом на скамейке возле кладбища, Милуша стала читать мне стихи Сейферта, а я следил по книге и многое понимал; но даже когда не знал отдельных слов, не спрашивал (кое-что Милуша сама объясняла) — я слышал музыку, и эта музыка была удивительно чистая, настоящая. Я ощутил прекрасного чистого поэта, писавшего о женщине и любви в годы фашистской оккупации.

15.10.86. *Брест*. После почти незаметной границы между Чехословакией и Польшей странное чувство при пересечении советской границы: вскопанная полоса за колючей проволокой, вдоль полосы отряд пограничников; пограничники с фонариком заглядывают в багажные полки, в ящики под вагоном. Как будто въезжаем в лагерную зону. И огромный плакат-констатация: «Советский народ строит коммунизм». (Кстати, в Варшаве, вообще Польше я почти не видел плакатов. Зато надписи на стенах, одна показалась антисемитской.) На перроне шеренга стриженных новобранцев — как арестанты; против них провожающие женщины. Я радуюсь возвращению домой, к семье, но не на родину.

29.10.86. ...Вдруг подумал: как странно, что я оказался историческим писателем. Все началось с интереса к вечным темам, которые потом привязались к месту и времени в истории. В сущности, я всегда был далек от исторического мироощущения, меня скорее интересует мироощущение мифическое...

3.11.86. ...Заехал к Фазилу Искандеру. К нам вбежал очаровательный мальш, представился: «Меня зовут Сандро Искандер, а тебя?» Скоро 4 года. Фазиль очень оптимистично смотрит на ситуацию: это надолго, а может быть, навсегда — если не будет какого-то переворота. Горбачев хотя и не овладел контрольным пакетом акций, но держится твердо, и намерения у него серьезные...

14.11.86. Продолжается бурная светская жизнь, уже немного утомительная... Вечером с Милушей и Галей зашли к Эйдельману. У него, как всегда, куча информации... Прочел свою переписку с Астафьевым: это ужасней, чем я мог судить по пересказам...

Повторил рассуждение об исторических аналогиях. В Риме за два века, с III по V, совершенно сменилась культура: никто не помнил римских богов, римских поэтов, скульпторов. Только через тысячу лет началось Возрождение. Воз-

можно, нам предстоит то же: через 100 лет просто сменятся культурные ценности, никого не будут интересовать ни мы, ни Пушкин. Будет какая-то другая культура. А через 1000 лет наступит Возрождение. О прогрессе: «В XVIII веке считалось, что, когда больше половины человечества станет грамотной, наступит вообще благоденствие. Я не поленился узнать, когда количество грамотных в мире перевалило за 51%. Это случилось в 1952—1954 годах. А благоденствия что-то не видать».

Пересказал интересную притчу старика Ермолинского, друга Булгакова, умершего 84 лет: «У меня всю жизнь такое чувство: сначала я сижу в какой-то щели, затаившись. Потом мне говорят: беги — и я бегу. Потом опять прячусь в щель. И опять куда-то бегу. Вопрос только в том, что было настоящей жизнью: когда я сидел в щели или когда бежал?»

Сейчас, пожалуй, мы пока в щели.

16.11.86. Темп моей светской жизни становится все более бурный, не успеваю даже записывать каждый день... Сегодня с Женей Поповым, Милушей и Карелом Прашеком заехали в мастерскую Бориса Мессерера... Я весь день наблюдал Беллу Ахмадулину в домашней обстановке: в валенках (потом в унтах), в черном брючном костюме. Очаровательная, странная, уже с морщинками у губ, живая, доброжелательная, без конца щебечущая... Причем дело не в том, умные вещи она говорит или нет, а в том, что за всеми разговорами и речами что-то есть, даже если не знать ее стихов, и независимо от того, как к ним относиться. Почти ни одна мысль, ни одна фраза не доводится до конца, все время перекакивает с темы на тему, возбужденная, артистичная, помогая себе мимикой, жестиком, жестиком. Но при этом вдруг вырвутся вещи замечательные. Например, восторгалась книгой Волгина о Достоевском и рассказала о своей догадке: может быть, в истории Ивана Карамазова, который оставил Смердякова убивать отца, сделав вид, что ничего об этом не знает, отразилась коллизия Александра I и его отца Павла? Она сообщила об этой догадке Волгину, тот даже подскокил: как вы догадались? Или по поводу антиалкогольных запретов: «Вы сделали жизнь такой ужасной, не отбирайте хотя бы наркотиков, которые помогают ее перенести». Вождей и представителей власти называет убийцами, разбойниками и пр. Разговоры все те же: о фильме «Покаяние» и долго ли это продержится? О соседке по дому, бывшей княгине Мещерской, которую сажали 13 раз, о которой она хотела бы сделать (или уже сделала) телевизионную передачу: «Дочь современника Пушкина — наша современница». (Ее отец родился в 1822 году, она где-то в 1900-м — если это возможно.)

В мастерской были два немца: профессор Казак, переводчик русской литературы, и советник посольства ФРГ Клаус Шрамайер...

17.11.86. ...Позвонил Фазиль, он говорил обо мне в «Октябре», чтобы я принес им повести. Что я и сделал...

Я сказал Гале: «Какое прекрасное было время, когда я мог только писать и не бегать по редакциям, не думать о возможности публикации». Она меня успокоила: это время скоро пройдет...

30.11.86. Печатаю сказку. Вчера в полудреме вдруг пришел на ум сюжет, будто мне предлагают какую-то волшебную силу, какие-то особые возможности. И в этой полудреме я чувствовал, что эти волшебные возможности не так уж желанны, что сложность и напряжение обычной жизни гораздо богаче, я не хочу это ни на что менять.

4.12.86. Работал над сказкой — опять вяло. Позвонил в «Знамя» — там никаких новостей... Вечером с Галей в Дом кино на выступление Эйдельмана. Как всегда, много знакомых. Натан почти сразу ушел от объявленной в приглашенных билетах темы, стал говорить об исторических аналогиях с современностью — и процитировал стихи Бродского о Жукове... Тут раздались первые аплодисменты. Затем привел перечень имен, которые должны быть возвращены в нашу культуру: Любимов, Неизвестный, и Сахаров, и Солженицын, да по имени-отчеству! Давненько мы таких речей не слыхали. Много из того, о чем он говорил, я слышал от него за столом: об исторических периодах подъемов и спадов в 25—30 лет — периодах смены поколений; аналогии с реформой 1861 года — и о событиях 1956-го (инициатива сверху, централизация решений, сопротивление аппарата, необходимость исторического срока в 7—12 лет, возможность спадов, историческая необходимость). Сравнение с Турцией и Австрией, которые своевременно не осуществили реформ; отсутствие в литературе целого поколения и т. п. Несколько раз оговаривался: «Страшновато это говорить, непривычно — но я выражаю только свое мнение и не представляю какой-либо группы». Отличие от 56-го года: инициатива исходит сверху — при большей апатии, инертности низов. Это отчасти хорошо — не возникает эксцессов, отчасти плохо — нужна активность. Глупость пессимизма не лучше глупости оптимизма. Перемены объективно необходимы, они в природе вещей и рано или поздно произойдут; просто наша жизнь коротка. Много отвечал на вопросы, а вопросы были чуть ли не провокационные: как он относится к Сахарову, к Бухарину, что думает о смерти Кирова и Фрунзе. О «Покаянии», конечно. (Он заметил: «Даже если вообразить, что нынешний подъем вдруг оборвался, появление такого фильма уже оправдывает его».) О переписке с Астафьевым не стал подробно говорить, просто заранее упомянул в своем выступлении: одно дело любовь к своему народу, другое — ненависть к чужим. Перечислять все темы нет смысла. Возможно, кто-то записывал это на пленку — и не исключено, что для КГБ тоже. Конечно, он не бросился очертя голову. Возможно, он лучше многих чувствует атмосферу, в которой стали возможны такие речи, — но не так уж много их слышно; нужна несомненная смелость, чтобы произнести это вслух — и тем способствовать развитию, а не просто его ожидать со скептическим остроумием (в чем и я, пожалуй, грешен). Критик Свободин, который вел вечер, в заключение прочел записку, в ней цитировался отзыв Пушкина об «Истории» Карамзина: это не просто труд умного человека, но и подвиг честного человека. «Таким подвигом было выступление Натана Эйдельмана». Думаю, об этом будут говорить по Москве как о событии...

7.12.86. ...Вечером приехала Люба Бергер... Мне были интересны ее разговоры о музыке. Много в новом музыкальном развитии связано с техникой

компьютеров, синтезаторов и прочих средств, когда композитор или музыкант дают лишь основу, а дальше электроника сама эту основу преобразует, создает фон, пространство и пр. Я слушал вначале с недоверием: ценней ли это традиционной музыки? Но она провела сравнение с развитием XVI—XVII веков, когда на основе достижений математики и физики Страдивари и Амати создали скрипку вместо виолы и этот инструмент с качественно новым звучанием позволил создать современный оркестр — и т. д. То есть революция в области инструментов приводила к преобразованиям самой музыки. Она вовсе не всегда была такой, как сейчас: мотив вместо мелодии, другое звучание, не существовало оркестра, скрипок, фортепьяно и т. п. Другая музыка. Возможно, происходит действительно преобразование искусства и мы на пороге принципиально новой эпохи, которую даже застаем, — но сумеем ли в нее войти?..

19.12.86. ...Добросовестно пытался сидеть за работой — что-то от меня ушло. Может быть, то, что называется вдохновением. Получается холодно, скучные, мертвые фразы. Пожалуй, лучше себя не насиловать...

Днем позвонил папа: Сахарову с Боннер разрешили вернуться в Москву. Вечером ходил на лекцию Натана во ВГИК. Он начал с того же известия. Об интеллигенции с XVIII по XX век. Наше время, последние десятилетия, сопоставимо с годами, когда интеллигенция уходила во «внутреннюю эмиграцию». Так возникли «лишние люди», не желавшие служить власти, но и не становившиеся революционерами. Молодые генералы 1812 года сменились 45—50-летними николаевскими. Одной из причин поражения в Крымской войне был «человеческий фактор»: Нахимов, Корнилов, Истомин были исключениями; не было массы «поручиков», которые могли повести за собой. И провел эту линию до наших времен: мы говорим о потерях экономических, о разбазаривании ресурсов, а сколько разбазаренной духовной энергии! Сколько людей ушли во «внутреннюю эмиграцию», махнули на все рукой. Есть ли сейчас 25-летние писатели, кто мог бы прозвучать громко? И вернулся к Сахарову. Формула, что тот возвращается к «активной академической деятельности», говорит о многом. Когда интеллигенция может искренне сотрудничать с властью — это же счастье. Ему аплодировали, был полный конференц-зал. Потом показали фильм латышского документалиста «Легко ли быть молодым?», где рассказывают о себе поклонники рока, «металлисты», наркоманы и даже солдаты, вернувшиеся из Афганистана. Ощущение потерянной молодежи, не находящей ни у кого понимания. Взрослые на их фоне выглядят глупыми, лживыми и вызывают смех... Но после фильма к Эйдельману подошли молодые вгиковцы и спросили, понравился ли фильм. Мы оба сказали, что понравился. «А нам нет», — сказали они. — «Почему?» — «Полуправда, а это хуже откровенной неправды». В этом тоже была доля истины. Натан стал говорить, что уровень правды повышается, что два года назад нельзя было представить себе такого... (В информации новый уровень отменяет предыдущий. И смешно теперь говорить о смелости Айтматова по части наркотиков. Но правда искусства другого рода.)

27.12.86. Человек всегда есть нечто большее, чем он о себе знает. В творческом состоянии (которое называется иногда вдохновением) он извлекает из сво-

его существа такое, чего не подозревал. Но что-то остается и невыраженным, невыявленным. Человек больше своего творчества — и меньше его.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

О литературном процессе

У меня довольно поздно возник интерес к так называемому «литературному процессу». Я просто в нем не участвую — отчасти по причинам внешним, но и внутренне никак с ним себя не сопоставляю. В литературе меня интересовали только вершины. Процесс же не составляется из высших достижений и не сводится к их сумме. Вершины выламываются из процесса — или вырастают над питающей их почвой.

Вершинные результаты, писал Тынянов, восходят не к предыдущим вершинным результатам, а как раз к тому, что до них не осуществилось.

Для истории, как и для жизни, важен процесс — в ней остаются сенсации минувших дней, давно переставшие волновать, репутации, созданные литературными скандалами, и литературные манифесты, воспоминания об успехе публичных выступлений, откровения былых правдоискателей, давно ставшие общими местами.

Кафка в дневниках назвал среди функций литературы «ведение как бы дневника нации» — она может выполнять эту задачу, даже не нуждаясь в выдающихся талантах. Сам он вряд ли в этой «дневниковой» работе сознательно стремился участвовать.

Но, может, это получается само собой? Может, после выхода книги окажется, что и я участвую в этом процессе, даже не осознавая этого?

12.05.83, 29.01.88, 20.02.88

1987

1.01.87. В этом году мне стукнет 50; но вряд ли к юбилею подоспеют какие-то свершения (то бишь публикации). Скорей всего это перенесется на следующий год. Ожидать ли каких-то благих перемен в нашей общей жизни? Моя позиция (или поведение) в общественной области упрощается тем, что я отстранен от реального участия в чем-либо и от решений. Единственное, что я могу и стараюсь делать — это делать свое дело по возможности хорошо и честно, то есть писать. Представляют общественное мнение и влияют на него другие...

Думаю над книгой эссе, просматриваю фантики. Задача оказывается не такой простой, как мне представлялось. Не хочется писать связную автобиографию — да и не получится. Надо найти больше чем стиль — тип книги. Чистая мысль, без фантазии, без игры возможностей, гораздо бедней художественного творчества; как бы все это соединить?

12.01.87. Я прихожу к мысли, что на уровне словесного выражения ирония — абсолютный принцип. Нельзя относиться серьезно ни к каким словам, даже к теологии (даже к иконам). То, что серьезно и вне иронии, — то вне слов.

16.01.87. ...Вечером в молодежной телепередаче зачитывали письмо Астафьева. Он увидел кадры: молодые люди танцуют неподалеку от кладбища, где похоронены члены пушкинской семьи, и негодует. «Если бы я мог представить, какое поколение мы идем защищать во время войны, если бы я мог увидеть заранее этих гориллоподобных юнцов, то не только добровольно, но и под конвоем не пошел бы на фронт их защищать» — таков смысл его фразы. Чего здесь больше, фальши или злобы? Мне вспомнился процесс по делу двух молодых людей, которые в Сев. Италии в течение нескольких лет убивали проститутку, гомосексуалистов, наркоманов и т. п. Поймали их при попытке поджечь дискотеку во время танцев. Тот же моральный пафос: из автоматов бы их расстреливал! А ведь он, судя по письму Эйдельману, считает себя христианином. И не оглянется: чье поколение сносило церкви и разрушало основы жизни? Не просто же пришлые, инородцы?

24.01.87. Немного поработал... Позвонил Баткину. Он оказался болен. Долго говорил со мной. О политических новостях, публикациях. Интересно размышлял о культурной жизни. О Пушкине, которого превращают теперь в памятник, неживой. «Ему это не повредит, но нам повредит». На темы Непомнящего. Я спросил: «А может, массам нужно именно это?» — «Каким массам? — ответил он. — Массы вовсе не интересуются Пушкиным. Это предназначено для довольно узкого литературного круга, для таких, как мы с вами. Но почему это должно быть на таком уровне?»

«Я не против иерархии, но иерархии, которую устанавливает каждый для себя сам, а не данной заранее».

Об отношении к культурным памятникам. Показатель нашей неспособности жить в культуре, нашей незрелости — предложение Вознесенского построить Сухареву башню (как и предложение построить храм Христа Спасителя на месте бассейна и т. п.). «Это и есть нецивилизованное отношение к культуре: будто можно древние памятники построить заново, из нового материала. Можно построить новое Шахматово Блока и новое Михайловское Пушкина. Почему бы не подать идею римлянам: построить новый Колизей? Они живут среди своих памятников как в живой среде, ходят мимо них, мочатся на них, все не молятся — это действительно их культура. Показатель культуры — способность построить рядом со старой церковью новый памятник архитектуры. Почему-то никто не пишет о том, что у нас нет новых действительно выдающихся проектов. В конкурсе на здание Дворца Советов участвовали выдающиеся архитекторы. Но Корбюзье показали уже расчищенную площадку: он никогда не согласился бы строить на месте снесенного храма Христа Спасителя (если бы ему это предложили). Культура означает новое творчество. Перестать разрушать старые церкви — это значит покончить с варварством, с вандализмом, но еще не культура. И желание строить “старые памятники” из новых камней — показатель нашей некультурности».

(Моими словами: культура предполагает реставрацию, но не имитацию.)

27.01.87. Утром пришел журнал с поэмой Твардовского «По праву памяти» — о ссыльном отце, о Сталине. Увы, это не стихи свободного человека; отсюда все остальное. Вчера на ночь я перечитывал «Декаду» Липкина, в сопоставлении это особенно отчетливо...

3.02.87. С утра немного поработал (воспоминания о Степной)... Заехал к Лукину. Он смотрит на перемены скептически. Разговоры и расширение цензурных рамок — это хорошо, но перемены могут быть только структурные, а это мало реально... Реальная сила — у партийного аппарата, у райкомов. Если дать предприятиям действительную самостоятельность, перевести их на самоокупаемость — зачем тогда райкомы? Их надо, по крайней мере, сократить, а куда девать людей? Пересадят в какие-нибудь новые кресла... Настоящая реформа должна сделать ненужными массу аппаратчиков, а этого не позволят, причем без активного сопротивления: будут делать вид, что выполняют директивы, — это и есть торможение. Наверняка и Горбачев это понимает, но, если он станет слишком опасен для аппарата, его скинут. Впрочем, будущее покажет...

В сущности, и я всегда так думал. Но мне, человеку словесной профессии, сейчас достаточно важны перемены в этой области. Издать бы книжку.

24.02.87. Вчера по дороге в метро вдруг вспыхнул замысел (возможное название «Водоем»), который мог бы объединить разрозненные идеи и записи последних месяцев. Пока буду вести его параллельно с эссеистикой и пр. Я все-таки тосковал без сюжета, который давал бы возможности фантазии. Чистая эссеистика для меня суховата. Вдруг пойдет? Мне знакомо это начальное состояние, когда вокруг опущенной в раствор ниточки начинают собираться кристаллы.

До вечера исписал больше 4 десятков осьмушек бумаги, т. е. обычных страниц 5—6. Весь замысел уже намечен. Ничего другого делать не захотел: ни печатать рецензию, ни думать над сказкой. Боюсь, опять ее отложу, а казалась уже близка к завершению. Досадно...

Галя обсуждала с Лемпортом выставку на Каширской: «Я бы там не смотрелась». — «Еще бы, ты сложившаяся художница, а они приспособляются к моде».

25.02.87. Попробовал начать «Сторожа» (так это пока называется), не получилось. Подводные сцены сразу потянули на чужую стилистику...

4.03.87. ...Иногда чтение литературных мемуаров наводит на сомнение: не теряю ли я яркое общение, высокий уровень литературных бесед, не обеднена ли моя жизнь и пр.? Но, подумав и вспомнив, решаю: нет. Я писатель, а не литературный деятель, я не хочу литературной среды больше, чем ее было у Фолкнера, Кафки, Музиля, Платонова — собеседников себе я выбираю сам. Главное же — работа собственной мысли.

Нынешнее развитие вызывает у меня мысль о какой-то гидропонике, что ли: растениям поставляют питательную жидкость, и вот расцветают цветы, даже могут вырасти плоды, но почвы, где они могли бы устойчиво жить, пока нет.

11.03.87. ...На ночь читал рукопись Попова «Прекрасность жизни». Читается запоем, и подборка газетных строк захватывает не меньше, чем рассказы. Собранные в книгу, они, конечно, обретают новое качество. Ко всему прочему, это чтение очень кстати для нынешней моей работы.

15.03.87. ...Приезжал Попов, я отдал ему листок своих размышлений... Говорили об иронии как способе писательского самосохранения. Вот что отчасти отсутствует у Распутина (которому сегодня к 50-летию — мой ровесник! — присвоили звание Героя Социалистического Труда, наверно вполне заслуженно). У него как будто атрофирован мускул, который приводит в движение улыбку. По впечатлениям Попова, теряет ироническое отношение к себе Битов. Он теперь очень доволен собой и едва ли не считает себя единственным человеком, способным провозглашать литературную истину.

Забавный вышел эпизод: Женя спросил меня, что я помню о романе Тургенева «Накануне». Я стал бормотать, что, кажется, и не читал его, там герой то ли болгарин, то ли серб, нет, кажется, все-таки болгарин, Инсаров, который едет воевать против турок... Он рассмеялся: «Жаль, что у меня не было магнитофона. Это мой следующий замысел: переписать роман “Накануне” так, как будто герои живут в 77-м, например, году, и перебивать повествование вставками-интервью, вроде того, что дал ты; спросить человек 50. Лучше ты уже не скажешь».

23.03.87. Утром позвонила Зина Миркина, она прочла «Сундучок» второй раз. «Я потрясена. Второй раз дает гораздо больше, чем первый. И хочется почитать в третий раз. У меня огромная радость» — и т. д. Написала мне большое письмо, но решила не отправлять, мы на днях увидимся. Гриша дочитывает, но у него такое же впечатление...

29.03.87. ...Понадобилось опять скорректировать самочувствие. Какой другой жизни, какой другой работы я бы хотел? Грех жаловаться. Возможно, мне даже будет дано дожить до жатвы...

Чувствую ли я свое время? Если заглянуть в свои записи, сделанные год назад, окажется, что я далеко не верно оценил возможности перемен. И сейчас вряд ли можно сказать, как все обернется. Пока нарастает «размежевание», и у власти в литературе остаются в основном прежние люди. По всей логике системы, по соотношению сил «перестройку» должны задушить. Но есть и объективные требования жизни. На это вся надежда.

31.03.87. *Из рабочего дневника.* Важная тема нашей истории и культуры — ее прерывистость. Сколько рукописей погибло, сколько идей не выявлено! Можем ли мы все-таки полноценно существовать? Действительно ли энергия мысли сохраняется? И передается? (Безумие старика-философа.)

23.04.87. ...С утра поработал, немного позанимался переводом. Позвонил Попов, мы заехали с ним к художнику Илье Кабакову в мастерскую. Симпатичный умный человек. Рассуждал о «перестройке». Главная наша проблема — та же, что в строительстве на вечной мерзлоте. Там невозможно построить нормальную канализацию: трубы придется вести аж в Ледовитый океан. Если дерьмо спустить вниз, оно спустя время всплывет в совершенно другом месте, и все

будут знать: это дерьмо Ивана Сидоровича. Бегло посмотрел его работы. Щиты с надписями; на одной стене развешан разный мусор с машинописными табличками: это крышка от болгарского перца, который я купил на углу, — и т.п.; кусок тряпки, найденная перчатка, осколок бутылки — с пояснением происхождения. В работе картина: изображение университета на Ленинских горах и в отдельной рамке — бараны. «Я хотел соединить две живописные Москвы сталинского времени; а кто-то увидел в этом аллегорию: бараны в университете. Как странно люди оценивают живопись...»

20.05.87. О критике. (По поводу статьи И. Виноградова о повести С. Каледина.) Показательно полное отсутствие интереса к художественной сути произведения: точно так же можно было рецензировать газетный очерк или статью. Здесь нет места удивлению перед чудом искусства, которое везде неожиданно, нет речи о художественном или интеллектуальном открытии, о новых глубинах — демонстрируется подходящая иллюстрация к заранее готовым мыслям. Содержание этих мыслей не обсуждаю: они столь же правильны, как всякие общие места, и столь же недостаточны, хотя годятся для проповеди.

25.05.87. ...Перестали глушить «Голос Америки».

28.05.87. Из рабочего дневника. Сквозное чувство: жизнь без правил, без истории, без информации, на ощупь, без высшего смысла, без путеводной звезды размывает чувство реальности, грань между явью и сном: все возможно, все допустимо, все не имеет значения...

Сегодня у Гали на руках умер Самсон Львович.

1.06.87. ...Позвонил Давиду Самойлову поздравить с днем рождения, он сразу начал: «Марик, я тебя видел во сне, я тебя очень люблю, приезжай». — «Судя по тому, что ты выступаешь, ты в хорошей форме», — сказал я. «Главное не форма, а содержание, а содержание мое на 80% состоит из шампанского. Здесь нет возможности поговорить, приезжай в сентябре, когда народу будет меньше, я тебя прекрасно поселю у себя, яблоки будем собирать. Наскреби на поезд, а обратно мы тебя отправим...»

17.06.87. Поездка с Галей в Кимры и Калязин... В Калязине искупались, заглянули в музей, который оказался на реставрации (в бывшей Ильинской церкви, в слободе Свистуха). Но сотрудники вынесли показать нам фотографии старого, ныне затопленного Калязина: наводнение, Покровский монастырь на другом берегу, от которого теперь остались только два островка. Но главное, конечно, колокольня бывшего Никольского собора, которая торчит из воды. Она теперь в лесах, нижнюю подводную часть забетонировали, потому что она начала разрушаться, насыпали вокруг островок — создается впечатление, что колокольня так и была построена на островке и видна целиком. Недостойная бутафория, но при всем том этот бред строительных лесов, стройно встающих из воды, производит впечатление мистическое. От самого городка мало что осталось — словно вынули душу и залили водой... Родилось несколько мыслей и образов для работы, но что-то было мной заранее угадано, даже вид исчезнувшего собора с византийским куполом и четырьмя луковками вокруг.

20.06.87. Весь день на лоджии работал — читал Голосовкера и делал попутные записи на собственные темы: очень оказалось продуктивно...

Из рабочего дневника. Дух — это инстинкт, он спасает культуру. Иначе (Голосовкер, 117) суета в пустоте, за которой неминуемо следует ощущение бессмысленности существования со всеми вытекающими отсюда последствиями: усталостью, поисками опьянения, скрытым страхом, нравственным безразличием и прочими продуктами цинизма и свирепости. Тогда воображение замещается фантазией (тема городских слухов и пр.), иногда весьма темной, полной коварных прихотей и суеверия, открывая поле то для фанатизма, извращения низших инстинктов (секс в городе), то для полного погружения в нирвану гедонизма (попытки начальства). «Чувство “бытия” утрачивается... в эпохи умаления духовных ценностей как высших ценностей вообще, т.е. в эпохи падения философии, искусства, морали — но не техники... Мир идей... спас человека от ужаса познания своей жалкости очень умного, но смертного существа, обреченного на бессмысленную гибель, невзирая на свой ум... “Культура”... не может погибнуть, пока есть на земле человек, поскольку воображение в человеке остается и его высший инстинкт продолжает действовать и проявляться как дух. Цивилизация же может временно погибнуть и быть восстановленной.

Не исключено, что в том случае, если культурменч⁸ исчезнет и если вообще на земле исчезнет человек, и даже исчезнет сама земля, то его культур-имагинации⁹ могут не исчезнуть. Они могут перенестись в сознание иного высшего существа, живущего не на земле, а где-то в космосе и одаренного высшим инстинктом воображения, т. е. имагинацией и пониманием».

«В обогащении моим личным пониманием всеобщего понимания, а следовательно, и космического понимания — смысл и суть современной культуры».

12.07.87. ...Читал дневники Толстого. Мне интересно читать у людей дневники и письма того возраста, в котором я сам сейчас нахожусь, продвигаясь год за годом. Но у Толстого дневники этого возраста мне не близки. Могучая мысль бьется на общих местах, как рыба на мели... Зато дневники молодых лет — несравненны...

Некоторые мысли, как всегда, записываю на листочках; только все вместе могло бы дать картину моего дня.

8.08.87. Слово «пошлый» первоначально не имело оценочного звучания и означало «обычный», «заурядный». (Иван Грозный обиженно заявил однажды английской королеве, что она отвечает ему как «пошлая девица».) Но и в этом смысле искусство противостоит пошлости, т. е. общим местам, банальностям, музыкальному фону, шуму. (Е. Евтушенко — король общих мест.) Для повседневного употребления это тоже нужно. Пошлость — поручик Пирогов, волочащийся за немкой, красавица, оказавшаяся проституткой. Бахтин говорит о «катарсисе пошлости» у Гоголя.

⁸ Человек культуры.

⁹ Образы, создаваемые человеческим воображением. Как и «человек культуры» (см. выше), одно из основных понятий «имагинативной» философии Я. Голосовкера.

11.08.87. Самоощущение: я утрачиваю вкус к игровому элементу жизни. То есть скорей не позволяю себе вовлекаться в игру, даже в шахматы. Если вовлекусь, то и увлекусь, и вкус во мне живет, и интерес, но отвлекаться не хочу. А в книгах моих это важный элемент.

Еще: у меня до сих пор (к 50 годам!) нет социального самоощущения. Я не представляю, как меня видят и оценивают другие. Определенного статуса, который мог бы служить подсказкой и основой для суждения, я лишен. Но по каким-то намекам чувствую, что меня воспринимают как очень свободного человека. И как писателя — более настоящего, чем члены СП.

22.8.87. Из рабочего дневника. Новый, извращенный смысл власти. Власть от природы имела смысл биологически целесообразный: выживать и продолжать род должен был сильнейший. С развитием цивилизации отбор становился все менее естественным: еще Дон Кихот сетовал, что рыцаря может победить слабосильный — если он имеет пороховое оружие, поражающее на расстоянии. Мы стали свидетелями, как к власти приходили даже не самые мудрые, а лишь хитрые, коварные, лишённые моральных тормозов, — в этом их преимущество. Зато необычайно усовершенствовался аппарат поддержания, сохранения власти. И стимул — уже не продолжения рода, а лишь собственной власти и жизни. И ведь функционирует, казалось бы.

Нет, не функционирует: распад, расплата неизбежны, только отдалены.

21.09.87. ...Поехал к Натану Эйдельману. Были Юлик Ким с Ирой, потом Юлий Крелин с женой... Натан подарил три своих книжки. Обсуждали современные дела (попытки идеологического зажима). Натан: «Спуск с горы происходит зигзагами...» Крелин завел разговор о том, что Петр сыграл для России плохую службу; Софья и Голицын могли бы осуществить все необходимые реформы без жестокостей и более целесообразно. Ведь после Петра страна оказалась разорена, население уменьшилось на несколько миллионов, от флота почти ничего не осталось и т. д.

Эйдельман: «Дело не в Петре. В Англии или Франции тоже были правители с диктаторскими замашками, но им не давало своевольничать общество: парламент, буржуазия. Они бы и хотели, но не могли. В России был простор для таких тенденций. Можно не любить Петра, но он определил на 150 лет развитие России, и никто другой не смог бы. Я сейчас занимаюсь XVII веком: ни у Софьи, ни у Голицына не было ни подлинных идей, ни подлинных возможностей. Другое дело Ленин. Ленин во столько же раз хуже Петра, во сколько состояние России к 17-му году лучше состояния России перед Петром. У Петра ничего не было, а перед Лениным был уже и Толстой, и Достоевский, и развитая промышленность, была культурная страна, бурно развивавшаяся. Вот тут не было исторической необходимости. Керенский, конечно, ничего не мог сделать, а вот Корнилов мог, у него была серьезная программа, он мог бы спасти страну. Я недавно перечел слова Пушкина: «Правительство в России могло бы быть в 100 раз хуже, и никто бы этого не заметил». И подумал: а ведь так оно и есть. При Сталине оно было в 100 раз хуже».

22.10.87. Нездоров. Тем не менее поработал над «Сидуром», потом прогулялся с Белкой по туманному тихому лесу. Туман создает какую-то особую тишину. Я вспомнил, как всегда любил такой туманный осенний лес. В какой-то момент вспыхивало чувство новизны, как будто шел по незнакомому месту; незнакомые места просто воспринимаются свежей, хотя ничуть не более красивы, чем эти. Белка здесь обычно трусит сзади, но тут на обратном пути освоилась и побежала впереди меня — мне не хватало ее вида перед собой...

По радио передали: Бродский стал Нобелевским лауреатом. Сразу позвонил об этом Кома, он сказал: «Это хорошо. Я думаю, это хорошо по нашей ситуации...»

4.11.87. Посидел над «Сторожем», сразу пошли идеи — давно забытое удовольствие. Прогулялся в лесу.

Из рабочего дневника. Поверхностный, фельетонный уровень критики показался исчерпанным и превзойденным за месяцы «гласности»; но обнаруживается все большее глубинное (и общечеловеческое) измерение кризиса.

Отношение к этой стране как к психически больной, уродливой матери. Обречен за ней ухаживать — мать. И вылечить не можешь, и свою жизнь губишь возле нее, радуешься относительному улучшению (сама ходить стала). А она тут же тебя унижит, обворует. Любовь, брезгливость, жалость, презрение.

Тема начальства: не допустить перемен, даже если это грозит катастрофой, в том числе им самим.

23.11.87. ...Вдруг позвонил Давид Самойлов, позвал приехать. Я купил две бутылки «Напареули», поехал... Хорошо выпили, Давид стал читать стихи из своей новой книги «Горсть». Не знаю, какие стихи, но слушать их было счастьем: голос Давида, хмель в голове, присутствие поэзии, прекрасной поверх отдельных стихов или строк... Давно у меня этого не было. Он приехал продвигать двухтомник в Гослите, говорит, что его выдвинули на Госпремию на будущий год, и есть шансы, что дадут. Это бы решило его финансовые проблемы и дало бы возможность года на 2—3 спокойно работать над прозой, не отвлекаясь на переводы. Начал работать над пьесой по «Доктору Живаго». Стихи из романа нравятся ему больше, чем ранние, кроме некоторых.

— Скажи, тебе хорошо живется? — спросил я.

— Нет, — покачал он головой. — Сказать в двух словах причину: груз годов. Я ведь как всегда жил? Пил вино и баб ебал. Теперь все не так.

— Почему ты читаешь не все, некоторые стихи пропускаешь?

— Да они так себе.

— Зачем же ты пишешь «так себе»? — сказал Юра Левин.

— Знаешь, мои «так себе» лучше, чем их хорошие. И потом, жить-то надо...

Чувствуется, что его никто сейчас особенно не интересуется. На упоминание о Л. отмахнулся пренебрежительно, как о чем-то понятном, зато несколько раз повторял, как меня любит, звал на Новый год приехать, очень тепло подписал книгу... Я знаю цену этим хмельным изливаниям, но в тот момент в них была своя правда... Эта встреча вдруг лишила напряженность в моих мыслях

о нем. До сих пор продолжалась как бы инерция давних отношений и оценок: я сравнивал его суждения и стихи с прежними, огорчался упадку уровня, многого не понимал и т.д. И вдруг почувствовал, что все это не имеет значения. Он — тот же, и вокруг него тот же воздух, милый моему сердцу, и этот воздух полон поэзией, независимой от качества отдельных стихов, и есть в нем мудрость, независимая от состояния интеллекта.

24.11.87. ...Позвонил в «Октябрь» — «Меньшутина» отклонили...

24.12.87. Из рабочего дневника. Перенести в образную систему чувство нынешней ситуации (через отношение к матери, к городку, историю старика). Боже, как грустна наша Россия! От позора к позору, от трагедии к трагедии. Сколько стыда, горя! Но если чем-то можно гордиться — это тем, что оказываются люди, сохраняющие способность воспрянуть (бессонные сторожа). Можно и уехать к более счастливой жизни, но от себя не уедешь, от своей жизни, своего прошлого, своего детства.

29.12.87. Проснулся в половине 8-го, еще 6 стр. Прогулялся на лыжах обычным двухчасовым маршрутом, с Белкой. В глубине леса вывозят дрова, следы саней, лошадиный навоз, запахи, любимые с детства. Я в этом лесу все-таки с 13 лет. По пути пришло несколько важных объединяющих мыслей. Придя домой, записал, принял душ.

Вчера на ночь листал о Гоголе Вересаева и Белого. Еще раз вспомнил, насколько больше слабостей было у него, чем у многих других, и писательских, и человеческих, и жизнь он знал хуже многих, и образованностью не блистал. И все-таки Гоголем стал он, а не они. На одной гениальности, которая включает в себя творческую волю.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Мужчина и женщина

Мое сексуальное невежество (объясняемое не только личными свойствами, но и временем, воспитанием) причинило мне немало горьких минут.

Сейчас, когда на курортных пляжах запросто ходят нагишом и обычным делом стала «групповуха», странно читать про любовные проблемы 60-х годов. Но ведь и это было.

Конечно, и тогда существовал разный опыт: подросток из рабочего поселка видел иной быт, чем профессорская дочка, крестьянская девочка — иное, чем заключенная женской колонии.

Помните очаровательный рассказ Белля «Долина грохочущих копыт» и кульминацию его — потрясение, религиозное потрясение мальчика, которому девочка впервые показала грудь? Новым мальчикам такого потрясения не испытать, они навидались. Им не понять пушкинского восхищения перед женской ножкой, чуть-чуть показавшейся из-под длинного платья: «Она, пророчествуя взгляду неоцененную награду...» С разных экранов и страниц — лихорадочный, технически изощренный, демонстративный секс, требующий все

больше допингов (алкоголь, наркотики, садомазохизм, порно, препараты), и за этим — сигналы об угрожающем снижении нормальной потенции.

Но, думаю, и теперь еще не последний этап цивилизации. Еще скажет свое слово скука — великий двигатель истории.

22—23.08.90

Вспоминается одна немецкая юмореска. Парочка на морском берегу. Она говорит: смотри, вон еще одна. Хочешь? Она, кажется, спит. Он отправился к ней, сделал свое дело, и лишь тут, очнувшись, та подняла шум. Но он уже вернулся к своей подруге. Поздравляю, — сказала она без тени ревности. И они продолжали сидеть на песке — счастливая мушиная пара.

Не завидовать же свободе мух. Для мальчиков и девочек, вкусивших нынешней свободы, может оказаться закрытой целая область культивировавшихся веками человеческих чувств и отношений: с ухаживаниями, драмами, игрой, стыдом, отчаянием. Удовлетворить потребность — дело простенькое.

4.12.69

Стыд — приобретение в ходе вековой эволюции. Потеря стыда — утрата. (Свобода от стыда — не приобретение.)

19.07.84

Детская, юношеская любовь одаряет воспоминанием о чистоте все последующие, «нечистые» сближения. Если бы не это воспоминание, зрелость, возможно, и не подозревала бы о возможности такой чистоты, не верила бы в нее.

Тут влияние взаимное: не только сексуальное подсознание вызывает и окрашивает томления детства и юности — но чистота, идеализм этих томлений отзываются в зрелых чувствах.

21.05.78

XX век полюбил открывать сексуальную подоплеку за разными жизненными проявлениями. Жизнь оказывается проста: ею правят (как поется в опере) любовь и голод, т.е. инстинкт продолжения и сохранения жизни. За всеми явлениями культуры можно обнаружить подсознательные голенькие намерения.

Но вдруг осознаешь, насколько прекрасней и значительней все божественное разнообразие проявлений, возникших по этому простому поводу! Любовь, которая не обязательно доходит до секса, томления, песни, поэзия, бескорыстное восхищение красотой — игра жизни.

26.07.88

Сказать ли, что сексуальная любовь — одно из проявлений высшей космической силы, или она и есть воплощение этой силы, а все остальное — ее проявления, оттенки, видоизменения?

5.02.78

Любовь — наиболее доступная и, казалось бы, открытая всем возможность приобщиться к высшему единству мира. Но она тоже дается далеко не каждому — разве что на мгновения, которые в обычной жизни бывают замутнены, тут же прикрыты. Способность к любви — дар и заслуга, она равноценна благодати и мудрости.

23.04.84

Любовь без взаимности. Ужасна неспособность любить. И любящего не назовешь счастливым — от такой любви стреляются, сходят с ума. Но все-таки состояние любви угоднее творцу. Она ближе к сердцевине жизни. Это как заряд электричества в туче — пусть и не возникло молнии.

23.09.85

Мужчины любят поминать о непостижимости женского естества («нет, женщин не понять», «поразительной женской интуицией она уловила»... — и т.п.). Но есть же пишущие женщины, они нам расскажут... Нет, ничего особенного не рассказывают, ничего такого не знают. Может быть, то, что кажется непостижимым со стороны, изнутри не осознается, не замечается? Или, скорей, для женщин это, как многое другое в жизни, тоже непостижимо, во всяком случае не выразимо в словах? И не так уж они по своей сути склонны вникать?

20.03.84

Еретическая мысль: может быть, гениальных творческих достижений в наше время стало меньше отчасти из-за женской эмансипации? Для женщин творческие достижения просто значат не так много, как другие ценности, жизненные, религиозные — т.е. более насущные.

11.05.86

Юмор, смех, шутовство, клоунада — чем ярче степень, тем больше это дело мужское. В женщине-клоунессе есть что-то неестественное и унижительное, не правда ли? Как в пьяной женщине. Не знаю, замечено ли это кем-либо (наверно, замечено): женщине не пристало корчить смешные рожи, она должна оставаться привлекательной, а значит, несмешной.

9.10.83

В одной из автобиографических новелл Зощенко вспоминает, как умирающий старик-крестьянин едва внятно стал просить титьку. Какая-то женщина открыла грудь, он дотронулся до нее, улыбнулся и затих. Не знаю, возможно ли подобное желание у умирающей старухи. Мужчины нужны женщинам в какое-то время их жизни, женщина нужна мужчине гораздо больше.

18.06.84

Мужчина умирает каждый раз, наполняя женщину жизнью.

15.11.76

...Музыка, то медленная, изнемогающе-терпеливая, нежная, то бурная, страстно рвущаяся к вершине. Танец, в который вступают то попеременно, то вместе. Сама жизнь, которую хочется длить вечно, и вот она становится невыносимой, и нельзя не сорваться...

24.09.77

Может быть, наслаждение завершает тягу и страсть, как смерть завершает жизнь. Стремиться к наслаждению — значит стремиться к успокоению от невыносимой полноты. Может, само это стремление родственно тяге к смерти. У некоторых живых тварей это выражается откровенно: они погибают, извергнув семя. Впрочем, это, кажется, относится лишь к самцам. Это их безумие: искать, стремиться и погибать.

Когда думаешь так, в «вечно женственном» видится великая мудрость. Как будто женщины лучше способны понять некий смысл. Хотя дело тут вовсе не в смысле и не в познании; это не исключает элементарной глупости. Тут мудрость до смысла и познания.

21.05.81

1988

1.01.88. Хорошо, если год принесет какие-то осуществления накопленного: выйдет книжка, я завершу «Сторожа», напечатают кой-какие переводы — а там посмотрим и дальше...

13.01.88. ...Прочел в рецензии на Бродского характеристику поэта Уистона Одена (1907—1978), которого Бродский считает «может быть, величайшим умом XX столетия» — с его «независимостью, здравомыслием, уравновешенностью, ироничностью, отрешенностью — короче говоря, мудростью». Вот характеристика, на которую хотелось бы равняться.

17.01.88. 2 стр. гл. 9. Подошел к наименее разработанным местам. Очень кстати подоспел «Замок» Кафки — поразительное чтение! Впрочем, на этом этапе всякое чтение оказывается вдруг кстати.

Вечером с Галей в ЦДЛ на выступление Городницкого (ему скоро 55). Ажиотаж у входа, юбилейное настроение, юбилейные речи. Много новых стихов с «современным» пафосом (Сталин, антисемитизм и пр.). Среди общих мест есть главное: личность, человек, биография. Множество общих знакомых. С удовольствием выпил на банкете, посмеялся.

Тост Искандера: «Раньше говорили: наш народ — самый читающий в мире. Потом выяснилось: наш народ — самый пьющий в мире. Сейчас кажется, наш народ — самый поющий в мире. Во всех трех определениях есть что-то общее: они характеризуют желание убежать от действительности».

В туалете заговорили Искандер, Смилга и я. Лукин стал подталкивать нас к выходу: разговоры в туалете — национальная черта. И тут я засмеялся: какой же

национальности? Смилга — латыш, Искандер — полуабхазец-полутурок, я — еврей, Лукин — полурусский.

22.01.88. ...Созвонился с Самойловым, подъехал к нему. У него были Лукин и Ким. Распили немного вина... Давид был весел, говорил о том о сем. Он уже закончил пьесу по «Живаго» для театра, должен выйти двухтомник. Рассказывал о студии Арбузова; там тогда играл Гердт, и играл, по его словам, плохо. «Он тогда еще не дорос до своей фактуры». Мне это выражение понравилось. С удовольствием узнал, что песенка «Даже доктор в больничном халате», которую я пел еще в институте, написана в соавторстве с Самойловым. (Второй соавтор выпал из памяти.) Он и сейчас довольно чисто и точно ее всю спел.

— Я в армии был ротным запевалой. Из чисто корыстных соображений. Я был маленького роста и шел все время в строю сзади. А это неудобно, приходится то и дело догонять идущих впереди. А запевала сам идет впереди и ни о чем не заботится.

И он спел (после моего напоминания): «Эй, комроты, даешь пулеметы...» По его словам, автором был тоже кто-то из их круга.

Позвонила Галя из Пярну, строго спрашивала, не пьет ли он. Он сказал: «Так, чуть-чуть». Потом, положив трубку: «Галине Ивановне теперь нельзя пить, у нее начинает печень болеть, и она делает из этого совершенно по-женски вывод...» — «Что вам тоже нельзя пить», — закончил за него Юлик. «Нет, — засмеялся Давид, — она делает вывод, что я не хочу пить. А я хочу...»

Прощаясь, поцеловал нас в губы: «Должен вам честно признаться, я не очень люблю искусство. Я люблю вот это (имея в виду такое общение). А когда этого нет, приходится писать стихи...» («Поэтому ты уехал в Пярну», — засмеялся я.)

11.02.88. Вчера в 7 утра позвонила мама: бери машину и приезжай. Было слякотное утро, гололед, по пути встретились две аварии, пришлось объезжать затор. У подъезда я застал машину «Скорой помощи» и реанимационную, засыпанные снегом. Они работали с 6 утра, а приступ начался в 4. Юре врачи сказали, что везти в больницу папу боятся: не довезут. Мама сказала: «Я хочу, чтобы вы его застали хоть таким». Он был без сознания, в шоке. Опять совпал день повышенной солнечной активности. Но примерно через час врачи сказали: попробуем все-таки довезти. Он пришел в себя. Мы вынесли его в реанимобиль, он смотрел на нас, и мне казалось, что воспринимал нас; но, может, и нет — был накачан лекарствами...

12.02.88. Папа в прежнем состоянии. Та же тревога. Вспомнил странную мысль первых минут: дожил бы он до моей книги; в этом была бы какая-то справедливость, какое-то завершение...

13.02.88. Умер папа. Я боялся этого дня, третьего после инфаркта и к тому же отмеченного в прогнозе солнечной активности. Весь день провел с мамой. Всегдашнее чувство недоверности происшедшего — душа не дотягивает, и долго еще это будет до нас доходить.

16.02.88. Вчера, 15.02.88, похоронили папу на Востряковском кладбище. У него было умиротворенное, почти не изменившееся лицо, даже как будто с лег-

кой улыбкой: надеюсь, не очень страдал. До сих пор на губах холод замороженного лба, перед глазами это милое лицо — глубоко под землей. Вдруг сразу высветилось, какой он был бесконечно добрый, любящий, светлый, чистый, родной. Переночевал у мамы, сегодня полдня переводил ее боль на разговоры и воспоминания...

5.03.88. Работа опять свелась к перечитыванию написанного... Позвонила и приехала Лена Макарова. Она сейчас живет своей Фридл, художником-педагогом из Терезина, говорит и думает только о ней, много работает. Не то чтобы нашла свою тему — тема нашла ее. Как судьба. Иронически вспоминает сейчас о своем христианстве, о жизни в монастыре, о желании жить в этой стране, как все. Прикоснувшись к трагедии *своего* народа и войдя в его жизнь, она вдруг почувствовала себя *свободной*, гордой за принадлежность к этому народу. Эти люди, обреченные на смерть, жили полноценной жизнью до самого конца, учили детей искусству, даже веселились, у них было свое кабаре. Когда я сказал, что у меня это веселье перед гибелью вызывает противоречивые чувства, она резонно заметила: «Жизнь человека все равно ограничена, разница только в сроке, и в любом случае надо до конца жить полноценно...»

9.03.88. ...Из рабочего дневника. Это бывает и в жизни отдельного человека, и в жизни общества: утрачивается чувство связи между жизнью и пониманием. Возникают области пустоты, которая заполняется чем-то случайным, недостоверным: страхами, фантазиями, поиском опьянения, механическими порывами. Пустоту надо заполнять хотя бы суррогатом духовной деятельности, этого требует инстинкт.

4.04.88. ...Эпизод возле газетного стенда с интервью Андрея Тарковского (верней, его ответами на вопросы зрителей). Какая-то женщина, читавшая рядом, бубнила под нос замечания. «Он ученик Ромма. А Ромм был ведь сын Сталина. Конечно. Может быть, приемный, под другой фамилией. Они на Ваганьковском кладбище рядом похоронены, Сталин и Ромм. Конечно, он всех может держать в руках...» Довольно молодая, одетая как нынче положено и сумасшедшей не кажется. Но безумная.

7.04.88. Почти весь день потратил на хождение по выездным делам... Никогда не бывал в райкоме — чувство столкновения с особой кастой, даже расой. Казалось, я бы физически их узнал и выделил на улице. Конечно, это предубежденное отношение, но полезно увидеть этих людей в такой массе и во плоти, чтобы понять, как сомнительна у нас возможность перемен. Они все слушают на своих совещаниях, говорят положенные слова и делают свое дело — то же, что и всегда.

9.04.88. Вчера вечером наконец пришло официальное приглашение в Германию, посланное 26.02 (по штемпелю)...

14.04.88. ...Позвонил Ивановым, думал удивить их известием о своей поездке и спросить, что передать Копелевым. Но они испортили мне все удовольствие, сказав, что сами едут... Вечером поехал к ним. Очередной анализ политического состояния. «А как вы себе представляете реальный сценарий катастрофы, в чем она будет проявляться?» — спросил я. «По-моему, она уже происхо-

дит, — сказал Кома. — Мы в нее вползаем медленно, поэтому не замечаем. То, что сейчас происходит, — это уже развитие катастрофы». В самом деле, подумал я, это может так незаметно и произойти: все меньше продуктов, все больше карточек, меньше топлива, меньше воды, все грязней воздух, хуже здоровье, медицинское образование, гибель лесов и рек, новый подъем алкоголизма, уже на основе самогоноварения. «Значит, по крайней мере детям, лучше уехать?» — «Да, я всем советую теперь уезжать...»

21.04.88. Утром на похороны Яглома. Сейчас остро чувствуешь, какой это был добрый, активно-дружеский человек. Судя по разговорам, была все-таки медицинская ошибка... Перед входом в Академию педнаук — мы шли с Комой — к нам приблизился человек знакомого вида. В момент, когда Кома нас представил друг другу, я его узнал: Андрей Дмитриевич Сахаров. Пожали друг другу руки. В его простом облике действительно есть значительность и благородство...

25.04.88. Утром поработал над гл. 8, очень отвлекался. Позвонила Инна Лиснянская, я поехал к ней и Липкину. Инна встретила меня очень нежно, расцеловались...

Книг у них не предвидится: им не предлагают, они сами не ходят и не хотят. Все, что до сих пор было напечатано в журналах, — это по инициативе журналов. «Противно ходить, — сказал Липкин. — У меня тяжелый опыт. Моя первая книга вышла, когда мне было 56 лет». Сейчас оба переводят Кайсына Кулиева: нужны деньги...

— Когда я пишу стихи, — сказал Липкин, — у меня хорошее настроение, а сейчас я перевожу, у меня тоска. Я перестал флотировать — знаете этот химический термин? Когда обогащают руду, доводят в ней содержание нужного металла с 30 до 60—70%, этот процесс называется флотацией. Раньше он мне давался легко, а сейчас я перевожу, лишь бы имело вид. Но это не съедобно...

По его сведениям, на июнь общество «Память» обещает еврейский погром. «Значит, они чувствуют покровительство. Погромы всегда происходят под покровительством властей. Потому что погромщики трусы». И он рассказал историю погрома, который устроил в Одессе атаман Григорьев. Их предупредил о нем старый знакомый, городской. Он уже предупреждал его отца, социал-демократа-интернационалиста, закройщика, когда к нему должны были прийти арестовать. Значит, городской знал, и власти знали. Они спрятались в подвале у мадам Шестопап, владелицы магазина церковной утвари. «Но это был уже не 1905 год. Евреи организовали отряды самообороны, на Молдаванке шла стрельба, и до нашего квартала просто не дошло».

Рассказывал, как встречался с Ключевым в доме Клычкова. Его приводил Мандельштам. (Наверно, об этом он сейчас пишет в воспоминаниях.) Клычков объявлял, что еврей не может быть русским поэтом. Немецким, французским, каким угодно, но русской страны он по природе не может понять. «Он не был антисемитом, но таково было его убеждение. И любопытно, что Ключев ему возразил. Нет, сказал он, а чей был сын тот, кто “в рабском виде исходил, благословляя” нашу землю? Жидовочки».

«Мандельштам, — говорил Ключев (коверкая эту фамилию), — поэт, а Пастернак (тоже коверкая) — спичечный коробок, но без спичек».

Рассуждал о национальных проблемах.

— Я считаю, что империя обречена на распад. Когда-то в Средней Азии к русским относились хорошо, по крайней мере интеллигенция. Но все время росла ненависть к русским. Особенно после коллективизации. В Средней Азии многие бедняки имели большие участки земли. Главное — вода, орошение. И много было скота, особенно в Казахстане. Там бедняк-бедняк имел 200 овец. Их всех сослали. И знаете, большую роль, как ни странно, сыграл пример Израиля. Хотя, казалось бы, это враг мусульман. Но они видели: маленькая страна на полупустынной земле сумела устоять против более многочисленного и сильного врага, и живет неплохо. Там через бухарских евреев многие имеют родственников. А бухарские евреи породнены с узбеками, таджиками. К евреям в Средней Азии лучше относятся, чем к русским. Я объясняю это чисто марксистски. Русские и евреи пишут для них диссертации. Сами они ничего не могут написать, даже по гуманитарным наукам, не говоря о математике или физике. Но русский, написав кандидатскую диссертацию, требует для себя докторскую или высокую должность — там для них предусмотрен определенный процент. А евреи знают, что ни на что не могут претендовать. Разве что напишут свою кандидатскую — если еще не кандидат. Или проще всего деньгами. Или попросит устроить дочку в медицинский институт. С ними проще.

Введение русского алфавита оказалось катастрофой, особенно для поэтов. Дело в том, что там стихосложение связано с тонкостями долготы и краткости, которые можно передать только арабским алфавитом. Там существует 90 основных размеров, их когда-то учили в медресе. Сейчас самый образованный поэт знает 3—4, ну 5 размеров. Я знаю один. Иранцы смеются.

Об идише. Многие древнееврейские слова вошли в воровской жаргон. Например, хаза, шмон, мусор. Хохма — тоже древнееврейское слово, оно родственно имени Хикмет, что означает: мудрая мысль. А что такое душман? Враг. А басмач — следующий за зеленым знаменем мусульман.

27.04.88. ...Вечером к Померанцам. Они в приподнятом настроении, с энтузиазмом следят за переменами в духовной жизни. Снежный ком нарастает, одни за другим рушатся табу и т. п. Но когда я стал напоминать скептические доводы, Гриша согласился: конечно, все это только в Москве и только в прессе... Говорили о Хазанове-Файбусовиче, у них была бурная переписка по поводу его «Антивремени»... Гена писал, что чувствует себя одиночкой, вне всяких систем. Гриша: «А я всю жизнь чувствовал себя внутри истории. Может быть, потому, что я участвовал в войне...»

4.05.88. Весь день заняли предотъездные хлопоты: к маме за сумкой, за подарками, в СП. Там выяснилось, что о билетах я должен хлопотать сам. Помчался в посольство, там К. В. созвонился с Кельном, мне заказали билет без даты, поскольку я еще не знал, с какого срока у меня виза. В половине 8-го получил паспорт... Забавно было получить командировочное удостоверение СП, где я значусь как глава делегации из одного человека.

5.05.88. *Bad-Münstereifel*. Самое поразительное во всем этом, что это перестает казаться поразительным. Еще сегодня утром я начал свои хлопоты... Пошел получать билет в Аэрофлот, сказал: «До Кельна». — «Нет, у вас тут написано не Кельн, а ко-ло-гне (Cologne)». И это в международном агентстве!

Пишу это по контрасту с милыми стюардессами Люфтганзы, разговаривающими с искренней улыбкой, работающими с удовольствием.

Впрочем, по порядку... Пропустили без таможенного досмотра, через вход для делегаций. Меня удивило множество необычных для международной линии пассажиров: типичные русские провинциалы, в кепочках, пиджачках, крестьянского вида, безногая старуха, множество детишек, громадный багаж. Лишь разговорившись с детишками, я понял: это немцы из Алма-Аты, Ташкента переселяются в ФРГ, всего 80 человек. У некоторых в Германии уже родственники... Дети совсем не говорят по-немецки, те, что постарше, говорят, но даже мне видно, что это не совсем немецкий язык. Как они будут жить там? Но их убогий даже для Москвы вид заставляет думать, что, во всяком случае, не хуже, чем у нас. Для детей уж точно не хуже...

Когда, подлетая к Франкфурту, я увидел маленькие немецкие городки среди лесов, с красными черепичными крышами, близко друг от друга, среди лоскутных (но не таких, как в Польше) полос — я почувствовал, что эта страна все-таки не совсем мне чужая: что-то дрогнуло в сердце, как будто я видел это уже во сне и теперь узнавал. В Чехословакии такого чувства не было.

Удивительно легкий паспортный контроль во Франкфуртском аэропорту, таможенного вообще никакого. Роскошное здание вокзала, движущаяся дорожка, мгновенное оформление на Кельн... А главное, удивительная атмосфера свободного международного порта. Все нации: индеец в чалме, финн читает финскую газету. Все это есть и в Москве, но вкраплениями, а здесь это воздух...

6.05.88. *Bad-Münstereifel*. ...За завтраком меня приветствовал некий доктор Brauer, эlegantный господин в белом костюме, который числится здесь приват-доцентом — читает лекции по социально-экономическим вопросам для пенсионеров, посещающих этот Bildungszentrum и живущих здесь с понедельника до пятницы. Он представил меня этим пенсионерам громогласно и с юмором как «профессора из Советского Союза». Послышались возгласы: «So jung!» — и все зааплодировали, барабанили по столу. Разговор его записывать не буду: о проблемах социального обеспечения, безработице и т. п., о шиитской угрозе в Сов. Союзе — очень доброжелательно. Одна из старушек допытывалась: «Мой муж мне сказал: “Сов. Союз такая большая страна, что над ней никогда не заходит солнце”». Я долго не мог понять вопроса...

8.05.88. *Köln*. Два дня не мог записывать. До полуночи и позже был занят, потом валялся без сил.

В первый день утром М. свозил меня на машине в Кельн... К трем часам вернулись в Бад-Мюнстерайфель, началась конференция... Выступления меня удивили: зашел спор о «русской душе», есть ли она и как ее понимать...

Оглянувшись во время прений, я увидел входившего Хазанова. Он тоже увидел меня, помахал рукой и сел на заднюю скамейку. Совсем седой, со смешно всклокоченными волосами, сутулый, с какой-то широкой грудной клеткой.

Мы расцеловались. Разговоры с ним обо всем на свете. Многое он повторял почти буквально по писаному (из писем, из эссе)...

Прочел я доклад по-немецки, кажется, хорошо, только, сказали мне, тихо. Вообще было чувство, что я даже в разговоре о немецкой литературе мог бы что-то сказать немцам. Дискуссии особенной не получилось...

Утром следующего дня ко мне приехал Копелев вместе с Комой, Раей, Светой. Приезд Копелева взволновал немцев, М. приветствовал его как президента. Я сразу стал выглядеть чуть ли не Чингизом Айтматовым. Встреча, разговоры. Кажется, совсем не изменился. Обед, прощание. Решили, что я поеду не с Карлом Аймермахером в Бохум, а с Копелевым в Кельн.

По дороге Лева настоял, чтобы мы зашли в Бад-Мюнстерайфель, почетным гражданином которого он является. (Он здесь бесплатно живет две недели в Kurhaus.) Его узнавали на улице: «Guten Tag, Herr Kopelew!..»

Оттуда мы поехали в Langenbroich в дом Белля. Нас встретили Анна-Мария Белль, сын Винцент, его жена-эквадорка, приемная дочь, тоже эквадорка. Пейзаж подмосковный, подмосковный неприбранный огород, поля рапса, свеклы, дающие, говорят, хорошие урожаи. Бассейн — единственное отличие от Переделкина. На пустыре поодаль паслись коровы. Белль отдал своих коров в аренду местным крестьянам. Дом каменный, но с террасой. Еще дом над гаражом, где Белль работал. Мы посмотрели его рабочий кабинет. Обошли севой вокруг участка... Он рассказывал об обстоятельствах смерти Белля: у него отрезали от ноги кусок за куском из-за «болезни курильщика»; а главное — нарастающая депрессия. Однажды он сказал, что не хочет жить... Как местный священник служил по нему службу, хотя епископ запретил: Белль официально вышел из церкви и перестал платить церковный налог. Между тем Кома назвал его самым по-настоящему религиозным человеком, которого он встречал. Белль считал, что все в религии надо начать заново.

Оттуда в Кельн. На балконе, где я сейчас пишу, дроздиха (Frau Amsel) высиживает 4 яичка, не страшась людей.

10.05.88. *Zug Bochum-Bonn*. Вчера 6 часов ходили с Комой Ивановым по кельнским улицам и церквям... Долгий разговор. О религиозном чувстве, Кома: «Я не понимаю людей, которым нужно ходить в церковь, которым нужны какие-то посредники и символы. Для меня религиозное чувство играет слишком большую роль, приходится его даже обуздывать». — «Почему?» — спросил я. «Мешает жить». Я заметил, что во время работы над романом был уверен, что со мной ничего не может случиться. Он: «Ну, это естественно». Упомянул я о своей болезни (пришлось объяснить, почему я предпочитаю ходить с правой стороны). Он: «Спорный вопрос, не привела ли борьба с туберкулезом и сифилисом к снижению интеллектуального уровня людей. Известно, что эти болезни очень стимулируют вспышки гения». Помянул Бодлера, Блока (что меня удивило). У него был якобы наследственный сифилис, от отца. Рассказывал мне

содержание своего доклада о Ницше: влияние идей Ницше на В. Соловьева, Маяковского (которого очень ценит, что мне в голову не приходило), Горького...

Я спросил, кого он считает заслуживающим внимания прозаиком, он пожал плечами и сказал, что никого назвать не может. Я стал перечислять: Искандер, Битов? — Нет...

Вечером я созвонился с Карлом и приехал в Бохум — впервые сам... На платформе встретил Клауса Штедтке из Вост. Берлина. Всю дорогу говорили. Он рассказывал об упадке ГДР, особенно наглядном после поездки на Запад. Все разрушается, деградирует, отношения людей и порядки начинают напоминать советские, особенно это заметно в провинции. Идеологически там даже хуже, чем у нас. Главная задача стареющего руководства: сопротивляться реформам, которые идут из Сов. Союза. Огромное множество желающих уехать. Когда их спрашивают, почему они хотят уехать, они отвечают: «Bloß weg»¹⁰. «Психологически ужасно, что мы становимся немцами второго сорта. Когда западные родственники присылают нам деньги, это унизительно».

12.05.88. *München*. ...У Хазанова оказался Сарнов, который сразу начал объяснение по поводу злополучной рецензии на мою книгу: дескать, писал не я, а мой товарищ, которому надо было подрабатывать (потом Гена случайно проговорился, что это был В. Корнилов). Ладно, легче теперь будет встречаться и здороваться.

Побродили втроем по мюнхенским улицам вдоль берега Изара, с обычными московскими разговорами о том, что у нас происходит. Когда нас обогнала группа молодых немцев, Бен сказал: «Даже странно, откуда здесь появились немцы...»

Хазанов цитировал письмо Юза Алешковского — на тему слов З. Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы в послании»:

Не огорчайся, не грусти, не ахай,
Мы не в изгнании, мы в послании на хуй.

13.05.88. *München*. ...Утром пошли с Геной в редакцию журнала «Страна и мир». Пришел Кронид Любарский, сразу выяснилось, что у нас в Москве множество общих знакомых... Разговор он начал фразой: «Стоит ли нам возвращаться?» Я сказал: «Нет, конечно». Они здесь получают множество журналов и прекрасно информированы...

16.05.88. *Zug Bochum-Düsseldorf*. Вчера Карл встретил меня на вокзале, мы посидели за бутылочкой вина, поговорили. Я чувствую, что пребывание здесь сделало меня немного оптимистичней... Карл считает, что измениться у нас может что-то лет через 20—30. Очень важным он считает у нас отсутствие слоя старых мастеров, которых в Германии множество; чтобы создавать школы, нужно переучивать учителей и т. д.

¹⁰ «Лишь бы прочь» (нем.).

Случайно в разговоре упомянул славистку Хелен фон Сахно, я ее когда-то переводил для Инокомиссии. Это оказалась близкая приятельница Карла. Сейчас я еду к ней, она меня пригласила.

Düsseldorf. Долгий очаровательный разговор с Helen von Ssachno... Говорит почти без акцента, но иногда подыскивает русские слова. Вкусы наши во многом совпали... Очень нежно говорила о Белле: он был очень грустен последние годы, и когда появился Копелев, казалось, тот переливает в него частицу своей энергии. Если по телевизору показывали одного из них, всегда надо было искать рядом другого. Копелева здесь очень уважают. Рассказала об одном его выступлении в Дюссельдорфе. Какой-то старый немец спросил его: но ведь вы сами были коммунистом? Копелев ответил: «Да, я участвовал в страшных делах, я проводил коллективизацию, отнимал у крестьян последнее, думая, что так надо, я знаю, как много зла сделал». После этих слов в зале началось что-то невообразимое, молодежь устроила ему овацию. В Германии больше привыкли к разговорам: я этого не знал... Тепло отозвалась о Хазанове: он такой умный, с таким юмором. В отличие от меня, с интересом читает аудиозную литературу и критику (Проханова и др.): я испытываю «*frische grüne Ärger*¹¹ — такое у нее выражение.

18.05.88. *Köln, Flughafen.* Утром разговор с Комой илевой. Заговорили о К.: в нем есть что-то безумное и истерическое. Кома сказал, что это объясняется примесью славянской крови. Я спросил: считает ли он внутреннюю предрасположенность к счастью или несчастью (которую можно отметить у немцев или, допустим, у шведов, если судить о них по фильмам Бергмана) биологически, генетически predetermined? «По-видимому, да, — ответил он. — Известно, что финноугорские народности тяжело реагируют на алкоголь. Не случайно в восточных областях Швеции, ближе к финской границе, т. е. где сильней финноугорская примесь, больше самоубийств. В отдельных областях Венгрии, независимо от социально-политических условий, процент самоубийств во все времена был больше. Можно считать, что пассивная философия буддизма не случайно связана с распространением наркотиков и запретом на вино. Последние исследования установили, что человеческий организм под влиянием стресса или напряженной умственной деятельности вырабатывает вещества, как-то соответствующие действию наркотиков». О Гессе, который уникален тем, что сумел вылечиться от наркомании, и скорей сам, чем с помощью психоаналитиков... (Я не успел спросить, как это совмещается с его же мыслью, что способность к счастью имеет религиозный смысл.) Кома, видимо, всерьез учитывает биологические, генетические, нервно-мозговые основы человеческого существования.

Меня вдохновляет выносливость Комы. Вчера у него давление было 220, и все время оно такое, но он пил с нами вечером вермут, утром выпил две чашки кофе, обещал разбудить, сказав, что мало спит, и действительно, когда я в 7 утра проснулся, он уже лежа читал.

¹¹ Букв. «Я испытываю свежую зеленую злость» (нем.).

Лева о том, что Ульбрихт, видимо, способствовал гибели Тельмана, выдал его. Хотя Тельман был сталинист, пьянчуга, любитель денег; он, как и Сталин, способствовал приходу фашизма к власти.

Утром увидел, как пара дроздов кормила птенцов.

21.05.88. *Москва*. Утром с мамой и братьями на кладбище. Постояли у могилы, договорились о расширении ограды...

В газете фельетон о талонах на сахар в Красноярске: их выдают через домоуправление и сразу связывают с квартплатой, с обязательством не выбрасывать пищевые отходы вместе с прочим мусором и т. п. Обычные гротески нашей жизни, и это тоже серьезно...

22.05.88. Вчера на ночь начал перечитывать «Сторожа», и мне показалось, что-то уже есть...

Ночью мне еще снилось что-то немецкое: улицы, витрины, стеклянные двери. Галя говорит, я что-то бормотал по-немецки.

29.07.88. *Качергине*. Борхес где-то высказался в таком смысле: я не знаю венгерской и малайской литературы, но уверен, что они содержат полный набор питательных духовных веществ для своего народа.

Это, наверное, так. Но есть еще место каждой литературы в мировой иерархии, и места эти неравны.

Я не раз думал: что мешает представителю любой, самой маленькой, самой новой литературы освоить опыт мировой литературы и сразу стать вровень с кем угодно? Очевидно, мирового опыта еще недостаточно. Нужен наработанный духовный потенциал собственной культуры.

Я думаю об этом сейчас в Литве, наблюдая и пытаюсь представить здешнюю жизнь.

2.08.88. *Качергине*. ...Бронис первый раз идет доить корову к 6 утра, второй к 10 вечера. Между этими часами все время идет какая-то работа, без паузы; но есть время и покурить, и съездить за малиной (тоже, впрочем, работа), и испустаться. На наших глазах они стали зажиточны, достроили, украсили, обставили дом, купили машину, коров. Государственная служба нужна лишь, чтобы отметить. (Бронис числится где-то кочегаром в отопительный сезон.)

Иногда мне кажется, что я бы хотел так жить. Всегдашний вопрос: а есть ли тут время и место для души? Книг здесь даже мне читать не хочется. Но, может, в самой этой жизни есть своя духовность...

7.09.88. ...Позвонила редакторша из «Знамени»: «“Сторож” очень понравился, читала взахлеб, но думаю, шансов это у нас не имеет, слишком иррационально, а у нас ориентация на добротную реалистическую прозу, типа старого “Нового мира”. Может, это и ограниченность, но не может же журнал становиться альманахом». Я ей сказал, что не вижу в журнале какой-нибудь эстетической позиции и вообще литературы, есть публицистика, по-своему интересная, но перечитывать ее не обязательно. «Вы бы сейчас Платонова не напечатали?» — «Да, “Чевенгур” мы не напечатали», — согласилась она. Я попросил ее высказать свое мнение Лакшину, напомнить ему о нашем давнем разговоре, когда он сказал о «Меньшутине»: «Будь моя воля и будь нормальная обществен-

но-литературная ситуация, я бы эту вещь напечатал, не глядя, но потом отдал бы на съедение критике». Она сказала: «Обязательно напомним. Но тогда он был консультантом журнала “ИЛ” и не имел власти».

14.09.88. Запишу, чтобы не забыть, телефонный разговор со «Знаменем». Редакторша говорила обо мне с Лакшиным, он хорошо помнит и меня, и разговор со мной, но читать категорически отказался: не могу, нет времени, все расписано по минутам. Я позвонил Оскоцкому. Он начал с того, что уходит со своего поста... Я высказал ему то же, что и редакторше. «Действительно, — сказал он, — у нас направление более традиционно-реалистическое». — «Знаете, В. Д., — сказал я, — вы уходите со своего поста и потому, надеюсь, не обидитесь, но, если не считать немногих вещей да архивных публикаций, современной художественной литературы в журнале нет». — «Обижусь», — сказал он. «Ну назовите хоть что-нибудь?» — «Жигулин». — «Но это же другой жанр, документально-мемуарный». — «Аракчеев?» — «То же самое». — «Рассказ Гранина!» — «Опять другой жанр. А я говорю о художественной литературе». — «Действительно, у нас есть уклон в документалистику, мы как раз печатаем еще две вещи в таком роде и будем продолжать». — «Это прекрасно, — сказал я. — Я сам с интересом читаю, но должна быть все-таки еще и художественная литература... Вы сказали мне, что исторических вещей не печатаете. А вот Шмелева напечатали». — «Но там же проблема конформизма!» — «А у меня что, нет современной проблематики?»

Ну, да что говорить. Думаю, это безнадежно не только здесь. Эти журналы прогрессивны и интересны, но вкуса и заинтересованности в современной литературе высокого уровня нет, пожалуй, ни у кого. Я вспомнил, что Достоевский и Толстой со временем стали печататься у Каткова: «Современник», «Отечественные записки» были увлечены другим...

Вечером с большим напряжением прослушал свою передачу об Илье по ВВС. Обертон получился скорее религиозный, духовный — так выстроилось само собой.

26.09.88. ...В «Новом мире» интересная статья М. Чудаковой о литературе 20—30-х годов. Современная ситуация рассматривается как производное тогдашнего развития. «Расслабленность творческой воли, духовная оторопь, срывающаяся в истерику. Это сигнал трагической ситуации: исчерпаны соки, какие могла дать варварски перепаханная, насильственно истощенная земля. И мы начинаем понимать, что именно произошло в 20—30-е годы».

Так ли это? Я упрямо не хочу применять этих оценок к себе. Расслабленность творческой воли нельзя списывать на время. Можно и нужно мыслить, писать невзирая на него. Я не вправе считать себя неспособным.

3.10.88. ...Впервые за последние три года возможность оптимистического прогноза мне вдруг показалась не менее вероятной, чем возможность прогноза пессимистического. По крайней мере, во временной перспективе. В ближайшие годы нам предстоит немало трудных и опасных перепадов, тягот и тревог. Но все-таки появился серьезный шанс, достаточно закономерный (если исключить внезапности, вроде смерти)...

4.10.88. ...Никогда так не было плохо в магазинах. Не то что мяса нет и помидоров — нет соли, мыла, пасты зубной. Который месяц не могу купить провизителю, ботинки... долго перечислять.

22.10.88. Работать толком не смог. Приехали Юлик с Ирой, Дима, посидели за коньяком. Юлик пел новые песни («Московская кухня», «Не собирай посылку, мама» и др.). Очень сильно прозвучало... Юлик о созревшем наконец противопоставлении хамству, которое претендует на первенство: «Я понял, что есть троглодиты и есть я...»

Потом на день рождения к Карабчиевскому. Там были Баткин и Библер... Разговоры о неизбежном распаде империи, о процессах на национальных окраинах, где оказалась разрушена культура. Библер жил в 51—59-м годах в Таджикистане: там была массовая арабская грамотность, были очень культурные люди. Теперь не осталось: не знают ни по-русски, ни по-арабски, ни по-таджикски. Диктатура троичников, выразился кто-то. О национальном самочувствии. Баткин, Библер и я оказались, в отличие от Карабчиевского, солидарны в том, что еврейское самочувствие для нас вторично — главное индивидуальность... О перспективах культуры. Мое упоминание о последней статье Лихачева в «Лит. газете» Библер и Баткин приняли с усмешкой: ему не хочется расставаться с ролью свадебного генерала, а «Память», видимо, стала его упрекать, что он мало внимания уделяет русской теме... Уже в такси на обратном пути я спросил Библера: если бы сейчас вдруг стали публиковать непечатавшихся философов — выявится ли у нас большой философ? Он сказал: «Нет. Много умных, культурных людей, но большинство несамостоятельно. Сейчас преобладает мистическая, религиозная мода, разум, мысль не в чести». Среди настоящих философов («это не значит, что я с ним согласен») назвал Мамардашвили. О поэзии. Отличие Пригова, Рубинштейна и др. от обэриутов: те вскрывали реальную, еще не всем понятную абсурдность существующей жизни, это требовало самостоятельного мышления, мастерства; эти просто демонстрируют и пародируют существующий абсурд, ничего не раскрывая больше тождества: *a* равно *a*...

Все с большей неловкостью вспоминаю свой недавний незрелый оптимизм после «переворота» 30.09. Он испарился за неделю. Немного недоволен собой: кажется, я говорил больше, чем стоило бы.

31.10.88. Утром позвонила Милуша, встретились с ней в гостинице, зашли вместе в «Сов. писатель», я сдал верстку. Милуша передала мне рецензии на мои работы. Насколько я мог понять, пока речь идет лишь об издании «Иванов»... Потом — к Лиснянской и Липкину. Липкин утром был в «Дружбе народов», там планируют издать его «Декаду». Спросил, чем он занимается. «Во-первых, пишу стихи. А во-вторых, делаю странную работу: делаю по научному переводу Дьяконова поэтический перевод “Гильгамеша”. Без всякого заказа. Эта работа вряд ли будет напечатана, тем более Кома мне сказал, что Дьяконов считает свой перевод поэтическим. Но я давно это хотел сделать, уже несколько лет этим занимаюсь. Перевел из одиннадцать песен (или таблиц, как правильно их называет Дьяконов) восемь. Пусть после моей смерти останется. Я ведь готовлюсь уходить. Это великое произведение, и оно много говорит моей

семитской душе. Там много грубости, эротической грубости. Я придумал одно строфическое решение...» — «А мемуары?» — «Отложил. Я вдруг почувствовал, что многого не помню. Я хотел написать про встречу с Ключевым и вдруг почувствовал, что помню общее содержание его речей, но не помню конкретных слов. А у него очень своеобразная речь. Я сделал глупость, что в свое время не записал. Еще недавно, до операции, мне казалось, что я все точно помню. А после операции вдруг оказалось, что забыл...»

30.11.88. ...Перестали глушить «Свободу», «Немецкую волну». Послушал, как они обсуждают наши дела. Покачивают, как и мы, головами.

8.12.88. Работал над переводом Канетти. За окном ветви деревьев в снегу — какой-то небывалый для декабря снегопад, в пять раз больше нормы, 100 лет такого не было. Заехал к Натану Эйдельману, долго говорили. Он считает, что Горбачев очень умело ведет свою линию, потихоньку оттесняя от власти партию, а все разговоры вокруг — камуфляж. Разговоры о недемократизме этой политики сейчас лишены смысла: если устроить всенародный референдум, результаты были бы ужасные. Народ еще недавно готов был призвать нового Сталина и даже нового Берию (разговор на такую тему есть во вчерашней «Лит. газете»), он растерзал бы Сахарова — и т. п. Особенность России — неспособность народа к конструктивным действиям, они возможны только сверху, и неизбежный недемократизм на каком-то этапе надо принять; другого пути нет. В связи с этим помянул выступление Баткина на «Московской трибуне»: «Он стал немного вещать. Конечно, годы непризнания сделали свое дело. Все, что он говорит, правильно, но как-то лабораторно правильно. Правильно писал и Дидро Екатерине: введите свободу и освободите крестьян. На что Екатерина отвечала: он пишет по бумагам, а я по шкурам. Дворяне требовали у Александра II демократии: дайте нам освободить крестьян. Но царь понял, чем это обернется, и сумел стукнуть кулаком по столу. История требует разговора в сослагательном наклонении. Это не значит, что Горбачеву “не надо мешать” слева». В Женеве Натана называли агентом Горбачева; он ответил словами Герцена об Александре II: «Мы идем с тем, кто освобождает, пока он освобождает». Пока, считает он, работают исторические аналогии. Это настраивает его на сравнительно оптимистичный лад...

12.12.88. ...Встретился с Померанцем, говорили о нынешних делах.

— У меня ощущение духовного пира во время чумы. Мне кажется, главное — не экономические перемены, нужно духовное обновление. Без этого все экономические попытки провалятся, сведутся на нет катастрофой. Поэтому я и не оказался среди «прорабов перестройки».

То, что происходит в Азербайджане, — ужасно, да последнее время и армяне стали отвечать тем же. Я испытываю чувство трагического бессилия: пробую найти слова, которые мог бы им сказать, — и не нахожу таких слов. Они ничего не услышат. Это может распространиться, как пожар, и тогда либо катастрофа, либо военная диктатура...

У меня довольно четко обозначен первый этап: примерно до 1969 года. После чехословацких событий я перестал заниматься злободневными темами,

только иногда, если меня вынудят. Ушел на глубину. А сейчас опять наступило более активное время, но уже на основе того, что добыто за эти годы.

Вы любите выступать в аудитории? Ну, тогда вы много теряете. Недавно я выступал в Харькове, очень всех расшевелил. Сначала сидели тихо, потом стали задавать вопросы. В чем смысл жизни?

— И что вы ответили?

— Ну, во-первых, мне помогла аудитория, отозвавшаяся смехом. А когда смех утих, я сказал: «Смысл жизни можно пережить, но не выразить словами». И потом, я не могу отказаться от вкуса жизни. У меня такое же чувство, какое было, когда я шел в атаку: чувство, что я приобщен к мировой истории. Хотя речь шла всего лишь о какой-то деревне. И страха не было. Хочется что-то сделать, как-то вмешаться. Только силы не те. Духовно я бодр, но вот плотью слабею. Стал забывать слова.

26.12.88. ...Получил и привез экземпляры своей книги, очень красивая. Позвонил Фазилю Искандеру — как бы встретиться, чтобы обмыть. Он сказал: «У меня для тебя тоже есть книжка...» Приехал Женья Попов. Я надписал экземпляры ему и для Хазанова, Казака, Мартини, Копелева, еще один для Синявского, которого он, может быть, увидит в Париже. Выпили. Он говорил, что это событие, сейчас так никто не пишет. «Даже самые хорошие наши писатели, такие, как Маканин и Ким, отравлены привычкой печататься, они знают условия игры. Это как если в самогон добавить чуть-чуть лаврового листа — уже будет пахнуть лавровым листом, и не избавишься. Мы с тобой не играем в эти игры...»

31.12.88. Заканчивается год. Он оказался для меня рубежным. Умер папа. Вышла книга. Оказались завершены почти все давние замыслы: «Сторож», сказка, рассказы, почти два десятка эссе (причем даже те из них, что делались для публикации, были вполне достойного уровня, как и переводы). Завершился какой-то этап. Впереди новое состояние жизни. Внешне это жизнь автора, существующего уже не только «in sich». Внутренне — у меня созрел и кажется многообещающим замысел, которым я надеюсь заняться более или менее спокойно, не отвлекаясь на суету и заработки. (Сегодня записал интересный, мне кажется, сюжет про очередь — мой постоянный мотив...) Какой-то этап завершается и в жизни страны — будущий год не может быть таким же, время кончается, что-то должно измениться, но в какую сторону? Я перебираю приметы года — и вспоминаются катастрофы, тревоги, нехватка. Но при всем этом я работал, пожалуй, интенсивно, как никогда...

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Вечные вопросы

Не побоимся показаться смешными — будем решать вечные вопросы.

Вдруг со смущением обнаруживаешь, что опять занимаешься ни более ни менее как поиском смысла жизни. Хотя сам понимаешь, как это комично. По-

сле Экклезиаста, после тысячелетних попыток. Но иного выхода ни у кого нет. Раз уж довелось появиться на свет. Угораздило.

До всего можно дойти только собственным умом, только собственным поиском, напряжением собственной души. Слова Иисуса, Будды или Сократа могут подтолкнуть, открыть возможность собственной мысли — но для этого надо быть готовым, способным их воспринять. Можно читать любых мудрецов, любое Священное писание, как будто даже понимать и принимать их — но в душе не стронется ничего: ты сам ни до чего не дошел. А стронется от слов совсем не знаменитого человека, от события, любовного переживания, бессловесных звуков музыки, пятен солнца в листве, чьей-то смерти. Тогда оживут и залежавшиеся в памяти истины, прорастут в тебе, станут твоими.

Высшая ценность для Замысла — жизнь и служение ей. Но в чем это служение? Даже заповедь «Не убий» не абсолютна. А если нужно убить убийцу миллионов — в чем служение жизни? Бог остановил руку Авраама, отказавшись от человеческих жертвоприношений, — но когда-то и такие жертвоприношения служили общей жизни, укрепляя ее дух. Чему служил Корчак, сопровождая детей на гибель? (Можно представить себе сопротивление: кинуться на конвой, бежать — кто-то бы спасся, а палачей стало бы меньше.)

Физическая смерть может служить жизни, если связана с торжеством духа. Смертью смерть поправ — об этом. (Самопожертвование, даже убийство. Примитивный пример: папуасы маринд-аним добывают головы, чтобы дать имя детям, — они уверены, что это нужно для жизни их детей.)

Люди всегда чего-то не знали, но не знали разного и по-разному.

Эпохи различаются сущностью своего незнания. XVIII, XIX века бывали, пожалуй, самоуверенней нынешнего.

Может, важней, чем найти ответ и решение, — понять, что такого ответа и решения быть не может и не должно.

Никто не смог ответить на вопросы Иова. На вопрос, как стал возможен Освенцим и ГУЛАГ.

Верно ли, что мироздание само по себе лишено смысла и его вносит (или придумывает) лишь человек? Или он скорее инструмент для выявления смысла, существующего помимо него?

Но тогда — чей он инструмент?

1975—1995

Истина и поиск

На темы Конфуция. Обладаем ли мы от рождения каким-то знанием, или все приобретено усилиями? Иногда кажется, что тебе все-таки что-то было дано, но усилия нужны, чтобы выявить это, очистить.

8.01.86

«Правда жизни страшна и безобразна», — сказал мне Вадим Сидур, и мне хотелось спросить его: а что же такое красота? Можно ее понимать как ложь, но тогда — какой смысл будет иметь это слово?

Меня тянет спорить с ним так же, как я спорю с Д. Самойловым, который порой считает, что можно отделаться от ужасов жизни, взглянув в окно на красивый закат.

7.10.82

Мудрость не просто степень ума, но другое его качество. Верней, даже качество не ума, а человека в целом.

31.01.83

Может, истина не в ценностях, которые мы находим или надеемся найти, а в энергии поиска. Только поиск должен быть доброкачественным. Возможна и ложная, темная энергия.

9.11.83

Честность — не только моральная категория, она зависит еще от уровня, от интенсивности интеллекта. Насколько способны мы дать отчет, т.е. признаться самим себе в мотивах и характере собственных действий?

Как бы ни относиться к Ницше, у него хватило мужества заглянуть туда, куда другие не решались.

Сотри случайные черты,
И ты увидишь: мир прекрасен.
(А. Блок)

Благодарность читателя автору этих строк оправданна: людям именно такие строки нужны, хотя дарят они не столько истину, сколько условную основу для дальнейшей жизни. Что до истины, то никакая черта мира не случайна, и он отнюдь не только прекрасен.

Вот, кажется, сумел проникнуть невесть как глубоко. На самом деле взгляд твой преломился у поверхности и ты принимаешь за глубину череду зеркальных отражений.

Извлечение корня из жизни. Жизнь от такого занятия засыхает.

Человек должен где-то остановиться, не доходить до бездн, его забота — счастье, а не истина. Он имеет право не знать, стремление же к бесконечному

познанию — дьявольский соблазн, не дающий удовлетворения. Наша жизнь, сама сущность человеческая — конечны, поэтому и устремления нашим правильно положить предел.

Так мыслил в моем романе игумен Никанор. И в этом есть своя правда — для массового большинства.

Я с сомнением смотрю на современного интеллектуала, который всерьез слушает проповеди об отроках в печи огненной, рассуждает о непорочном зачатии и т. п.. Как будто к концу XX века религия может оставаться той же, что и тысячелетия назад. Творческая работа человека над образом Бога никогда не прекращалась: после Авраама нельзя было буквально принимать человеческих жертвоприношений, после Христа обновился еврейский завет, после Галилея — космология. Сейчас религия не может и не должна быть такой же, как во времена пророков.

22.12.85

Есть что-то сомнительное во всякой теологии, т. е. в словах о Боге, во всех логических доказательствах его существования (вроде: «Если не все дозволено, значит, Бог есть»). Доказывать можно, что $2 \times 2 = 4$. Другое дело определения отрицательные (na iti, na iti¹²) или свидетельства косвенные (тайна поэзии, пейзажа, музыки).

9.08.85

«Мысль изреченная есть ложь», — уверял Тютчев. Может, на уровне словесном ирония — абсолютный принцип. То, что серьезно и вне иронии, — то вне слов.

Независимо от того, что можно назвать верой в Бога, и тем более от принадлежности к определенному исповеданию, к церкви, существует религиозное отношение к жизни, религиозный импульс. Я понимаю, что это такое, когда останавливаюсь перед непостижимой загадкой жизни, разума, самого существования мира, перед его неисчерпаемым разнообразием, бесконечностью, вечностью.

31.03.85

Человек может жить так, будто не просто он сам распоряжается своей жизнью — какая-то сила его направляет, за ним следит, требует ответственности. Дело не в том, так ли это на самом деле, — важно, что он помнит об этом, руководствуется этим в своих — как будто личных — решениях, это определяет его образ жизни, отношение к миру, к себе. Такое отношение можно назвать религиозным.

Или он может гордо сделать ставку только на себя, на свой независимый выбор, свою волю. Это самоопределение экзистенциальное, трагическое, но

¹² «Не это, не это» (*санскрит*) — в индийской философии отрицательное определение абсолюта.

самоопределение, а не благостная ссылка на ожидаемое наказание или поощрение (земное или загробное).

Как и во всех сферах жизни, в религиозной Творцу, думается, тоже удобней творчество, то есть неустанная деятельность души, ума, удобней сомнения и метания, не данная раз навсегда, готовая вера, а постоянная выработка ее в себе, даже безнадежная.

19.12.82

1989

4.01.89. ...Пришел № 1 «Знамени». Прочел только статьи, которые производят впечатление ликбеза; но эти же авторы нас и сделали грамотными. Тираж журнала достиг миллиона...

14.01.89. С утра взялся перечитывать эссе; это оказалось гораздо более удобочитаемо, чем я думал. Захотелось привести это в порядок и, может быть, перепечатать — уже будет почти готовая книга, которую можно при желании дополнять и дорабатывать...

5.03.89. ...В последнем номере «Вопр. философии» есть публикация Голосовкера, и в предисловии сказано, что он «знал спокойно и даже неощутимо для себя о присутствии и власти в этом мире абсолютного». Сегодня, перепечатывая свои заметки о религии, я тоже думал об этом. Надо поддерживать в себе это ощущение. Иногда я его теряю и начинаю суетиться, неточно воспринимаю мир и происходящее в нем.

Гулял в лесу при мягком сером свете, на пригорках и вокруг деревьев проталины, и я думал, что последнее время гуляю, не замечая красоты этого мира. Я перепечатывал цитаты из Платонова и Фолкнера и думал, что давно мне уже не давались действительно мощные художественные прозрения. Допечатаю эссе, и надо будет углубиться в настоящую прозу. Важно не уклоняться от этого уровня, от этого знания — и пусть судьба моя вершится где-то по своим законам, без суеты. Как это прекрасно!

11.03.89. *Современное состояние (попытка анализа)*. Новое в моем ощущении: я постепенно начал чувствовать, что происходящее все-таки необратимо. Это отнюдь не дает оснований для оптимизма: мы в самом начале долгого, трудного, болезненного, мучительного процесса; он будет недешево стоить. Возможны, даже весьма вероятны острые кризисы, чрезвычайные ситуации — с введением чрезвычайного положения и даже — кто знает? — попыткой военной диктатуры, если власть почувствует, что совсем теряет контроль над ситуацией. И все-таки все чрезвычайные меры могут быть только временными, никаких проблем они не решат, лишь усугубят их до катастрофических масштабов. Все равно возврат к прежнему состоянию уже невозможен, невозможна даже остановка в нынешнем состоянии — она будет означать скатывание к той же катастрофе. Как в сказке об Алисе: для того чтобы просто оставаться на месте, надо бежать изо всех сил. А для того, чтобы с него сдвинуться, нужно менять систему, это, кажет-

ся, все больше людей начинает понимать. Еще недавно мне это казалось невозможным, сейчас кажется неизбежным. Процесс идет болезненный, но он уже идет.

16.03.89. Утром позвонил Натан Эйдельман, он уезжает 18-го. Мы встретились с ним на Арбате, в книжном магазине, и прошли до улицы Горького (издательство «Книга»). Он в спешке перед отъездом должен был заканчивать сразу четыре серьезных работы («Революция сверху», работа о русских в Грузии и др.), серьезность которых не всякому читателю будет понятна, это может помешать популярности. «Цирковые артисты иногда отказываются от самых трудных своих номеров, потому что зрители не оценят, как они сложны». Много занимается Польшей, Катенью. «Наши сопротивляются признанию правды, не раскрывают архивов, потому что это уже международное преступление, попадает под юрисдикцию международного суда, а многие участники еще живы». И есть ряд других сопутствующих обстоятельств. Разговор о том, что всплеск работоспособности у многих сейчас связан с мыслью: не всегда же будет такое состояние, внутреннее и внешнее. Сказал, что много самых неожиданных людей стали думать об отъезде: будущее неизвестно и чревато большими потрясениями. Лучший вариант: «управляемая демократия». Горбачев, сознает он или нет, идет к самодержавию, это сейчас лучшее, что может быть. Для более серьезных перемен должно пройти лет 20 (считая с 1985-го) — чтобы сменилось поколение. Худший вариант — диктатура, кровавая резня. Я помянул свою тему о «возможности гения», он сказал, что не считает это возможным. Вообще, гениальность — дело генетики, но для реализации нужны общественные условия; у нас их нет. Я привел довод: и в 20-е, и в 30-е, и в 50-е, и до сих пор, несмотря на все репрессии, потери, остается много крупных талантов; удивительно богатая страна. Я и сейчас назову десяток людей, которые могут составить гордость любой мировой культуры. «Но это все не молодые люди, это дети “оттепели”». — «Но талант раскрывается по-настоящему не раньше чем в 40—50 лет». — «Нет, сохранились таланты другого поколения, воспитанного на идеализме, а не на цинизме. *Террор не так страшен для гения, как цинизм*». — «А наши дети?» — «Наши дети — особь статья, но и моя дочь считает себя потерянным поколением».

26.03.89. ...Вычитал сборник Габая. Это чтение любопытным образом совпало с чтением «Второй книги» Н. Мандельштам: та же высота и бескомпромиссность подхода к миру. Только выработать себя им дано было по-разному. Но как человек Габай настолько же выше был нашего уровня, насколько перерос большинство своих современников Мандельштам. Впрочем, об этом надо еще подумать и написать. Сходил голосовать — впервые за 15 лет, если не больше; обычно за меня голосовала Галя. Дадут ли эти выборы какой-то сдвиг?..

Чтение Н. Мандельштам перекликнулось с услышанным вчера по радио пересказом газетной статьи о том, что жителей калмыцкого города Элисты, где заразили детей СПИДом, не пускают в другие города, кидают камнями в их машины, поджигают дома, не принимают кровь на анализ. Такая степень массово-

го одичания (а примеров такого рода множество) даже меня поразила — а Н.Я.М. еще в 70-м году говорила о нарастающей и, может быть, неотвратимой катастрофе, в том числе человеческой. Сейчас я читаю ее суждения на эту тему по-новому: многое оказалось хуже, страшней и зашло дальше, чем я думал еще несколько лет назад.

Погуляли с Галей и детьми в лесу. На орешнике уже сережки.

27.03.89. ...Любопытны первые новости о результатах выборов. Подавляющий успех Ельцина, провал некоторых партийных секретарей. Нет, что-то движется...

2.04.89. С ночи метель, густой мокрый снег, он валил весь день... Сажу за столом: за окном сказочные зимние сумерки. Медленно, проникновенно читаю Н.Я. Мандельштам. Позвонил Попов, он идет завтра увольняться, советовался со мной: стоит ли терять постоянную зарплату? А вдруг «перестройка» кончится? Я сказал, что мне странны эти сомнения: день, когда я ушел со службы, был одним из самых счастливых дней моей жизни.

Все время чувство: как поздно я начал что-то понимать, к чему-то приближаться. Хватит ли дней моей жизни, чтобы что-то сделать на уровне этого своего только сейчас обретенного понимания?

1.05.89. Прага. Милуша о «Собачем сердце». Здесь фаустовская тема: о праве высокодуховных людей менять судьбу живых существ, симпатичного пса, менять божий замысел; о высокомерии научного знания.

(Продумать: не только советская, но всемирная тема.)

Вечером узнали, что первомайская демонстрация на Вацлавской площади закончилась избиением демонстрантов-диссидентов.

6.05.89. Прага. Вечером к Р. Ш., пришел Luboš Dobrovsky с супругой. Разговор о Горбачеве... о советской политике... Добровски... до 68-го года работал корреспондентом чешского радио в Москве, с тех пор был мойщиком окон, сейчас кочегар в котельной. О Солженицыне: Лубош сказал, что опубликовать сейчас «Архипелаг ГУЛАГ» было бы несвоевременно и жестоко по отношению к людям, которые жили в эту эпоху и не считали, что делают подлости; это значит лишить смысла и ценности всю их жизнь. Пусть доживут свое, не переживая этой трагедии и потрясения. Я ответил, что он, видимо, мало следит за советской прессой: там все это уже сказано, и Солженицын, в сущности, добавляет мало. Он же высказал идею: хорошо бы лучше знакомить советских читателей и зрителей с настоящим искусством Чехословакии — например, перевести и поставить в каком-нибудь театре Гавела. Это был бы не политический, но лучший шаг к изменению положения...

Лубош довез нас на машине домой; мне показалось, что он на большой скорости петляет по улицам, как будто на всякий случай от кого-то уходит. Его перед праздником вызывали в госбезопасность.

7.05.89. Jahimov. Я пишу вечером в мансарде дома отдыха института, в котором работает Милуша. Это маленький коттедж в горах, на четыре семьи, но здесь, кроме нас, никого не оказалось, мы живем, как в швейцарском пансионате, на двух этажах. Тепло, внизу гостиная с ТВ, кухня, мы с Галей в мансарде на-

верху, она рисует на полу акварелью, я только что принял божественный горячий душ. Напротив — бывший урановый рудник, где когда-то работали заключенные и с которого когда-то получала уран для своих опытов Мария Кюри-Склодовская...

Это искони немецкая земля... и городки здесь типично немецкие, только более обветшавшие, чем в Германии (даже чем в Восточной, не говоря о Западной). Я вспомнил вчерашний разговор о национальных проблемах: немцы жили в Чехии испокон веков как соседи, а не как завоеватели. Как соскочила с колеи европейская история и как трудно ее обратно вправить!

Я здесь читал в одном из «Континентов» подборку Вен. Ерофеева «Моя лениниана», и, может быть, по контрасту с прекрасной Прагой, ее монастырями, храмами, кладбищами, именами, воспоминаниями о великом культурном, религиозном прошлом и постыдными плакатами нынешней жизни — я вдруг остро почувствовал, что сбой или кризис нашей жизни — не только политический, экономический или социальный, он прежде всего духовный, если угодно, религиозный, связанный с глубинными основами человеческого мироощущения. И в этом смысле не только наш — он общемировой. Сейчас очевидна вопиющая, постыдная бездуховность Ленина и всех, кто повернул (или пытался повернуть) вместе с ним направление и характер мировой истории. Это были люди, не способные ощутить и оценить чудо и тайну мироздания, где человек выделился из космоса и с ним связан, подчинен тысячелетним ритмам. Они не способны были ценить человеческую жизнь, красоту искусства, любовь; они лишены были того благоговения, благочестивого отношения к чуду и тайне жизни, которое можно назвать религиозным, даже не будучи верующим в церковном смысле. И неудивительно, что они оказались способны проливать кровь, разрушать храмы. И неудивительно, что они нашли поддержку и отклик во всем мире, подняв на поверхность — и выведя к власти — хамские, некультурные элементы, соблазнив многих отказаться от духовного и культурного творчества. Не они, впрочем, начали, но они довели это развитие до очевидного кризиса. Приметы этого кризиса наиболее вопиющи у нас, но и во всем мире масса людей, охваченных гонкой за жизненными благами, престижем и удовольствиями, — не имея религиозной (пусть простодушной, суеверной, но все-таки духовной) основы людей прошлых лет... Я записываю более сумбурно и невнятно, чем мне это видится; возможно, потом сумею сформулировать точнее.

Мне кажется, это понимание способно уточнить направление литературной работы, вкус, мироощущение.

8.05.89. Проехали еще дальше до границы, где от Германии отделял лишь ручей да простые ворота. Дома внизу чешские, церковь наверху немецкая... Я впервые подумал, что германское культурное влияние (или колонизация) было самым мощным в Европе — наверно, со времен Великой Римской империи: Австрия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Прибалтика, Западная Украина — все это построено по немецкому образцу, все пронизано памятью о германском средневековье...

16.05.89. Утром пришел «Нов. мир» с рецензией на меня Померанца. Работал в библиотеке над обзором и неожиданно прочел в FAZ, что в Веймаре еще в середине апреля скончался Р. Каралашвили, от инфаркта, 48 лет. Как это ужасно!..

23.05.89. ...Сейчас для меня один из периодов, когда внешняя жизнь преобладает над внутренней. Бывало, в других, не столь благоприятных обстоятельствах мысль моя была гораздо больше напряжена и душа более собрана.

29.05.89. Не выполнил норму перевода — смотрел съезд. Зрелище все-таки захватывающее, и значение он будет иметь, хотя исход самых существенных голосований можно считать предрешенным: большинство заранее известно. Но неизбежен сдвиг в сознании, который скажется на будущей жизни, будущих выборах. Перемены в умах людей уже очевидны...

3.06.89. ...Ловлю себя на смешном чувстве. Все время примеряю к себе: а я бы мог? Почему так не делаю? Смешно то, что на самом деле я не только не мог бы так (и сам знаю, что не мог бы), но и не хочу. Я не хочу участвовать в митингах, собраниях, выработке программ, выступлениях перед аудиторией, не хочу писать злободневной публицистики. И даже о загранице думаю с оговорками: все это удаляет от единственной моей работы и от душевной сосредоточенности. Уже который месяц меня тяготит именно душевная суета и бесплодность, а не что-нибудь другое. Но при каждом новом разговоре испытываю нечто вроде зависти — которой на самом деле нет, я готов поручиться. Это чисто рефлекторное шевеление чувств. Если мне чего и хотелось бы, кроме душевной сосредоточенности и напряженности, так это публикации книг — даже не успеха, а именно публикации и материальной возможности работать, жить, думать о своем.

1.07.89. ...Просматривал для заметок Фолкнера («Особняк») и подумал: несколько последних дней было впечатление удачи, т. е. для любой страны нормальной жизни: возможно, будут печатать мою книгу, заказали перевод Кафки, я обеспечен деньгами и пока здоров — можно же так нормально жить всю жизнь. Другие, в нормальных странах именно так живут... И вдруг почувствовал: чем-то такая жизнь была бы, однако, и ущербна, для писателя ущербна существенно. Постоянное ощущение комфорта, удачи, тепла не дает прикоснуться к каким-то важным глубинам жизни — к тем, где Фолкнер находил слова о поражении и стойкости, крушении и гордости, где только и познаются шум, ярость, отчаяние, страх, надежда, противоречивое богатство бытия. Я бы не отказался от удачи, от возможности спокойно и плодотворно возделывать свое поле и не хотел бы ничего накликивать. Но отказываться нельзя ни от чего, в любом повороте жизни надо распознавать богатство и благословение.

18.07.89. Работал плохо... Утром пришло письмо из Прокуратуры Узбекистана: дело Габая прекращено за отсутствием состава преступления. Странно, почему не «отменен приговор», а «дело прекращено» Тем не менее это реабилитация. Позвонил по этому поводу друзьям...

22.07.89. Утром на похороны урны Раи Орловой в крематории Донского монастыря. Лева привез целую брошюру погребальных речей, произнесенных в

Германии, и их зачитывали. Встретил Натана Эйдельмана, он познакомил меня с французским славистом Жоржем Нива, который у него сейчас гостит.

23.07.89 ...Говорил с Натаном Эйдельманом. «Чувствуешь ли ты сейчас себя живущим в историческое время? — спросил я. — И как?» — «Да, — ответил он, — с одной стороны, я чувствую это шкурой, и это тревожно, опасно. Тамара хочет уезжать, страшно за детей, муж Петя не хочет. С другой стороны, все движется в направлении к рынку, демократии. Ты обратил внимание на телевизионные передачи о забастовках шахтеров? Они одобрительны, смысл их: бастуйте, и вы получите удовлетворение требований. А все потому, что это выгодно Горбачеву. Он руками этих забастовщиков запугивает и убирает аппарат. Он сейчас полностью контролирует ситуацию. Он большой политик. Политики думают другим местом, чем мы, как женщины думают другим местом...»

2.08.89. *Карадаг*. Без малого неделю я не способен делать записи. Наслаждаюсь морем, горами, тишиной, звездами, стрекотом цикад, когда мы с Галей в темноте сидим на лестнице, а дети засыпают. Вчера ходили в Лисью бухту. Чайки подчищают пляж после ушедших. Компания парней, весело матерясь, идет на драку к танцплощадке. «Что это сегодня было?» — окликает одного из парней взрослый. «Не было, но будет...»

Зато прочел книги, до которых не доходили руки в Москве: набоковского «Пнина», фрагменты Джойса, два номера «Страны и мира», философскую повесть Пятигорского... Иногда удастся сделать кое-какие заметки. Глядя на прекрасные берега Лисьей бухты, пытался представить, как глядел на такие же берега Мандельштам и как могли родиться какие-нибудь строчки. Нет, непосредственные впечатления могут породить лишь журнальный отклик (как это бывает в лучшем случае у Вознесенского). У Мандельштама продолжала работать и лишь получала новую окраску, новый толчок всегдашняя культурная, человеческая мысль (о средиземноморской культуре и пр.).

Вечером узнал, что парни шли бить «москвичей». К национальным ненавистям добавилась ненависть к «Москве». Читать газеты, журналы все более тревожно.

31.08.89. День рождения. Я насчитал 36 человек (вместе с нами)... Даже не хватало места за столом. Забавные препирательства о выборе тамады, разговоры. Лукин пессимистичен. Странно говорить о перспективах, когда все уже произошло, лопнуло, и резкое ухудшение может произойти со дня на день, во всяком случае очень скоро. Эйдельман: конечно, пессимизм сейчас имеет больше шансов на успех, его доводы понятны. Но меня один поляк в Швейцарии спросил: скажите, а вы году в 82—83-м могли предполагать приход Горбачева? Нет? Тогда как же вы теперь можете прогнозировать будущее? Считалось, что эта система неспособна к обновлению, что нет людей, способных ее изменить. Оказалось не так. Лукин считает ошибкой нынешних демократов стремление менять что-то дальше вместо того, чтобы закрепить нынешние перемены...

21.09.89. *Lindau am Bodensee*. Я пробую немного писать по-немецки, пусть даже с ошибками — просто чтоб получить практику...

В Мюнхене меня встретили Гена и Лариса, привезли к себе на новую квартиру... Что говорить, они стали жить прекрасно, хотя эта жизнь дается не без труда, в ней много своих проблем, напряжения, неуверенности. Но наша жизнь по сравнению с этой выглядит столь неестественно сложной, что время от времени звучит произнесенный (Лора) или непроизнесенный (Гена) вопрос: почему же ты остаешься в этой стране? Почему не делаешь, как мы? В самом деле, почему? Тут можно привести много доводов, и я их пытался привести, но наталкивался на полное непонимание. Для них сомнения в единственно правильном выборе нет. И все мои доводы имеют смысл лишь в том случае, если наше развитие не обернется катастрофой, и катастрофой кровавой. Что я скажу тогда — и смогу ли сказать?

Все те же мысли, когда я смотрел на людей, пришедших повеселиться на Theresienwiese, на этот немного детский, незрелый, веселый Oktoberfest (пещера ужасов и т. п.) — но и с невероятным богатством всяческих лавок, с лакомствами, яркой иллюминацией, разносчиками всякой всячины, с гигантскими пивными залами разных фирм (мы выпили по кружке в зале Paulaner), где люди пьют, веселятся, поют, вскакивая на скамейки... Хотел бы я так жить? — спрашивал я себя. Действительно ли это дает счастье?..

На другой день мы на машине приехали в Lindau. Хозяева, Карл-Хайнц и Эдит, встретили нас возле местного ресторанчика, где мы пообедали. Это милые, необычайно душевные, деликатные люди. Впрочем, пока я с ними не очень общался. Старик Плаас особенно живописен: красивый, с белыми усами и белыми длинными волосами, в джинсах и в черном свитере; в 82 года он работает, пилит дрова... Мы живем в прекрасном доме на краю луга и леса с Геной и Лорой, которые тоже пробудут здесь две недели...

Разговоры с ним во время прогулок по дорожкам вдоль луга, по лесной опушке, по городским улицам. Обо всем: о литературе, о Синявском, об эмигрантах, советских делах.

Гена: «У меня все время такое чувство, что я вырвался из отравленной страны. Я хожу по улице, вижу полицейского — и мне на него плевать. Я знаю, что ему до меня нет никакого дела. Тогда как в Москве я должен был бояться каждого».

Его точная формулировка главного порока социалистического общества: это неорганическая, неестественная система. (Т. е. попытка навязать жизни умозрительную идею.) Она не могла не провалиться. Удивительно, что она так долго могла худо-бедно существовать. Станный спор возник у нас о КГБ (по поводу прочитанной статьи Комы Иванова). Он сказал, что КГБ можно только распустить, иначе ничего не получится. Я ответил, что, может быть, достаточно ограничить его функции разведкой и контрразведкой. Спор оказался неожиданно горячий, и Лора сказала: «Что ты хочешь, человек приехал из Союза, ему трудно отказаться от стула, на котором он сидит».

Меня это немного задело. На каком это стуле я сижу? Может, правильной говорить о топоре, который висит над головой; от него я очень готов отказаться. Лора стала в ответ рассказывать, как к ним пришли с обыском 8 человек вместо

обычных 6, в дом, где никакой политики не могло быть. «Я все последние годы работала на полторы ставки, приходила из больницы и думала только о том, чтобы пожрать и заснуть. Я им сказала: вы что, работу себе ищете? Если там столько народа, они должны иметь какую-то работу, оправдывать свое существование».

23.09.89. *Lindau*. Встал в 7 утра, было еще сумрачно и туманно. Поплавал в бассейне... До обеда работал над эссе об Эйнштейне... После обеда гуляли с Генной по лесной дороге, разговаривали... На мое замечание, что в Германии не строят высоких домов и живут нетесно, откликнулся:

— В России главное ощущение было — теснота. Всюду: в коммуналках, квартирах, трамваях, на службе. У меня было чувство, будто я всю жизнь висел на подножке.

О статье Синявского «Россия — блатная песня»:

— Он попытался доказать, что блатная песня — наследница русского фольклора, самое талантливое, что у нас есть. Между тем особенность блатных песен именно в том, что все они ужасающе низкого уровня. Так деревенский музыкант превращает любую известную песню черт знает во что...

24.09.89. *Lindau*. ...Вечером смотрел по ТВ передачу из Москвы о стариках-пенсионерах. Отсюда это выглядит особенно ужасно: 50 руб. пенсии, благотворительная похлебка, нищенская одежда, небритые лица, ковыляющая походка. Здесь просто нет таких, здесь старость ухожена. Бедная моя страна!

Какой-то гэдээровец назвал наше время исторической эпохой, равной, может быть, эпохе Возрождения: система, называющая себя социалистической, неудержимо идет к краху; Сов. Союз может превратиться в страну не третьего, а четвертого мира, т.е. в какую-то феодальную отсталую страну.

28.09.89. *Lindau*. ...Посидели с Карлом-Хайнцем. Я заговорил о готовности прочесть по-немецки эссе о Музиле и Пастернаке, и когда он спросил, о чем оно, я имел неосторожность сказать: «О смысле жизни». — «Вы думаете, в жизни есть смысл?» — тут же спросил он меня и заговорил об ужасах, которые творятся в мире, о пытках, диктатурах, озоновой дыре, ядерных испытаниях; ему кажется, в этой жизни нет смысла. «Но люди все-таки не кончают самоубийством», — только и заметил я. А он в ответ рассказал, что дважды был близок к самоубийству, но воля к жизни — *Lebenswille* — оказалась сильнее. Оказывается, он сидел в нацистской тюрьме в 36-м и 42-м годах за антинацистскую пропаганду. В конце войны прятался у родственников в Линдау (а до этого жил в Берлине), где и встретил французов. Я попробовал спросить, можно ли сказать, что немцы и русские имеют много общего в исторической судьбе; он ответил, что пытки, диктатуру и все прочее переносили также другие народы (Биафра и др.). Обычный взгляд западного интеллигента имеет свои основания, может быть большие, чем можем себе представить мы, не знающие остального мира...

5.10.89. Катастрофа со временем. Ничего не успеваю, даже записывать. Вечером мы поехали на выступление Андре Камински, швейцарского писателя еврейского происхождения... Он читал начало своего романа «Kibitz», о еврейском донкихоте, разочаровавшемся в коммунизме. Там познакомился с

F. S., адвокатом из Нонненхорна, которая предлагает мне завтра поехать с ней на яхте через озеро в Швейцарию, а там в Цюрих... Я говорил с ней на свою любимую тему: счастливы ли здесь люди, скучают ли, — и она подтвердила, что несчастливых множество, что почти все скучают, живут поверхностно. У нее на это профессиональный взгляд как у специалиста по бракоразводным делам.

Совместный завтрак с Камински, который переночевал у Плаасов... У него мягкая ироничная еврейская манера разговаривать, но есть стремление делить все на черное-белое, как выразилась вчера Ф. Он неоднократно подчеркивал, что как еврей не имеет нигде «корней». Я возразил: язык — тоже корни...

После его отъезда Плаасы стали подыскивать мне экипировку для поездки через ледяные вершины: теплые ботинки, перчатки, анорак... Когда я стал благодарить, Карл Хайнц сказал: «Мы должны чем-то заглаживать вину за разрушения, которые причинили России. Правда, я в этом не участвовал». И рассказал замечательную историю, как в ночь перед тем, как ему предстояло отправиться на фронт, у него без всяких телесных причин — от одного лишь отращения при мысли, что ему придется убивать ни в чем не повинных людей, — поднялась температура до 400. Его поместили в лазарет, врачи не установили никакой симуляции; это была чисто духовная реакция, которая спасла его, так считает он, от участия в убийстве...

27.10.89. Мюнхен. Не успеваю записывать, боюсь уже кое-что пропустить...

Вечером — в гостях у Игоря Смирнова и его жены Ренаты, куда пришли Титце, Туровская, художник Игорь Захаров с женой Аллой и режиссер Маргарет фон Тротта. Смирнов обо мне давно наслышан (обо мне говорили Вольф Шмид, Кома Иванов, Сахно). Считает, что это важно, о тебе должны говорить, писать диссертации и т.п. Разговор иногда шел по-немецки, и Рената сказала мне на ухо: «Вы хорошо говорите по-немецки, вам пора уезжать» (т.е. из России). Это была постоянная тема: о преимуществах здешней жизни перед советской, о невозможности вернуться. Как выразился Смирнов, «человек, который научился противостоять здесь множеству соблазнов (а совсем не противостоять им попросту невозможно), психологически не может вернуться в страну, где нет соблазнов».

31.10.89. Кельн... Мой приезд к Копелеву, как я понял, освободил его секретаршу или помощницу Mechtild Keller от необходимости ночевать с ним. Одно-го его стараются не оставлять. Разговоры о том же: о тревожном положении в стране. «Теперь я не смог бы вернуться, — сказал он. — Здесь я русский, там я иностранец. Здесь у меня проект, мне платят деньги, там я никто и не на что жить». Об эмигрантах, их счетах, ссорах. Он считает, что хорошо работают только Синявский, Владимов и Эткинд. Владимов, по его словам, хотел бы вернуться...

Сегодня утром позавтракал с ним, вызвал такси — и на Deutsche Welle, где провели беседу с Казаком... Этой беседой я доволен больше, чем на «Свободе»...

1.11.89. *Much bei Köln*. Вчера прогулялся по Кельну... Вечером доклад, он прошел вполне хорошо, Казак, обычно скупой на похвалы, сказал, что не часто гости из Сов. Союза так хорошо готовятся. Один из слушателей стал задавать

мне вопросы на чистом русском языке (о кооперативных издательствах, о творческих группировках). После выступления я подошел к нему — это оказался Борис Гройс, о котором мне рассказывали в Мюнхене Смирнов, Захаров и Файбусович, с женой Наташей. Пригласили меня к себе в гости. Казак отвез меня к себе в Мух. Прекрасный дом, прекрасный огромный кабинет с роскошным видом на окрестности...

Казак рассказал, в частности, о встречах с Леоновым. Это совершенно разрушенный писатель, образец того, как губит талант компромисс с властью; он пытается сейчас лишь объяснить, что ему хотелось когда-то сказать (или ему сейчас кажется, что он тогда хотел это сказать). Он рассказывал про страх, который испытал когда-то при встрече со Сталиным за столом у только что приехавшего из Италии Горького (знаменитый разговор, на котором присутствовали Бухарин и др.). Его взгляд означал смерть. И ни в одной следующей работе он не смог выразить того, что на самом деле думал. Казак считает его глубоко верующим человеком. Сейчас он (как и Казак) склонен к мистицизму. Беседовал в Болгарии с какой-то прорицательницей, считает, что мир может быть спасен только на основе духовного преобразования (не только наш — это проблема и Запада). Но к творчеству это уже никакого отношения не имеет.

3.11.89. *Кельн*. ...Зашел к Борису Гройсу... Он говорил об особенностях здешней культуры. Она очень дифференцирована. О художнике, который выставляется в галерее Нахамкина, никогда не будет писать серьезная пресса, выставлять его серьезные галерейщики. Серьезные художники могут материально не процветать, но о них знают в узком кругу, и у них высокая репутация. Некоторые сознательно живут небогато, но у них большое имя. Для каждого небольшого круга населения есть свое искусство, своя культура; практически все могут найти спрос, но общенародной популярности быть не может. Разве что у таких, как Майкл Джексон, и то... Он как-то спросил своих студентов, ученых-славистов, кто читал Толстого, «Анну Каренину», — подняли руки два человека. Кто читал Библию? — 2 (!). Кто смотрел «Даллас» (популярный боевик)? — 3. И это естественно. Сам он при всей любви к чтению за 6 лет эмиграции не прочитал ни одной художественной книги — только то, что нужно по работе. И это тоже правильно. При всем том дети здесь после школы знают три языка, всюду ездили, их учат артикулировать свои мысли. Другой тип культуры. Они здесь довольны, особенно жена, Наташа.

Рассказал мне о своих идеях. В 30-е годы развитие во всем мире осуществлялось примерно в одинаковом направлении: возврат к реализму (с разными определениями: сюрреализм, соцреализм, магический реализм, неоклассицизм и т. п.), уход из музеев (оформление площадей, метро по принципу оперных декораций одинаково в СССР, Германии, Италии, США), культ звезд и т. п.

4.11.89. *Вочум*. ...По ТВ ошеломляющие новости: миллионная демонстрация в Берлине... Как я понял, гэдээровцы получают разрешение свободно путешествовать, а это означает практически отмену Берлинской стены, причем до-

вольно скоро... А это развитие, конечно, влияет и на развитие в СССР. Что-то развивается гораздо более бурными темпами, чем я мог ожидать...

12.11.89. *Кельн*. Не успеваю записывать. Позавчера вечером приехал из Бохума: все возбужденно обсуждают события 9.11. (Сакраментальное число для Германии: 9.11.18, 9.11.23, 9.11.98.) Копелев решил тут же ехать в Берлин, заказал билеты и вчера в 7 утра улетел. Возможно, его уже показывали по ТВ, у меня не было времени смотреть.

13.11.89. ...Днем приехал Лева, взволнованный берлинскими впечатлениями. Он не взял с собой паспорт, но его узнали в толпе и убедили пограничников выдать пропуск. Гулял по Вост. Берлину впервые за 20 лет, удивился имперской грандиозности новых построек... Зашел в гости к Кристе Вольф, на могилу Брехта, в музей Пергамон. Его бесплатно возил на такси болгарин — за то, что читал по-болгарски Ботева, и турок — за то, что был знаком с Хикметом. Говорит, что наряду с общей эйфорией есть и тревога: боятся, как ни странно, роста националистических настроений в ФРГ, новой неприязни к туркам и прочим. Есть и экономические опасения. И вообще: что будет, когда праздник сменится буднями?..

24.11.89. ...Замечательное событие этого дня — отставка Политбюро в Праге. И эти не удержались. На Вацлавской площади полумиллионная демонстрация. Дай Бог. Все-таки нельзя быть несправедливым, события совершаются грандиозные, хотя переживать их неуютно и тревожно.

29.11.89. *Москва*. С утра посидел над «Голосами», перечел. Прогулялся на лыжах в лес. Написал и отправил письмо Хазанову... Начал переводить Кафку — и первое же письмо оказалось невероятно трудным, я многое в нем пока просто не понял.

А днем Юлик Ким сообщил, что умер Натан Эйдельман. Дня четыре назад я звонил ему, говорил с Юлей; он был бодр, активен, работал с утра до вечера и вроде не жаловался на сердце. Поехал в поликлинику за справкой, кажется, для поездки за границу... там ему стало плохо, отвезли в больницу с инфарктом, но он тут же скончался. Это для меня страшная, ничем не восполнимая потеря. С возрастом вокруг все больше пустоты, и новые отношения не восполняют утрат. Ему было всего 59 лет. Я буду эту потерю чувствовать постоянно. Сколько раз я уговаривал его оформить «Записки историка» — труд, который, возможно, окажется главным в его жизни и после смерти откроет весь масштаб этого человека. Он все откладывал. Еще одно напоминание мне, что надо каждый день помнить о такой возможности и не откладывать ничего...

Сегодня в лесу — прекрасном, морозном, узорчатом (—120) поймал себя на том, что не могу сосредоточиться ни на этой красоте, ни вообще на главном в жизни; отсюда, наверно, и поверхностность в работе. Бегу на лыжах сквозь дивную белизну и перебираю в уме какие-то подробности из сегодняшних газет, что-то мысленно оспариваю и т.п. Какой вздор! Если я не сосредоточусь, работа не получится. Надо привести свою душу в достойное, чуткое состояние.

1.12.89. Похороны Натана Эйдельмана... Потом поминки в ресторане ЦДЛ — правление СП не поскупилось... Оказывается, многие и давно уже слы-

шали от него слова о том, что он умрет в 59 лет: то ли как его отец, то ли как любимые герои, Лунин, Пущин, Карамзин. И даже когда Юля везла его в поликлинику, сказал: «Видишь, я говорил тебе, что умру в 59 лет». Она отмахивалась. Часто в последнее время заговаривал о близкой смерти. Опасная для писателя штука — такие разговоры...

10.12.89. Замысел: еще один голос — из «жизни после жизни». «Душа» смотрит с высот на жизнь близких — от их памяти о ней зависит ее дальнейшее существование: прозябание, угасание, мучения. Это и есть рай и ад: муки и покой обеспечивает память... Есть и несоответствие: несправедливая память (о злом, о добром). И невозможно объяснить живущим, предупредить, что их ждет...

14.12.89. Напечатал некролог Эйдельману... На большее сил не хватило (давление). Позвонил Карабчиевскому. Он восхищен Израилем, но на вопрос, хотел бы он уехать, ответил, как я: это было бы ужасно. А почему, трудно объяснить...

15.12.89. Утром поехал в библиотеку... Выходя, увидел на стене в вестибюле бумажку с сочувственной телеграммой — оказывается, умер А. Д. Сахаров. Это гигантская потеря, хотя и не личная, как потеря Натана.

31.12.89. ...Попов по телефону сказал: «А вообще, ничего выдался год...» Это был год смерти Натана Эйдельмана, с которым оборвался кусок моей жизни, смерти Сахарова, который много значил для нас всех, смерти Резо Каралашвили, который напомнил мне, как внезапно может кончиться отмеренный нам срок.

В этом году я побывал в Чехословакии и ФРГ — путешествия интересные и полезные (в том числе в финансовом отношении). Я приобрел много новых знакомых. Серьезно не болел, и семья моя тоже. Был вполне обеспечен материально — не на что жаловаться.

Одно плохо — я в этом году сделал меньше обычного. На новогоднем настроении сказался тупик в работе над рассказами — а кроме всего, сильнейшая усталость. Надо наверстывать, не суетиться, верить в себя.

Новый год встречали, как всегда, с девочками. Вручали подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Неясность будущего

Рухнули основания веры, которой десятилетиями жили миллионы людей — и не худшие люди, порой самоотверженные, бескорыстные. Я пытаюсь понять: что же, не было в этой жизни действительно никакой правды? И разве дело в правде, если эта вера ведет на подвиг самоотречения, служения?

Перебираю аргументы — и упираюсь каждый раз в одно: в этой вере хотели идти к благу за счет чужих страданий, чужих жизней, которые объявлялись заранее несущественными, недостойными, второсортными, за счет целых категорий людей, которых с самого начала предполагалось исключить или уничтожить. Это лежало в основе идеи — сознание своей исключительной правоты,

классового превосходства победителей; категория побежденных все разрасталась: дворянство, духовенство, буржуазия, интеллигенция, кулаки...

Но разве не так начиналась любая вера, утверждавшая свое превосходство за счет прочих? Нет, не совсем так. А вот национал-социализм в Германии — очень похоже.

10.06.89

Каким может быть будущее? Проще всего сказать: не надо выдумывать велосипедов, не надо надеяться осчастливить мир — надо попробовать просто сравниться с Европой. Для этого есть некоторые препятствия. Во-первых, моральное: надо смирить гордыню. С этим еще можно бы что-то поделать. Но, во-вторых, — просто не получится. Это обречет нас на судьбу безнадежно догоняющих — и все более бедных, провинциальных родственников.

Можно бы сказать: всякий опыт — богатство, в том числе и трагический опыт. Так в личной жизни опыт болезни, опыт страдания может быть не только отрицательным.

Одна из наших особенностей: мы не обычная европейская страна, мы сложились как образование евразийское, как мир миров. Россия унаследовала и развила византийское христианство, да отчасти и византийскую государственность; какими-то частями мы соединены и с христианством западноримским. А христианство грузин и армян, их культура, их письменность! На востоке мы вбираем в себя мир мусульманский, наследие древней Бухары, Самарканда, Хорезма, мир буддийский, мир былых шаманских религий, дальневосточных и северных культур. Самым достойным путем, самым великим вкладом в мировую цивилизацию могло бы для нас быть осознание и развитие этого экуменического разнообразия и своеобразия.

Увы, это теоретизирование. Возможен ли такой путь реально — вот в чем вопрос. Во всяком случае, он потребовал бы много времени и доброй воли — не знаю, найдется ли у нас то и другое.

Более реальным представляется распад империи — но на этом пути потеря будет куда больше, чем приобретений.

21.08.89

Возможность гения(из эссе «Конец эпохи»)

Со всех сторон — разговоры об упадке, о кризисе, даже об отсутствии культуры, о прерванных традициях, обрубленных корнях, уничтоженных школах... Люди разных возрастов говорят о своем поколении как о несостоявшемся и несостоятельном.

Какое-то личное, уязвленное чувство заставляет меня искать возражения. Во-первых, откуда нам знать? Может, в чьих-то письменных столах, в новонакопленных архивах уже дожидаются своего часа шедевры неведомых гениев? Еще немного дозреть благоприятным условиям, и мы обнаружим в этих, казалось бы, оцепенелых, а на самом деле затаившихся поколениях своих Платоно-

вых и Булгаковых, а может, и нового Баха, который, как известно, не существовал для современников и зазвучал лишь стараниями потомков...

— Ну-ну, — слышится в ответ. — Во-первых, времена не те, совсем уж неизвестных трудно представить. А главное, возникнуть что-то может лишь на пригодной, культурной почве как результат многолетнего, непрерывного, преемственного развития...

— Посмотрим, — бормочу я, возвращаясь к столу. Надо работать, пробиваться к настоящему, не ссылаясь на обстоятельства и не подыскивая себе коллективного алиби. Спрос может быть только с тебя...

Три мнения

Мыслями о «возможности гения» я поделился с друзьями.

— Не думаю, что в чьих-то столах дожидаются своего часа неизвестные шедевры, — сказал мне Натан Эйдельман. — То, что лежало долгие годы ненапечатанным, мы все-таки по рукописям знали. И сейчас основные достижения принадлежат людям, духовно сложившимся в эпоху «оттепели». Это был последний всплеск некоторого идеализма. От поколения, которое формировалось в атмосфере цинизма, распада, лжи, ничего существенного ждать не приходится. Должно пройти лет 15—20, чтобы созрело новое, духовно более полноценное поколение.

— Но ведь и в куда более страшные времена все время кто-нибудь да появлялся, — напомнил я. — Как ни травили, как ни уничтожали — можно перебирать по десятилетиям: двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые — каждое отмечено именами, крупными по любым меркам. Удивительно богатая страна.

— То все-таки были другие десятилетия, — ответил Натан. — Террор не так губителен для духа, как цинизм.

Фазиль Искандер, которому я передал этот разговор, ответил:

— Я, пожалуй, согласен с тобой. Главное, у нас есть огромная потребность, например, в литературе, а это стимул для творчества. Мне приходилось слышать от многих западных писателей, что они чувствуют себя ненужными. А у меня все время чувство, что я очень нужен. Это много значит.

Другими словами близкую мысль выразил Григорий Померанц:

— У нас, говоря словами Даниила Андреева, огромная тоска по духовности. Тягостная, страшная атмосфера нашей жизни многих уродует, калечит, но она же вызывает тоску, требующую утolenия, порождает в ответ творческое усилие.

16.03.89, 29.03.89, 22.07.89

1990

7.01.90. Начал писать «Новобранцев». Ça ira!¹³ Днем в музее Герцена — со-роковины Эйдельмана...

¹³ Дело пойдет! (франц.)

Кто-то передал разговор с ним. «Знаешь, как в американском салуне? — сказал Натан. — Когда начинается стрельба, половина стреляет, половина лежит на полу. Так вот, я не хочу лежать на полу».

А я подумал, что в таких событиях возможен еще один участник: пианист, который продолжает играть под табличкой: «В пианиста просьба не стрелять, он у нас единственный».

По ТВ и в газетах история человека, который в 47-м году ушел в лес, испугавшись угрозы эмгэбиста (против которого хватило смелости выступить), и прожил с тех пор в лесу 42 года, выстроил избу, добывал примитивным способом пищу; кто-то ему, конечно, помогал, но до сих пор он не называет место. И не выходил до сих пор, потому что никому не верил, только сейчас поверил, что можно не бояться. Пожалуй, только у нас возможен такой сюжет. Хотя он имел возможность следить за новостями, его психология и представления о действительности застыли на уровне 25-летнего возраста. Сейчас ему 67. И, между прочим, в лесу он ни разу не болел. Участник войны...

8.01.90. Встал в 7 утра, чтобы работать над «Новобранцами», но продвинулся мало — внутреннее состояние не благоприятствует работе. Тем более что утром позвонила Лена Макарова и долго говорила со мной о израильских впечатлениях в связи с Фридл. Евреи сабра не любят темы катастрофы европейских евреев, они относятся с брезгливым презрением к бараньей покорности, с какой 6 миллионов пошли на смерть. Ведь Фридл в 38-м году имела вызов в Палестину, но не захотела уезжать, считая, что все и так хорошо. Даже по пути в Терезин, ограбленная, униженная, она записывала в дневник, что все не так плохо, как она думала. Она не замечала и Терезина, живя в мире высокой духовности, и тому же учила детей. Многие из этих 6 миллионов могли вовремя спастись — они не замечали истории, они держались за Европу, за привычную жизнь, за духовные ценности, которые не зависят от места, где живешь.

Аналогии очевидны. Я только спросил Лену: но ведь тебе интересней почему-то Фридл, чем летчики в Израиле, ты видишь в этой трагедии духовное величие? Конечно, не дай Бог, но евреи Израиля, может быть, чего-то не знают — и, может быть, слава Богу... Опять же сомнительные рассуждения.

Но и думать так, как думает сейчас Лена, — значит думать в категориях национального противостояния, неизбежности антисемитизма и погромов. Реально так это и выглядит, но не хочется поддаваться, мыслить себя именно в этой системе координат: тогда в Израиле будешь поневоле противопоставлять себя арабам, воевать, убивать, творить насилие... Неужели невозможен мир, где можно просто чувствовать себя человеком среди других людей, человеком определенной культуры среди других культур, в конечном счете — среди единой мировой культуры?.. Наш ужасный опыт, наша ужасная жизнь убеждают, что такие мечтания слишком прекраснотушны. Но тогда надо отказываться не просто от страны, от культуры — от убеждений, системы ценностей целой жизни. Только если станет совсем невозможно жить, если станет страшно за детей...

Лена получила рецензию на книгу в «Сов. писателе». Одна из причин отказа: «Почти 90% героев книги — евреи». Она хочет поднимать по этому поводу скандал — не для того, чтобы напечатали, она теперь не особенно в этом заинтересована, она мыслями, по-моему, живет уже не здесь; этот эпизод лишь подтвердил ее чувство чуждости этой жизни — а чтобы дать по морде...

9.01.90. Встал в половине 8-го и на этот раз поработал неплохо. Прогулялся на лыжах, переводил Кафку. Бедный событиями день часто означает нормальную работу.

В № 12 «Нов. мира» поразительные письма Вернадского. В 24—25-м годах он думает над тем же, что мы сейчас: о тяжелом настоящем и тяжелом будущем России, о чуде, на котором все-таки держится наука и появляются новые молодые таланты, о возможности эмиграции и ее проблематичности, о религии и церкви. Вот такими людьми держался все годы подлинный дух страны — а не такими, кто были на виду, на трибунах. Может быть, найду силы и время написать «заметки при чтении».

Почему-то вдруг подумал о Солженицыне. Еще год, полгода назад я мог представить себе его триумфальное возвращение — с неясными, впрочем, последствиями. Ситуация быстро и резко изменилась. Сейчас его приезд был бы вымученным, восторги запоздалыми — уже не об этой правде разговор. И он это, наверное, сам чувствует. Тогда — вернется ли он вообще? Это все больше теряет прежний смысл. И, похоже, он боится бессмысленности. Между тем именно сейчас это могло бы оказаться поступком. Потому что без всяких гарантий.

12.01.90. ...Не знаю, как обернутся для меня последующие годы и доживу ли я до старости с ее неизбежными потерями, распадом и горечью крушения, которым оборачивается всякая жизнь. Но мне вдруг подумалось, что, умри я сейчас — и оказалось бы, что я большую часть жизни прожил с ощущением почти неприличного счастья и благодарности за каждый день — вроде, например, сегодняшнего, заполненного не более чем работой, чтением, мыслями, заботами, семьей.

23.01.90. ...Пытаюсь понять, можно ли сказать, что существование отдельных высоких талантов в разных областях еще не означает существования культуры? (Наша ситуация.) Смотря как понимать культуру. Может, это нечто вроде грибницы, на которой только и могут вспучиться отдельные грибы — иначе откуда им взяться? Или можно сравнить ее с ухоженной плантацией, на которой может родиться что-то выдающееся; но если и не родится, культура есть. (А может ли дивное растение занести откуда-то ветром на дикую почву?) Сейчас появляются серьезные исследования о культуре сталинской (и шире — тоталитарной) эпохи, где анализируются стилевые черты (монументальность), мифология и пр. — отстраненно, как культура египетских фараонов, без нравственных или вкусовых оценок. А люди духовные, жившие в ту пору, задыхались от отсутствия воздуха и ощущали распад, гибель культуры...

8.02.90. ...Я понимаю, почему мне сейчас не пишется. Я понимаю, почему иконописцы в былые времена выдерживали долгий пост с молитвой, прежде

чем приступить к работе. Не знаю, как мне прежде удавалось поддерживать себя в творческом состоянии (и всегда ли удавалось?). Но то, что мне хочется сделать сейчас, так просто не получится.

11.02.90. ...Нестрадающий, неоплеванный пророк — кого он убедит? (О нынешнем Солженицыне. Будь он среди нас, терпящий те же тяготы, оплеванный, как и всякий пророк в своем отечестве, — одно дело. И другое — присылать издалека послания.)

12.02.90. ...Процесс (этап) творчества. Еще не установлена резкость, проступают размытые, нерасчлененные очертания — но все уже существует как целое со всеми подробностями внутри, надо только их выявить, обозначить, назвать словом.

20.02.90. ...Национальное чувство, мысли на тему национального навязываются мне жестокой и мерзкой реальностью вопреки личным, более высоким и более свободным убеждениям. Я предпочел бы не думать об этом и не думать так, я воспринимаю это как утрату свободы.

И то же с религией церковного толка. Я начинаю думать, что это нужно людям — это облегчает жизнь, упрощает личный выбор, ритуалы жизни и смерти. Но свободомыслие этим унижено. Не так ли навязывает мне эта жизнь и мысли об эмиграции — как признание бессилия и катастрофы?

24.02.90. Утром позвонил Эдик Графов: вчера умер Давид Самойлов, на вечере памяти Пастернака, который он вел. Зиновий Гердт читал стихи, когда вышел из-за кулис человек и попросил пройти реаниматора... 20-го я почему-то вздумал ему написать — он уже не получил письма. Я не раз думал, что он может умереть, с той тревогой, с какой думаешь только о родителях. Когда-то он много для меня значил, и хоть мы мало виделись последнее время, я чувствую себя осиротевшим. Какой выдался год! Эйдельман, Сахаров, а раньше Каралашвили... В июне ему должно было исполниться ровно 70.

28.02.90. Похороны Д. Самойлова. Утром читал его стихи — есть очень большая поэзия. И опять на сборниках «Залив» и «Беатриче» ощутил перепад. Панихида в Большом зале ЦДЛ... Крематорий в Донском, потом поминки в ресторане ЦДЛ. Лучшее всего, когда звучали его стихи. Во всех выступлениях поминали его сопротивление недоброму духу времени, восприимчивость к любви, дружбе, красоте, природе. Веселый добрый ремесленник, который умел поработать, умел и отдохнуть, выпить, пошутить. Наследник классики.

Большой кусок жизни отвалился вместе с ним — моей собственной жизни. Мне хочется перечитать записи о нем, думать о нем — но когда еще будет время?..

Последние слова Давида, когда реаниматор на время привел его в чувство: «Ничего, ребята, все в порядке». Лиля Лунгина вспомнила, как училась с Дезиком в школе. Первый раз она его увидела семиклассником, он был в коротких штанишках, она запомнила его толстые коленки. «Необыкновенный мальчик, романтик, восхищался «93-м годом» Гюго, а я уже прочла «Боги жаждут» Франса, возражала ему. Он сидел на первой парте с Черняевым». (Черняев выступал в крематории, он теперь помощник Горбачева.)

23.03.90. ...Вчера Битов захотел обмыть премию в гостинице у немцев, я поехал к ним... Спросил Битова, трудней ли стало писать. «Просто невозможно», — ответил он. «Почему?» — «Жизнь больше литературы. (Или значительней литературы, не помню точного выражения.) От многих начатых и неоконченных замыслов пришлось окончательно отказаться: жизнь опередила, сделала их ненужными или невозможными. Ну, скажем, какой-то трогательный армянский сюжет стал невозможен после Сумгаита. Литература не в своей роли становится смешной, появляются профессионалы, которые занимаются этим лучше. Если этот процесс продолжится, то великая русская литература наконец кончится («Слава Богу», — вставил Чупринин) и станет нормальной европейской литературой». Рассказал о работе, которой сейчас занят: делает тексты к рисункам художника Габриадзе о Пушкине...

29.03.90. Поработал над рассказом «Казанова», подумал, что мог бы довести его до конца, — но устал... Прогулялся по солнечному сухому лесу,пил сок. Запах согретой палой листвы напомнил мне времена, когда я мальчиком в санатории «Коняшино» проводил такие часы в лесном одиночестве. Собственно, почти вся жизнь моя прошла в таких лесных прогулках, в запахе леса.

Может быть, под влиянием пришедшей вчера первой зарубежной публикации подумал, что плохо представляю себе возможность успеха, но могу лишь сказать, что совершаю очень напряженную умственную и душевную работу, выцарапываю какую-то загадку у мироздания; может быть, это и скажется.

А еще, гуляя в лесу, вдруг подумал: конечно, сейчас вокруг много горя, тревог, крови, и неизвестно еще, какие нас ждут потрясения. Но при всем этом совершается что-то прекрасное, уходит в прошлое бесчеловечная система, до конца которой я не надеялся дожить, умы освобождаются от наваждения, жизнь может стать свободней, нормальной, полноценней — пусть для этого еще потребуется немало лет, пусть я до этого не доживу, но движение идет уже в эту сторону, и Восточная Европа ощутит это уже скоро. Конечно, будут другие проблемы, экономические, демографические, энергетические, проблема Юг—Север и прочие, но все-таки совершился эпохальный, всемирный переворот.

8.04.90. Попробовал составить десятку наиболее значительных для меня на данный момент писателей XX века. Получилось: Мандельштам, Платонов, Фолкнер, Пастернак, Томас Манн, Кафка, Беккет, Набоков, Пруст, Музиль. Из них только четыре нобелевских лауреата. Трое русских, три немецкоязычных, три еврея.

А кого из XIX века я вообще мог бы добавить? Пушкина, Гоголя, Достоевского — тремя первыми вместо трех последних. Из других веков? Библия, Шекспир. Получается, что XX век вообще для меня преобладает. Наверно, так и должно быть.

13.04.90. Встреча с Максимовым. Он производит впечатление политика, взвешивающего свои речи. Главная декларируемая идея: оставить все счета, взаимные упреки, подвести черту и начать все с чистого листа. Не винить ни Ленина, ни Сталина, никого... О патриотизме советских евреев в Израиле: как они празднуют День Победы, поют советские песни... О том, что многие его сотру-

ники были против его поездки в Москву... Все это звучало симпатично, уравновешенно, не вызывало особых возражений, наоборот, вызывало доверие — но трудно понять, откуда при такой взвешенности и примирительности столько счетов, ссор, разрывов с самыми разными людьми. О Петрушевской: литература все-таки должна оставлять надежду, Макар Деушкин под пером Достоевского вырастал в великана, а теперь впечатление, что Макар Деушкин пишет про Достоевского.

13.06.90. ...Записывать происходящие события бесполезно: лучше взять потом подшивку газет. Идет очень интересный, напряженный, не во всем управляемый политический процесс, по-прежнему в любом месте и в любой момент может что-то взорваться, и все-таки я не принимаю толков о неизбежности катастрофы...

17.06.90. ...Замысел («Душа»): От лица доброго, простодушного, переживающего за всех, ничего не понимающего персонажа. Среди того, что он начинает понимать: все — части единства. Для «ангелов» не существует живых и мертвых, продолжается разговор. Неважно, помнят ли конкретно тебя: смешны заботы о памятнике. Пока помнят чье-то добро, чью-то мудрость, помнят и твое добро, твою мудрость. Кто-то древний радуется, когда вновь живущий повторяет его мысль, его находку: это продолжение его жизни, его души. Доброта ушедших поощряется всяким новым добром там, на земле. И всякое новое зло на земле мучит носителей зла. Прощение, торжество добра — общая радость. Страшный суд продолжается постоянно.

24.06.90. Замысел. Мучаются за последствия дел, совершенных на земле. Бросил в море контейнер с отравляющими веществами и мучается, как гибнут рыбы, — или мучается знанием, что это неминуемо произойдет. Знает или видит, что построенный им дом разрушается землетрясением, и там гибнут его дети. То же: сделавшие незаметные добрые дела — радуются их «прорастанию» спустя годы, десятилетия. «Диссиденты» переживают «перестройку» (зацепление шестерен). Вот что могут сделать живущие для ушедших — облегчить их участь. Злодеи мучаются (душевно), пока страдают (отдаленные) наследники их дел. И наоборот. Веками. Потомки изживают наказание.

30.06.90. Начал перечитывать для издательства «Провинциалов» — с удовольствием и некоторым удивлением: другое, невозможное сейчас состояние души, другое ощущение мира. И ведь сам мир — при всех поправках на некоторую условность моей модели — был реально другой, странно вспомнить. Я ведь встречал в провинции реальных, невыдуманных персонажей Паустовского, добрых фантазеров, мечтателей; сейчас это кажется литературщиной. Сейчас бы я уже не смог написать такое — и написал «Сторожа». Хорошо, что я написал и то и это: когда меня (с равным правом) станут корить за розовые очки и за мрачную жестокость, я буду вправе ответить, что дело все-таки не только во мне.

1.07.90. Начал перечитывать «Сундучок» — все с тем же чувством восхищенного удивления: как я мог это написать? Я помнил какие-то несовершенства, читаю с искренним желанием что-то изменить, может быть, переписать

заново — и чувствую, что это, пожалуй, невозможно. Совершенно другое состояние — мое и времени, сейчас его просто не воспроизвести. Как смешны разговоры некоторых читателей о моей жестокости: это розовая сентиментальная романтика по сравнению с тем, о чем каждый день рассказывают нам газеты и ТВ. Недавно показывали обгорелого пациента в больнице: его поджаривали, посадив на кол; рассказывают о сыне, который убил мать и отрезал у нее голову, — и т. п. И на это уже привыкают даже смотреть, не только слушать. Героиня юмористического рассказа просит теперь подарить ей не розу, а «черемуху» (в кавычках): это патрончик с газом для защиты от нападения. И кроме того, грешным делом, мне просто по-читательски нравится это чтение...

8.07.90. Просматривал старые записи о Д. Самойлове, готовясь к работе, — даже не ожидал, что читать будет так трудно, душевно и даже физически. Невозможно вернуть это чувство восхищенной любви и обиды, это счастье общения и комплексы, и неточности поведения. Надо найти единственно верный тон и поворот...

21.07.90. *Замысел («Душа»)*. Может быть — «Прозрачный туман». Все в прозрачном тумане. Вроде бы видно все — но ничего не видно, пока вдруг не окажется перед тобой и так же быстро исчезает.

23.07.90. ...Приезжал Кнабе за книжкой, которую я ему подарил. Долго рассуждал о «нашей способности жить одновременно в реальной жизни и системе мифов. Т.е., упоенные словесными переменами, мы не замечаем, как эта система со своими отрядами в черных рубашках и защитной форме перегруппировывается, чтобы уничтожить нас. Вы думаете, такой генерал Макашов, со своим личным самолетом, “Чайкой”, дачами, тремя любовницами и т. д. и т. п., добровольно уступит все это? Маркс учит нас, что господствующие классы так просто власти не отдадут» — и т. д. в том же духе. Я сказал: «Если мне с вами согласиться, значит, мне просто надо уезжать». — «Конечно, без всякого сомнения. Я в моем возрасте — другое дело, мы тут заложники... Кстати, вы не слышали, говорят, доктор Крелин тоже собрался уезжать?» Я стал отвечать ему, что возможность, о которой он говорит, действительно существует потенциально, но вовсе не обязательно должна реализоваться. Один из доводов в пользу оптимизма — что она не реализовалась до сих пор. И есть примеры другого развития... Мне показалось, он слушал меня не без удовольствия — всякому (как и мне) хочется услышать хоть какие-то успокаивающие, обнадеживающие доводы. Но что я могу утверждать?..

26.07.90. Долгое время я говорил себе, что разоблачения последних лет ничего принципиально не изменили в моем представлении о нашей действительности — только прибавили фактов. Теперь должен признать, что я ошибался; количество переросло в качество. Я все-таки не представлял себе, в какое качество перешли наши воды, леса, города, деревни, воздух, наша культура, народ, люди, их души. А главное, продолжают переходить — скорость процесса нарастает неумолимо, катастрофически.

29.07.90. «Прозрачный туман». Нужен сюжет: раскрывающаяся из скрещения эпизодов история взаимосвязи и закономерности того, что на поверхности

казалось случайным, и осознание вины, ответственности. «По ту сторону» («тот свет») — не сюжет, а перспектива, способ, поворот взгляда (и элемент сюжета). Видится (вспоминается) только то, что связано с твоей жизнью, хотя ты об этом и не подозревал. Вначале выскакивает, возникает эпизодами как будто произвольно, нерасчлененно, в сюрреальных связях; потом связи обозначаются, перестраиваются, открывается единство и смысл жизни, закономерность истории...

28.09.90. ...По дороге купил книжку В. Гейзенберга «Физика и философия». Открыл главу «Поведение отдельного человека во время политической катастрофы». Стал читать в метро — знакомые размышления: эмигрировать — не эмигрировать. «Каждый должен принять решение сам для себя, причем не быть абсолютно уверенным в правоте или неправоте своих действий. Наверно, мы поступаем одновременно и верно и неверно». Правда, он постарался купить дом в горах, чтобы обезопасить свою семью от бомбардировок. На эту же тему разговоры у Городницких. За столом было много пустых мест, и я в своем тосте вспомнил «Прощальную симфонию» Гайдна, когда музыканты один за другим тушат свечи и уходят: давай, Алик, останемся с тобой до конца...

Печатая дневники, я заметил, что слишком много фиксирую отзывы о себе. Но что делать, это нужно для точного самочувствия...

5.10.90. «Прозрачный туман». Это книга вины, покаяния, горечи — и светлого приятия мира.

7.10.90. «Прозрачный туман». Продумать философию: забытый на земле утрачивает форму, т. е. отдельное существование, сливается со всеми. И лишь некоторые — вечные — поддерживаются памятью. Но что это за память? Разве она воздает по справедливости?

8.10.90. За моим окном — прекрасный грустный листопад. В комнате стало светлей, да и солнце наконец проглядывает. Продолжал работать по вчерашним заметкам...

Чувство общей усталости от политики, публицистики; может быть, придет пора литературы. Во всяком случае, мне хочется теперь читать книги, не журналы. В политике ощущение неопределенности, неуверенности и общего затишья — от неспособности всерьез на что-то решиться...

17.10.90. «Прозрачный туман». Главная новизна, главный шанс этой вещи — не в сюжете и мыслях, а в мироощущении (за всех) и точке зрения (двойной, тройной, оттуда, из будущего)...

Это все опять повторить? Я ведь уже знаю, что будет потом. Но с этим знанием отсюда все пройденное по второму разу обретает совсем другой смысл и содержание. То же — и не то.

19.10.90. ...И вот, устав от газетно-журнального чтения, даешь себе зарок плюнуть на все это и читать только насущное, вечное, отложенные до поры книги, для которых в текучке все не хватает времени... Но возможно ли это — и главное, плодотворно ли? Вечное обретает живые свойства лишь на пересечении со временем.

3.11.90. ...«Прозрачный туман». Из рабочего дневника. Вернувшись из Германии к письменному столу, ощутил все-таки потребность в связном дневнике

этой работы. Первые записи на листочках я начал еще в июне (а листок с первоначальной идеей датирован 10.12.89. Но большинство таких листочков я, используя, выбрасываю — а хочется (и имеет смысл) не забывать первоначальных импульсов, осознавать развитие замысла.

В церкви Маастрихта, присев на скамью, я услышал удивительный орган. Не знаю, чья это была музыка, — возможно, какая-то новая; в ней были страсть, сила, порыв, скорбь и радость. И я вспомнил об оставленной дома работе и подумал: так надо ее написать. Надо не забывать эту музыку сейчас, надо, чтоб она звучала в ушах...

Нельзя садиться за эту работу без высокого самоощущения — только, как говорится, помолясь, возобновив музыку.

5.11.90. Из рабочего дневника. Советское — но не только советское — безумие... Страх советский — и страх экзистенциальный: приметы кризиса цивилизации. В нашей жизни еще подлинная боль; на Западе ее научились снимать.

Макулатурный склад — кладбище памяти...

7.11.90. Жизнь внутри лагеря. А ты вообразил, будто свободен? Ты просто не хотел отдавать себе отчет. Или ты все-таки свободен? Тогда каким образом? (До осознания и после него?) Что значит быть внутренне свободным в несвободном мире? Можно ли при этом не страдать, не сталкиваться с системой, сохраняя чистую совесть? (Д. Самойлов? Мандельштам?) Свобода — подчинение высшей идее, высшей силе, и тогда она может потребовать жертвы...

8.11.90. К чувству тревоги, боли и горечи за свою больную, несчастную страну примешивается еще и стыд, и обида. Как будто ее болезнь еще и постыдна — вроде похмелья после запоя. Но мы-то в этом не виноваты.

Так ли уж не виноваты?

9.11.90. Начал писать по эпизодам, вразнобой. За ira! Недоволен я только продуктивностью...

10.11.90. Завтра мне придется прервать работу ради неотложных дел — это всегда как прерванный coitus...

Из рабочего дневника. Важное ощущение нашей жизни (жизни вообще, но нашей закрытой системы особенно): какие-то процессы происходят в недоступных недрах, на поверхность выплескиваются лишь иррациональные частности... Все по отдельности вроде нормально, а целое катастрофично, у него свои законы, и оказывается, никто не владеет им, не может предотвратить... И это не только о нас...

14.11.90. Утром Галя 2 часа простояла в очереди за маслом, оно было только в одном магазине. Вечером я заглянул в другой магазин: все прилавки пусты буквально. Лишь в молочном отделе под стеклом лежали пачки турецкого чая. Нет яиц, спичек, соли — перечислять бессмысленно. Вернулся к работе, выстраивал записи...

В журнале «Век XX и мир» интересное интервью М. Гефтера на тему, о которой я думаю последнее время: наша страшная история, страшная жизнь — это все-таки была жизнь (как жили и на войне, и под оккупацией). Надо найти способ отношения к собственному прошлому. «Гипотеза альтернативы — дру-

гой жизни в пределах данного, без разрыва условий человеческого существования; изымите Сталина из культуры — и мы будем без Булгакова, без Платонова, без Манделштама...»

15.11.90. Писал эпизод вызова к следователю. Есть чувство, что понемногу овладеваю повествованием... В «Лит. газете» прочел интересные футурологические размышления Станислава Лема — одного из тех, чье мнение я всерьез уважаю. Он становится с годами все более пессимистичен. Будущее все более непредсказуемо, темпы перемен во всех областях: экономической, политической, научной, нравственной, экологической — неслыханно убыстряются, нас куда-то несет, и неизвестно куда. Все новые события опровергают мнение Фукуямы о «конце истории».

В другой статье напоминают слова А. Камю: «Дела пойдут гораздо лучше, когда будет раз и навсегда покончено с надеждой». Надо учиться жить при чуме... Ну, это нам не привыкать. Если бы не мысль о детях. По Камю, надежда равносильна смирению. А жить — значит не смиряться. Где здесь оптимизм, где пессимизм? «Больной не имеет права на пессимизм» (Ницше) — но ведь это о том же.

Штрихи современной жизни. Беженцы заняли здание тюрьмы, поставленной на ремонт, и потребовали их там прописать, в камерах. В Казани шестиклассник залез в клетку пантеры и попытался отнять у нее кусок мяса.

21.11.90. ...В интересном интервью Г. Айги прочел мысль о том, что наше современное искусство все еще является искусством сопротивления, это не строение культуры — создание чего-то нового. Сопротивление естественно, но искусство, им порожденное, несет в себе и саморазрушающее начало. В искусстве «бороться» — уже признать себя пораженным. Поневоле говоришь на «их» языке о том, что «они» тебя заделали. И т. п.

Я бы оговорился: творческий человек всегда сопротивляется, противостоит общему течению. Но что здесь верно и имеет отношение к моей нынешней работе: надо освободиться от «сопротивления», надо творить новые смыслы и ценности. Порой я с тревогой вспоминаю «Сторожа» и последние рассказы в этом смысле. Но надеюсь, они все-таки не об этом, я их не перечитывал.

24.11.90. Читая «Спокойной ночи» Синявского (гл. «Дом свиданий»). Он все умеет. И все понимает. Но поэта в нем перебивает литературовед, не дает ограничиться многозначным образом. Тут же принимается многословно — и умно — истолковывать, с разных сторон обговаривать. Еще умней, но вспышка размазывается в этой обстоятельности.

28.11.90. Работал, переводил... Пошел прогуляться и на газетном стенде в сквере прочел, что умер Мераб Мамардашвили. Как будто прицельно выбирают людей, которые так много для меня значат и с которыми связывались последние надежды! Но ведь таких людей всего-то десятков, и почти все старше меня. (А завтра годовщина смерти Натана, я позвонил по этому поводу Юле.) Публикуется интервью Мераба, где он говорит, что эмигрировать ему не позволяет среди прочего гордость: «Пусть лучше уезжают они, а не мы». Это при

том, что он подлинный космополит и мог бы жить в любой стране. Меня под-держивала мысль о нем.

4.12.90. О женской литературе. С тех пор как женщин-писательниц стало не меньше, чем мужчин, выяснилось, что никаких особенных тайн женской души они не открыли, да и откуда им знать? Разве я знаю мужчин? Конечно, рассказ о родильной палате (модная тема) доступней женщинам...

Мне подумалось: может, лучше о женщинах знают не просто женщины, а лесбиянки и о мужчинах — гомосексуалисты? Как бы изнутри и со стороны од-новременнo? Нет, пока не подтверждается. Вообще, проникновение в любого — вопрос духовных способностей.

13.12.90. Я все время пытаюсь сопротивляться разговорам о культурной ка-тастрофе, о конце литературы.

— Но я-то еще существую! Я пишу, и только от меня зависит, чего будет стоить написанное. Пока я пишу нечто заслуживающее название литературы, литература жива.

— Ты забыл еще про читателя. Для существования литературы нужен хотя бы один читатель.

— Я привык больше надеяться на читателя будущего.

— И на то, что рукописи не горят? Но пока ты продолжаешь строчить, иг-норируя катастрофу, над тобой уже поднялась рука, и ты вдруг прихлопнут, как муха.

— Ну, этот конец висит над нами заведомо. Раньше ли, позже ли.

— Рука поднялась не только над тобой, но и над твоими детьми. Будущего для них нет.

— Вот тут мне ответить нечего. Тут не о литературе думать, а заткнуться, бежать, спасти их.

14.12.90. Делал в библиотеке обзор, оттуда в ЦДРИ на выступление Комы Иванова: «XX век: культурные аналогии»... Удивительно много совпадений с тем, над чем я думаю последнее время, сразу масса идей, решений, а главное, замысел укрупняется. Кома все-таки удивительный ум, он умеет мыслить столе-тиями и тысячелетиями, а в таком масштабе многое видится по-другому и бо-лее точно. Есть теория циклов Кондратьева (очень популярного сейчас на Запа-де русского экономиста, расстрелянного в 30-е годы). Если верить ей, мы сейчас находимся в конце катастрофического этапа и на пороге духовного взлета. Еще острее ощутил, как мне стало не хватать собеседников такого уровня. Мимоходом упомянул с ним Мераба Мамардашвили: Кома заметил, что его подкосили грузинские события...

22.12.90. В моем стремлении уйти от трагедии, в способности чувствовать счастье существования несмотря ни на что есть еще оттенок самолюбивой гор-дости: не допустить или хотя бы не показывать виду, что какая-то внешняя сила меня одолела. Несмотря ни на что, несмотря на очевидность.

Но, может быть, способность взглянуть в лицо трагедии, признать поражение, неизбежную для всякой жизни катастрофу нравственна и творчески более плодотворна.

И я не знаю, для чего требуется больше силы, мужества, стойкости. То есть знаю, конечно. Настоящим-то испытаниям я еще не подвергся. Я как-то написал, что способность к счастью связана с религиозным мироощущением, — но кто может сравниться с Иовом?

Л. Я. Гинзбург: литературоведение помогает сохранить литературные произведения, «которые перестают существовать, когда о них перестают говорить».

23.12.90. Картинки времени. На одесской толкучке торгуют перегоревшими лампочками по 4 коп. штука. Я не мог понять зачем. Оказывается, чтобы на службе подменить ими хорошие, а те брать себе. Купить-то негде.

В Ульяновске предложили выдать символическую визитную карточку покупателя № 1 В. И. Ленину. Как и символический партийный билет № 1.

26.12.90. ...С наслаждением читал в метро Л. Гинзбург о перерождении судьбы (хорошая формула) у многих современников. Я слишком хорошо ее понимал, слишком много сам над этим думал; у меня выработалась своя система самозащиты и жизненных ценностей...

28.12.90. ...Я всегда гордился способностью писать несмотря ни на что — делать свое дело. Может быть, зря гордился. Вопрос, что и как при этом пишется, — с усилием возможна только механическая работа, когда не слышишь диктующего голоса. «Пою, когда гортань сыра, душа суха». А если сознание хитрит — лучше замолчать. Поэты молчали годами не просто потому, что их не печатали или не было уединенной комнаты: душа была невосприимчива. Может быть, проза менее чувствительна, тут больше элемент чернорабочий. Но, может, мы и прозы подлинной не имеем.

Социальное самоосуществление, признание писателя важны в общих случаях, для массы хороших писателей и поэтов: тут можно сказать о несостоявшихся, переродившихся судьбах. Но это правило теряет силу для гениев: Платонов, Мандельштам выдержали четверть века несуществования (для читателей). А может, выдержали бы и полвека, и век.

30.12.90. Утром пришло письмо от Лены Макаровой, адресованное Гале: «Как мог Марк, вернувшись с Запада, не увезти вас отсюда». Восхищенность Израилем как единственным достойным для жизни местом. Галя сказала: «Чувство, будто меня насильно хотят обратить в пионеры...»

Стремление утвердить превосходство своей позиции, своего самоощущения психологически понятно, когда человеку трудно, когда он должен обосновать хотя бы для себя свой выбор, когда он уязвим (по себе знаю). Но у нее, казалось бы, сейчас все в порядке, и естественней было бы уверенное сочувствие к другим. Или что-то у нее не совсем так?

31.12.90. Утром стоял с Галей в очереди за чаем, яичками, мясом. Говорят, завтра яйца подорожают до 3.30 за десяток. Съездил к маме, привез ей елку... В вагоне метро немолодой человек, седоватый, еврейского типа, рассказывал какую-то историю мальчику лет 10, скорее всего внуку. Наслаждение было смотреть на умное красивое лицо мальчика, на его деда.

Взялся просматривать записи января нынешнего года: непрерывные тревоги, ожидания, размышления об отъезде, встречи, размышления над рассказами — как все-таки интересно, как насыщено! Год был трудный, но полнокровный и, в общем-то, благополучный, грех жаловаться. Упрекнуть себя я могу прежде всего в недостаточной продуктивности: цикл рассказов да 2—3 эссе, не считая зарботков, да новое начал — маловато. В будущем году пожелал бы себе большей сосредоточенности.

Между прочим, читая Гинзбург, почувствовал, что меня отличает от нее, позволю себе сказать, религиозный момент; отсюда другое отношение к успеху, к смыслу и бессмысленности работы, самоосуществлению...

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Что мы можем?

Может быть, самое важное, что может сделать сейчас человек культуры: поддерживать меру ценностей, выращивать, создавать свое. Борьба нам навязана, она необходима — это борьба за культурное существование. Но борьба опустошает, она в чем-то унижает. Любое «анти» ориентируется на отвергаемую систему ценностей, а надо создавать свои, иначе мы рискуем остаться с пародиями, насмешкой, непонятными, когда оригинал утратит ценность. (Соц-арт, концептуалистское пересмешничество.) То есть нужно и это тоже, все вырастает из потребности и соответствует ей, удовлетворяет ее; но вдруг мы замечаем, что живем в мире однодневок, с опустошенной душой.

Не только мы. Это не та область, где имеет смысл просто ориентироваться на кого бы то ни было. Меня смущают заявления уважаемых деятелей, что нам надо осваивать технику западных боевиков, клипов и т.п., иначе мы обречены. Наверно, в каком-то смысле это нужно, но это ли духовная пища? Вдруг оказывается, что и на Западе люди оглушены, опустошены. Все это — культурный фон, шум, среда повседневной жизни; но это еще не культура.

Я не верю, что искусство, литература окажутся не нужны в век визуальных средств. Они созданы насущной потребностью человечества, для целей какого-то биологического самосохранения, и мы замечаем, что остается что-то очень простое, а остальное оказывается однодневками. Остается то, что близко неизменной природе человека.

Не думаю, что это обретение культуры произойдет через церковь — слишком много в самой церкви организационных условностей. И условности эти иные, чем у искусства: искусство связывает сферу небесную и земную.

Но импульс, которым живет искусство (о котором я говорю), можно назвать религиозным. Он исходит из того, что есть ценности более высокие, чем мы, есть тайна, есть нечто, неисчерпаемое никаким толкованием, неуловимое для киноплёнки, невозпроизводимое электронными эффектами. Только словом.

Если я ошибаюсь — тем хуже для тех, кто окажутся правы. Я не завидую совсем жизни без искусства, без поэзии, без простых слов любви.

Эта позиция не отменяет никаких других, она все их допускает, она лишь напоминает о том, что может оказаться забытым, потому что требует усилия, гения, любви, — и может исчезнуть вместе с ними.

10.02.91

1991

20.01.91. Впервые пошел на демонстрацию: чувство, что на этот раз надо пойти. Встретились у метро с Кимами, Лукиным, а на Садовом кольце меня неожиданно окликнул Попов... Плакаты, как никогда, антикоммунистические, антигорбачевские, в поддержку Литвы... И прославления Ельцина, вплоть до такого: «Россия ждала Ельцина сотни лет». Тут я, как говорится, заколебался... Говорят, на митинге было от полумиллиона до миллиона. Похоже, власти такого не ожидали, рассчитывали на общую апатию. Возможно, это имеет смысл и сыгрывает свою роль, тем более что такие митинги прошли в других городах.

Я сказал ребятам: «Помимо политики — уже даже эстетически невыносима эта ложь, этот идиотизм. За кого они нас принимают? Надо сопротивляться».

2.02.91. Из рабочего дневника. Искорка полуслучайной мысли: зарождающийся в герое страх — страх рождающегося, выходящего из утробы в открытый мир, с холодом, ветром, звуками (как будто до сих пор был глуховат)...

11.02.91. ...Странное чувство: общественной бесформенности, неизбежного усугубления катастрофы (отсутствие самых необходимых продуктов, дороговизна уже становятся угнетающими), может быть, неизбежной крови — и в то же время удивительная полнота бытия, мыслей, редкостная красота леса, тихое, целящее прикосновение снежинок к лицу, дети, любовь, работа, книги, тревоги.

12.02.91. Притча о Рамакришне, который пришел в дом к отцу умершего юноши и три дня плакал вместе с ним. На четвертый день он вдруг запел — и отец запел вместе с ним.

Я подумал, что это притча о праве искусства на существование в эпоху ужасов, газовых камер, войн. После Освенцима нельзя писать. Все искусственное выглядит бестактным, легковесным в сравнении с этим.

Искусственное — да. Но искусственна ли песня в сравнении с плачем, воплями? Здесь — преодоление хаоса, преображение, служащее жизни. Недаром Иаков плакал об Иосифе готовыми формулами Иова.

13.02.91. ...В «Лит. газете» увидел свою фамилию в новой рубрике «Книжный развал»: меня, кажется, уже четвертый раз упоминают как «незамеченного писателя» (по-моему, печатных заявлений о моей незамеченности уже больше, чем рецензий), но на этот раз в особенно высоком контексте. «В итоге столь значимое для современной словесности, отнюдь не кишащей талантами, явление, как запоздало-первая книга М.Х. «День в феврале», проходит совершенно незамеченным, и этого большого писателя так никто и не узнал». Первая реакция: ну, если считаете, что большой, заметьте, в вашей же воле! А следующая: но это

и значит, что заметили, это существенней десятков рецензий вокруг пустого места, и редко ведь бывают рецензии толковыми. Все идет своим путем, зреет, на-капливается — что еще надо? Конечно, не худо бы, если бы эта строчка убедила издателя моих «Провинциалов» сохранить книгу в плане и даже дать тираж побольше, ускорила бы прием в СП — и т. п. Но что-то совершается невидимо для меня, на глубине, и так...

16.02.91. Как, оказывается, связана глубинная фаза работы с внутренним состоянием: при всем осознании нынешних тревог и трагедий я внутренне уверен, даже радостен — и больше не теоретизирую на темы отъезда. Есть чувство, что эти тревоги, которые ощущаешь буквально шкурой, открывают душу, обостряют сознание, ведут в работе на глубину. Другая жизнь, при всех ее преимуществах, была бы лишена для меня такой полноты, остроты и подлинности. Хотя невозможно поручиться за будущее.

19.02.91. ...Трудно держать в поле зрения разрастающийся замысел. Этот этап работы доставляет радость почти физическую, я ощущаю ее в груди, в животе. Съездил на лыжах — привычные 10 км. Не хочется менять маршрут, так красив этот. Один из признаков хорошего самочувствия — я не думаю во время ходьбы над политическими перипетиями, не перебираю чуждых мне имен; я думаю о своей прозе и чувствую красоту леса...

Из рабочего дневника. Пишется, поэтому не делаю здесь записей. Когда работа не шла, я укорял себя за плохую работоспособность. Но, старайся не старайся, нужен еще естественный срок, чтобы все созрело по своим внутренним законам.

Вчерашняя догадка: нельзя вспомнить чужого, нужно что-то заново прожить самому.

27.02.91. Выбился из рабочего ритма, за весь день одна вялая страничка. Утром позвонил Архангельский, написавший обо мне в «Лит. газете», предложил что-нибудь показать в «Дружбе народов». Я предложил ему почитать «Сундучок»...

3.03.91. ...Все новости, мнения, газеты, радио усугубляют чувство неотвратимо надвигающейся катастрофы... Читал дневники Т. Манна, на сей раз за 1918 год: «Erschütterung, Entsetzen und Widerwille gegen das Ganze» (21.02) («Потрясение, ужас, отвращение ко всему происходящему»). В дневниках 30-х годов — те же слова. В сущности, он тоже жил от одной катастрофы до другой. Но жил и даже находил возможность радоваться жизни. Иногда эта радость кажется мне запретной, недостойной: когда я теперь читаю о событиях в Карабахе, Осетии — да где угодно. А меня заботит судьба моей книги. И должна заботить. Надо выдержать; убежать некуда. Вот, казалось бы, счастливой страной был Кувейт — самые богатые люди на земле; все в развалинах, в огне, убитые, замученные.

24.03.91. С особым интересом читаю свидетельства послереволюционной разрухи, смуты, голода: «Взвихренную Русь» Ремизова, дневники Чуковского в пришедшем номере «Нов. мира». Поневоле сравниваешь, вглядываешься в свое настоящее и будущее, даже немного утешаешься: бывало хуже. И та же мысль:

мыкаться здесь или за границей. В умной статье К. Мяло (написанной не меньше чем год назад! — номер сдан в набор в прошлом мае) прочел: «Вектор процессов, развивающихся в стране, все больше указывает на “бедный Юг”, участь которого нам, скорее всего, придется разделить». За год этот вектор лишь подтвердился; видно, не стоит обманывать себя иллюзией о возможности приблизиться к цивилизованной жизни в обозримом будущем. На это есть разве что теоретический шанс. Впрочем, и всему миру многие предрекают потрясения и катастрофы, порожденные все углубляющимся разрывом в развитии. Но западный мир научился выправлять процессы, за него я не очень беспокоюсь. Я по-прежнему не вижу для себя другой судьбы — но для детей?

(Не вижу: не вижу возможности или не хочу уезжать? Мне кажется, что не хочу. Но если бы открылась достойная возможность? Пережить год где-нибудь в безопасности?)

Во всяком случае, то, что я пишу сейчас, питается каждодневно здешним воздухом и напряжением. Новое чувство тупика в работе — оттого, что не удастся уйти с поверхности. Вчера новые мысли о связи с родителями: историческое измерение...

28.03.91. Весь день пытался работать, но с утра, не удержавшись, включил российский съезд... Психологически хочется определенности, но определенность эта будет ужасной.

Сегодня узнал об отъезде моей институтской знакомой: у нее на двери писали антисемитские слова, изводили в школе, где она преподавала, избивали детей. И от этого я не защищен.

А я сижу и думаю над романом о катастрофе.

Я ловлю себя на какой-то особой заинтересованности, когда слышу суждения о глобальном кризисе цивилизации. Как будто это делает наш кризис не таким уж исключительным, а значит, не таким обидным, можно даже сказать, не таким постыдным, как жизненная неудача или болезнь.

Но при «их» кризисе можно жить благополучно еще долго.

2.04.91. Из рабочего дневника. Может быть, способность напоминать о счастье даже в момент катастрофы — по праву, ибо сам страдал (по больницам), и страдаешь, но помнишь об этом счастье, и чист душой, и ощущаешь себя ниже всех.

11.04.91. Звонил Александр Архангельский: «Я прочел ваш роман. Конечно, это самое грандиозное из всего, что я у вас читал... Приятно, что в наше раздерганное время все еще появляется литература, которая хочет быть литературой...»

В «Лит. газ» выписал из японского писателя Нацумэ Сосэки: «Мир людской не приспособлен для сносной жизни. Чем труднее становится жить, тем сильнее хочется перебраться туда, где полегче. А когда поймешь, что, куда ни переберись, — везде плохо, тогда рождаются стихи, создаются картины».

15.04.91. Вчера лег, когда еще не было десяти. Включил лампу у изголовья, взял читать стихи Вагинова. За темным окном, за отодвинутой шторой вдруг вспыхнул фейерверк — салют в честь не знаю какого торжества. Свежий ап-

рельский вечер, слабый привкус дыма от костров, на которых жгли прошлогоднюю листву, еще голые ветви не заслоняли огней. Букеты разных цветов вспыхивали один за другим. Я лежа увидел себя словно на картине Шагала... Как быстро и все незаметней уходят дни, без праздников, в работе, напоминающей затяжное единоборство с собственным текстом, и надо выстоять.

27.04.91. ...Возвращается чувство уверенности в своих возможностях. Наверно, в развитии самочувствия есть какой-то цикл. Иногда снова начинает казаться, что и будущее развитие возможно. Как ни относиться к Горбачеву, ему пока удается держаться и даже помаленьку продвигаться по тоненькой жердочке, по краю пропасти. Жить в ближайшее время будет хуже, но движение продолжается и обходится без рокового срыва. Но полосочка все уже, край все ближе. Протянул бы кто руку.

1.05.91. Писатель и праведник. Кажется, Зощенко с удовлетворенным пристрастием подбирает доказательства, что писатели обыкновенно плохие люди. Некрасов и др. А Пушкин? «И с отвращением читая жизнь мою...» Я психологически могу понять это стремление утешиться насчет собственных несовершенств: всю жизнь сомневался, достоин ли человек, как я, претендовать на писательство.

Как-то взялся перебирать свои недостатки, выписал их на листочке: почти все есть. Но вспомнил Льва Толстого о брате Сергее: в нем есть все достоинства писателя, но нет его недостатков.

Писатель не может быть праведником, он по природе своей посредник. Гоголь однажды постарался это преодолеть: мы потеряли писателя, но не приобрели праведника. Разве что поучительную и по-своему величественную драму, достойную, впрочем, многих книг.

6.05.91. Прекрасна в литературе сила и свежесть юности. Она рождает поэзию. Но проза, я убежден, обретает подлинную глубину и силу лишь с годами — с жизнью, с накоплением мудрости и культуры. Несчастье нашей жизни, увь, еще и в том, что немногим хватает сил до зрелого возраста — в лучшем случае они исписываются, в худшем спиваются, гибнут. Сколько ранних смертей в нашей литературе последних лет!

2.07.91. Неожиданно легко набросал эссе «Успех»... Жара. Набрал с девочками в лесу земляники, поели с мороженым. Можно бы жить. Но почта не приносит газет — нет почтальонов; по улице текут ручьи неизвестной водопроводной аварии; на путях пришлось по дороге в лес обходить вереницу застрявших поездов дальнего следования; пресса и радио обсуждают перспективы катастрофы.

Если разразится что-то ужасное, должен признаться перед потомками: предчувствия у меня не было. Наоборот, удивительное чувство полноты и радости...

19.08.91. Утром первым позвонил Л. З.: ты ничего не слышал? Военный переворот. Горбачева отстранили от власти, объявлено чрезвычайное положение. В голосе его были панические нотки. Но я, как ни странно, ощутил какое-то возбуждение, даже приподнятое: наконец что-то случилось, что-то сдвинулось.

Я давно слышал разговоры о такой возможности, думал об этом и всегда приходил к выводу: не может это у них получиться, они должны понимать, не решатся они. И вот решились — шаг откровенно отчаянный, последняя, может быть, попытка что-то переиграть. Неужели получится? Если эти ребята не сломают себе шею, — отчетливо подумал я, — значит, мы действительно другой судьбы не заслуживаем. А если сломают шею, что-то сдвинется наконец всерьез...

Сумел созвониться с Любарским... Мы встретились у гостиницы «Россия», чтобы сесть в автобусы и поехать на Конгресс соотечественников... На улицах танки, бронетранспортеры, окруженные группами людей, разговаривают доброжелательно. По пути следования автобуса множество людей, демонстрации, машут руками, показывают знак победы. Прекрасные веселые лица, никакой подавленности. Несколько раз в течение дня слезы подкатывали к глазам: сентиментальным становлюсь к старости... Встретили Копелева, Кому, Айхенвальдов. Поехали на Пресню к дому Верховного Совета. Туда и оттуда идут толпы (турникеты метро оказались забиты монетами, разменные кассы израсходованы). Скульптура, изображающая рабочих на баррикадах, держит флаг России. Вокруг дома действительно баррикады из подручных материалов, несерьезные, наверно, для техники, скорей символические. Впритык стоят грузовики, автобусы, стоит подъемный кран. Жгут костры, тащат какие-то ветки, бревна, доски. Вечером стали раздавать питание. Каждый час по радио сообщения. Главным из них было сообщение о том, что 10 танков Таманской дивизии перешли на сторону Верховного Совета. В этот момент Кронид зашелся в истерическом плаче. Он переживал все на страшных нервах. «Это называется дышать воздухом свободы», — сострил я. Поздней заявили, что пришли на помощь также части Тамбовской десантной дивизии. Мы их видели: танки БТРы, молоденькие ребята, совсем дети, их стали кормить — по радио сообщили, что они сутки не ели. Девушки взбирались на танки, совывали в пушки цветы. «Может быть, так и лучше, — сказал, согласившись со мной, Кронид. — Прорвался нарыв». Трудно было представить, что ночью решатся эту толпу штурмовать. Мы ушли в половине первого: у меня уже сил не было, давление жуткое.

Есть большая надежда, что эти ребята все-таки сломают себе шеи. Так перевороты не делают: надо действовать быстро, согласованно, решительно и при необходимости жестоко. Здесь, похоже, у заговорщиков не было достаточно надежных сил. Они не заблокировали Верховный Совет России, позволили там сформироваться второму, реальному центру власти. Указы Ельцина были энергичны, юридически точны. Забастовки уже начались и будут шириться. Если они распространятся, если продолжится раскол в армии — переворот закончится достаточно быстро. Но эти негодяи, спасая свою шкуру (а теперь о ней идет речь), способны на все...

Фактическую канву событий я здесь не записываю: она будет документирована и без меня. Но эта атмосфера: накрапывающий дождик, возбужденные люди, баррикады, костры, ожидание танков (наших!), раздача пицци, женщины, смачивающие носовые платки на случай газовой атаки, люди, обступившие танкистов и десантников, щупающие автоматы и дула пушек, истерический

плач Кронида, постоянные встречи со знакомыми в толпе (встретил Гершуни и др.), информация по мегафону, освещенное здание. Вечером я вынул из ящика FAZ¹⁴, невозможно и бессмысленно читать. Все газеты, прогнозы, расчеты — враз устарели. Мы оказались в другой исторической эпохе. Сейчас действительно решается будущее.

31.08.91. Не успеваю записывать... Вечером гости... Кронид должен был давать интервью Российскому телевидению, но устроил сюрприз, пригласив его к нам. Они снимали тосты, застолье, песенки Кима, наш дом... Кронид говорил о парадоксах истории, когда ему пришлось защищать от демонстрантов здания ЦК и КГБ. Много говорил в микрофон Копелев, я плохо слышал. Я спросил его: «Похоже это на застолье в Кельне?» Он сказал: «Нет». По-моему, ему было хорошо. Кома рассказывал о своем выступлении на пленуме СП России, где он назвал их фашистами, и о стычке в Верховном Совете с Василием Беловым, который протестовал против попытки опечатать помещение СП России. Кома выступал после него как член правления и назвал (опять) союз фашистским, на что Белов кричал: «Я в суд на вас подам!..» И хорошо бы подал: много можно было бы на суде предъявить. Общая тональность разговора о перспективах тревожная: Ельцин снова делает малосимпатичные заявления, атмосфера накаляется, грозит распад и экономическая катастрофа...

21.09.91. Утром пришло письмо из «Моск. рабочего»: договор расторгнут...

29.10.91. Из рабочего дневника. Н. Я. Мандельштам: «Невозможность трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания... Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у того народа, который хранит “светоч, унаследованный от предков”, т.е. когда народ имеет твердые ценностные понятия и трагедия говорит об их осквернении и защите. Не ведет ли к катарсису, духовному очищению и просветлению именно победа ценностей, утверждение их непререкаемой мощи? Европейский мир строился на величайшем катарсисе, доступном только религиозному осознанию, — на победе над смертью и искуплении...

Трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникло, неизбежно складывается в общую картину мира».

8.11.91. Утром попытался купить хлеба — в двух магазинах мне не хватило. Очередь стояла на улице, переговаривались: «Ничего нет, так хоть хлеб с чаем». — «Пустым?» — «Почему? Можно с вареньем». — «Вам хорошо, вы наварили». Без злобы, но грустно. На стене магазина объявление: ДОК (деревообрабатывающий комбинат) приглашает на работу слесарей, зарплата 1500, электросварщиков — 1500, упаковщиков мебели — 900 плюс 150 в месяц доплата плюс бесплатный проезд, бесплатный продуктовый заказ и другие льготы. Возвращается масштаб цен 50-х годов: все надо умножать на 10. Недавние 150 равноценны нынешним 1500. Но при этом доктор наук Валера получает 700 руб., зав. лабораторией доктор наук — 800 руб., меньше, чем упаковщик мебели. А 200 руб. пенсии моей мамы соответствуют недавним 20: только на хлеб и чай. Но при этом еще и не купишь хлеба с чаем. Мрачно...

¹⁴ Немецкая газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

15.11.91. Наконец-то сдвинул работу, перешел к следующей главе. Переводил Кафку. В перерыве прошелся по лесу, принял душ. Привычный жизненный ритм. «Стерилизованная жизнь», возможно, сказал бы Генри Миллер. Иногда я сам так думаю, но в самом деле ничто меня так не радует, как возможность вдумчиво работать. Какое внутри этого богатство!.. И музыка Шнитке (4-я симфония), которая опять оказалась удивительно созвучна характеру моей прозы. И вечером Набоков, Зюскинд, Достоевский — читаю понемногу каждого, так получается.

25.11.91. ...Немного прогулялся, переводил Кафку. Вдруг обратил внимание, что и в письмах его, и в дневниках почти совершенно отсутствует текущая история: мировая война (как-никак!), инфляция и пр. Никаких газетных тем. (В отличие от дневников Т. Манна.) У него были другие проблемы. Посущественней, — примерил я слово, но тут ведь дело не в сравнении: просто разные возможности жизни, мировосприятия...

11.12.91. Из рабочего дневника. Тема Орфея. Почему запрещено оглядываться на того, кого выводишь из царства теней? Оборачиваясь, запечатлеваешь внешние черты — и тем самым омертвляешь уже навсегда. Единственный, кого я никогда не видел (Феликс), жив во мне, потому что я воспринял и воспроизвожу в своей жизни энергию его жизни, его мысли. Подлинное воскрешение — не воспроизведение, не мертвенное повторение, а воссоздающее продолжение. Бессмертие и воскрешение может быть только духовным. Внешнее может быть опорой для духа, но оно же чревато и омертвлением (портретный памятник). Бездуховная, антирелигиозная федоровская идея. Быть может, самая духовная метафора — еврейская талмудическая легенда о воссоздании мира из букв. Буквы — единственное, что может ожить в новой нашей жизни. (Скульптурный памятник и даже движущееся кино не оживают в нас, они лишь подтверждают призрачность ушедшего, иногда иллюзорную. Чем совершенней и правдоподобней восковая фигура, тем она мертвенней, призрачней.) Памятники материальной культуры — всегда именно памятники; ожить в новой, нашей жизни может лишь дух, мысль, обозначенная словом.

19.12.91. Практически не работал, лишь записал страничку на темы современных настроений — по Мандельштаму: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но видит Бог, есть музыка над нами». А ведь это 21-й год, время ничуть не легче, чем сейчас... Не сорвалось бы в убийственную катастрофу. В «Московских новостях» Витя Ерофеев пишет о крушении гуманизма... Я узнавал его старые мысли о злой природе человека и о необходимости признавать страшную истину об этой природе в литературе. Захотелось ответить ему — но, собственно, я уже отвечал в эссе о Сидуре, размышляя на тему о правде страшной и безобразной, о девочке, закрывающей глаза учителю. Это еще не вся правда — есть правда и в этой девочке, и в доброте множества людей. Эта правда подтверждается тем, что мир почему-то существует, не саморазрушаясь. Мироощущение, проистекающее из этого осознания, можно назвать религиозным. И другая сторона вопроса: правда и назначение искусства вовсе не в том, чтобы воспроизводить, документировать хаос и ужас мирозда-

ния, оно противостоит хаосу уже тем, что вносит в него форму, упорядоченность, смысл.

21.12.91. Работа не пошла. Сходил с Г. за заказом; пока мы ходили, Советский Союз перестал существовать...

Недавний перевод Кафки напомнил: он как будто и не заметил, что перестала существовать Австрийская империя и он продолжает жить в другой стране. Он знал проблемы пострашнее...

Только сейчас осознаешь в полной мере, из-под какой чудовищной туши удалось выбраться — искалеченным, на дрожащих ногах, и она еще не вполне мертва, еще возможны судороги. Но ведь могла еще долго издыхать, не отпуская.

27.12.91. Поработал, прогулялся на лыжах. Алина Ким услышала передачу по радио: рассказ человека, получившего доступ к архивам КГБ. Он был потрясен плотностью слежки за Ильей Габеем. Магнитофонная запись: в течение нескольких минут шум, дыхание, матерщина. Комментарий: половой акт... Мерзко думать об этом. Я мог бы сказать себе, что этих нелюдей не надо воспринимать как людей — это животные, перед которыми не может быть стыдно. Но легко теоретизировать.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

По ту сторону безнадежности

Скульптор Вадим Сидур показывал мне как-то модель неосуществленного памятника писателю Василию Гроссману. На одной его стороне был барельеф: девочка закрывает ладонью глаза взрослому. Оказывается, был у Гроссмана такой сюжет, основанный на подлинной истории: во время расстрела девочка прикрыла рукой глаза своему старому учителю. Не смотри, сказала она, это очень страшно.

Образ представляется мне весьма значимым для разговора о вечном и возобновляющемся поиске правды в жизни и в искусстве. В свете нашего трагического опыта слишком прекраснодушной, если не сказать больше, стала иногда казаться правда, которую исповедовала авторитетная прежде гуманистическая традиция. XX век, как никакой, может, другой, продемонстрировал нам, до какой степени зла, абсурда, бессмысленной жестокости способен дойти человек, какой непрочной перегородкой отделено наше существование от страшных, иррациональных бездн. От этой правды в самом деле нельзя отворачиваться. «Правда страшна и безобразна», — сказал мне Вадим Сидур, художник остро трагического мироощущения.

Все так. Но в то же время — разве нет своей правды и в как будто наивном, детском, безнадежном порыве девочки? Речь, конечно, вовсе не о стремлении игнорировать реальный трагизм, абсурд и жестокость. (Девочка закрывает, кстати, глаза не себе, а другому.) Речь о том, что наряду с этой страшной реальностью, наряду с жестокостью, злобой — и вопреки им — существует еще правда сострадания, доброты, жалости, любви. Если этой правды нет, видимое

бесстрашие в изображении зла, уродств, безобразия может обернуться вполне холодным поверхностным равнодушием. Современное искусство слишком часто демонстрирует именно такую подмену. Люди, живописующие абсурд и жестокость, сами явно не испытывают никаких чувств; и в собственной жизни они отнюдь не трагичны, даже наоборот, доснятся благополучием.

Эта подмена небезобидна.

Сейчас влияние получила идеология и эстетика, которая исходит, среди прочего, из представления о неактуальности какой бы то ни было иерархии ценностей: все понятия о добре и зле, о прекрасном и безобразном следует считать относительными, от любого человека в любой момент можно ожидать чего угодно. Опыт войн и концлагерей в нашем веке действительно с особой наглядностью показал, во что может превратиться едва ли не каждый из нас.

А если все-таки не каждый — что могут значить единичные исключения на многомиллионном фоне?

Известно суждение Варлама Шаламова о том, что опыт концлагерей следует считать абсолютно отрицательным. Человек в нечеловеческих условиях лагеря не мог ничего изменить, он был вынужден приспособливаться к обстоятельствам, чтобы выжить, — и в конце концов сплошь и рядом переставал быть человеком. Свидетельство самого Шаламова, мне кажется, позволяет внести в это суждение существенную оговорку: он сам, во всяком случае, остался свободен в отношении к происходившему, он знал, что зло — это зло, убийство — это убийство, бесчеловечность — это бесчеловечность, и не искал им оправданий, не уравнивал с прочими проявлениями сложной человеческой природы, не эстетизировал их в своем творчестве.

И это уже очень много.

Бессмысленно спорить: зло извечно и неизбежно присутствует в мире, как и безобразие, как и хаос; в этом такая же правда, как в том, что человек обречен умереть. Но это не может быть единственной правдой хотя бы потому, что мир все-таки — пока что — продолжает существовать, не саморазрушаясь, и природа человека требует все же противиться саморазрушению, противостоять хаосу, в том числе своим художественным творчеством. Искусство творит новые формы и новые смыслы, а это уже означает преодоление хаоса, сопротивление ему. В этом смысле искусство — по определению — все-таки служит жизни. Нередкое нынче стремление как бы воспроизвести хаос в адекватных формах — формах самого хаоса — разлагает прежде всего само искусство.

Нечто подобное, мне кажется, имел в виду Уильям Фолкнер, когда говорил в своей Нобелевской речи о проклятии, которое будет висеть над трудом писателя, если он не уберет «из своей мастерской все, кроме правды сердца, кроме старых и вечных истин: любви, чести, жалости, гордости, сострадания, самопожертвования... Он будет писать не о любви, а о похоти, о поражениях без потерь, о победах без надежды и, что самое страшное, — без жалости и сострадания. Он будет писать не о человеческой душе, а о телесных отправлениях. Пока писатель не поймет этого, он будет, как сторонний наблюдатель, писать о гибели человека».

У меня бывает чувство, что кому-то эти слова покажутся теперь старомодными. А ведь Фолкнер — писатель куда как суровый, в нарочитом благонравии его не упрекнешь. И когда он все же отвергает мысль о гибели человека — им движет то же мироощущение, которое я, вслед за американским философом Виктором Франклом (между прочим, пережившим Освенцим), назвал бы трагическим оптимизмом. Оптимизмом — потому, что он исходит из веры в человека, в его лучшие возможности. Трагическим — потому, что эти возможности слишком часто не выдерживают испытания реальностью, и вера начинает казаться тщетной. «Мы не должны закрывать глаза на то, — пишет Франкл, — что человеческие люди являются и, быть может, всегда будут оставаться меньшинством. Но именно потому каждый из нас чувствует вызов присоединиться к этому меньшинству. Дела плохи. Но они станут еще хуже, если мы не будем делать все, что в наших силах, чтобы улучшить их».

Поэт, увидевший на вратах ада надпись «Оставь надежду входящий сюда», все-таки не остановился. Он должен был пройти через все его круги, ужасаясь и сострадая, чтобы пробиться к истине, которая открывается, может быть, лишь по ту сторону безнадежности.

(Выступление на международном симпозиуме
«Постсоветское искусство в поисках новой идеологии» 26.07.1995)

1992

25.01.92. Слова Швиттерса о том, что даже плевок художника становится произведением искусства, оказались переосмыслены рынком. Сначала создается имя, потом этим именем можно подписать хоть плевок, хоть подобранную на свалке галошу — толкователи снабдят это смыслом.

27.01.92. Работал... Сходил на лыжах к дальним елям. Каждый раз невольное чувство досады на неспособность все эти два часа сосредоточиться только на красоте леса: белый снег, низкое солнце, длинные тени, волшебное скольжение, снег на стволах и еловых ветвях, сладость воздуха. Это осознаешь недолго, вспышками, а остальное время душа занята какими-то житейскими мыслями, политическими новостями, воображаемыми разговорами — потом спохватываешься: о чем я! Но трудно два часа быть сосредоточенным, а может, и неестественно. Может, это тоже способ избавиться от умственного шлама. И не я ли сам об этом писал?

Попробовал читать «Удаков» Попова. Неловкое чувство: я по привычке хорошо к нему отношусь, и есть свой смысл в этой снижающей интонации (у него существенней интонация, чем сюжеты), она действует на меня как поправка, заставляя ироничней относиться к пафосу, общим местам и пр. Но когда читаешь подряд историю за историей, думаешь: ну и к чему все это? Такая ли в этом правда жизни? Почему зеленый горошек вызывает именно взрыв ненависти и матерщины, почему любое движение, событие, слово воспринимается лишь в скотской ипостаси? Ведь тут не (м)удаки (как я их понимаю), тут скоты и скот-

ство беспросветное, к которому все-таки не сводится ни одна жизнь. Когда-то в его первых рассказах меня тронула именно просвечивающая через все скотство доброта, жалость, любовь, сострадание. Теперь какой-то перебор; дальше в этом направлении, по-моему, тупик. Но как сказать такие вещи? У меня не получится — а никто другой, боюсь, не скажет с должной мерой уважения и доброжелательности. Критика сбита с толку — да и где она?

Вновь перепроверяю свое художественное кредо: не воспроизведение хаоса и распада, а преодоление его ради высшего служения жизни.

29.01.92. Читаю цитату Ионеско (очевидно, из дневника): «У меня нет ни к чему интереса». «Я не читаю и даже пишу через силу». «Я кубарем лечу вниз. Словно отпустил державшую меня руку Бога».

Когда-то я думал, что мне это не грозит. Сейчас я, во всяком случае, понимаю, как можно утратить интерес к чтению. Почему я продолжаю писать? А почему продолжаю жить? Есть вопросы, на которые невозможно найти ответ — но почему-то всю жизнь надо его искать.

Время назад я утвердился в мироощущении, которое — со всеми оговорками — можно бы условно назвать религиозным. И творчество — едва ли не основной элемент этого мироощущения.

13.02.92. Из рабочего дневника. Трагизм, глубина, безысходность, грязь, кровь, красота, величие, жалость, распад, старость, любовь, мир.

Постоянно выносит из глубины на поверхность. А надо помнить в каждой клеточке повествования.

15.02.92. С Галей на открытии сидуровского памятника афганцам («Памятник погибшим без погребения»). Военный караул, салют, оркестр, много народа (бывшие «афганцы», родственники погибших), много речей, в большинстве своем удручающих уровнем понимания и выражения; но все равно проступали слезы на глазах. Когда мимо памятника промаршировал парадным шагом взвод торжественного караула, я подумал: думал ли о таком Сидур? Он сделал свое дело, остальное не его забота. Его жизнь продолжается без него...

Вечером Танечка делилась интересными наблюдениями над стихами Мандельштама, и я опять примерял все к своей работе: вот уже, казалось, и она сложилась, и я чувствую необходимость просто все заново переосмыслить, углубить.

25.02.92. ...Выкупил дневники Пришвина, читал в метро: нынешний опыт, как никогда, обогатил понимание революционного прошлого; по себе сейчас чувствуешь, в каком брожении и разброде, неуверенности, отчаянии все рождалось. Замечательное сравнение Горького с Пугачевым-императором...

26.02.92. ...Поздно вечером позвонил Попов: подвыпил, захотелось поговорить. Это было на ту же тему «Музыки во льду» и потребности в «среде», о которой я весь день пытался писать. Об ответственности всех, кто жил при нашем фашизме, за этот фашизм: уже тем, что пользовались привилегиями, тем, что жили, могли жить. Не говоря уже о нынешних переукрасившихся. И на тому подобные темы.

6.03.92. Давно со мной этого не было: во время работы ощутил, как капает из подмышек пот. Значит, думал с полной отдачей. Хватит меня на такое пока ненадолго, и кажется, что ничего по-настоящему еще не написано...

Вчера вечером позвонил Е. Попову поздравить со славной статейкой в «ЛГ» о скомпрометированности советских писателей. По его сведениям, 20.03 меня наконец будут принимать в СП. Противоречивое чувство: с одной стороны, социальная неприкаянность бывает неудобной, с другой — это неудобное одиночество было моим отличием.

17.03.92. Из рабочего дневника. Вот смысл катастрофического чувства — и одновременно абсурдная неразрешимость (Беккет):

Если все обернется к лучшему, все жертвы окупятся, дети доделают за нас — тогда в жизни был смысл, и она оправданна.

Если действительно катастрофа, и нет пасты (питательного целительного продукта, который надеялись получить жители), и дома провалятся — все бессмысленно: все хитрости, победы и пр.

Смерть — конец, катастрофа — или сын продолжит? Сын — расплата или награда? Все зависит от меня. Но и я бессилен, и единственное оправдание — миг любви, зарождение жизни.

10.03.92. ...Утром пришло письмо от издательства Fayard с предложением заключить договор...

15.03.92. ...Вдруг зачитался «Циниками» Мариенгофа, купленными по странной для нынешних времен цене 40 коп. Если бы я прочел эту книжку в пору «Сундучка», я бы кое-что мог из нее заимствовать. (И сейчас узнавал знакомое.) Читал и думал: как схожи с нынешними некоторые ощущения послереволюционной эпохи. Развороченный, нищающий, непонятно куда идущий мир. Внутри истории не чувствуешь ее направления. Но ведь даже тогда справились, выбрались. Хотя бывает трудно понять, как, чем могли победить большевики? Не просто наглым нахрапом. Идея обладала все-таки силой.

18.03.92. Из рабочего дневника. Может быть, центральная идея книги: жизнь по-разному видится «изнутри», когда непонятны ее связи, направление и смысл, и откуда-то «извне», когда мы уже не живем и ничего не можем изменить, объяснить другим. Но представить себе этот взгляд имеет смысл.

19.03.92. Сдвинул с места работу... Пришла книжка Архангельского. Я начал читать с эпилога: грустное чувство, что анализ культурной ситуации за этот год не устарел. Тем ценней всякое усилие поддержать систему ценностей, точность и высоту критериев. Для меня это как бы личная поддержка: значит, подрастают новые мыслящие люди, значит, еще не все потеряно.

20.03.92. Утром позвонил Архангельскому поздравить с книгой. По его словам, о моем романе уже говорит «вся Москва», журнал не достать, его просят почитать. «Вы скоро станете модным писателем». А мне и невдомек...

26.03.92. «Всякое творение есть творение из ничего... Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние

творящего — неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность, и чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие» (Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности).

Это буквально обо мне, о моем нынешнем состоянии; оно длится, впрочем, уже многие месяцы, пока я работаю над «Прозрачным туманом». Чувство узнавания — и облегчения: значит, дело, может быть, не в моей бездарности, возможно, это признак серьезности, значительности, оригинальности замысла. Хотя гарантии, конечно, нет. И дальше — о том, что даже гениальные люди часто не выносят долго творческой деятельности; приобретая технику, начинают повторяться, к удовольствию публики. «И мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца».

Из рабочего дневника. Читая Шестова. Я все еще робею доводить мысль до трагического предела, все время держусь за какие-то благодетельные надежды. Здесь есть возможность поистине высокой (европейской, не чисто нашей) трагической философии — за предельным крахом возможно и просветление, когда уже ничто не страшно. Крах всякой жизни.

27.03.91. ...Не могу прийти в себя после увиденного по ТВ: изнасилованная, простреленная 6-летняя азербайджанская девочка, скальпированные заживо люди. Кто это сделал? Почему молчат армяне, прежде всего армяне? Что делать мне, как кричать, отворачиваться? Ужас, безнадежность и бессилие.

15.04.92. Утром меня поднял с постели неожиданный звонок из Парижа. Профессор Жорж Нива: «Открытие вашей книги («День в феврале») было для меня очень важным событием». И много других высоких слов...

Вечером смотрел китайский фильм «Красный гаолян» — неожиданно мощный, с элементами языческой силы. Он заставил меня подумать о том, что наша цивилизация принесла не только приобретения, но и потери: мы утратили чувство общности друг с другом и с мирозданием, когда вместе поют гимн перед огнем, с чашами вина в руках... И как всегда, мысли о моей работе: она все время скользит мимо главной основы жизни — куда-то в мораль, в общественную тематику. Надо не думать о скором окончании, а работать, работать.

И для этого очень важно быть в сосредоточенном, несуетном состоянии. Даже сейчас, вечером, чувство усталости, опустошенности и недовольства собой после утренних светлых порывов. Трудно одновременно думать о Боге и Маммоне.

3.05.92. После затмения умов мы как будто приходим (хотим прийти, провозглашаем приход) к общемировым, общеевропейским ценностям (свобода, терпимость, плюрализм).

Но это будет лишь видимость сходства. Наш путь к этим ценностям был иным, и этот путь не отпадает, как пуповина, он остается в нашей памяти, входит в наше знание, в качество ценностей, придавая им особое — наше — значение. Значение мы принесли с собой. Наш путь, наш опыт, наша память — и это наше богатство, возможность нашего особого вклада. Наше духовное поражение — это не то же, что прописи, усвоенные с детства.

5.05.92. Утром пришло наконец письмо из Гамбурга с сообщением о Reiestipendium на 6 тыс. DM и приглашением в Геттинген 17.05 на торжества по случаю вручения премии Петрушевской...

20.05.92. *Hamburg, Elbhaus*. Утром встречался со студентками С. и А., одна из них собиралась писать обо мне курсовую работу, но ей показалось это очень трудно: необычный язык. Буду лучше писать о Достоевском. Необычный подход к моей работе: о разорванности пространства и времени, о многократном умирании и после этого снова жизни. Им кажется, что мое отличие от других современных авторов в этой несовременности, вневременности, мифологичности. Это особенность западного подхода в отличие от нашего, слишком социологичного, слишком политизированного, психологизированного. Мне это нравится, во всяком случае, это может быть интересно...

Вечером прогулялся по берегу Эльбы... Множество молодых людей на песке, пьют пиво, вино (неподалеку на берегу ресторан) из прекрасных бокалов, некоторые жгут костры, тут же собаки; разнообразная одежда, свободное поведение; наверху у шоссе — сотни оставленных машин, мотоциклов и велосипедов... Господи, какой жизни нас лишили! Никогда я так не осознавал, что это преступление против страны, против нескольких поколений, это миллионы загубленных жизней — и загубленное (иногда боюсь, что безвозвратно) будущее.

4.06.92. Существует радость, боль, страх, усталость, утоление жажды — а по какому поводу страх (перед концлагерем или банкротством), каким напитком утолена жажда — это уже вопрос, так сказать, содержания. Перед лицом смерти оно значит меньше духовного переживания, духовного напряжения. Хорошо бы, конечно, в комфортной жизни сохранить предельную интенсивность чувств, но комфорт соблазняет прожить жизнь приятно, как в теплой ароматной ванне.

13.06.92. ...Признак заработавших мозгов: захотелось почитать. Взял томик Камю, раскрыл на эссе о Кафке, потом полистал Нобелевское выступление, которым так когда-то восхищался. Многие с тех пор стало общими местами, кое-что показалось скорей блистательным, чем глубоким, риторические красоты стиля скорей эффектными, чем убедительными. Не увлекло; видимо, мой мозг сейчас нуждается в других витаминах. Зато неожиданно зачитался двумя статьями в пришедшей вечером FAZ. Одна — блестящая отповедь Й. Феста новым («левым») проповедникам немецкой «особенности». Воспроизводится историко-культурный контекст: от романтического противопоставления немецкой «духовности» западному практицизму, внутренней свободы — свободе институционализованной (так похоже на наше!), — через «Betrachtungen» Т. Манна, через «антизападную», «антибуржуазную», «антилиберальную» демагогию Гитлера — до наших дней, когда «левые» оплакивают конец ГДР как утрату «возможности небуржуазного развития», торжество общества потребления, голого практицизма и пр. Все это с позиции людей сытых, живущих в свободе и безопасности...

А другая статья (тоже напомнившая об уровне) — Michael Meer об исповедальных мотивах у Т. Манна, о Г. Малере как одном из прототипов черта в «Фа-

устусе», о непозволительной игре с жизнью, о вине художника (история, как Г. Малер написал цикл на смерть детей, а три года спустя умерла его дочка), о «холоде», «неспособности любить». Моя тематика. Я читал, оглядываясь на себя, свою работу, которую кое-как пытаюсь продолжить — без вдохновения, без страсти, слишком уж головой: и вдруг всколыхнулось, пошли мысли, идеи на листках...

24.06.92. ...Читал потрясающие дневники Хармса. Они создают совершенно неожиданный для меня образ трагичного, несчастного, по-своему религиозного человека с гениальным устройством ума и натуры...

22.07.92. ...Позвонил в «Октябрь» насчет «Сторожа» — похоже, и там дело дохлое... Будем надеяться, выйдет все же книжка; журнальные публикации сейчас немногим больше замечают. Никогда не придавал большого значения критике, но, когда ее вовсе не стало, вдруг обнаружил, что без нее теряется чувство литературы, лит. процесса. Я-то всегда был как бы выпавшим из него, но все-таки имел представление, что пишут, о чем говорят, — хотя бы по рецензиям. Сейчас как будто нет литературы. На самом деле она есть, нет критики. Вдруг почувствовал, что раз речь не идет ни о зароботке, ни об успехе — можно, как в добрые прежние времена, «не беспокоиться». Что напечатают — хорошо, попросят — дам; а в остальном я, оказывается, имею возможность жить и работать...

Похоже, самый безнадежный кризис остался позади, пишу со все большей уверенностью, хотя гарантии, что получится, как хотелось бы, никто, как всегда, не даст...

30.07.92. *Шишаки Полтавской области*. Кругом гоголевские места: Диканька, Миргород, две Гоголевки. Река Псел. Запущенный участок, старый дом, все куплено Кимом за 10 тыс. Ленивая жизнь. Сосновый сухой лес, в нынешнюю засуху без грибов. Всюду живность, дуг напоминает картину о золотом веке: овцы, козы, коровы, куры, гуси, утки, индюки. Гнезда аистов, их там сразу 5 штук. Созревают абрикосы, а яблоки не уродились. В огородах кукуруза, тыквы, но больше для скота и птицы, чем для людей... Купоны охотно меняют на рубли. На улицах здороваются с незнакомыми. Украинская речь. Если не смотреть ТВ и не читать газет, можно забыть нервное ожидание катастрофы. Кажется, что ничего и быть не может, пока люди вот так спокойно работают на своих огородах и в полях... На самом деле судьбы людей действительно решаются в столицах, сюда приходят уже результаты: новые цены, новые деньги, новые законы. Вдруг оказывается, что люди живут в другой стране. Неделю не читаю газет и не чувствую потери. Лопухи на участке удобней рубить топором. Вчера поймали плотвичку чужой самодельной удочкой...

17.08.92. *Из рабочего дневника*. Мир без иллюзий и надежд. Ничьи могилы не хранятся больше нескольких веков, считанные мумии фараонов хранились — но лишь несколько тысячелетий, остальные косточки безымянные.

И все-таки мы не можем отказаться от безумной, безосновательной надежды сохранить память, искать смысл. Мы подозреваем, что смысла может не

быть, а умрем мы навечно — но в условие нашего рождения входит жить, значит, биться над этой неразрешимой загадкой и противостоять смерти.

22.08.92. *Шишаки* ...Неожиданное известие о смерти Юры Карабчиевского. Оказывается, это случилось еще две недели назад. Похоже на самоубийство: наглотался снотворных. Не могу поверить. Незадолго до отъезда я говорил с ним: ничто в его разговоре не предвещало этого.

1.09.92. Вчера — день рождения... Опять завел свою пластинку о «музыке на вокзале» у Мандельштама и Пастернака: нужна ли среда? Очень умно говорил на эту тему Алик Городницкий: «Вы (обращаясь к Кома) нужны здесь, а не в Америке». Кома: «А вам разве нужна среда? Когда-то я спорил об этом с Пастернаком. Он говорил: я могу свои стихи хотя бы прочесть друзьям, а вам и прочесть некому. Но разве это нужно?»

5.09.92. С утра поработал над гл. 7. Позвонил Олег Чухонцев, предложил что-нибудь дать для своего альманаха. Я спросил, пишет ли он; в печати ничего не появляется. Он ответил, что ищет новые формы. «Кинетика нынешнего состояния так велика, что все силы уходят на переваривание текущей информации. В застоинные времена, которые так любят ругать наши либералы, а я, наоборот, считаю благотворным периодом, можно было работать углубленно. Сейчас хорошая пора для тех, кто пишет дневник времени, очерковую публицистику; но даже у таких, как Евтушенко, это не получается. Вспомним первые 2—3 года революции: литература практически прекратилась, некогда было осмыслить происходящее, могли появляться только дневниково-публицистические работы вроде «Окаянных дней» Бунина или «Несвоевременных мыслей» Горького. Лишь через 2—3 года начали возникать Бабель, Пильняк и др. Для меня вопрос о публикации сейчас не стоит».

24.09.92. Работал над первыми главами. Прогулялся с Леночкой по лесу, она спрашивала меня, что такое философия, и сама философствовала. Как это непонятно, что я существую, а другие только в моем ощущении. А кто такой был Спиноза? Диоген был не прав: от жизни в бочке могли бы начаться болезни, и ему пришлось бы больше думать о них, о лечении, лекарствах, чем о своей мудрости. Я не могу представить себе бесконечность, мне кажется, что все закруглено. Религия ничего не объясняет... Наслаждение было идти с ней так по лесу, подбирать осыпавшиеся на землю орехи, которых в этом году не бывало много, смотреть на белочку. Березы уже в золотистых крапинках — очарование...

Вечером по «Свободе» передача Б. Парамонова о том, что для гения нужна трагическая эпоха, нужна цензура; демократия способна создать только хороших профессионалов. Тем лучше: хорошая жизнь важнее литературной гениальности. Знакомая, но сомнительная мысль: это можно было бы обсуждать, если бы писатель обсуждал только общественные трагедии. Но существует главный, извечный трагизм, существует жизнь и смерть, и разговор с Богом, и поиск смысла. И разве Фолкнер не жил при демократии, разве Гете был оппозиционером? Верно может быть другое: благополучное демократическое общество склонно забывать об этом извечном драматизме, оно вытесняет из сознания

мысль о смерти — и потому заполнено поделками. Верно и другое: нужна высокая цензура в том смысле, что искусство — это способ выразиться непрямо; его не хватает порнографам, описывающим совокупление в медицинских терминах, ремесленникам-документалистам, не озабоченным созданием своего мира. Наконец, у меня вызывают заведомое внутреннее сопротивление разговоры о том, что без сталинского террора Мандельштам и Ахматова не написали бы своих великих стихов. Написали бы другие — кто ставил альтернативный опыт?

4.10.92. Что-то происходит не то, и с миром, и с нами. Вчера по ТВ показывали кадры: мусульмане-боснийцы позируют с отрезанными головами сербов. По радио рассказ о лагерях, где сербы насилуют боснийских и хорватских девочек, держат их, пока невозможным станет аборт, — чтобы родили сербов. Грузины бомбят с самолетов Гудауты и Гагры, курортные города. В Таджикистане воюют кланы, убитые исчисляются тысячами, как и в Карабахе. Но, может быть, еще страшней, что мы проглатываем эту информацию за ужином и не поперхнемся — привыкли, и это пока не о нас. Невозможно в самом же деле переживать каждый день... Но ведь были времена, когда такие известия заставляли хотя бы некоторых людей молиться, и страдать, и просить у Бога милости, по крайней мере ощущать греховность происходящего. Умом-то и мы ужасаемся, но так абстрактно; до костей этот ужас не доходит.

Может, в этом есть и своя правда, может, этим держится жизнь? Ведь и в былые времена не только привыкали к казням, но ходили на них любоваться.

8.10.92. Поехал на конференцию «Культура и кризис» в Гуманитарный университет. Попал на перерыв, на лестничной площадке увидел Синявского с Розановой. Подошел, поздоровался: «Мы заочно знакомы». Синявский: «Как же! А вы знаете, что скоро будет решаться ваша судьба?» Тут Розанова его одернула: «Не говори лишнего, Синявский! Обнадежишь человека, потом будет только хуже». Я: «Я в начале ноября надеюсь попасть в Париж. Можно мне будет вас навестить?» — «Конечно, вы же наш автор...» Я пошутил: «Меня спрашивают, знаком ли я с Синявским, я отвечаю, что знаком с Розановой». — «Правильно, — сказала Розанова, — это одно и то же. Один наш знакомый, мерзкий человек, пошутил: вы как симбиоз рака-отшельника с актинией». — «Кто же рак-отшельник, а кто актиния?» — сказал я. Синявский: «Конечно, я рак-отшельник».

Потом я подсел к нему еще раз (вместе с Нива), спросил, что он пишет, что читает в университете. «Пишу роман. В университете читаю две темы. Одна трудная: о становлении сталинской цивилизации, где-то во время “великого перелома”. И легкая тема: о Маяковском. Я его люблю, он у меня не вызывает никаких сомнений. Как можно критиковать Державина за то, что он хвалил императрицу? Маяковский для меня как Державин...»

17.10.92. *Hamburg*. Из разговоров с фрау Штебнер: «У вас есть контакты с Солженицыным и Сахаровым?.. Мне рассказывали, что у русских на завтрак всегда была кислая капуста, водка и хлеб». Я спросил ее, ходит ли она в церковь, она ответила, что является христианкой, но с церковью не согласна, — и завела

долгий разговор о грехах и исторических преступлениях церкви. Живет одна в громадном доме, наверно, ей хочется поговорить. Без семьи, без мужа. Фантастическая смесь в голове.

5.11.92. *Paris*. Прогулка с Нива по Парижу. Он показывал мне Париж не экскурсионный, а связанный со своей жизнью: улочки, дворики... Разговоры с ним открыли много неожиданного. Оказывается, он был офицером в Алжире, воевал, попал в засаду, был тяжело ранен. Рассказывал мне о своих детских воспоминаниях военных лет: бомбежка (американцы бомбили провинциальные города Франции), еврейская чета, которая у них скрывалась от немцев...

Показал мемориал жертвам депортации, т. е. евреям, прямо за Notre Dame, под землей, простое символическое решение. Жорж досадовал, что среди изречений на стенах — слова Сартра и Арагона. «Они не имеют права это говорить, потому что они оправдывали лагерь уничтожения в Сов. Союзе. Сартр всю войну благополучно просидел в Париже и не участвовал ни в каком Сопротивлении, как и Арагон, вопреки легендам». Я спросил о «новых левых», он назвал Б. Леви «интеллектуальным клоуном»...

Поднялись на Монмартр. Художники — как у нас на Арбате, рисуют портреты и акварели с видами, ничуть не лучше, чем у нас, даже хуже. Вообще, вид Парижа излечивает от некоторых комплексов, которые могут возникнуть в роскошной и чистой Германии: мы не так уж сильно отличаемся от остального мира... Мне нравится теплота французской жизни, я чувствую, как начинаю изменять «моим» немцам, хотя здесь, увы, не знаю языка...

Затем к Синявскому. У них в гостях оказался известный московский адвокат Генри Резник. Я только потом, по ходу разговора, понял, кто он, и вспомнил, что видел его по ТВ: он один из адвокатов по делу ГКЧП. И уже когда мы уезжали поздно ночью, Нива объяснил мне, зачем он здесь: оказывается, Синявские возбудили дело против «Континента» по поводу перепечатанной статьи четырехлетней давности, где некто С. Х. обвиняет Синявского в сотрудничестве с КГБ.

Попросил Розанову показать мне свою типографию. Это действительно замечательно. Все лестницы, подвалы, проходные помещения завалены номерами «Синтаксиса» и книгами...

Зашел разговор о речах адвокатов, о судах присяжных. Я заговорил о суде литературном — почти в один голос с Синявским, который вдруг сказал: «Представьте себе литературный суд, 6 человек судей, и я в том числе. Я, конечно, за вас...» Тут я понял, о чем он — об этой Букеровской премии, — и перебил его: «Нет, я говорю о другом суде, суде литературы, в котором все заранее оправданы». Он понял и поддержал: «Да, я думал об этом: не только Гоголь, но даже Щедрин любит своего Органчика».

Еще рассказал один эпизод: как после смерти матери, которая умерла на его руках, он вышел на улицу покурить, в Хлебном переулке. «Подошел мужик, попросил прикурить, я отдал ему пачку “Беломора”, и вдруг он говорит: “Я тут живу недалеко, в Мерзляковском переулке, если кто у тебя умрет и нужна будет

музыка, так скажи мне. А?"» — «На меня такие вещи производят впечатление», — сказал я. — «Да. Кто кому подыгрывает?»

У Синявского очень милая и трогательная манера говорить, мне нравится его искренняя улыбка, его манера говорить не прямо, а в расчете на понимание. Но непонятно, как он при таком стиле разговора может читать лекции и кто его может слушать. По словам Нива, у него считанные слушатели. И еще чувство, что он сильно постарел.

27.11.92. Алеша привез компьютер... Посидел с девчонками, овладевая техникой...

Вчера под вечер вдруг необъяснимое чувство тревоги: что-то слишком хорошо все складывается, не пришлось бы расплачиваться. Впрочем, что значит хорошо? В моем возрасте — у меня все та же единственная книжка, дальнейшее неизвестно, и шумиха вокруг премии вовсе неизвестно еще чем обернется, кроме банкета в Доме архитектора. Вот разве что за границей издавать все-таки будут.

30.11.92. ...Нравится работать с компьютером... Читал книгу Сарнова о Зоценко — и углубился: извлек что-то новое и, может быть, важное для работы. Я вдруг понял свою оговорку и дистанцию по отношению к Зоценко, при всем почтительном восхищении его талантом. Он не просто адекватней всех ощутил «нового» (действительно) человека, для которого «духовные ценности» были пустым звуком, но и сам отвернулся от этих ценностей. Все герои «другой», «чернушечной» прозы — это, в сущности, желудочные существа. Я почувствовал, что мне надо уходить от этого типа и от этого понимания человека — и не только мне; пришло время всей литературе вспомнить, что ее дело и предмет — дух человеческий. Во всяком случае, я отношу себя к литературе, которая интересуется этим. Об этом писали Т. Манн и Фолкнер, Музиль и Кафка. Наша литература сосредоточилась на жлобе, потому что он был объявлен «новым» человеком, человеком, за которым будущее, — и не может оторвать от него взгляда до сих пор. Теперь — чтобы ужаснуться вдогонку. (То есть он вовсе не уходит со сцены, он будет на ней еще долго у нас преобладающим лицом, но мне это неинтересно.)

Вечер, я устал и, возможно, потому плохо формулирую мысль.

В газете английские стихи И. Бродского о резне в Боснии:

As your hand adjusts your tie, people die¹⁵.

Мне вспомнился мой Лизавин, «лживый мальчик», который пытался вообразить, будто его волнуют радионовости о далеких незнакомых смертях. В каком-то смысле мы все такие «лживые мальчики», иначе нам следовало бы взвыть, ринуться куда-то, что-то сделать, чтобы прекратить ужас. Есть у жизни какая-то анестезирующая способность — притуплять чувства и реакции. Хорошо

¹⁵ Букв. «Когда ваша рука поправляет галстук, люди умирают» (англ.).

это или плохо? Наверно, это самосохранительная способность, вне морали. Самоуважения это не прибавляет.

9.12.92. Вчера, конечно, не оказалось времени записать. С утра удалось поработать над гл. 11 и даже прогуляться в лес. Вечером с Галей и Маратом в Дом архитектора. Красиво оформлены авторские «витрины» в фойе... Гриша Померанц, Синявский, неожиданно Кома Иванов со Светой. Подошел Женя Рейн: «Ну, поздравлять рано». — «С чем?» — сказал я. «Ну, информация просачивается». Потом о том же намекнула Тоня, жена Фазиля Искандера. Потом выяснилось, что такую же информацию распространяли и о Петрушевской, даже в вечерних новостях объявили, что, «по слухам», победила Петрушевская. Алла Латынина подошла, сказала, что лауреатская речь должна быть очень короткой, не больше страницы. («Я это говорю всем шестерым...») Саша Архангельский и Андрей Немзер наперебой объяснялись мне в любви. Наконец меня назвали лауреатом... Тут же меня обступили репортеры, я предлагал им поговорить по-человечески, но их интересовало, «как вы себя чувствуете» и «что вы собираетесь делать с чеком?». На оба вопроса я не способен был ответить...

Сегодня с утра почти беспрерывные звонки... Очень взволнованные, похоже, что много людей действительно рады: это не только ваша, это наша победа, на нашей улице праздник. Звонят друг другу. Просят об интервью... Впрочем, всего не запишу. Устал, и завтра это все еще продолжится. Скорей мыслью, чем чувством, понимаю, что происходящее, в общем, хорошо. Может быть, даже чуть слишком...

12.12.92. ...Впервые за несколько дней посидел у компьютера и с наслаждением поработал: без особого, правда, продвижения, но морально это меня подбодрило. Тем более что, время от времени включая радио, я слышал дикие речи на съезде. Также впервые за несколько дней прогулялся по лесу. Звонила Алла Латынина, рассказывала о некоторых закулисных подробностях. Синявский сразу поддержал ее с моей кандидатурой...

Нет сил записывать и пересказывать все звонки. Завтра будет опять трудный день, послезавтра, похоже, тоже. А там посмотрим.

14.12.92. Вчерашний сбор гостей не берусь описать. Было больше 40 человек...

16.12.92. Три интервью... Бахнов передал мне слова Архангельского: победа Харитоновна — это поражение шестидесятников. Я так не думаю, я не знаю, что такое шестидесятники...

17.12.92. ...Звонили из «Труда» с просьбой о новогоднем интервью, но я сказал, что уже неприлично так мелькать во всех газетах. Вспомнилась песенка Кима: «На всех консервах мой портрет». «Друзья пьют виски с содовой и требуют: еще давай». Позвонил Киму, он считает, что нужно давать все интервью, это важно для будущего успеха, тиражей и пр.

22.12.92. ...Показали мне газету «День» с вполне расистской статейкой Б. Смысл ее: я так и знал, что премию присудят нерусскому писателю. Самое мерзкое в этом — сознание, что я когда-то пожал этому подонку руку...

23.12.92. Пришла «Литературка» с моим интервью — вполне достойным... Впервые прогулялся на лыжах до дальних елей. Вечером к Кома Иванову. Разговор между прочим об эмиграции. У него остался неприятный осадок после разговора с Л.К. Чуковской, которая с давних пор категорический противник отъездов. Кома считает, что эмиграция обогащает как отдельного человека, так в конечном счете мир и саму страну. Какая разница, где будет работать артист, физик или математик, если в другой стране его талант расцветет лучше прежнего? Мировая культура и мировая наука едины; с тех пор как Россия стала открыта миру, она может пользоваться достижениями своих, как и чужих, ученых или музыкантов независимо от того, где они живут. «Ну пусть в конце концов теоретическая физика в этой стране погибнет, — сказал Кома, очевидно откликаясь на какую-то реплику Чуковской, — она продолжится в мире, и мы сможем пользоваться ее достижениями». Наверно, в этом есть своя правда. Если отвлечься от того, что культура, наука, мозги и таланты — это еще и богатство, имеющее денежное выражение. И если отвлечься от чисто личной грусти, что с некоторыми людьми я уже не смогу беседовать в Москве, что некоторых музыкантов тоже не смогу здесь услышать, что мои дети лишены будут желанных учителей, а это значит упадок школ, традиции, преемственности.

24.12.92. ...Пришло славное письмо от Ж. Нива: «1992-й был для меня “Вашим” годом...»

30.12.92. ...Гаяля купила «Россию» с моим интервью, мне стало неприятно. Вроде бы и не очень они перевирают мои слова, а получается пошлость. «А вообще, я очень люблю одиночество». Ведь вычеркнул я им это — восстановили опять. Не буду больше давать интервью.

Конечно, не работал. Прогулялся с Леночкой по лесу. Приморозило, снег.

Позвонила Зина Миркина поздравить с Новым годом. «У меня в одной сказке есть Страна соответствий. Когда герой попадает в эту страну, все становится на место, все соответствует всему. То, что в этом году вам дали премию, было из Страны соответствий...»

31.12.92. Пожалуй, високосные годы всегда оказывались для меня особенными. 1964-й — год влюбленности и женитьбы; тогда был зачат Алеша. 1968-й — мы купили квартиру, в следующем году родилась Таня. 1972-й — год, когда были закончены «Золушка» и «Маски», я познакомился с Давидом Самойловым и многими другими, меня широко узнали в узких литературных кругах. 1976-й — напечатан «День в феврале». 1980-й — закончены «Два Ивана», мы переехали в новую квартиру. В 1984 году я, пожалуй, не успел справиться с «Сундучком», растянул работу до начала 85-го; с таким же сдвигом началась «перестройка» и многие перемены в общей жизни. 1988-й — вышла книга. 1992-й начался с выхода романа, а там пошло: прием в ПЕН-клуб и Союз писателей, стипендия и поездка с Галей в Германию, Париж, два договора во Франции и знакомство с Жоржем Нива, прекрасное лето в Шишаках, Таня кончила университет, поступила в магистратуру — и, наконец, Букеровская премия, значение которой для своего литературного будущего я, возможно, еще не вполне оценил. Впервые весь год я мог не волноваться о деньгах.

Если не говорить о проблемах детей и здоровье близких, больше всего меня тревожила, пожалуй, неспособность справиться с работой. Но это ведь прекрасные тревоги.

Конечно, есть еще тревоги общие, опасности неизвестного будущего. Я как-то размышлял о самосохранительной человеческой способности отгораживаться от всего этого. Хотя бы на время — на время праздника.

Съездил к маме... Новогодняя ночь с детьми.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Заметки о критике

Критика — род духовного творчества, главной пищей и почвой которому служат тексты, уже созданные другими. Главной, неперемнной — но не единственной; другой источник — собственные, непосредственные жизненные впечатления.

31.01.94

Существуют разные виды, задачи и уровни критики: комментарий, оценка (все больше по рыночным параметрам), рекомендация и пр. Подлинный уровень возникает, когда критику удастся развернуть (и расширить) смысл, вложенный писателем в произведение не всегда осознанно, возникший, может быть, по особым, таинственным законам, в результате многолетней работы. Такая критика создает литературу вместе с теми, кто считается ее первоначальными творцами. Не разработанные критикой ценности как бы еще не обнаружены, не пущены в оборот.

19.03.97

Критика — продолжение жизни произведения, расширение и обогащение его смысла, способ существования текста. (Речь, конечно, идет о великих произведениях, которые внутренне бесконечны.) Таким продолжением является, в сущности, любое чтение, но критика, выражая мысль в новых словах, расширяет его реально.

2.05.93

Суждения разных людей — как лучи, направленные на предмет с разных сторон и образующие, воссоздающие, меняющие его очертания. Порой эти лучи не доходят до предмета, тогда его очертания расширяются, он уже не похож на задуманное автором, больше расплывчатый; порой они проникают глубже, чем видел автор. Так возникает образ произведения в критике — не совпадающий с тем, что виделось автору.

14.01.89

Инструментарий критики создается каждый раз заново, по мерке нового произведения — объекта критики. (Так поэтика каждого произведения рождается заново в зависимости от задачи, темы, поворота взгляда.) Шаблоны, про-

писные истины, вкусовые предубеждения творчески бесплодны в искусстве и критике, если она хочет быть искусством.

18.01.95

Мое отношение к критике понимающей и непонимающей можно, наверное, выразить чертежом из учебника логики. Два круга представлений могут пересекаться, и большая или меньшая область пересечения — область совпадения наших миров (при наличии совпадения) есть основа моего интереса к другому миру. Новое, не совпадающее с моим, меня обогащает. При полном несовпадении: $O \cap O = \emptyset$ — я отделен от чуждого мне мира. Нет точек соприкосновения.

25.10.93

«Радость отрицательного суждения всегда очевидна... Приговор... вызывает на лице произносящего его выражение удовольствия. В чем суть этого удовольствия? Ты что-то от себя отстраняешь в худший разряд, причем предполагается, что сам ты принадлежишь к разряду лучшему. Унижая других, возвышаешь себя... Таким образом ты присваиваешь себе власть — власть судьбы».

Элиас Канетти. Масса и власть

«Только положительные суждения ценны. Отрицательные и содержащие укор, как только они высказаны, становятся ложны, хотя само наблюдение может быть верно». (Но «если я скажу: такой-то человек мне не по нутру, — это честно. Кто слышит, сам решает, кто виноват — я или другой человек».

Г. Гессе, из рецензии 1918 г.

1993

3.01.93. Утром позвонил Саша Архангельский, недавно приехавший из Германии... Он делал на конференции близ Бохума доклад о критике. Один из тезисов: надо научиться считать хотя бы до трех. Потому что все привыкли оперировать одними и теми же сопоставлениями. В этом смысле я благодаря премии нарушил привычную систему представлений, иерархию имен — «и вам этого не простят».

4.01.93. ...При чтении К. еще раз заметил свое отличие от тех, кто морализирует по поводу тех или иных человеческих слабостей. Мне эти слабости кажутся неизбежными и, в сущности, неустранимыми, на них основано, увя, самосохранение жизни. Это никому из нас не прибавляет самоуважения, но это и вне морализирования...

5.01.93. ...Поехал к Померанцам... Зина припомнила мои слова из интервью о возможности более достойного существования. «А вот мы только что получили письмо от Чичибабина из Харькова, он в очень мрачном настроении из-за националистических безумств на Украине, пишет, что у него отняли Родину, хотя он никуда не уезжал, — и насколько лучше, чище была жизнь, когда он ра-

ботал в трамвайном депо, не печатался, не был лауреатом Государственной премии, мог просто жить, чувствуя себя самым собой». Я кое-что в этом могу понять: до премии мне проще было писать. Но ведь это, в конце концов, от нас зависит. Никто нам не мешает опять вернуться в трамвайное депо, не печататься, забыть про премии... Впрочем, Зина повела разговор о другом: как тяжело она переживает насилие и гибель в знакомых местах. «В мой дом вторглась беда — и оправданна ли такая цена совершившейся перемены? Может быть, лучше было притормозить?» Я вспомнил знаменитую молитву: Боже, дай мне силы сделать то, что я могу сделать, дай терпения вынести то, чего я не могу изменить, — и дай мне мудрости отличить одно от другого...

7.01.93. ...Поехал на вручение премии «Триумф»... Во время банкета заговорил с Аверинцевым, задал ему свой давний вопрос: почему в Касталии было запрещено оригинальное творчество? Он начал с того, что Касталия — пройденный для него этап. Заговорил о том, что акт творения, как и акт зачатия, не только у древних евреев толковался как нечто «нечистое». «Но, может быть, творчество, именно созидание нового было угодно божественному замыслу?» — сказал я. Не помню, что он ответил, потому что вдруг сказал, что ему трудно говорить, он нездоров. Это действительно так; но возможно, по какой-то причине не захотелось говорить? Верней, ему неинтересно было отвечать, он предпочел бы говорить сам...

А у Шнитке я спросил, дошла ли до него моя книга. Он сказал, что начал читать, но еще не дочитал... Сидевший рядом Элем Климов дал понять, что ему трудно говорить. Шнитке для разговора со мной вставал, Элем его усаживал...

10.02.93. ...Позвонила Olga Morel, прочла мне куски перевода двух статей: Жоржа Нива в «La Quinzaine litteraire» и Николь Занд в «Le Monde», которая тоже цитирует Нива: «Казалось, русская литература задыхается... Но Нива указывает на свою находку этого года... М. Х., который, может быть, станет самым великим прозаиком конца века». Надо, конечно, сделать поправку на перевод.

14.02.93. Утром, готовясь к завтрашнему отъезду в Лондон, стал перебирать свои заметки, газетные вырезки — и вдруг пошли мысли на листках, которые могут видоизменить (и уточнить?) весь сюжет, уже набранный на компьютере и напечатанный...

Из рабочего дневника. К.: Все, о чем говорят — каждая на своем языке — мировые религии, имеет реальную подоснову, которую можно выразить и на языке разума, объективных данных. Но разум без воображения бессилён, будущее зависит от способности к синтезу. (И, конечно, музыка — но ее язык подлечит разгадке. Музыка — это шифр, задача для ума.)

Религия почему-то подозрительна к воображению. Переживание, знание должны быть подлинными, ничего выдуманного не должно быть в них привнесено. Как будто эти видения — не перевод невыразимого на общепонятный.

Я говорю не о том воображении, которое можно считать произвольным комбинированием мыслей и впечатлений. Нет, подлинное воображение — когда мысль или образ приходят неизвестно откуда (не можешь объяснить откуда), но это — знание о запредельном.

Подлинное воображение — вещь о запредельном. Ее умеют улавливать те, кого мы называем гениями. Но они к тому же умны и мастеровиты, они умеют подыскивать своим догадкам, прозрениям слова, формы, образы, переводят их на язык общепонятных мыслей — а это уже компромисс. Вот бы найти чистое знание!

Подлинные озарения даются обострением, концентрацией чувств, на которые человек редко бывает способен в обычной рассеянной жизни. Надо довести его до края и даже вывести за предел... Почему это запрещено? Я же не для себя стараюсь. Эти мозги что-то дадут человечеству. (Непозволительный экспериментатор. А в результате гибнут и мальчик, и Феликс.)

Может быть, К. чувствует себя спасителем мира — через меня. «Я (т.е. К.) сам не могу: слишком много интеллекта, я не вижу или не помню снов, но я способен ухватить. Понимаешь? Перевести на язык объективных понятий». Он готов принять помощь и от государства, и от карательных органов. «Но они все портят, потому что я не могу открыть им свой замысел».

М.б., идея К.: Я (К.) хочу спасти мир, я в отличие от других предчувствую иррациональную катастрофу; но для понимания мне нужен «медиум», не столько разумный, сколько гениальный, не интеллект, а художник.

Почему я его боялся? Ведь он говорил так правильно: о служении людям, восстановлении полноты личности... Может быть, потому, что сам он казался мне инвалидом, ищущим для себя протез в чужих душах... тогда он наслаждался. (Он и сам о себе так говорил.)

К. за кулисами всего сюжета (который выходит из-под его контроля)... Его не смущает, даже радуется трагедия моей жизни и общая катастрофа. Надо дойти до предела — тогда мы поймем что-то важное.

М. б., развитие моей фантазии: мы не бежим в этот город от К. (как я думал и надеялся). Наоборот, он провоцирует нас на переезд, соблазнив слухом о пасте. (Сам понимая, что это чепуха.) Здесь, в замкнутом городе, проще проводить эксперимент.

24.02.93. ...В газете «Сегодня» любопытное интервью с художником Ильей Кабаковым. Вроде бы моя тема: человек создает для себя мир искусства, чтобы уйти в него из страшной реальности. Но все в какой-то крайней степени («я реально не живу, у меня нет никаких человеческих чувств») и противоречиво. Прежние его инсталляции были сугубо советскими, новое опять его не интересует (надо бы, впрочем, посмотреть, что он сейчас делает). Говорит, что Запад требует от художника «предельно четкой артикуляции», при этом «считывать» его художественные высказывания способны очень немногие. Мне вспомнились вопросы интервьюеров: элитарна ли моя сложная проза? А элитарна ли «четкая артикуляция» Кабакова? Действительно ли интересно Западу то, что он делает сейчас? И почему интересно?

Из рабочего дневника. М. б., меня К. использовал для расшифровки чужих снов и пр. Я видел то, чего не могли показать его приборы. Или он давал мне слушать музыку.

И при всем том чувство, что я сочиняю д-ра К. Но откуда я знаю то, что сочиняю о нем? Откуда это приходит на ум? И почему получает продолжение в реальности, переплетается с ней? Неужели он прав и игры моего воображения не совсем произвольны?

М. б., я К.: Вы приучили меня мысленно говорить с вами, даже когда вас рядом нет. Я так втянулся в эту игру, что время спустя не уверен, в самом ли деле говорил с вами или вас выдумал.

— Ты не смущайся, это обычная слабость художественных натур.

К. — фанатик правды. Вам (тебе) хочется щадить себя, я понимаю. Но, может, надо собой пожертвовать. (При всем том, что я разговоры с ним сочиняю.)

К.: Есть люди (ты, Феликс), которым дано запредельное знание, способное нас спасти. Нам мешают близорукость, корыстность властей — и ваше собственное желание щадить себя, нежелание дойти до конца.

3.03.93. С утра посидел над работой... Вечером в музей Герцена на презентацию книги Нива... Я заговорил с Аверинцевым по поводу его статьи в «Известиях», где он говорил о недопустимости воображения в религиозных вопросах. Он ответил: «Но это как в любви. Надо любить женщину такой, какая она есть, а не такой, как мы ее вообразили». Довод показался странным: любовь всегда привносит и от воображения. Что значит: «какая есть»? Что такое истина?..

(Задним числом, по поводу слов С. А., что надо любить женщину, какая она есть, а не придуманную. А любовь Свана к Одетте, Пастернака к О. Ивинской? Любовь всегда что-то привносит, прибавляет, приукрашивает — и влюбленный взгляд оказывается более прав, чем «трезвый» взгляд со стороны.)

8.03.93. ...Вчера позвонил Кронид Любарский, окончательно переехавший в Москву. Сегодня он приехал в гости... «Началась четвертая жизнь, — сказал он, — и ни одна не является продолжением другой, каждый раз перелом с хрустом. Сначала жизнь советского квазиученого (почему-то он выразился так), астрофизика. Потом правозащитник, зэк. Потом резко — эмиграция. У Гали года два после отъезда продолжалась депрессия, а у меня никакой депрессии не было, я понял, что это уже навсегда, старая жизнь отрезана — и все эти годы был счастлив. Но года с 87-го началась раздвоенность, я стал чувствовать, что можно будет вернуться, что мое пребывание на Западе теряет смысл...»

17.03.93. Утром выбила из рабочего состояния очередная хамская публикация в «Лит. газете». Пьецух отвечает на слухи, будто «Дружба народов» отклонила новый роман Харитонова: Харитонов предоставил нам не новый роман, а черновик к «Сундучку». Не говоря о постыдном и бессмысленном вранье — сам факт объяснения по поводу обычного отказа напечатать рукопись встречается мне впервые. Допекло их, что ли, по этому поводу общественное мнение? И хамская тусовочная фразеология по поводу «сундучка, наполненного английскими фунтами стерлингов». Я прекрасно знаю этому цену, неловко тут за Пьецуха, не за себя — но поди же ты, поднялось давление. Чувствительные существа эти художники... Не работал, вот что плохо...

18.03.92. *Из рабочего дневника.* Одна из важных общих идей: наша жизнь не ограничена отпущенным нам сроком, она продолжается в обе стороны, связана с прошлым и будущим. От наших сегодняшних действий зависят судьбы живших прежде и тех, кто будет жить потом. (Катастрофой кончается отдельная жизнь, и всегда остается надежда.)

24.03.93. ...В «Лит. газете» статья Аллы Латыниной против злобных нападок на нее в связи с премией Букера. О «Дне» говорить нечего, эта компания невменяемая, но «демократ» Нуйкин, бросивший ей дикое обвинение в пособничестве фашистам! Сильно подозреваю, что он был до недавних пор членом партии и вел, наверно, подпольную борьбу в ее рядах в то время, как меня вызывали в КГБ и давали подписать предупреждение об уголовной ответственности...

30.04.93. Вчера на ночь взял читать книгу Мераба Мамардашвили, стал делать пометки на полях — и оказались исчерканными целые страницы: столько глубины, близких, а главное, стимулирующих мыслей, более того, встреч с моими собственными мыслями. (Его и мое убеждение: духовным событием является только то, что пережито, продумано, прочувствовано самим, а не вычитано; реально только то, что стало духовным событием — и т. д.). Сделал несколько заметок для работы.

Из рабочего дневника. Попытка приспособиться к катастрофе (поощряемая начальством) — ложна, пока мы не перевоссоздадим основы бытия, не поймем, что нужен труд мысли, самопожертвования.

«В условиях неминувшего развала, в силу того, что уже поздно, все, что ни делай, ищи правду или неправду — пойдешь по пути бессмыслицы. Внутри такой ситуации действовать и мыслить невозможно. Основы цивилизации подорваны. Мир полон неоплаканных жертв, залит неоплаканной кровью» (М. Мамардашвили).

К. — не просто «злой демон», в его требованиях есть большая, трагическая правда. Недаром я его боюсь. Это требования не для всех (но ради всех, ради других).

Чувство: какой-то мой двойник — или я сам — однажды понял, узнал нечто невыразимое и вновь для меня утерянное — и я должен слиться с ним, достичь его, прийти к себе самому издалека.

2.05.93. *Из рабочего дневника.* К.: Ты (вы) самый благодатный материал. Все уже слишком знают, как надо и как можно, как правильно жить. Тебе каждую мелочь приходится решать самому, но при этом ничто не становится ясным окончательно и насовсем (из-за особенностей памяти).

Папа и мама. Это все надежда: я могу быть подлым сегодня, чтобы быть безупречным завтра. А завтра никакого нет.

Чувство невозможности выйти из кризиса из-за неспособности назвать то, что происходит. У кого нет памяти, у того нет будущего.

Мама: Мы боимся не опасного слова, а непонятого, мы не способны, не хотим прояснить своих страхов.

К.: Нужна последняя ясность, без этого все развалится.

— Но разве это возможно?

— В пределах жизни и рассудка — нет.

М. б., чувство, что на листке было что-то важное — лишь после того, как он был утерян. А вначале — только предчувствие, какое-то бормотание.

Не так уж важно вспомнить, что там реально было, важно чувство, что было что-то важное, — и усилие воспоминания, равноценное рождению нового смысла. Каждый текст — в какой-то мере повод для создания нашего собственного.

5.06.93. Ночевал у мамы... Ночью в мое отсутствие во дворе прогрехотали взрывы, горели легковые машины: происходила разборка между какими-то кавказцами, которые снимают квартиру в нашем доме. (Утром — дотла обгорелый остов, выбитые стекла...)

6.06.93. Ночевал у мамы. Поработать почти не успел: приехал из Америки Володя Лукин. Мы встретились у метро «Октябрьская» (где на книжном лотке свободно продавался «Mein Kampf»), прошли по городу... («Давно я не ходил пешком», — сказал он.) Советовался, стоит ли ему ввязываться в предвыборную борьбу в новый парламент... Заговорили о том, есть ли новые люди, на которых можно поставить. Он упомянул Явлинского, который предложил сегодня встретиться для разговора.

С ним мы и встретились в 9 вечера в американском ресторане на Комсомольском проспекте. Хозяин Jeffrey Zeiger — сын американского миллионера, знакомого Лукина, — счел для себя за честь и рекламу бесплатно кормить таких гостей. Он встретил нас на улице, сел с нами за угловой столик, предложил водки, пива Heineken, салат и креветок. Я сразу спросил его о бизнесе, вспомнил знакомого немца, который считает, что здесь будущее, но что-то можно будет реально сделать года через 3—4. Тут вступил Явлинский: «Я скажу так: сеять надо не по погоде, а по сезону. У нас сейчас плохая погода. Слякоть, холод. Но у нас весна, и надо сеять. Осенью может быть замечательная погода, солнце, тепло. Но сеять уже поздно». Мне это понравилось и сразу к нему расположило. При всем том он считает ситуацию более опасной, чем я. Пока не работают законы, нет единой власти, ничего само собой внизу невозможно, все тормозится. Мы до сих пор держались на огромных богатствах страны и на иностранной помощи. Если начнем продавать еще и военный потенциал, продержимся еще несколько лет. А дальше катастрофа. Особенно опасен развал страны, а он реален. Например, позиция Татарстана. Я сказал: «Но этого надо не допустить». — «Да? — посмотрел он на меня насмешливо. — Тогда готовьтесь переодеваться». — «То есть воевать?» — уточнил Лукин. «Именно». На что Володя сказал, что он готов...

Еще несколько моментов разговора. О наших за границей. Лукин не одобряет намерения Комы остаться, по существу, в Америке. Вспомнил слова Мамардашвили о Сократе: он был гражданин мира — но и гражданин своего полиса... Многие наши в Америке потерялись. Коротич, например. Теперь туда же перебрался Шатров. Евтушенко ездит показывать свой фильм, просит за лекцию 2 тыс. долларов...

Еще притча Явлинского: почему-то в предчувствии катастрофы страну начинают покидать молодые красивые женщины. Так было в Германии. Причины внерациональны. Это какая-то интуиция: им продолжать жизнь.

10.06.93. Может быть, вот в чем отличие некоторых людей этого поколения от некоторых людей последующего: они (новые) могли сразу начать с более высокого уровня информированности и понимания, но это досталось им в слишком готовом виде, без собственного душевного усилия (которое единственно ценно), без духовного поиска, без исканий, сомнений. Отсюда слишком мало личного, непосредственного, своего, слишком много заемного, отрефлектированного (причем отрефлектированного зачастую другими). Неспособность к удивлению, чуду.

28.06.93. Из рабочего дневника. Голос: может, то, что нас пугает впереди, называется свобода, она всегда пугает нас. Но, может, после этой ночи обновится жизнь.

5.07.93. *Feldafing*. Из рабочего дневника. Выйти за пределы советской тематики. Время переломное для всей цивилизации. Нам обещали разумное, гарантированное устройство жизни (допустим, паста даже не обман). Вначале на ограниченной территории. На всех не хватит.

Закрытость города: не только наша проблематика, но и попытка Европы отгородиться. Всех не прокормишь. Сначала хотели отгородить город, потом — зону. (Обсуждать на уровне Кафки.)

6.07.93. *Feldafing, Willa Waldberta*. ...Вчера поехал в Мюнхен, встретился с Файбусовичем... Посидели с ним в кафе за пивом с сосисками, говорили о литературе. «Почему я рад твоему приезду: с тобой можно говорить о литературе». Я тоже не знаю лучше разговора. Он получает пенсию 700 с чем-то марок, жить на это здесь нельзя... Но подрабатывает на радио, выступлениями, много ездит, главным образом по Германии, немного переводит. Книги практически не дают заработка, он даже не получает аванса. Лора зарабатывает как сиделка... При всем этом он не понимает, как сейчас можно жить в России, с ней связаны только самые ужасные представления...

8.07.93. Принципиально разная установка. Зощенко: не только воспроизвести новый язык (чуждый автору), но проникнуться им (а значит, и новым сознанием). Булгаков: не говорить на языке хамов, предоставляя его лишь персонажам, самому же оставаться собой, помнить себя. Стоит ли говорить, что мне ближе вторая установка?

Но есть еще гений, снимающий противоречия (Платонов).

10.07.93. ...Последние дни почитываю «Дневник» К. Чуковского. Значительная его часть — жалобы на издательские тяготы, которые воспринимаются иногда как катастрофа: чего-то не пропустила цензура, на что-то не хватило бумаги. А между тем речь идет о 9-м или 10-м издании. Человек, начинавший в другом мире, вправе воспринимать это как катастрофу, тем более что семью надо кормить, жить на что-то, и будущее непонятно. Я вспоминаю собственные переживания на ту же тему: у меня ведь постоянно что-то срывалось, не выходило, и речь шла не о 9-м издании. Ближе к 60 годам у меня единственная книга. Но я

помню, что воспринимал это чуть ли не как должное: а почему меня должны печатать, если не печатали Мандельштама и Платонова? Моя забота была: можно ли это будет читать через несколько лет? (Чуковский ощущает, что его критические книги хороши только ко времени; впрочем, и мой «Прохор Меньшутин» или «Два Ивана» иначе прозвучали бы ко времени.) И зарабатывал я худо-бедно разными способами.

Но главное, я почувствовал, как неинтересны эти жалобы в дневниках спустя время. Это урок для меня, для моих дневников. И хроника его встреч с разными людьми — тоже по издательским или житейским делам — мало интересна, даже когда упоминаются действительно значительные фигуры, вроде Блока или Ахматовой; про остальных (но ведь известных когда-то) не говорю. Также для меня урок. Любопытный эпизод: Чуковский пишет о суде над растратчиками: люди рискуют жизнью (грозит расстрел), в сущности, ради того, чтобы попьянствовать в ресторане с проститутками. И большинство присутствующих в зале их в этом понимают и тоже этого хотели бы. Чуковский не может понять такого наслаждения: женщин можно иметь и бесплатно, пьянство отвратительно, а книгами, стихами, искусством эти люди не способны наслаждаться... Мне тоже приходило на ум схожее недоумение, особенно сейчас, когда повторяются коллизии времен НЭПа.

Из рабочего дневника. В чем моя вина? (сквозная тема). В неспособности понять обращенный ко мне голос, в неспособности выполнить предназначенную мне миссию — что бы ни говорили о причинах, главная причина всегда во мне. Если бы я оказался достойным себя, ничего бы не случилось. (?!)

19.07.93. Важная мысль при чтении М. Мамардашвили: «С любых высот культуры можно сорваться в бездну... Хаос и бескультурие не сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точку» (144).

Т. е. хаос в любой момент вокруг нас, и никакие ценности, достижения, механизмы, традиции не дают гарантий. Пример — Германия, да и Россия, и Югославия. Мысль, дух должны трудиться, не расслабляясь, в любой момент заново — лично для каждого и для всех вообще.

29.07.93. *Feldafing*. С утра работал... Вечером поехал в Мюнхен. Разговаривали с Геней дома, потом гуляли по паркам и улицам с вагнеровскими названиями. Он прочел мне письмо Гриши, где тот возражает на слова Гены о том, что «Россия не участвует в аристократическом клубе культуры», перечисляет имена русских писателей и музыкантов, которых он ценит, говорит, что не замечает сейчас особых гениев на Западе. Гена считает, что нужно выкинуть из словаря разговоры о «духовности», «соборности» и прочих глупостях. В России должны почувствовать, что это не единственная страна в мире и не главная для мира. Возможно (это мое понимание), они ведут речь немного о разных вещах: тут культура структурированного общества, носителем которой чувствует себя каждый человек, культура, обеспечивающая место и достоинство любого; проявлением этой культуры будет и достойное ремесло, и виноделие, и лингвистическая школа. Российское восприятие больше интересуется проявлением гения,

который может возникнуть непостижимым путем, даже вне развитой культурной структуры. (Давно замечено, что в России проще было встретить святого, чем просто порядочного человека; так же там скорей можно встретить гения-одиночку, чем культуру ремесленного мастерства.) Он едет в Москву без охоты, с неприятным чувством. Что я там буду делать? Невеселый разговор о том, что страна, однажды намного отставшая, при нынешних успехах развития отстает все более и более безнадежно. Складывается клуб богатых государств, которые решают судьбы мира и все больше берут на себя теперь полицейские функции. Они привлекают к себе из других стран всех более или менее талантливых и энергичных людей. В результате все более четким и безнадежным становится разделение на развитые страны и остальной, третий мир... Увы, мне нечего было ему возразить. Выбраться из этой роковой предопределенности можно только теоретически. Жизнь (вплоть до событий последних дней) опровергает надежды... И все-таки пока не хочется признавать поражения; буду пытаться дальше. И появляются же молодые люди. В S-Bahn начал читать рецензии молодых критиков в журнале «Искусство кино» — и почувствовал, что «чернуха», «советский абсурд» стали уже для всех общими местами, в которых не упражняется только ленивый. Надо помнить об этом и не стучаться в двери, которые давно распахнуты и в которые никто не стучится. Надеюсь, я все-таки копаю глубже.

9.08.93. *Feldafing*. ...Вечером гулял к Schloss Possenhofen, мимо яхт-клуба, где яхты укрыты синими, под цвет озера и небес, чехлами, мимо кафе под зонтиками, мимо пляжных лужаек, на которых клевали что-то в траве крупные утки. Гладь озера, горы в дымке. Красота, чистота, довольство, спокойствие. На ночь кантата Вивальди «Юдифь и Олоферн». Чистый звук, прекрасные голоса. Можно ли жить так постоянно? Я понимаю, что большинство должны работать, и довольно трудно, грязно, на заводах или даже в подсобных помещениях этих ресторанов, этих магазинов, рано вставать, спешить на работу, что есть болезни и заботы... — но кто-то живет так постоянно? Возможно ли это? Как ни странно, не знаю. Главное: чувство, что я бы при этом не смог писать, а может быть, долго не выдержал бы. В конце концов, Лев Толстой мог бы жить достаточно спокойно в своей Ясной Поляне, среди красивых пейзажей, хороших книг, хорошей музыки, умных разговоров... — почему-то не мог. Чувство, которое мне трудно выразить.

(Впрочем, подумал вдруг, а как я живу в Москве? Вспомнил лес зимний и весенний, лыжи, работу на лоджии, друзей, картины Гали... Но и тревоги, и проблемы, и болезни, и чувство непрочности этой жизни, временности этого дара, и мысль о тех, кто этого лишен.)

16.08.93. ...Позвонил Копелеву. Он уехал из Москвы раньше срока, нездоровый и расстроенный. Все кажется ему паршиво, никакой демократии — хамократия... «Вообще чувство, что я все больше удаляюсь от Москвы. Никому я там помочь не могу...»

4.09.93. *Из рабочего дневника*. Проблематика экзистенциальная, не чисто наша: понимаем ли мы что-нибудь в нашей жизни, представляем ли мы себе

дальнейшее, что мы можем назвать по имени? Здесь просто раньше вообразили, что нашли абсолютное решение, поэтому раньше ощутили крах. Здесь все хотят считать себя избранниками, счастливыми.

5.09.93. ...Зашла в гости хорватская писательница Дубравка Угрешич, которая объявлена у себя на родине врагом народа, не может ни преподавать в Загребе, ни печататься. Рассказывала об ужасах национализма: Туджман просто фашист. Про братьев-писателей, которые поддались националистической заразе: хорваты всегда правы. Про ПЕН, который не защищает писателей...

19.09.93. Читая Leibowitz. Высшая сила, которой мы молимся, — внутри нас самих, мы можем подчиняться ей или нет, от этого зависит наша судьба, при всех внешних случайностях. Дело не в седобородом старце, который с небес дергает за ниточки.

24.09.93. *Feldafing*. ...Беседовал с Дубравкой Угрешич. Она повторяет: «Сараево — это город будущего, благополучие и мир в Европе так же ненадежны, как в Югославии. Достаточно небольшого сбоя: отключили свет, воду — и может начаться безумие (как началось побоище в Лос-Анджелесе). Ошибка думать, что в Югославии — просто дикие балканцы. Посмотрите ТВ: какие у них прекрасные виллы, и не у богачей, у простых рабочих; как многие из тех, кто, изможденные, без зубов, выходят из осады, прекрасно говорят по-английски. Эта страна жила в каком-то отношении даже лучше Запада — не заметили, как сползли в безумие, и теперь неизвестно, как и когда из него смогут выбраться. Мужчинам просто нравится убивать, это уже война убийц, уголовников. Черногорцы, которые штурмовали Дубровник, вернувшись к себе, ушли в горы и теперь нападают и грабят своих, растлевают, насилуют. А стоит посмотреть на эту армию, как они покидали захваченный город, унося детские велосипеды для своих детей. Это убийцы, грабители, вошедшие во вкус убийства, грабежа. Уже давно нет единой, регулярной, управляемой армии, военные действия ведут мелкие банды, поэтому их трудно контролировать и остановить. Германский фашизм все-таки подчинялся какому-то порядку: кого-то, по категориям, в газовую камеру, кого-то на работу и т. п. Здесь убивают, не разбирая, детей, стариков, чужих, своих. К власти пришли известные уголовники, за которыми давно охотится Интерпол (она назвала фамилии). Теперь это депутаты парламента, дают интервью (тот же Караджич). Как же они откажутся от такой жизни? Я верю женской интуиции: Запад все-таки не защищен от такого безумия». Я ответил, что вывод, по крайней мере, один: надо внимательно следить за развитием событий и стараться что-то понять, что-то предотвратить, во всяком случае противостоять националистическому безумию.

Между тем каждый час включал приемник и слушал новости из Москвы. Похоже, Ельцин упрочивает свое положение, но до нормализации еще далеко...

26.09.93. ...Задержался на рассуждениях Виктора Ерофеева о «зачарованности» современной литературы злом. Как всегда, что-то в его умных рассуждениях мне чуждо и вызывает сопротивление — но, как всегда, он умно формулирует то, перед чем я останавливаюсь. Действительность XX века, особенно в России, показала, что силы зла значительней, чем это представляли себе русские

классики XIX века, даже Достоевский, и это надо осознать, не убаюкивая себя рассуждениями о надежде. (Некоторые пытаются в своем творчестве как бы «заколдовать» зло, есть другие способы вступить в отношения со злом, например цинизм или юродство.) Это совпадает с тем, о чем я размышлял во время работы, и с разговорами Дубравки Угрешич: что-то непредвиденное, не сулящее надежд происходит с нами на исходе XX века, 2-го тысячелетия, и этого не обойдешь, не заколдуешь. Главное, что вызывает у меня сопротивление в мыслях Ерофеева: он считает достаточным осознавать и отражать, документировать эту духовную ситуацию, как бы эстетизируя ее; я — может быть, старомодно — считаю, что злу нужно сопротивляться, и литература, искусство по сути своей этому служат. Но такую позицию можно свести и к этому самому желанию «заколдовать» зло, отвернуться от него, оставаясь, по сути, равнодушным, успокаивать людей утешительными силлогизмами и фантазиями.

Сразу, как всегда, множество новых мыслей: вот сейчас бы иметь впереди три свободных месяца для работы... Нет, надо еще думать, надо медленно пробиваться к глубине, к значительному слову. Желание поскорей подтвердить репутацию суетливо.

27.09.93. *Из рабочего дневника.* Я выздоравливаю от безумия. Все ясно, просто. Я, м. б., не знаю, что произошло и какое сейчас время. Меня не видно. Я потерпел поражение. Я не могу ничего сказать. Но, значит, еще ничто не окончено, для чего-то нужен и я.

29.09.93. *Feldafing.* Последний предотъездный день. Конечно, не работал... Вечером на кухне разговор с Дубравкой. Между прочим, она сказала: «Знаете, в чем наше отличие? Вы приезжаете в другую страну и сразу вызываете интерес, потому что у вас за спиной русская литература. Вы русский писатель. Все знают, кто такой Достоевский, кто такой Толстой. А что такое хорватский писатель? Никто никого не слышал. Нобелевский лауреат с Филиппин — что это такое?» Я об этом прежде не думал. Рассказывала, как Бродский показал ей анонимное письмо: «Проклятый жид, никогда не возвращайся» — и сказал: «Поэтому я никогда не приеду». «Тогда я подумала, вот еще, мало ли дураков, на всех обращать внимание! Но после того, как сама получила такие письма, я поняла, что действительно не хочется возвращаться... Война не кончится, потому что будут друг другу мстить, убивать, взрывать дома, нанимать убийц. А если через 10—15 лет поймут, что лучше жить вместе, начнут мириться — я этого смотреть не буду. Это будет так противно. После всего, что произошло. Нет, я этого смотреть не захочу». Вспоминала писателей-эмигрантов, которые не хотят возвращаться (Юза Алешковского, например). Я могу понять, какой отвратительной кажется Москва отсюда. Сегодня по ТВ: агрессивные идиоты пытаются установить заграждения на улицах, милиция их теснит. И все-таки я рад возвращению...

2.10.93. ...Вечером к проф. Вас. Вас. Налимову... Разговор о подключенности человека к космосу, о спонтанности сознания, о вероятности сознания, о сталинизме и фашизме как ошибочных экспериментах, которые произведены — кем? — неизвестно. Налимов избегает окончательных определений, он не

настаивает на непротиворечивости своей системы взглядов... Впрочем, многие его разговоры я узнал на страницах книги «Спонтанность сознания», которую он мне подарил и которую я начал читать тут же в метро. Чувство, что это очень своевременное чтение...

10.10.93. ...Читал и смотрел по ТВ подробности мятежа: страшно и при всех оговорках подтверждает, какой страшной опасности мы чудом избежали...

17.10.93. Из рабочего дневника. Толкование финала. Нирвана значит угасание. Угасание привязанностей. Великое молчание, выход из страдания, освобождение от смыслов, интеграция со всеми, без любви, без предпочтений, без боли. М. б., мне это не удастся. Я продолжаю любить.

20.10.93. ...В газетах много спорят об оправданности совершившегося и совершающегося; все доводы справедливы, и за, и против; но правота многих слишком абстрактная, теоретическая: нехорошо нарушать закон и Конституцию, какие они ни есть, от этого все и вышло. Но я больше доверяю пережитому чувству, что, если бы эти люди пришли к власти (через вооруженный ли мятеж, через медленный реванш), жить в этой стране я бы не смог.

Интересная статья Д. Штурман в «Новом мире» о корниловском «мятеже» — попытка экстраполировать историю на нашу ситуацию. Главное чувство: долгого времени на решения не осталось. Есть объективные законы самоорганизации и саморазрушения общественного организма. Процесс саморазрушения идет, все ускоряясь, независимо от наших благих намерений, и есть едва ли не последний шанс остановить его, но очень быстрыми и решительными действиями. Я все еще надеюсь. Сколько раз мне приходилось ловить себя на прекраснодушном оптимизме: все еще наладится, все будет хорошо. А это вовсе не гарантировано. (Вот в Грузии уже катастрофа разрастается.) Но пока меня не обманывало какое-то внутреннее чувство. (Может быть, действительно приходит иногда какое-то ощущение будущего? Или оно порождается просто моим хорошим самочувствием? Сработает ли это чувство, когда повеет из будущего реальной угрозой?..)

8.11.93. *Düsseldorf* ...Перед самым отъездом — замечательно счастливое переживание. Литовский художник S. V., который жил у Юккера, повез меня в Insel Hombroich под Дюссельдорфом. Удивительный парк-музей. Некий богатый человек купил (откупил у окрестных крестьян) громадный пустующий участок, поставил там несколько павильонов и разместил произведения искусства. Есть павильон (или башня) тишины: здание с невероятной акустикой, где рождается волшебное качество звука. В павильоне «Лабиринт» (и еще в одном) вперемешку выставлены произведения древнего искусства из Индии, Греции, Камбоджи, Полинезии — и современных художников: без подписей и указания автора, так что не поймешь, где древняя архаика, где модерн, — но одно высвечивается и приобретает новый смысл через другое, и все вместе соединяется с природой за стеклянными стенами или в открытых проемах дверей. Удивительное чувство. Есть работы знаменитых авторов, вроде Арпа и Пикабиа, есть работы неизвестных мне, но при этом ни одного служителя, никакой охраны: здесь они нарушили бы благоговейное чувство. Там же кафе с простой натуральной

пищей: картошка, сало. В этом кафе мы встретили К. и ее мужа. Они беседовали с человеком, который оказался создателем этого музея. Мы, кажется, встречали его еще раньше на территории, я принял его за сторожа. Я сказал ему, что сама идея этого острова — произведение искусства. Он возразил мне, что здесь нет идеи, здесь есть рост. (Das ist keine Idee, das ist Wachstum.) Т. е. он не знает заранее, как это разовьется через несколько лет (имеются в виду и саженцы деревьев, и новые художественные идеи). Здесь должна быть тайна (Geheimnis), как в стихотворении Мандельштама. Я в ответ процитировал по-немецки: «Kein Atmen mehr» (Нельзя дышать...), рассказал о вокзале в Павловске — тоже сооружении из стекла и стали, упомянул про «музыку во льду»... Вдруг он (стыдно, что я, как всегда, не расслышал его имя) сказал: «Весной, в апреле—мае, я хочу собрать сюда для разговора нескольких художников, писателей. Вы могли бы выступить, если бы я вас пригласил?» Я искренне ответил, что сюда приехал бы с радостью. Это действительно оказалось для меня неожиданным переживанием, еще одним подарком судьбы. Он записал мои координаты...

29.11.93. ...Пришло приглашение от Мюллера принять в мае участие в фестивале на Insel Nombroich, с гонораром, равным гонорару Копелева.

1.12.93. Наконец работа затормозилась. Ничего не написал. Прогулялся по лесу. В «Известиях» последнее интервью Лотмана с очень близкими мне мыслями: «Мир, в котором мы живем, все больше хочет получать важнейшие ценности по самой дешевой цене. Это напоминает не очень радивых школьников, которые подглядывают в ответы, вместо того чтобы решать самим». «Искусство как экспериментальная сфера сознания» будет играть все большую роль... И дело даже не в отдельных мыслях, а в высоте полета. Этой высоты мне не хватало в воспоминаниях Эммы Герштейн, которые взял посмотреть в «Новом мире». О ком и что бы она ни вспоминала — все получается малозначительно. А еще взял по привычке дневники Т. Манна, открыл на произвольной странице за 48-й год — даже бытовые мелочи не скучны. И насколько же его жизнь была насыщенной моей: встречами, письмами, чтением — не говорю о работе...

Гуляя по лесу, сочиняю какие-то монологи, ответы на не заданные мне вопросы, полемику — но ничего не фиксирую, время спустя сам не могу вспомнить удачно найденных слов и формул. Жаль, среди мыслей бывали интересные. Но невозможно все попутно фиксировать на бумаге.

5.12.93. Работал. Вечером в музей Сидура. Трое молодых людей из ансамбля «Кредо» (флейта, виолончель, клавио) играли музыку эпохи Возрождения. Я, как всегда, примерял звучание к главам своей книги. Нет, тут была другая музыка, тут был юг, солнце, фрукты, пастухи и стада на холмах, палаццо и плеск воды... Но почему Бах — всегда для меня о том? А вообще, все было чистым наслаждением: прекрасная музыка в маленьком музее среди прекрасных скульптур. В верхнем зале новая экспозиция: акварели, главным образом 1984 года, одна из них рисовалась, кажется, при мне: эротичные нежные девушки, влюбленные. А после концертаходишь в метро, где валяются пьяные или нищие... Но такова жизнь всегда и везде.

8.12.93. ...В FAZ статья об очередном томе дневников Т. Манна: 1951—1952 годы. Не без злорадства, как мне показалось, констатируется угасание творческого дара, цитируются сетования: больше всего он боится не физического угасания и не смерти, а неспособности писать. Между тем следовало бы, наоборот, восхититься его творческой волей. В таком возрасте он мог бы наслаждаться покоем и пожинать лавры, как тысячи других стариков, к которым никто никогда не имел претензий; наоборот, обычно старики располагают к добродушию. А тут, видите ли, он не так резво бегаёт. Мне как раз понятен этот страх писателя перед неспособностью писать — хотя я еще не дожил до манновского возраста. Некоторые телевизионные выступления наших стариков наводят на грустные мысли: лучше бы им помолчать. Знать бы, что доживу до тех лет, оставил бы на это время обработку дневников и пр., что не требует творческого вдохновения.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Заметки читателя
Д. Галковский

Я не читал целиком его «Бесконечный тупик», да в полном объеме его никто еще, кажется, не читал. В № 77 «Континента» сам он вообще заранее дезавуирует критика, который не знает о его «пристрастиях, личной жизни, биографии».

Там же, в интервью, он кое-что рассказывает о себе. И этот рассказ показался мне в чем-то даже примечательней прочего.

Сам «Бесконечный тупик» — это конгломерат эссе разного достоинства, поданных в виде комментариев к еще не опубликованному основному тексту. Интересней всего (кроме фрагментов автобиографических) кажутся мне размышления об авторах, которых Галковский, пусть с оговорками, любит: о Розанове — это конечно, о Набокове, Достоевском, Бабеле и др.

Но если бы он опубликовал только эти эссе — он был бы отмечен в лучшем случае как один из способных литературоведов или публицистов, начитанный, феноменально работоспособный, независимо и своеобразно мыслящий, способный к точным, парадоксальным суждениям — но все-таки один среди прочих.

Взрыв бурных чувств вызвали скандальные разносы, которые он учинил массе знаменитостей, от Гоголя и Чехова до Платонова и Солженицына, Окуджавы и Высоцкого. Вот на это многие попались, кинувшись защищать святые имена.

Но как он ухватился за эту ситуацию, как подал в своем интервью! «Блатари собрались на толковище и решили Галковского “опустить”». (Это он о себе то и дело в третьем лице. — М. Х.) Зачем вам понадобилось издеваться над беззащитным человеком? Я живу с мамой в небольшой квартирке. Она всю жизнь

переживала, что я неудачник... Мне-то что, я философ... А вот видеть СЛЕЗЫ МАТЕРИ как?»

И все это по поводу единственного отклика. Он интуитивно уловил: человек, сам называющий себя «неудачником», обречен на сочувствие и симпатию. Людям приятно чувствовать, что не им одним плохо; неприятны те, кто выглядят счастливыми.

Ну а сам Галковский думал о чувствах людей, которых он лягал? У некоторых тоже живы родные и близкие, а уж какой ругани в свой адрес они наслушались при жизни — куда там Галковскому! Их-то действительно травили, не печатали.

Все это похоже на хорошо разыгранную истерику.

Никакие отрицательные рецензии дорогу в печать ему, конечно, не закрыли. Как видим, наоборот, вызвали вокруг его имени возрастающий шум. «А, это тот самый...» Вот, оказывается, по Москве уже знают, в каких двух френчах ходит Галковский. Кто когда обсуждал, в чем ходит Пастернак или Платонов? Это тоже инструмент «имиджа». А жаловаться, что не нашлось пока издателя 1000-страничного труда, — в наши-то дни, когда столько не печатают!.. Но другие не сумели себя так подать.

«Не Галковский это придумал. Простите мне мой ум, мой талант. Мне ничего не нужно от жизни. Я просто хочу издавать свои книги. Разве это так много?»

Издаст в конце концов, я не сомневаюсь. И не только потому, что действительно талантлив и умен. Умных и талантливых немало. Но это человек, ориентированный на успех, важным элементом которого является перманентный скандал.

Полемицировать с ним бесполезно и неинтересно. Он сам описал бессмысленность спора, когда человеку говорят: «Ты украл галоши», а он твердо говорит, что не крал, хотя все это видели. Нападки будут лишь прибавлять ему известности. Но хорошо, если по ту сторону скандалов среди бесконечных его текстов блеснет опять зернышко полноценной, провоцирующей наш собственный ум мысли, неожиданное наблюдение — да хотя бы чужая интересная цитата, до которой мы без него бы не докопались. Тоже не так уж мало.

29.12.93

Зачем?

В том же № 77 «Континента» напечатаны летние выступления В. Буковского, В. Максимова и др. Мрачные оценки, беспросветные прогнозы, заявления, что они вряд ли захотят сюда еще приезжать, а тем более жить здесь. «Поминки по России» (В. Максимов).

Я не оспариваю ни их оценок, ни права поступать, как они считают нужным. Но при всем уважении к ним — зачем они это здесь говорят? Какую надеются вызвать реакцию?

Несколько лет назад я видел по ТВ выступление В. Максимова перед одной аудиторией. Он напоминал собравшимся брехтовскую «Карьеру Артуро Уи»,

где персонажи, обреченные на смерть, появляются в масках. Они сами не знают, что обречены, и масок на лице не ощущают, но зрители это уже видят. «На всех вас маски обреченных», — сказал тогда Максимов.

Я помню, как меня слегка передернуло. Зачем он это им (нам) говорил? Хотел ли сказать, чтоб следовали его примеру и, пока не поздно, перебирались на безопасный Запад? Но он же знал, что для всех это невозможно. Тогда зачем? Чтобы сказать правду?

Но в такой форме это уже не правда. Писатель не знает, какое воздействие произведет он своей книгой, но даже он держит в уме эту мысль и сознает свою ответственность за слова. Тем более человек, выступающий как общественный деятель. Повторяю, я не оспариваю обоснованности их опасений. Пессимизм или оптимизм — не вопрос достоверного знания о будущем. Достоверно будущего не знает никто. Это не вопрос также личного темперамента: есть люди по природе мрачные, и есть солнечные натуры. Это вопрос волевой ориентации — ориентации на активность, сопротивление, преодоление, вопреки видимой безнадёжности, до последней возможности. Не мне упрекать кого-то, тем более не мне равнять себя с людьми, сделавшими бесконечно больше меня. Но говорить сейчас нам: «Вы мертвецы» — как приговор без обжалования — зачем?

29.12.93

1994

2.01.94. ...Поработал, прогулялся по лесу. Как всегда, набормотал про себя что-то на тему «История в сослагательном наклонении»; решил такие монологи записывать, пока свежо...

9.01.94. Определений интеллигентности и культуры сотни. Одно из возможных: интеллигентность — соединение внешней культуры и внутренней. Я знал интеллигентных крестьянок и неинтеллигентных профессоров.

С этим хорошо соотносится: культура — совокупность ненаследственной информации.

У М. Мамардашвили прочел: культура — то что остается, когда все забудешь. Вот это, может, интеллигентность.

10.01.94. Из рабочего дневника. Можно ли видеть то, что будет? И если увидишь, можно ли что-нибудь изменить, чтобы видение твое оказалось ложным? А если нет, чего стоит твоя жизнь, и не подобен ли ты мертвецу, который смотрит на жизнь извне и голос его не слышен?

Вот в чем смысл постоянного чувства: живем ли мы, значим ли что-нибудь в этой жизни, осознаем ли происходящее с нами? Или, оглянувшись, чувствуем, будто прожили жизнь автоматически, по инерции, лишь бы выжить?

Все без морализаторства: может быть, таково условие несовершенной жизни. Лишь немногим удастся вырваться из автоматизма, осознать — и это может быть страшно.

16.01.94. Читая сейчас совершенно справедливые суждения о неполноценности и убогости нашей «совковой» жизни («желание иметь сколько-нибудь пристойный быт вынуждает «подсуетиться» и запачкать руки», для утверждения чувства собственного достоинства требуется задавить собственное достоинство, чистолюдем остается гордиться убожеством существования), я ловлю себя на чувстве, что неполноценности все-таки не было. (Унижение обстоятельствами, убожество быта — да.) А если и была, то экзистенциальная. Волею судеб мне удалось пройти по какому-то волоску: времени (я родился не настолько рано, чтобы быть сломленным или стать соучастником преступления), семейной биографии (обошлось без репрессий, но и без преступного процветания), быта (не голодал, но и не был богат), самоосуществления (профессия давала возможность отгородиться от давления, от искушений, в том числе карьерных).

17.01.94. Бьюсь над работой с чувством, что замысел с самого начала был ненормален, непосилен, мне самому по-настоящему непонятен. Но, может быть, именно отчаянные попытки осилить его и выведут меня на какой-то уровень, при нормальном замысле и нормальной работе невозможный. Я чувствую, как мог бы вырасти на этом неподъемном усилии (если не надорвусь — гарантии нет). Ничто меньшее меня теперь не устроит, мне это неинтересно, вот в чем ловушка. А надежда в том, что ничто меньшее и невозможно, меньшее будет просто провалом, вымученными словесами (на каковые пока что все и сбивается). Или осилю то, что мерещится, — или все надо будет выбросить, ограничившись на будущее эссеистикой, которая меня давно уже поджидает и вполне способна поддержать мое имя, не более того — но и не менее.

Читая сейчас документы цензурной переписки, выкручивания рук, воспоминания о том, как пытались писатели приспособиться, по возможности не теряя достоинства (Булгаков), ловлю себя на мысли, что этот унижительный опыт духовно совершенно бесполезен для будущего. И вспоминаю мнение В. Шаламова, с которым всегда спорил: о том, что опыт колымских лагерей — только отрицательный и людям не нужен. Конечно, сравнивать нельзя, но все же... И тут же обида: а люди Запада, которым не приходилось сопротивляться, — они что, заведомо выше? И наш опыт ничего не дал?

26.01.94. Ночевал опять у мамы. А вчера с утра успел немного поработать... Прогулялся на лыжах. Погода идеальная, солнце, белый снег. Попутные мысли о работе: чувство вины и ответственности связано с тем, что все страшное в мире порождается внутри нашей души, с агрессивностью, трусостью, нечеткостью мысли и пр. Вот в чем смысл: вспомни! Но как с этим совладать? Чувство, что работать придется еще долго. Зато, может быть, действительно что-то пойму в жизни, в мире, в себе, в литературе. После каждого такого поворота мыслей осознаешь, как беспомощно написанное до сих пор.

31.01.94. ...Угнетающее чувство, что четыре года топчусь едва ли не на одном месте, и даже кое-что с тех пор потерял. Некоторые забытые листочки вер-

нул в рабочий обиход. Момент уныния: а вдруг так ничего и не получится? Холодок поражения... Нет, еще поборюсь...

2.02.94. ...В «Лит. газете» интересное интервью с В. Страда о современном состоянии России и русской литературы. Ключевым он считает слово «хаос»; но хаос может быть творческим состоянием, из него может что-то родиться. А вчера по радио интересное письмо Бродского В. Гавелу: об общечеловеческом кризисе, где кризис (или катастрофа) посткоммунизма — лишь частный случай. Напоминание о высоком уровне общения. У меня не хватает сил ни на что, кроме повести...

8.02.94. Нация и аристократизм. Аристократизм — то, что дается от рождения, а не заслугой. Если всякое происхождение дается от рождения, можно говорить о принадлежности к сословию избранных — или к избранной нации.

Нет, для меня значителен лишь аристократизм духовный. Это всегда оставляет надежду: что-то, может быть (но вряд ли все), зависит от тебя.

20.02.94. Нет, искусство — это не уход от реальности и не создание другой. Разве помимо воображения мы знаем, что такое жизнь? Мы не знаем, как мы рождаемся и умираем, что такое наш разум и наша речь, что такое время, любовь и бесконечность. Для объяснения мы вводим понятие Бог, хотя не знаем точно, что этому понятию соответствует в так называемой реальности, что такое эта реальность. И это уже акт творчества и воображения.

22.02.94. ...Поехал к Вайнштейну. Там были Битов с женой, французский профессор Нефф. Довольно интересный литературный разговор. Нефф рассказывал о замысле издания Стендаля, который на полях рукописей делал пометки о начале и конце работы, о самочувствии, усталости, вдохновении и т.п.: он хочет издать тексты вместе с этими примечаниями... Битов показывал издание свое и Габриадзе: стихотворение Пушкина — и параллельно весь набор вариантов, звучавших как модернистское стихотворение. Рассказывал о творческом процессе Платонова: он писал карандашом, потом бросал все в корзину, зная, что все равно не напечатают: он понял, что такое советская власть, еще к 1927 году. А потом в надежде на кусок хлеба и публикацию кое-что извлекал, писал поверх карандаша чернилами, сам себя редактируя и цензурируя. Теперь проблема восстановить первоначальный текст.

Заговорил (уже в машине, подвозя меня до метро) о том, как разобщена армянская диаспора. Они могли бы продвинуть Гранта Матевосяна на Нобелевскую премию — и ничего для этого не делают. Я заметил, что вряд ли это возможно. «А почему? — возразил он. — Что он, хуже Моррисон, о которой вы ничего не знаете? Но его некому раскрутить». Думаю, он прав, эти дела действительно решаются, если их «раскрутить». Я еще раз почувствовал себя вне литературного процесса. Еще раз в этот вечер почувствовал, насколько он монолитен. Он совершенно не воспринимает реплик собеседника, не отвечает, продолжает свою тему — лучше его не перебивать, не комментировать, не возражать...

Вечером Галя рассказала мне про звонок Оли Эдельман: она работает с архивом КГБ по делу Гинзбурга, нашли там наши с Галей подписи под письмом

протеста и вроде бы еще какие-то досье. «Тетя Галя, теперь я все про вас знаю», — сказала с уважением. Интересно было бы посмотреть, что там...

5.03.94. ...В газете сообщается мнение немецких ученых о химической природе счастья и несчастья (эйфории и дисфории), а также любви. Все, наверно, так и есть, но для меня главное начинается там, где кончается химия, где начинаются тайна и чудо.

20.03.94. ...Позвонил некто П., повторил предложение подать заявку на детектив. «Мы знаем вас как маэстро, вы будете в хорошей компании. Речь идет о гранте с целью поощрить хорошую литературу, и в конце концов жанр детектива...» Миллион практически гарантирован, стоит мне подать заявку, я ничем не рискую... Я пытался объяснить, что именно сейчас пытаюсь разделаться с многолетней работой... ну и так далее. Все понимает, но настаивает, и очень похорошему настаивает, с пониманием писательской профессии. Даже стыдно отказываться от предложения, за которое раньше бы ухватился. Договорились созвониться в начале апреля. Я поехал к маме — и вот по пути к метро (под мокрым снегом, обильным, закрывавшим горизонт) вдруг стали цепляться одна за другую мысли вокруг давнего сюжета о перепутанном пиджаке. Главное, появился персонаж: сошедший с круга посредственный писатель, стареющий, отказывающийся понимать и принимать современную жизнь, трусливый, иронизирующий над детективами: но именно поэтому жизнь втягивает его в приключения... Возможно, сейчас я запишу наброски. И даже возникло чувство новых возможностей: написать что-то увлекательно и быстро, компенсируя неподъемный многолетний труд. И даже показалось, что еще достаточно сил, что поставленный срок может действительно меня и пришпорить...

А по пути от мамы, в школьном саду недалеко от акведука, меня окликнули двое. Моя ошибка была в том, что я решил не обращать на это внимания. Они догнали меня, рванули сумку, и вдруг один выхватил газовый пистолет и дважды выстрелил. Я увидел вспышку, ощутил противный запах — но почему-то на меня это не подействовало. И странно, я не ощутил даже страха — полное спокойствие. Все-таки я упал в снег, схватил горсть и прижал к носу... На меня больше подействовала неожиданность: я слышал, что после выстрела газового пистолета человек сразу отключается. Но то ли они стреляли слишком издали, то ли газ на меня не подействовал. Мне бы просто отдать им сумку, но я забыл, что там ничего нет, стал говорить: дайте вынуть писательский билет. Тогда один, без бороды, стукнул меня рукояткой пистолета по темени. Выхватили сумку и убежали. Я кричал вслед: «Отдайте, там ничего нет!» Потом еще некоторое время бродил, прижимая текущую кровь свежим снегом. Жаль сумку, и чувство мужского недовольства собой: что не оказал сопротивления, растерялся.

Но в то же время интерес к новому переживанию: вот что такое нападение с газовым пистолетом. И я действительно не чувствовал страха.

И к чему бы это приключение в день, когда я размышлял над детективным сюжетом?

24.03.94. Работал... Ухудшилась погода, дождь. Юра Ефремов привез экземпляры Габая. Перечел прозу и, как будто впервые, письма. Письма потрясают. Какая зрелость, глубина, ум! И ведь ему было 35—37 лет. Я в сравнении с ним желторотый. И какой юмор! Потрясающее, горькое, устыжающее чтение.

14.04.94. ...А. принесла рукопись моей старой повести «Интеллигенты». Я надеялся, что уже ни одного экземпляра не осталось. Попробовал для интереса почитать: невозможно. Не просто плохая литература (не хуже, чем писали тогда многие другие), но другой человек. Я и забыл, что у меня были такие разговоры, такие знакомства, такие темы.

20.04.94. Работал...В газете сообщение: Солженицын продал права на съемки своего возвращения в Россию ВВС. Я мысленно покачал головой. Как раз недавно я думал, какое непростое для него испытание: возвращение спустя 20 лет, как сразу станут его тянуть к себе разные люди и партии, сколько понадобится достоинства и мудрости... Но я не думал, что он уже расписывает свой приезд как публичное действо. Что-то вроде встречи Горького на Белорусском вокзале?.. Нет, пожалуй, бессмысленно мерить этого человека своими мерками. Мне проще понять Бродского — мне кажется, тот предпочел бы приехать втихаря...

27.04.94. Вчера взял почитать статью А. Якимовича о постмодернизме и современной духовной ситуации (ИЛ № 1, 94), и вдруг прояснилась мысль, очень важная для работы и для меня лично: в сущности, я пишу роман о попытке дурацкого сопротивления господствующим тенденциям времени, сопротивления непоследовательного, не всегда осознанного, с блужданиями, отступлениями — дурацкого, потому что никаких концепций мой герой (как и я) не способен усвоить, не пропустив через себя, — а организм отвергает... Впрочем, я записал кое-что на отдельном листке и буду, наверно, осмысливать дальше...

Я все больше осознаю, как чужды мне новейшие «постмодернисты» (или как их назвать), для которых не существует моральных категорий, иерархии ценностей («незыблемой скалы»), для которых «сталинское» и «фашистское» искусство — стилевые течения, равноценные с прочими, вне моральных оценок. Им кажется, что они мыслят абсурдно. Нет, абсурдно мыслю я, вопреки их логике.

13.05.94. *Insel Hombroich*. ...Камбоджийские скульптуры, у одной губы улыбаются, у другой суровы. Я проходил мимо, немного подвыпивши, — и понял, какое чувство мог испытывать человек, в них верующий, как много значит для него улыбка или суровость. Хотя художник знает, как это просто: провести черту, поднять или опустить уголки губ. Чистая форма. А может, сам художник не вполне осознает, что он меняет своей линией в жизни (в жизни людей, на которых действует его работа)?

16.05.94. *Insel Hombroich*. Утро. Пишу на другой день после своего выступления. Пожалуй, оно прошло удачно, даже с успехом, во всяком случае аплодировали мне долго и много. Говорили добрые слова... Я снова убедился в до странности невысоком уровне здешних Kulturschaffenden¹⁶. Очень узкая ориентация,

¹⁶ Деятелей культуры (нем.)

удивительное отсутствие интереса к любому другому миру (говорю не о себе: друг к другу), самоуверенность, с которой они бросаются словами: Kitsch¹⁷ (я услышал это от молодого композитора по адресу Шнитке и Губайдулиной), непонимание и, главное, нежелание понимать. У меня чувство, что многие присутствующие не уловили, насколько обращены были к ним слова Музиля и Пастернака, которые я цитировал. С этим еще мне предстоит разобраться. (Wohlstand¹⁸ требует слишком больших усилий, времени — за счет Geist¹⁹? Совместить удается немногим; и, боюсь, тщетны надежды, что сначала можно достигнуть благополучия, а потом заботиться о духе.) Я был в своих суждениях осторожен, списывал что-то за счет тонкостей языка, не все было мне понятно, не все я правильно расслышал...

Еще один разговор с австрийским композитором L., который сказал мне по поводу моего чтения: «Для меня было неожиданностью (Überraschung), что так еще можно писать. Мы на Западе смотрим на вас, как на свое прошлое 50-летней давности. Я не хочу сказать, что это хуже, может быть, наоборот, лучше. Unsere Gegenwart ist ihre Zukunft (Наше настоящее — это ваше будущее)». Я попросил его конкретно назвать имена, например, современных поэтов, которые были бы современной, лучше, прогрессивней, чем Пастернак, или Мандельштам, или любые известные ему поэты, хотя бы Гомер; попросил его объяснить, существует ли прогресс в искусстве. Он начал подбирать слова: «Das ist schwer zu erklären (Это трудно объяснить)». Обещал договорить потом. Но не уверен, что мне это интересно.

Зато время спустя был замечательный долгий разговор с Мюллером. (За обедом он спросил меня: «Что бы я мог для вас сделать?») Он ходил по территории, то ли озираал владения, то ли смотрел, как растут посаженные деревья. Подошел ко мне. Я сказал: «Ich möchte Sie gern verstehen, Herr Müller. (Я хотел бы вас понять)». Он ответил в том духе, что: а чего меня понимать? И: я сам себя не понимаю. Заговорили о том, что современно, что нет в искусстве. Он вспомнил ответ какого-то музыканта, которого спросили, кто самый современный композитор. Ответил: Моцарт и Шуберт. О своем путешествии по Китаю, об удивительных стариках, которых там встретил: они излучали мудрость. «Они были бедны?» — спросил я. «Они были невообразимо богаты, — ответил он. — Богаче, чем те, кто сейчас ездит на автомобилях». И, показывая рукой на окрестности: «Что, разве это принадлежит мне? Земля принадлежит банку. И разве я могу сказать, что мне принадлежат деревья или эти птицы в небе?..»

21.05.94. Insel Hombroich. ...Сегодня утром приехали Копелев с Комой и Светой. Лева очень сильно постарел; но после нескольких минут разговора это ощущение проходит... Лекция его (о Сахарове, о политике и морали) показала мне на уровне общих мест, но здешней публике именно это нужно, интересно... За обедом и во время прогулки по острову долгий разговор с Комой обо всем. Он только что был в Неаполе на месте каких-то раскопок, где усугуби-

¹⁷ Кич, дешевка, халтура (нем.)

¹⁸ Благосостояние (нем.)

¹⁹ Духа (нем.)

лось ощущение густоты европейской истории по сравнению с нашей. Первый российский университет появился в XVIII веке, а в Париже он был уже в XII. Это отставание невозможно перескочить. Наша революция еще не завершена; сейчас мы приближаемся к чему-то вроде Парижской коммуны, дай Бог, чтоб это обошлось без крови и дальше все успокоилось. К разговору присоединился русский физик (услышал разговор на дорожке); он участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы и высказал мысль, что страна, которая не умеет построить хорошие ватерклозеты, не вправе заниматься ядерной энергией, даже мирными технологиями. Чтобы научиться культуре, потребуется лет 40, раньше нам нечего ждать...

27.05.94. *Из рабочего дневника.* Нам приходится обитать в хаосе, в неупорядоченном мире. И самое большее, что мы можем, — внести в него видимость порядка и разумности. Если даже этого не удастся — тогда все. Тогда мы покинуты (Казин).

По-настоящему вспомнить себя — значит прорваться к чему-то большему, чем ты, выйти за свои пределы. (Не просто вспомнить себя — прорваться сквозь оболочку.) Чтобы вспомнить себя, надо сначала себя потерять.

5.06.94. ...Все меньше интереса к новостям. Даже при самом благоприятном варианте стране предстоит медленное, трудное, долгое выздоровление, с утомительными, вязкими повседневными проблемами, требующими частных решений, с неотступными угрозами, хамством, безвкусицей, неизбежной деградацией в некоторых областях, — но, даст Бог, и с удачами, достижениями, даже чудесами. О худшем, катастрофическом варианте не говорю. Но, даже думая о лучшем, все чаще ловлю себя как бы на чувстве усталости. Хотя лично я сейчас не вправе жаловаться на обстоятельства, но мысль о многолетнем занудстве впереди тяготит. Вспышка опасности вызывала, во всяком случае, яркие чувства и ясную реакцию; еще мерещились и романтические надежды. А теперь вдобавок все более реальной выглядит возможность вырваться хоть на время из этого занудства, все менее безусловен смысл этой суеты. Дружеское общение, бывшее прежде таким насущным, почти иссякло, не тянет даже звонить. В возрасте ли дело или во времени? Еще, конечно, мысль об ответственности, иллюзия солидарности: может, я здесь кому-то нужен? Но и этого я не знаю.

13.06.94. ...Утром, как всегда, включаю первую часть Klavierkonzert, Bach — Glenn Gould с оркестром. Каждый раз напоминание: вот как надо, вот что надо держать в уме и душе. И каждый раз сожаление: сейчас все закончится. И облегчение: можно повторить.

26.06.94. Вчера в ТВ-передаче цитировали Илью Кабакова: «Наконец я счастлив: я не живу, я только работаю». Как мне это понятно! В той же передаче сказано, что он объявлен первым художником мира. В этом рейтинге учитывается количество премий, выставок, цена работ. По такому счету он может стать лучшим художником всех времен и народов: сравниться ли с ним какому-нибудь Ван Гогу?

Хотел бы я все-таки знать, как соотносится рыночный успех с «ценностей незыблемой скалой». И есть ли она, эта скала? И возможен ли сейчас незамеченный, непризнанный гений — на Западе, конечно, не у нас?..

23.07.94. ...Вечером посмотрел по ТВ первое выступление Солженицына в программе «Взгляд». Чувство неловкости, которое я испытал, превзошло ожидания. Он с пафосом зачитывал по своим записям жалобы людей, которые ему довелось услышать по пути: жить трудно, зарплаты не хватает, все развалено — и т.п. Все то, что каждый день слышно в любом разговоре и с телеэкрана, он выкладывал как новое слово и закончил: ну вот, я облегчил свою душу и донес до людей то, что меня просили сказать. Он все-таки действительно был оторван от этой жизни, газеты этой оторванности не компенсируют, а ТВ он, по его же словам, не смотрел. Вообще, все его повторяющиеся не первый раз суждения мало отличаются от бесконечных толков разновозрастных «пикейных жилетов» и вряд ли будут иметь больше действия. Все оказалось печальней, чем я мог думать. Хотя при всем том впечатляет его бодрость, живость, приятная интонация.

(Забавно, что его выступление перемежалось с сюжетом об НЛО и инопланетянах в какой-то деревне. Это случилось неумышленно, но нельзя было не ощутить гротеска...)

26.07.94. (Тема возможной статьи.) Мир, свыше семидесяти лет со смешанными чувствами, заинтересованностью, надеждой, негодованием, страхом и горечью наблюдавший взлет и крушение российского эксперимента, не должен слишком поспешно отводить с востока заинтересованный взгляд. То, что здесь бродит и оформляется, может быть, не менее существенно для европейской культуры.

Я утверждал и продолжаю утверждать, что Россия — страна великой европейской культуры, но это ее особенная грань. Достаточно упомянуть ее православный тип христианства, неучастие в наследии римского права, в средневековой европейской истории, отнятой татарским игмом, и евразийское, тюрко-славянское пространство.

Персонаж одного из романов Набокова («Подвиг»), американский славист, так объяснял, почему он, восторженный поклонник русской литературы, никогда не бывал в России: не спрашиваете же вы востоковеда, почему он никогда не бывал в Вавилоне. Для него история России и русской литературы окончилась и завершилась в 1917 году. Последующее не имело к ней отношения.

Известен, по крайней мере, один народ, в течение двух тысячелетий не имевший ничего, что считается необходимым для нормального национального существования, — ни земли, ни государства, ничего, кроме единственной книги, написанной на языке, на котором уже не говорили, который изучали специально, чтоб эту книгу читать.

27.07.94. ...Посидел над последними двумя главками. Пожалуй, сегодня работу можно считать сделанной. Не законченной, не завершенной — еще будет много уточнений, дополнений, сокращений, но это будет уже доработка. А роман «Возвращение ниоткуда» сегодня уже существует.

Как-то даже неожиданно.

Нет, торопиться все равно не надо, над совершенствованием стоит посидеть еще долго. Но, пожалуй, замах, заданный себе вначале, я в значительной мере осуществил.

31.07.94. В FAZ воспоминания Бродского о послевоенных трофейных фильмах. Тарзан, мелодрамы, исторические боевики, бесконечно далекие от советской жизни, определяли моды и мироощущение целого поколения, оказывались более разрушительными для системы, чем доклад Хрущева. Я подумал, что не ощущал этого так. Конечно, я фехтовал со всеми на палках, как мушкетеры, и кричал по-тарзаньи, но души моей это не затронуло, и брюки свои я не сужал. Как не затрагивали меня и все последующие моды, идола, кумиры, вплоть до нынешних, о которых вчера вечером была телепередача. Я смотрел на обезумевшую массу, заполнившую стадион или поле во время чьего-то концерта, — и не мог проникнуться общим чувством. В этом комплексе отталкивания от общепринятого соединилось многое. Наверно, и элемент конформизма, благонаравия, и инертность вкуса, и предрассудки, и элемент гордости, отталкивания от моды, которая мне была во многих отношениях (и по деньгам в том числе) недоступна. Но главное — нежелание или неспособность разделять общий вкус или общее безумие, подозрение, что нравящееся миллионам редко может быть хорошим. Это аутсайдерство с детства.

Весь день перечитывал «Возвращение», с первой до последней главы, кое-что подчищал, сокращал, еще кое-что придется подчистить — но я наконец с облегчением подтвердил себе, что вещь существует.

Прогулялся по лесу, немного хозяйничал... Мы шли среди небывало высоких трав: золотые грозди пижмы в человеческий рост, громадные лиловые васильки. «Какой прекрасный мир», — сказал я. «А что ты с ним делаешь?» — сказала Галя.

Но я ведь не гублю его в своих строках, наоборот, хочу удержать от гибели.

3.08.94. Мой друг и коллега, живущий сейчас на Западе, время от времени сообщает о своих литературных занятиях и тут же обычно добавляет: но кому все это нужно?

Мне слышалось за этими словами не просто обычное для всех нас сомнение в необходимости литературы, но еще и добавочное чувство русского писателя, живущего в отрыве от своих природных читателей.

Теперь и пишущие в России все болезненней начинают ощущать окружающую вязкую духоту: не чувствуется былого интереса, все меньше отклика.

Время назад я написал статью «Апология литературы», где пытался утверждать: литература зачем-то жизненно нужна, она не случайно изобретена человечеством, она удовлетворяет какую-то потребность, которую не могут удовлетворить новые электронные искусства.

В этих доводах было что-то от заклинания заинтересованного лица: мне слишком хотелось бы, чтоб это было так, чтоб моя работа имела смысл и будущее. Я вряд ли могу претендовать на беспристрастную объективность.

А честность требует признать, что я сам — литератор — с годами читаю все меньше и испытываю все меньше потребности в том, что называется художественной литературой.

Август 1994, Шишаки. Впервые такое чувство спокойствия и свободы от обязательств, чувство завершенного дела (хотя еще надо убедиться, как оно получилось) — и, возможно, нового этапа в жизни и творчестве. На траве или на раскладушке под сливами. Из травы, из капустных грядок или среди тыкв, из канав, из земли возникают там и тут, как пузыри жизни, утки с утятами, кричит петух, созывая своих кур, козы, у соседки свиньи и кролики, за оградой индюки, собаки, котенок карабкается на сливу, пчелы садятся на ложку с медом, в небе ласточки, над тихой рекой — необычайного синего цвета (как рыбка неон) береговой стриж, рыбаки вытаскивают у плотины щук и сомов, ночью темный камень под ногой оказывается свернувшимся ежом, они шуршат — и от всего этого исходит осязаемая жизненная сила, наполняет тело. Чтение Гессе — как нельзя более подходящее. (И надо же было, чтобы перед самым отъездом подошли эти четыре тома и предложение написать статью.) Возможность медитации на здешние темы. На темы пейзажа, заката, реки, людей в огородах. Чувство полноты — и напоминание о проблематичности любого решения, неоконченности любого состояния, зыбкости и уязвимости существования — своего и близких. О соблазне и опасности нетворческой самоуспокоенности — и равнодушия. (При чтении газет: это не обо мне.) Странные педагогические мысли, возможная обращенность к молодым — но для меня ли это? О неизбежности дальнейших ступеней и кризисов. О готовности к одиночеству — и, если высшему замыслу будет угодно, даже к концу.

21.08.94. Читая Гессе о безвозвратном детстве — до катастрофы, — вдруг подумал о Фазили. Поистине трагично, что он никогда уже не сможет вернуться в мир своей Абхазии. Конечно, в полном смысле этого мира, пожалуй, и не существовало, он был создан как полумиф на страницах его книг — но из подлинных элементов. Боюсь, не осталось уже стариков, способных, как отец Сандро, сказать, что негоже селиться в домах изгнанных, даже если ты очень нуждаешься в жилье: это отравит душу, может быть, непоправимо. И откуда взяться таким старикам в будущем? Кто вырастет из людей, отравленных войной, национальной ненавистью, собственным грехом? Разве когда-нибудь призовут к себе людей вроде Фазиля. Но это трудно представить.

4.10.94. Пришло письмо от Хазанова, как всегда, усталое и грустное. Иронизирует, между прочим, над статьей Померанца в «Лит. газете», где тот рассказывает о «духовных пиршествах» в лагере: это напомнило ему «Приглашение на казнь», где заключенный вальсирует с тюремщиком. Тут он, пожалуй, несправедлив: Померанц пишет о разговорах эков не с начальством, а друг с другом. И он не единственный утверждал, что в лагере что-то приобрел, а не только потерял. Например, Солженицын...

19.10.94. *Semur-en-Auxois* ...Человек в любой момент может находиться только в одном месте и не может охватить всего разнообразия жизни. Обедняет ли это жизнь? Есть два принципа. Один заключается в словах китайского мудреца

о том, что, не выходя за порог, можно познать мир. Но это плодотворно лишь для мудреца с достаточно богатой внутренней жизнью и напряженностью мысли. Путешествия (вроде нашего нынешнего) не просто расчлняют и как будто расширяют, делают более продолжительной и насыщенной жизнь, они дают представление о других возможностях. Но: если я сейчас чего-то не вижу, не попал на какую-то выставку, концерт, спектакль, в какую-то страну — я зато реализовал в этот же самый отрезок времени какую-то другую возможность, что-то увидел, услышал, почувствовал, а главное, что-то пережил, о чем-то подумал. И если бы я был в другом месте и видел что-то другое, я бы упустил то, что имею сейчас. Поэтому не следует жалеть об упущенных впечатлениях; не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В момент, когда ты в Париже, ты не можешь быть в Китае (я пишу, конечно, как всегда, сбивчиво, надо будет сформулировать). И еще: у меня сейчас дома достаточно много хорошей музыки, а я слушаю ежедневно одно и то же, вникаю, наслаждаюсь. Так можно читать всю жизнь очень немногих поэтов, допустим, даже одного, Пушкина или Мандельштама, и это ничуть не меньшее богатство, чем тысячи проглоченных книг. Можно любить двух-трех художников — и не жалеть о пропущенной выставке. (Можно любить всю жизнь одну и ту же женщину.) Тут, конечно, вопрос характера, темперамента, энергии. Возможно, у меня не хватает энергии, чтобы открывать для себя новые возможности и новые страны. Я принадлежу к тому типу людей, которые разрабатывают, углубляют и расширяют свое поле...

20.10.94. *Semur-en-Auxois*. Странно, что по этому мосту вдоль городских укреплений едут машины, а не всадники. Точно так же и 400, и 500 лет назад здесь булочник открывал свою лавку (в которую я сегодня утром ходил), крестьяне несли из окрестных лесов хворост для своих каминов. Ни одного нового дома, только внутри все переоборудовано...

29.10.94. *Paris*. ...Интервью с католической газетой «La Croix», с журналом (или газетой) «Le Lire», с «Le Monde» для Nicole Zand длились по 3 часа и больше. Вчера Доминик сказала мне, что they are happy (они счастливы) после разговоров со мной. Я записываю все это с веселым удовольствием: это неожиданно и прекрасно, и в моем возрасте это меня уже не испортит. На ту же тему: вчера мне дали копии рецензий на «Меньшутина» в очень престижных изданиях, и обо мне пишут в восторженных тонах: «M. K. est probablement l'héritier le plus éblouissant: un ange du bizarre vient de naître sur la froide banquise de la littérature russe. Magique!»²⁰ (Господи, сколько мне пришлось вытерпеть плевков из-за моего «Меньшутина» — и вдруг: «magique!»)...

1.11.94. *Cucuron, Provence-Vaucluse*. ...Встретился с писателем и журналистом Christian Combaz. Он уже напечатал замечательную рецензию на «Меньшутина», теперь подарил машинопись новой рецензии на всю трилогию под названием «Русский Джойс», что-то в этом роде. Марк мне ее потом прочел, она замечательна не только положительной оценкой, но и редкостным пониманием. Упомяну хотя бы замечание о том, что частная жизнь пишется на оборотной

²⁰ «М. Х., вероятно, блистательный наследник: диковинный ангел, сумевший родиться во льдах русской литературы. Волшебнo!» (франц.)

стороне истории (как Милашевич писал на обороте фантиков) и что по мере того, как Лизавин проникает в неизвестный мир, мир расширяется. Особенно последнее замечание кажется мне глубоким. Не говорю о любопытных для меня мелких наблюдениях, например: Россия — это страна, где еще чинят зонтики. А что, во Франции зонтов не чинят? — спросил я Марка. Нет, ответил он, выбрасывают и сразу покупают новые. К сожалению, он говорил со мной больше о политике, чем о литературе: что я думаю о Солженицыне, как относятся к кавказцам где-нибудь в русской провинции и т. п. Заранее предупредив: западные люди — это люди, у которых всегда нет времени, они задают короткие вопросы и на них хотят получить короткие ответы...

3.11.94. Самолет Париж—Москва. ...Мирей передала мне трогательное письмо от Дюрана: он благодарил меня (!) за приезд, извинялся за то, что не мог уделить мне много внимания, выражал надежду, что мы опять увидимся... В газете «La Croix» очень хорошая рецензия на меня J.-F. Bouthors с большим портретом и подзаголовком: «À la rencontre d'un nouveau grand écrivain russe»²¹. Как не похвастаться? Во французской газете, которую я взял в самолете, разговоры о возможных переменах в нашем правительстве, и я почувствовал, что не хочу про это читать и думать...

30.11.94. ...Тягостные, недостоверные сведения о кровопролитии в Чечне. Как ни отгораживайся, рано или поздно все это может тебя коснуться. И на выборах могут победить силы, которые оставят единственную возможность: уехать...

Перебирая свои листки, наткнулся на выписку из Толстого (письмо Ал. Андр. Толстой): «Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен смочь думать выйти хоть на секунду ни один человек... Мне смешно вспомнить, как я думывал, и как вы, кажется, думали, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно, все только хорошее. Смешно! Нельзя... Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие душевное — подлость».

Может, не стоило бы ему равнять всех («ни один человек») по себе, подтягивать всех к себе. Большинству хочется — и позволительно — жить именно в добром спокойствии. Как живут почтенные обыватели благополучных стран. Львов Толстых такая жизнь, конечно, не породит. Но их и не может, и не должно быть много.

11.12.94. Продолжал печатать текст об Илье Габае. Все время неожиданные и грустные переключки с сегодняшним самочувствием: тот же стыд, та же беспомощность. События, похоже, развиваются по наихудшему сценарию. Если вторжение в Чечню осуществится, это надолго будет означать конец всех надежд. Вспомнил, как три с половиной года назад (неужели только три с половиной? — ну, почти четыре) я единственный раз пошел на демонстрацию по поводу литовских событий — с чувством, что так надо, это может подействовать. И

²¹ «Встреча с новым великим русским писателем» (франц.).

действительно, худшее удалось предотвратить. Там были со мной Лукин, Ким, Попов — многие. Сейчас все словно оцепенели, и некому позвать, и ни за кем я не последую. Почти все политические, да и общественные лидеры дискредитированы, а другие не имеют влияния и авторитета. Опять подумал о Солженицыне. Сахаров, со своей плохой дикцией, полной непохожестью на харизматического лидера, был центром влияния на практическую политику, он откликался на ее повседневный ход. Солженицын выступил с подготовленной, заранее «исторической», рассчитанной на эффект речью в Думе и теперь популяризирует по телевидению свои издания, теоретизирует о земстве и т.п. — но о повседневную политику рук не пачкает. Бережет авторитет. Когда-то, в августовские дни 1991 года, чудный Ростропович примчался в Россию без визы, заранее составил завещание, приготовившись умереть — не для того, чтоб взяться за автомат или произносить речи, — просто чтоб поддержать нас своим присутствием. Солженицын доделывал в Америке свои дела — никто не вправе его за это упрекнуть; у него все даты и намерения были расчислены наперед, внезапные события не должны были помешать графику. Но зачем же потом, вернувшись, он порицал нас (справедливо, о да!) за допущенные после августа ошибки? Подсказал бы тогда, подсказал бы сейчас.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

История в сослагательном наклонении

После публикации моей повести, написанной 16 лет назад, снова возвращаюсь к мысли: а если бы все мои работы были напечатаны вовремя, когда они были написаны, — изменило бы это что-нибудь? Не обо мне, конечно, речь, не о моей судьбе, со мной-то ясно — но в литературной ситуации, в литературном процессе?

Вспоминается, как, подвыпив, чуть не плакал за столом Аркадий Стругацкий: «Почему я не мог прочесть Булгакова раньше? Может, вся моя жизнь сложилась бы по-другому? И писал бы я совсем по-другому?»

Действительно ли это так? И в какой мере так? Об истории не принято говорить в сослагательном наклонении, в том числе о литературной истории. Но в каком смысле иной выглядела бы наша литература, если бы все мы — и те, кто старше нас, — могли в свое время прочесть Булгакова и Платонова, Мандельштама и Цветаеву, не говоря о закрытых для нас западных и русских писателях, философах?

И еще дальше: если бы не погибли, оставшись вовсе не известными нам, люди, рукописи и замыслы?

В этом смысле русские, пожалуй, сравнялись с евреями, потерявшими лишь в последнюю войну 6 миллионов — целый континент культуры, целую страну не успевших досказать свое гениев.

Первая мысль: помимо того, что литература, конечно, выглядела бы сейчас совсем иначе — но мы сами были бы не в пример умней, талантливей, больше бы знали, лучше писали...

И тут я задумываюсь. Я думаю о более молодых, начинающих со знаний, которых был лишен я. Обеспечило ли это им что-то, кроме, разумеется, эрудиции?

Я вспоминаю Вадима Сидура, утверждавшего, что он создал свой художественный язык вне прямых влияний. Он просто не знал многих явлений XX века, но оказался на их уровне.

На сходную тему размышляют персонажи в моем «Стороже» — о том, что, может быть, «работа человеческого ума или, если угодно, духа, даже не запечатленная в символах, не исчезает совсем бесследно... образ идей, витающих в воздухе, возможно, имеет реальный смысл, энергетический, информационный и бог знает какой еще. Не случайно же разные люди в разных местах земли вдруг почти одновременно приходят почти к одной и той же догадке, даже выражаются почти одинаково, а то и дословно. Древние в таком случае говорили: «Божеству понадобилось явиться», а поэт: «Быть может, прежде губ уже родился шепот»... Вы думаете, если бы не сгорела та же Александрийская библиотека, если бы сохранилось все написанное с древних времен, мы бы к нашему двадцатому веку знали больше о человечестве и мироздании, об истине и смысле жизни?.. Мы и того, что сохранилось, переварить не способны».

2.01.94

1995

1.01.95. ...Стал читать отложенную когда-то книгу В. Франкла о смысле жизни. Он говорит о том же, что все последнее время обдумываю я, внутренне полемизируя с теми, кто низводит человеческие стремления до уровня удовлетворения инстинктов (Франкл называет это «редукционизмом»). Чувство, что в эфире и на газетных страницах преобладают глашатаи очень поверхностных концепций; и, как всегда, существуют в тени люди, знающие больше. Но знают они почему-то больше про себя, а на публику влияют другие.

2.01.95. ...Из Чечни все более чудовищные вести: безумная танковая атака на Грозный, молодые солдаты оказались в ловушке, их просто уничтожили...

4.01.95. Этого боишься, как упрека: ты уходишь от реальности, подменяешь жестокую и страшную истину чем-то более приемлемым, создаешь взамен воображаемый мир. Как будто истина и реальность — это лишь смерть, жестокие инстинкты, а любовь, искусство, высшие проявления духа — ложь.

8.01.95. ...С неожиданным интересом стал читать дневник Пришвина, отложенный три года назад. Там есть элементы глубокого мироощущения, в том числе совершенно утраченного нынче представления о народной душе, архаической, религиозной основе жизни, которую разрушили и перевернули катастрофы и революции. Что от этого осталось? Существует ли еще в каком-то

смысле эта народная душа, народное состояние? Политические, исторические решения всегда принимались и четко осмысливались небольшим верхушечным слоем, народ вынужден был в этом участвовать, терпеть и пр. Но в пришвинские времена в этой толще оставалось еще нечто очень существенное, устойчивое, возвращавшееся к себе. Что же сейчас — не просто у нас, а во всем западном (речь может идти только о нем) мире? Что значит «народ» для политиков и интеллектуалов Германии и Америки? Не больше, чем избиратели, которые мыслят, в общем, в тех же категориях, что и верхушечный слой; от архаической прасновы осталась этнография, праздники и пр. У нас же даже категория избирателей не сформировалась толком: это что-то аморфное, утратившее религию, традиции, воспитанное газетами, телевидением, а больше устной мифологией, инстинктами грызунов, натаскивающих в норку запасы. Не все, конечно, есть и другие, в том числе удивляющие самоотверженностью, нравственным чутьем, добротой, мудростью, — их, как всегда, очень немного; но, пока толща их рождает, народ не разлагается окончательно. Никто из верхушечных слоев, включая политиков и интеллигентов, в своих решениях и суждениях не считается с особой правдой этой аморфной толщи — и опять же, можно ли говорить сейчас о какой-то особой народной правде, о народной душе, в том же смысле, как это ощущал Пришвин?

20.01.95. Утром позвонила А.: скоропостижно умер В. Т.... Странной кажется реакция на такие вести: она никогда не дотягивает до значительности случившегося. Пытаешься обнаружить в себе потрясение, ужас... — нет, холодное спокойствие. Да еще мысль: все там будем, со всеми это может произойти вот так же, внезапно. Ведь он был мой ровесник. Если что способно примирить с мыслью о смерти, так это ее демократизм: всем этого не миновать...

Читал статьи и эссе Ионеско. Для него важнейший элемент в литературе — метафизический. Он определяет человека как метафизическое животное. (В самом деле, не общественное, как у марксистов. Общественные животные — волки и обезьяны.) Это важно помнить в противовес господствующему представлению о рационализме французской культуры. Есть линия, идущая от Декарта, и есть — идущая от Паскаля. Французы не менее метафизичны, чем немцы, и, наверно, странно удивляться, что они меня восприняли. Ионеско относит к метафизической, т. е. подлинно великой литературе Беккета, Кафку, Фолкнера, Борхеса — вполне мой список. Ну, еще Селина, которого я не знаю и которого просто знать не хочу, — меня отталкивают от него вещи, более важные, чем литература.

Сюжет: загадочная книга. Человеку время от времени попадает в руки одна и та же книга, но он подозревает, что это разные. В прошлый раз там было что-то другое, а этого не было. Удивительно и непонятно, как это может происходить, кто туда вписывает новый смысл. Даже в заглавие.

25.01.95. ...Американский посол в Москве высказал такую сентенцию: в стране, переживающей такой переходный период, как Россия, самое худшее, что может случиться, — это кризис вроде чеченского. Он уже случился, ничего

худшего ждать не следует. Это напомнило мне анекдот про оптимиста и пессимиста. Пессимист говорит, что хуже быть не может, оптимист возражает: может быть и хуже.

26.01.95. ...Отложил чтение Ионеско после того, как прочел его высказывание о Беккете. («Может быть, это просто посредственный писатель».) До сих пор его уязвленность, комплексы в отношениях с критиками вызывали скорей сочувственное понимание: все-таки к нему были несправедливы; хотя зачем придавать этому значение? Это признак некоторой внутренней суетности. Но чем дальше, тем больше стало встречаться суетных, немудрых мест. Мне кажется, Беккет о нем так бы не написал. (Или я просто не знаю?) У Ионеско есть несколько пронизательных наблюдений над собой. Но многое вызывает досаду.

31.01.95. Дождь, лужи, все тает. Не пошел гулять, трудился над обработкой перевода... Пришло письмо от Файбусовича. Он огорчен перепиской с Померанцем. «Мне кажется, что и я, и Гриша как писатели одинаково устарели... Речь идет об архаическом запасе идей и архаическом языке... Невозможно писать о Боге, о Пушкине и т. п., игнорируя то, что сказано с тех пор на эти темы, и главным образом то, как это сказано». Тут есть над чем подумать.

8.02.95. Наконец-то после долгого перерыва вернулся к работе, и это было прекрасно. Оформил вторую часть эссе «О неравенстве», перебрал сюжеты для «Россыпи», стал оформлять новые и вдруг почувствовал, что может сложиться нечто оформленное и как бы в развитии: «Времена жизни» (как «времена года»). Ослепительное солнце. Сходил недалеко на лыжах — тоже после долгого перерыва...

10.02.95. *О непосредственном чувстве.* Профессор С. Е. К. на лекциях по морфологии любил рассказывать про своего коллегу, позвонившего ему как-то утром: «Вчера на ночь взял читать “Анну Каренину”. Какая прелесть! Все предлоги с наречиями написаны вместе!» (Или, наоборот, отдельно, не помню.)

Меня иногда занимает вопрос: способен ли филолог воспринимать и любить литературу просто как читатель? В моем романе был выведен некий доцент, которому литература была интересна тем, что поставляла наглядные, отчасти препарированные модели для анализа, структурных сопоставлений и мифологических соответствий.

Нет, я не жду совсем уж наивного, непосредственного отношения. Сам получил какое ни есть, но филологическое образование, слишком много занимался литературой профессионально. Наивность, как невинность, мною, видно, утрачена. Я ничего не имею против каких угодно ученых рассуждений о концептах, дискурсах или, допустим, фрейдистской символике. Это другая профессия. Но у меня бывает чувство, что филология все больше начинает подменять критику. Университетские профессора пишут рецензии, дают премии и создают репутации, восхищаясь не литературным качеством, но филологическим материалом, благодатным для тех или иных концепций. Не оставляет еретический вопрос: понимают ли они на самом деле именно литературу? Видят ли в ней что-то, никак не сводимое к наглядному препарату?

12.02.95. Сверх ожиданий оформил на компьютере эссе «Три еврея»... Вдруг увиделось построение дальнейшей работы, новой большой книги.

И новое чувство спокойствия: не надо ничего ждать, ни рецензий, ни публикаций, благо жить есть на что. Все идет предназначенным путем, и мое дело только держаться его, не сбиться. Я мог бы так работать весь год. А если кто-то обратится из журналов или издательств — пожалуйста. В сущности, у меня ведь почти все напечатано, кроме книги эссе и детской сказки. И понимание, и успех придут, если работа того заслуживает, без моих специальных усилий.

Позавчера взял почитать хрестоматию по поэзии “Серебряного века”: все-таки очень немногие выдержали испытание временем, и странно читаются страницы предисловий об их тщеславиях, отношениях, манифестах. Оглядка может быть только на Бога.

27.02.95. Вдруг возникла новая психологическая ситуация, когда поколению дедов-ветеранов нечем оказалось гордиться перед внуками и сыновьями. «Я был на войне, я видел смерть, я сам был ранен». — «Подумаешь! И я тоже». Не в Афгане, так в Чечне. Смерть утратила героический ореол славных воспоминаний, множество людей, мирных и военных, вдруг соприкоснулись с ней во всей ее неприглядности.

3.03.95. И глядя на продавцов полуфашистских листов в метро, вдруг осознаешь, что они все-таки не чувствуют — и никогда не чувствовали себя хозяевами в этой стране, сколь ни кричали об этом, они всегда чувствовали себя делающими что-то непристойное, что лучше таить (это в своем кругу они могут дать себе волю, куражиться — и будут куражиться, дорвись, не дай Бог, до власти). А пока они сознают себя людьми, которым руки не подадут, — и весь их кураж все-таки замешен на комплексах (а у литературных антисемитов — еще и на литературных комплексах).

11.03.95. Набрал начерно эссе о Д. Самойлове... Перечитывал письма, дневники, Баткина. Грустно и как-то не по себе от неопределенности будущего. Как будто воспроизводится неопределенность прежних лет. А может быть, это сегодняшнее настроение, не более. Вот передо мной роман, в который столько вложено, с которым столько связано — слава Богу, опубликованный, — и что? То же, что и всегда, после первой публикации в «Новом мире», и первой книги, и опубликованного романа, и двухтомника. Одна-две приятные рецензии, но вообще непрочитанность, не востребованность, все рассасывается в пустоте... Нет, и это временное настроение. Во-первых, так и должно быть, я сам не шевельнул пальцем, чтобы было иначе, и не хочу, наверно, иного. Во-вторых, роман все-таки напечатали, и книга существует и доступна читателю — не сравнить со временем, когда я не мог на это надеяться. А в-третьих, и, может быть, главное: что-то все-таки, наверно, происходит, не видимое мне, не слышное, (пока) непроявленное.

Хотя и суетное желание отклика по-человечески оправдано.

18.04.95. ...В «Общей газете» прочел суждение, что никаких переломов, революций и крайних событий нам сейчас не грозит; все политические силы слишком заинтересованы в сохранении своих позиций. Похоже, так и есть. Бу-

дет еще долго продолжаться мерзость, безвкусица, коррупция — но хоть бы людей не убивали. Люди опять обнаруживают способность жить своей жизнью, игнорируя государство...

1.05.95. ...В недавней FAZ статья, где связывается возникновение абстрактной живописи (ок. 1911) с отказом от обращения золотых монет (ок. 1914 и позже в разных странах). Общее мышление становилось более абстрактным. Я стараюсь внимательней вглядываться в нынешнюю культурную ситуацию: не упускаю ли я чего-то, как человек старомодный? Мне все кажется, что общие основы человеческого существования изменились не так, как кажется теоретикам постмодернизма. В 20-е годы развивался модерн — но я взял листать старомодного уже тогда Т. Манна: он звучит современной (или «вечной») иных тогдашних экспериментаторов.

Запись в его дневнике за январь 1950-го (ему 75 лет!): «Полная потенция...»

11.05.95. ...Вчера Ю. Ким говорил, как, приехав из Израиля, по-новому посмотрел на меня, на Э. К.: у нас есть страна, где нас в любой момент примут, без разговоров дадут гражданство, пособие и пр.

А я подумал: но если тебе и Диме Р. такого гражданства не дадут — как мы будем себя чувствовать? Гражданами другого сорта? А здесь?.. Вот что меня отталкивает в национальном критерии.

16.05.95. ...Так злодеев в детективном фильме губит в конце концов слишком человеческое желание насладиться гибелью жертвы (т. е. любовь к искусству): они растягивают удовольствие, как кошка, играющая с пойманной мышкой. Им мало просто, без демонстрации торжества, убить — и конечно, дожидаются, пока не подоспеет спаситель или жертва сама не исхитрится. Это уж обязательно. Так и хочется сказать злодею: да не тяни, пренебреги удовольствием — хотя сам ты, конечно, на стороне добра.

27.05.95. ...По ТВ Аксенов поминает американских рецензентов, которые, не в пример русским критикам, сравнили его «Московскую сагу» с «Войной и миром». (До него западными тиражами хвастал Айтматов: это компенсирует мне потери здесь.) Я подумал: никогда больше не поминать французских и прочих рецензентов; я даже не представлял, что это может так комично звучать.

16.07.95. Во вчерашней FAZ статья М. Reich-Ranicky о евреях в немецкой литературе. Кое-что на темы моих «Трех евреев»: именно евреи в эмиграции чаще кончали самоубийством, чем немцы: С. Цвейг, В. Беньямин и др. Замечателен ответ Ремарка какому-то фашистскому эмиссару о том, что он, дескать, будет тосковать по Германии. «Я буду тосковать по Германии? Что я, еврей?..»

21.07.95. Желание не просто забыть позорное, бесплодное время, но и не обсуждать его, не осмысливать (все слишком и так ясно) — как бы вырезать бракованный кусок пленки, концы склеить — соединится без чувства потери. (Чувство при чтении документов о советском времени). В этой реакции есть что-то невротическое (попытка вытеснения). Бесследно не бывает.

22.07.95. ...Из какой-то потребности взял полистать том переписки Пастернака с Фрейденберг, Цветаевой, Шаламовым и др. И вот тут повеяло воздухом вершин. Возможно, в искусстве ничто и не существенно, кроме гениальности —

и проблесков, отсветов гениальности во всем прочем. (Где-то Пастернак об этом пишет: «предель гения».) Остальное — блуждания, метания, беспамятство, суэта сует. Надо все время проверять себя этим камертоном. В искусстве считается существующим только настоящее, подлинное — причем не только как результат, но и как путь, как импульс, как работа по выбиванию ступенек для подъема — если подлинное присутствует при этом, как тот самый камертон, как музыка высот. Только тогда поймешь цену и неизбежному чувству неудовлетворенности, и томлениям духа, и промежуткам бесплодия, как у меня сейчас.

Но они как будто с самого начала знали о гениальности своей — и друг друга. (Пастернак — Цветаева — Мандельштам — Ахматова.) Откуда? Убедили их в этом внешний отклик? Вряд ли дело прежде всего в нем; бывали и периоды непризнания, полной глухоты вокруг. К тому же суждения Пастернака о себе и других далеко не всегда адекватны. Сколько он роздал восторгов людям, их в конечном счете не оправдавшим! (Впрочем, гениальным могло быть не то, что прозвучало, а что услышал Пастернак.)

Что я хочу сказать? (Какое пытаюсь выразить чувство, возникшее во время этого чтения?) Почему я не улавливаю этого камертона гениальности в окружающем меня воздухе? Я думал об этом с горечью, когда писал о Давиде: что-то время от времени дребезжало. Во мне ли дело? в моей постоянной склонности к оговорке? в неспособности правильно видеть на близком расстоянии? Даже Нобелевская премия не всегда убеждает. Или наше время утеряло какое-то качество? (Но бывают ли времена без гениев?) Еще больше это относится к самооценке — но тут я даже у Пастернака улавливал слишком знакомое: приступы неуверенности, неудовлетворенности, беспричинного томления. Так просто, наверно, и должно быть; надо лишь знать всему цену...

30.07.95. М. б., написать этюд об А. М. Левине? Или хотя бы дать фрагментом его притчу.

— Представь себе, что ты в прекрасном ресторане, — говорил мне в больнице (1962) Аркадий Маркович, бывший зэк. — Тебе приносят изысканные блюда в прекрасной фарфоровой посуде, на серебряном подносе, Но у официантов, которые их подают, проваленные носы и сифилитические язвы на руках. Примешь ли ты из этих рук даже самые лучшие яства?

Речь шла о возможности перемен в нашей жизни — и о тогдашних политиках, с которыми связывались надежды. Это были недавние соратники Сталина. Но, кроме них, никто не мог осуществить перемен.

1.08.95. Приезжал Гена Файбусович. Прогулялся с ним по лесу; ему, кажется, понравилось. Многочасовой разговор обо всем на свете, среди прочего — об исторической обреченности России, где прозябание самовоспроизводится. Высокая дворянская культура всегда существовала среди нищих деревень, убогого быта; а теперь все усугубляется громадными загаженными пространствами, и выхода из этого нет: слишком тяжелый груз прошлого. Среди разговора вдруг показалась вереница всадников, впереди — обнаженный по пояс парень. Я всегда люблю это зрелище, но Гена поморщился: почему он голый? Почему краси-

вая девушка непонятно в чем, а не в верховых рейтузах, во всем, что положено по моде, что создает стиль? Я стал говорить, что существенней содержание, вспомнил любимую дзэнскую притчу о мудреце, которому было все равно, какой масти лошадь (а может, и конь, он не заметил), лишь бы скакала лучше всех; вспомнил Эйнштейна, который ходил в старом свитере и без носков, не отвлекаясь на заботы о внешности... Он этих доводов не принял. «Поэтому у европейцев создается впечатление о России как о плебейской стране. Здесь все не-ряшливо одеты, здесь нет заботы о стиле. Отсюда и культ простого работника, который считает себя вправе лезть без очереди, потому что он простой работяга, грязно и плохо одет. Если он грязен и плохо одет, он плохой рабочий. В России при всем том плохо работают». И т.п. Тоже резонные доводы, хотя немного в другой плоскости, чем то, что имею в виду я. Я спросил, стал ли он к таким вещам чувствителен, пожив в Европе. «Нет, — сказал он, — это меня всегда угнетало». Можно понять эту усталость от плебейства и нищеты, особенно после лагеря и работы провинциального врача. Вдруг спросил: «А ты не жалеешь, что не уехал?» Я ответил, что разговоры в такой плоскости не для нас: прав ли он, что уехал, прав ли я, что остался. Все очень конкретно, очень индивидуально. «Если бы я не уехал, я бы погиб, — сказал он. — Я видел документы, по которым я состоял вторым номером на арест. Второго лагеря я бы не выдержал... И даже если допустить, что я вернулся, что смог бы получить здесь квартиру, средства к существованию, — я бы не смог здесь писать. Мне нужна дистанция. Как Гоголю нужно было жить в Италии, чтобы написать “Мертвые души”. Как Тургеневу надо было уехать из России, а Джойсу из Ирландии». — «Я против таких обобщений, — сказал я. — Пушкин никуда не уезжал, Гоголь написал “Ревизора” в России. Нельзя рассуждать о таких вещах в сослагательном наклонении: если бы я не уехал. Наверно, написал бы что-нибудь другое». Ну, это уже хорошо знакомые разговоры, мы вели их еще шесть лет назад в Германии, на «Немецкой волне». «Вот, если хочешь, мой Рим», — сказал я, показывая на лес...

То, что он (а не я) то и дело возвращается к этой теме («Ты не жалеешь, что не уехал?»), заставляет думать, что он не вполне спокоен.

18.08.95. Под влиянием разнообразного чтения (Г. Миллер, между прочим) и других впечатлений последних дней (ТВ, газеты, Ж.-Л. Годар, некоторые встречи и разговоры) уточнял свое самочувствие и место в этом разнообразном, моем и одновременно чужом мире. Здесь одинаково бессмысленны и комплекс превосходства, и комплекс неполноценности; верность себе, своему пути должна сочетаться с уважительным пониманием другого, непохожего на себя, — при неизбежной, необходимой иронии к тому и другому. Со всех страниц и экранов — реклама образа жизни, ориентированного на успех, богатство, погоню за наслаждениями, — но ты-то знаешь этому цену, ты знаешь, насколько это не означает счастья, сколько за этим пустоты, тоски, неудовлетворенности. Может быть, твоя роль — напоминать этому миру о существовании другой системы ценностей, а главное — другого типа людей, и ободрять этих других, близких тебе людей, которым тоже бывает непросто, которым еще больше знакомы то-

ска и малодушие, — ибо они (по определению, по душевной организации) больше думают о себе и мире, больше сомневаются.

То есть уточняется мое понимание, представление о правомерности — и в этом смысле равноценности — разных уровней, типов жизни, разных жизненных систем для разных типов людей. Не всем доступны, а значит, нужны метафизические высоты (или глубины), интеллектуальный поиск, духовные радости, счастье возвышенных взлетов, подлинной любви. Этому надо знать цену — никак не завидуя удачливым дельцам, ресторанным завсегдатаям и жизнерадостным болтунам; но здесь не должно быть и брезгливого высокомерия. Ни один выбор не обходится без потерь — да главное, тут чаще всего и не о выборе речь, тут основы врожденные, как у кшатриев и брахманов, и проблема в том, чтоб верно понять свое предназначение и следовать ему.

30.08.95. Съездил в ПЕН... Оттуда прошел пешком до библиотеки. Центр Москвы производит впечатление сплошной строительной площадки: все перерито, в лесах, покрыто зеленой сеткой. Но там, где сетка снята, выглядывают удивительные по красоте особнячки, европейские блестящие здания, витрины, вывески. Года через два город может преобразиться. (Если доживем до этого...)

Забавен новый тип надписей в туалете: ничего сексуального (гомосексуального), сплошь политика: «Чечню надо давить до тех пор, пока не услышится характерный хруст детских костей». Ничего себе! Против Ельцина, конечно, против жидов. Здравница Гамсахурдиа (это приезжие, конечно). И ведь это не где-нибудь, а в библиотеке, в научных залах. (Впрочем, сейчас и общие сюда перевели.)

При всем том, несмотря на летнее время, довольно многие корпят над книгами.

2.09.95. Чтение Фолкнера («Осквернитель праха») дало, кажется, важный толчок не просто новым мыслям, но ощущению работы — с многослойностью, многогранностью ее измерений. (Сделал несколько заметок на листках.) И одновременно — поворот в ощущении нынешней ситуации. Постоянное чувство Фолкнера, что при всей несправедливости южан по отношению к неграм, при всем зле, которое творится толпой, — не нужно, неправильно, бессмысленно навязывать им со стороны правила и представления. Они должны прийти к этому сами, сами искупить свое зло, преодолеть свои предрассудки, вырасти, созреть органично. Иначе будет только хуже. Я помню, меня прежде это озадачивало: но все-таки негров нельзя линчевать, в этом можно убедить, этому можно противодействовать со стороны, насильно... Сейчас, читая, я вспоминал лица в толпе, русской и чеченской, лица людей, знающих, что делают не то, но пытающихся убежденностью друг от друга: их не переубедить словами, разумными доводами. (С. Ковалеву не удалось, на него смотрели как на чужого, даже без неприязни, — его доводы были из другой системы измерений.)

Вот несколько цитат, связанных именно с мыслями о нашей ситуации (об органическом созревании перемен). «Со временем он будет голосовать наравне с белыми везде, где бы он ни захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека, и он будет так же свободно ездить, куда захочет, как и

белый человек. Но это будет не во вторник на этой неделе. А вот северяне считают, что это можно сделать принудительно даже в понедельник — просто принять и утвердить какой-то напечатанный параграф закона».

«Не вмешиваться... ни даже советовать тем, кто сделает все так, как надо, по-своему, по-домашнему, потому что ведь для них это же свое горе, свой срам и свое искупление».

(Но было еще многое другое. Была борьба за гражданские права, была жертва М. Л. Кинга, были законы, поддерживаемые при надобности вооруженной силой — когда маленькую негритянку сопровождали в десегрегированную школу несколько полицейских.)

14.09.95. *Hamburg*. Ира Шмид о людях, у которых будущее позади. Даже если они еще молоды. Им хорошо живется, но они знают, что лучше уже не будет — лучшее уже состоялось. Это ситуация без перспектив и надежд, ситуация депрессии.

8.10.95. В страхе перед смертью переплетены страх перед предсмертным страданием (которое может лишить достоинства) и страх перед неизвестностью. Для мысли, может, ужасней всего невозможность понять, что это такое.

Роковая ошибка в отношении старомодного (совестливого) «интеллигента» с «простонародьем»: желание и надежда быть «своим», «равным». А на тебя смотрят отчасти как на барина, поддакивают, недоумевают — а почувствовав слабину и поняв, что можно не опасаться, способны, использовав, выдать полиции, затоптать и растерзать (в деревне, в армии). И сейчас, как во времена народников.

9.10.95. Что меня держит в этой неустроенной и опасной стране, кроме привычки (и воспоминаний), что тянет возвращаться сюда, кроме понятных житейских причин? Может быть, какая-то открытость (в философском смысле) здешнего существования, та его незавершенность, неоформленность, которая созвучна творческому состоянию?

16.10.95. Утром спросонья вдруг проклюнулась идея развития рассказа «Утерянная страна». Это хороший признак. Так уже бывало: ругал себя за плохую работоспособность, но если бы я заставил себя написать несколько страниц, все их теперь бы пришлось переделывать. А тут немного сдвинулось с места...

Пришло письмо от James Escombe, хвалит Лену: «a modern European girl, well able to think for herself, and whose horizon were limitless»²² — в отличие от его знакомых русских более старшего поколения. Читает мой двухтомник, пока только эссе. «You give me much to think about, much to add to what I already understand about the background of Russia today»²³ (Приятно, что я могу читать без словаря.)

²² «Современная европейская девушка, умеющая самостоятельно мыслить, с необходимым горизонтом» (англ.).

²³ «Вы заставили меня о многом задуматься, во многом дополнили мое понимание событий, происходящих сейчас в России» (англ.)

26.10.95. Что меня интересует? (Попытка подражания «чинарям».)

Существование мысли. Существование других людей, их мыслей и снов. Мысли и сны животных, детей. Женщины. То, что называют любовью. Время. Бесконечность. Смерть. Память и воображение. Возможность судьбы.

28.10.95. ...Почему-то вспомнилось (запишу просто, чтоб не забыть), с какой ненавистью говорил Асар Эппель про редакторов: «Я когда-нибудь воздам должное этим сволочам, этой мрази, я скажу им все, что о них знаю». (Нет, его слова были более резки, я их не запомнил буквально.) И я подумал, что сам не имею никакого желания сводить счеты с редакторами былых времен. Они были советские служащие, сидевшие в конторе, выполнявшие указания. Если кто-то из них имел настоящий вкус и заинтересованность в литературе — это были редкие исключения, их вспоминают с благодарностью. Остальные просто не заслуживают упоминания.

16.11.95. ...В ЦДЛ вечер памяти Натана Эйдельмана. Говорили, между прочим, о его историческом оптимизме. Любарский: Натан был бы против нынешней истерии, против катастрофических настроений. Гордин вспомнил свои споры с ним, Натан защищал русских царей: возможности любой власти ограничены, нельзя требовать от конкретной исторической ситуации больше, чем она может дать. Борин вспоминал, как на слова о невозможности помочь кому-то сказал: «Не можешь помочь — страдай». Сарнов (в разговоре со мной) посетовал, что все написанное уходит в вату: никакого отклика... Графов рассказал анекдот: открыли памятник Достоевскому, на постаменте надпись: «Федору Михайловичу от бесов».

В метро делал на листках заметки к «Временам жизни». Меня радует вернувшаяся способность думать о своей работе постоянно.

8.12.95. С восхищением начал читать книгу Асара Эппеля «Травяная улица». Он сразу вырос для меня в одного из крупных современных писателей. Школа Бабеля, конечно, очевидна — но какая точность, пластичность, объемность, какая полнота жизни и чувства, какая высота взгляда и понимания! Он уже, оказывается, сделал что-то, к чему я пробивался в некоторых эпизодах «Времен жизни». Ну что же, значит, надо извлечь урок и идти дальше.

В пришедшей с запозданием FAZ рецензия на последний том дневников Томаса Манна. Внешне — вершина славы, почести, в душе — сомнение, неудовлетворенность, смятение. Как, в общем, и должно быть. Больше всего его угнетала неполноценность творческих усилий. Он работал буквально до последних дней, но было чувство, что это уже не то. Правильней было бы умереть сразу же после «Фаустуса», композиционно завершив жизнь великим трудом.

Я подумал: хорошо бы напоследок оставить более сильное, оформление давних записей, например. В этом тоже можно бы увидеть композиционную завершенность, исполнение жизненного труда. Но кто знает, когда выдастся это «напоследок»? Выхватит тебя внезапно — и не останется времени. От неуверенности пробуешь что-то привести в порядок сейчас, не дожидаясь неизвестного срока. А лучше бы время употребить на другое, пока силы есть.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Что такое элита?

Культура всегда существовала и, видимо, будет существовать на разных уровнях; важно это понять и признать. Основная масса людей, не обладающих высоким образованием, занятых повседневным изматывающим трудом, нуждается и в искусстве, которое не зря принято называть массовым. Оно несет необходимую службу, давая удовлетворение и разрядку, оно же и приносит наибольший успех. Миллионерами становятся идолы шоу-бизнеса, авторы неприятных бестселлеров, а не старомодные поэты, которые брезгливо отворачиваются от таких поделок и толкуют о невзыскательном вкусе толпы.

«Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» — сколько раз приходится теперь слышать эту сентенцию интеллигентам, претендующим на некую высокую «духовность». У этой сентенции есть, кстати, гангстерский вариант: «Если он такой умный, почему он такой мертвый?» — говорит гангстер, стоя над телом застреленного соперника. Доказательство превосходства, как говорится, налицо — но можно ли тут вести речь о правоте? И какая вообще правота возможна в таком споре?

Если принять необходимость и неизбежность в культуре не только разных явлений, но разных уровней, окажется одинаково бессмысленным и комплекс превосходства, и комплекс неполноценности. Есть вещи, которые не могут и не должны быть общим достоянием; какие-то идеи, открытия, представления, во всяком случае, поначалу бывают доступны немногим, хотя со временем они могут распространиться и более широко, оказывая влияние на всех, — но не сразу и не непосредственно, а по ступенькам, от уровня к уровню.

Мир, состоящий из одних лишь высоколобых мудрецов, оказался бы, очевидно, нежизнеспособным. Менее очевидно, пожалуй, обратное: культивирование одних лишь массовых ценностей рано или поздно обрекает общество на вырождение. Для его здорового существования жизненно насущно наличие как бы некоего фермента, весьма тонкой и уязвимой пленочки — слоя людей, сохраняющих и культивирующих ценности иного порядка. В любые времена, и в кризисные особенно, общество должно выделять из своей среды необходимое количество таких людей — для собственного самосохранения.

Назвать ли этих людей элитой? Само слово звучит как бы подозрительно. Журнал «Шпигель» опубликовал недавно статью о проблеме «элитарного» воспитания; в ответ сразу последовала реплика: а кто будет определять, отбирать — или назначать сам себя — в эту элиту? Знакомый гамбургский профессор сетовал на сознательно заниженный уровень образования во многих немецких школах: его подгоняют под уровень, доступный всем, в том числе детям иммигрантов, еще не очень хорошо овладевшим немецким языком. Это выглядит демократичным и справедливым — но вполне ли ясно, чем это отзовется для страны в будущем?

Может, надо просто уточнить для начала, что «элита» в данном контексте означает вовсе не то же, что «истеблишмент» (не говорю уже о пресловутых на-

ших «новых русских», уровень запросов и вкусов которых, при всех претензиях, чаще всего не выходит за рамки самых стандартных и даже низкопробных массовых представлений). Это понятие не предполагает ни привилегий, ни богатства, ни власти. Может, правильней говорить здесь не об элите, а, если угодно, о духовном аристократизме, высшим представителем которого был для меня, например, Осип Мандельштам, ходивший в пиджаке с чужого плеча, но всей своей жизнью, поведением, творчеством утверждавший насущность ценностей высшего порядка — память о которых, может быть, до сих пор помогает всем нам еще держаться.

Когда-то Герман Гессе придумал некий «Касталийский орден»²⁴, созданный первоначально небольшой группой служителей духа в ответ на катастрофические потрясения эпохи, когда люди оказались как бы «лицом к лицу с пустотой». Это были, пишет Гессе, те, кто осознал необходимость «хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции, дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности... Люди знают или смутно чувствуют: если мышление утратит чистоту и бдительность, то вскоре перестанут двигаться корабли и автомобили, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос».

Гессе поместил свою элиту в вымечтанную им «Педагогическую провинцию», где эта горстка людей, по крайней мере, спокойно могла осуществлять свое не всем, может быть, понятное служение. В реальной жизни — особенно же в нынешней российской — такие люди более других уязвимы, как уязвимы вообще по своей природе люди размышляющие, сомневающиеся, бескорыстные — странные идеалисты, продолжающие утверждать, что есть радости выше материальных, что кроме секса в самом деле существует еще и любовь. Они неизбежно чувствуют себя одинокими в мире, ориентированном на потребление и успех, они нуждаются в ободрении и поддержке. Но повторю еще раз: жизненно важно не упускать из виду, что и общество, в свою очередь, сможет обеспечить себе будущее, лишь пока немногочисленный слой подобных людей будет в нем сохранен.

Из эссе «Берлинские размышления», 1995

1996

28.01.96. ...Умер Иосиф Бродский. Я внутренне ссылаюсь на него, подтверждая возможности своего поколения, из которого, казалось бы, ничего не должно было получиться. Он был на три года младше меня, А. Шнитке (который с прошлой весны лечится здесь, под Москвой, у своего врача) на три года старше, но все мы росли в одном воздухе, отравленном воздухе — и все-таки оказались на что-то способны.

²⁴ «Касталийский орден»: Имеется в виду роман Г. Гессе «Игра в бисер»

8.02.96. Вчера вечером подскочило давление: 247. Утром немного уменьшилось (170). Я совершенно забыл стихи. (Пишу с трудом, пишется плохо.) Ночью я попытался вспомнить любые стихи: Мандельштам, Пушкин, хотя бы песенку о елочке. Интересно: осталось в памяти общее чувство, память об общем чувстве — но без конкретных страниц, отдельных строк. (Я с большим трудом пишу, надеюсь, все-таки понятно.) В памяти — полное чувство музыкальных частей. Пробую вспомнить строчки стихов — все исчезает. Взял книгу Мандельштама, читаю: ничего не помню, не могу вспомнить цитированных страниц Пастернака (Букеровская речь), страниц Самойлова. Читаю утреннюю «Лит. газету»: не понимаю смысла отдельных статей. (Вот и сейчас пишу с огромным трудом.) При этом чувствую себя неплохо. Выпил кофе, потом съездил в лес на лыжах, —150. Замечательно... Читаю стихи: ни одной строки, ничего не помню. Да, какая-то болезнь навалилась на голову. Надеюсь, постепенно само собой пройдет.

С огромным трудом пробую записать этот кусок. (Слова с трудом вспоминаю.)

23.02.96. Болезнь последних дней (давление), новая способность понимания в сочетании со сдвигом памяти, обильное чтение, взгляд на себя и на других, чувство большей пассивности — в сопоставлении с активностью других, поиском разнообразия (бисексуализм, рестораны, политическая растерянность перед будущим), западная перспектива информационного мира, готовность что-то понять.

Продумать, записать: статьи, воспоминания о жизни, литературе и людях советских времен. Искаженная жизнь, подневольные мысли и недостойное поведение, рабские судьбы и сниженный уровень. Но люди ухитрялись жить и прорываться в мир более высокий. Кто-то погибал в лагерях, кто-то ломался, кто-то пытался приспособиться, кто-то исчезал в подполье и неизвестности — но эмигрировать далеко не все могли и не все хотели. Удивительны, необъяснимы способности воспроизводить жизнь духовную, культурную. Не просто вопреки обстоятельствам, но при всех обстоятельствах и искажениях.

(Мемуары Комы Иванова о людях разного рода, развившихся и до большевистской диктатуры, и во время ее, отчасти начиная с ее догматики — и вырастая из нее. Ругательные отзывы И. Бунина о Бабеле, Цветаевой, Пильняке, Пастернаке, Маяковском, Эренбурге — не всегда и не во всем оправданные. Мелко-сортные имена литераторов, сниженные Белинковым и Сарновым (даже Шолохов, Твардовский, Шкловский, не говоря о других) — не без оснований, но и в этом не вся правда. Жизнь и духовное развитие в неподневольном западном мире — превосходят ли все наше экзистенциальное саморазвитие? Не говорю о германо-фашистском варианте. А к чему движется наша нынешняя жизнь, возможно ли в ней держаться?)

24.02.96. Попытка разобраться в отношении Хазанова-Файбусовича к своей стране и своему прошлому. В его оглядке, воспоминании, отраженном в романах, преобладает отвращение. Несвобода, угнетенность, подневольность, невозможность достоинства. При наших встречах в Москве он поглядывает на меня с

сомнением: как я могу здесь существовать, почему не уезжаю в нормальный мир?

Я видел, с каким удовольствием он подпевает и постукивает кружкой в мюнхенском Bierhof'e. Как отмечает исторические достопримечательности. Как пристойно общается с чиновниками и соседями на прекрасном немецком языке.

Но сознает ли он личное, развившееся через страдательный опыт превосходство своего экзистенциального жизнеощущения и непонимания? В благопристойной обывательской Германии такой напряженный высокий уровень столь же редок, как у нас, и всегда индивидуален. Тут тянет просто жить, доживать спокойно, без драматических прозрений. Труднее понять, откуда все-таки порождались в нашем чудовищном вареве такие всплески мыслей, талантов? (Сколько имен перечисляет в своих воспоминаниях Кома Иванов, сам уехавший!) Есть ли у этого будущее?

У меня, в общем, нет неприязни к чуждым мне поискам, нет и зависти к непохожему на мой результат. Но постоянная самопроверка, координирование при взгляде на других, отчасти — учеба, редко — восхищение подлинным талантом, нередко — отталкивание. Ругать неохота.

25.02.96. Прочел мемуары В. В. Иванова «Голубой зверь». Я много лет с ним общался (мы можем считать себя друзьями), посещал самые разные его выступления: о поэтах, о хлебниковских «досках судьбы», о концепциях Кондратьева, Чаадаева, об «эдиповском мифе» и пр., читал его книгу о двух мозговых полушариях, статьи о строительстве каналов... — наверно, перечислять можно столь же бесконечно, как упоминает он сам на десятках страниц. Помнится, как я консультировался у него по телефону о каких-то хеттских высказываниях для своего перевода «Женщины Древнего мира». А как мы обсуждали на кухне политические новости!.. Это трудно было соединить в одном лишь своем мозгу. Он, конечно, превосходит всех и знанием языков, и обилием (невероятно строго, я бывал свидетелем) чтения, и способностью хранить, сопоставлять все в памяти.

Книга хоть как-то прослеживает, выстраивает, объединяет все это неохватное, не уместившееся даже здесь разнообразие. Смысл такого разнообразия — со множеством поворотов, иногда сюрпризов — он прекрасно формулирует сам в конечных словах. «Неожиданности в жизни несут информацию. И оттого нужны для понимания ее смысла. Для дешифровки».

Мне надо бы как-нибудь написать о нем лично, не просто по поводу книги. Немало штрихов, подробностей на этих страницах я узнаю по собственной памяти, по нашим разговорам. Каждый ли из этих штрихов полноценен, может быть развит? Если позволить себе оговорки, кое-что здесь для меня неубедительно. Например, восторги в адрес концепции Федорова — я-то его с карандашом в руке изучал и могу доказать его недуховность, нерелигиозность, несовместимость с представлениями генетики. Как он мог этого не заметить? Промолчу про Циолковского, про гипотезу о ядерном взрыве в Африке (он мне как-то признавался, что Сахаров этого не воспринял, и здесь заметил: может, это

ошибка. А Н. Эйдельман мне по этому же поводу высказывал недоумение; он слушал это на каком-то семинаре в Абхазии). Многие слышанные мной выступления казались поверхностными. И уж совсем пожимали плечами К. Е. и W. S. по поводу его лекций в Германии (о Бахтине и др.) — для них это был низкий уровень, они больше не захотели его приглашать. Некоторые эпизоды политической деятельности, встреч с известными людьми тоже не углублены...

Что я пытаюсь нащупать этими оговорками? Он не выстраивает, не формулирует какой-то общей углубленности жизни, мироощущения, судьбы. Все состоит из множества граней, клеток, facets. Но эти разнообразие, вместительность — настолько грандиозны, масштабны, что поверх любых оговорок, сомнений, частных вызывают восхищение, чувство масштаба. Во многие строки, эпизоды можно вникать, обогащая свое чувство жизни.

Конечно, это первая попытка описать сильное чувство от чтения не уравновешена: оговорки и сомнения занимают меньшую долю в восприятии. Хорошо бы побольше выписать каких-то частных. Даже на общеполитические темы. Например: «Я всегда был противником русского национализма и шовинизма. Мне кажется, что он прежде всего умаляет величие России, которая больше просто нации. Услужливые медведи вроде Шафаревича изображают нас такими недотепами, которых легко унижить и обидеть».

Интересно, как это соотносится с его практическим переездом в другую страну? Я слышал от него замечания другого тона. Между прочим, в свое время он упрекнул меня за стремление оправдать в «Двух Иванах» те пороки русской истории, которые оправдания не заслуживают. (У меня эти слова записаны точнее.) Хотелось бы многое с ним обсудить — но вряд ли это теперь возможно.

Восхищает его активность, любопытство. Помню, как мы пешком обошли с ним все романские соборы Кельна, разговаривая про все на свете. И он в любой стране тянулся ходить, смотреть — при своих больных ногах. Как мало он мог спать, насколько больше и быстрее меня читал, вбирал! А вот как он при столь быстром чтении воспринимал художественную прозу? — у меня опять сомнение. Это особый тип человека. Превосходящий меня — который ограничивает свою широту, чтобы сохранить энергию для глубины.

15.03.96. Теннисист или футболист, всего лишь играющие с мячом, получают в сезон сотни тысяч долларов, которых никогда не будет иметь работяга, ученый, поэт, философ, прикасающиеся к куда более умопостижимой сути жизни. И платят эти деньги зрители, об этом говорят, умирают возле телевизора от разрыва сердца, если мяч всего лишь попал в какую-нибудь сетку. А играющие в карты, в шахматы, в бильярд — вокруг этого строят всю жизнь, этим зарабатывают, об этом думают...

Как понять это жизневосприятие — не игрока даже, а болельщика, зрителя, для которого с передвижениями и достижениями игрока — не естественно даже, а тени на телевизионном экране — бывает несравнимо ничто в реальной жизни, создание реальных предметов, произведений, ценностей, даже раздумья о смысле жизни, без которых не понять ни рождения, ни смерти, ни роли игрового элемента?..

И вдруг задерживаешься на сочинении музыки — несомненном, не требующем объяснения достижении великих творцов. Что означает эта потребность и этот результат? В сущности, тоже игру — сочетание звуков, не привязанных к реальности. Тут, можно сказать, модель реальности, ни более ни менее. Эти звуки несут с собой странным образом чувства и содержание подлинной жизни.

23.03.96. *Paris*. ...Солнечный теплый день, можно ходить в одной рубашке. У Сены некоторые деревья стали зеленеть, пахнет цветами. Посидели в итальянском кафе, посмотрели на толпу приезжих, в основном молодых людей, из разных стран. Всегдашняя попытка проникнуть: что это за люди? Счастливы ли они? Кем станут? Кем стали? У фонтана два негра изображают пантомиму замедленного движения; у Центра Помпиду хорошо поют чернокожие проповедники; на набережной Сены играет целый ансамбль барабанов; в кафе сидят чадами, смотрят на улицу. Сидят на мостовой, идут — о чем думают?

2.04.96. *Geneva*. ...Пришел Жорж, сразу же разговорился с ним о России. Он склоняется к тому, что надо все-таки поддержать Ельцина: нравиться он нам не должен... Интересно рассказывал про свое знакомство с Пастернаком через Ирину, дочь Ольги Ивинской, которая стала его невестой. Ему нравилась веселость Пастернака... В 59-м перед самой свадьбой с Ивинской его выслали из Сов. Союза насильно...

8.04.96. *Semur-en-Auxois*. Сидим с Галей за деревянным столиком на смотровой площадке крепостной стены. Внизу дома, город, роща. Галя рисует, я пытаюсь записать мысли, восстановить что-то в памяти... Вечером опять не удержался от разговора о Чечне. Зачем?.. Я снова готов принять красоту и умиротворенность здешнего мира. Всякое отталкивание — способ самоутверждения в собственной жизни. Мне меньше понятно стремление эмигрантов перебирать подлинные недостатки и даже ужасы российской жизни. Если бы они были больше уверены в себе, в своей жизни, они бы нас утешали, перебирали достоинства. (То же надо обратить к себе...) Пропало желание запечатлеть в дневниковых записях попутные детали, рассказы, впечатления. Главное останется в памяти...

Не помню, записал ли я в Париже наш разговор с С. Е. в самолете по пути из Страсбурга. Почему кто-то из читателей не принимает рассказа о страданиях в моей книге? Это те же католики, у которых над кроватью висит распятие Христа, — и многие ли из христиан представляют себе реальные страдания распятого, могут думать о них, действительно сопереживать? Благодостный, даже сладчайший символ — без подлинного укола.

4.05.96. Читаю дневники Т. Манна. 21.12.52, Цюрих. «Никакого желания завтракать. Яйца мне здесь противны. Никакого удовольствия от трюфельной колбасы, о которой позаботилась Катя. И от сигарет тоже. Что мне нужно, так это радость. Меня совершенно оживило бы окончательное решение из Парижа, я это знаю».

Это пишет человек прославленный, обеспеченный, даже в хорошем состоянии здоровья, ни в чем на самом деле не нуждающийся, ни в деньгах, ни в публикациях, ни в успехе. Какого такого известия он ждет из Парижа, так что даже

Trüffelwurst не доставляет ему удовольствия? Неважно. Как знакомо каждому это чувство не объяснимого разумом беспокойства, тревоги, неуюта!

(Потом прояснилось: он ждал из Парижа награды, Почетного легиона. Однако! И получил, и был удовлетворен.)

23.05.96. ...Удар среди ясного неба: Кронид Любарский утонул в океане во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Закончив раздел «Душа моя, скудельница», я сказал себе (и как будто вслух), что больше не буду писать об ушедших из жизни друзьях, все должны жить долго и не умирать раньше меня...

24.05.96. Б. Хазанов в письме характеризует свою «Хронику N» как «роман о возмездии». «То, что произошло со страной, есть именно возмездие — за что? За мессианское самообольщение...»

Наверно, в истории любой страны можно увидеть элементы возмездия. Священная история евреев — постоянная притча о возмездии. Испания, говорят, понесла возмездие за изгнание евреев. А Турция, а Германия? Что говорить! Может, и Америка потерпит когда-нибудь за чернокожих рабов, которых вывозили 200 лет назад из Африки.

28.06.96. Опять весь день просидел у компьютера. Перечитывал, вводил новые поправки. Лил дождь, гремел гром. И дважды на мгновение гас свет, уничтожая весь результат работы; пришлось перечитывать еще и еще раз. В один из моментов, когда выключился свет, вдруг позвонил Зиновий Гердт. Я из-за сбитой работы не сразу понял, кто это, — и ужасно стало неловко (да еще слышно плохо), пришлось объяснять. Он стал говорить очень высокие слова о моей публикации про Давида: «Это написано с такой любовью, так глубоко! Конечно, многое объясняется разницей в поколениях, я его лучше могу понять. Но я целиком на вашей стороне». Говорил, конечно, гораздо больше, всего не воспроизведешь...

11.08.96. ...Поехал в Переделкино — у Светланы была выставка в Доме-музее Чуковского. Пообщался с Комой, пытался вызвать его на разговор о «духовных» проблемах мира, но он откликнулся скорей на политические темы. Трудно понять его состояние и круг интересов. Забавно было узнать, что он читает курс сравнительной грамматики единственному аспиранту, записавшемуся у него, представителю секты мормонов, который выучил русский язык во время пребывания в Москве, т.е. ничего не смыслит в филологии. Что значит для Комы этот курс лекций, кроме, конечно, хороших денег?..

Потом посидели с музейной компанией в небольшом домике возле музея. Кома упомянул слова Окуджавы, приходившего на выставку: «Здесь хоть увидишься с людьми». Я стал расспрашивать, что это значит: мне казалось, что жизнь в Переделкине — возможность для сплошного, ежедневного общения. Меня заверили, что это давно уже не так. По словам Комы, литературная жизнь подравнивается под западные традиции, где мало общаются. Они не ходят друг к другу вечерами в гости. Странно, если так...

31.08.96. День рождения. Не имея возможности сосредоточиться на работе, стал переводить в компьютер дневник за январь 80-го. Много уже забыл. И как

был способен тогда работать с утра до вечера (над «Двумя Иванами»), и как бедствовал (денег хватало до завтра). Но не знаю, насколько это может быть интересно для других... Понемногу сокращаю повседневность: политические новости, отставки (кто этих людей теперь помнит?), редакционные неурядицы, проблемы с зубами. Это не означает «спрямления» жизни; краткие упоминания на эти темы я оставляю. И просто скучно перепечатывать так много. Если потомкам будет интересно, разберутся...

Позвонил Лукин. Вчера я видел его по ТВ вместе с Лебедем, а сегодня в 7 утра они подписали соглашение о мире в Чечне. И вот приехал, рассказал разные подробности переговоров. Главное мое чувство: конкретные переговоры, «увязки», «зацепки» осуществлял именно Володя. Там было немало профессиональных тонкостей и психологического искусства, которые именно он мог пустить в ход... Приехал Юлик Ким с семейством... Был очень вкусный стол, была атмосфера сравнительно узкого дружеского круга...

8.09.96. Сосед в метро увидел у меня в руках газету, вдруг стал философствовать. «Человек есть организм, в котором каждая клеточка служит целому. Так же и общественный организм. Выражение высшей гармонии — это коммунизм, в котором каждая отдельная личность, конечно с развитым интеллектом, служит другим и единству целого. Не нужны ни деньги, ни торговля. Высшая мудрость человечества — это марксизм-ленинизм. Я прочел в библиотеке все книги и пришел к такому выводу».

До меня не сразу дошло, что это просто сумасшедший. «Но ведь коммунизм до сих пор нигде не мог осуществиться», — сказал я. «Это вранье», — тут же уверенно ответил он и долго говорил на эту тему. Еще я спросил было насчет религиозных премудростей — но от этого он сразу ушел. «У вас какой язык родной?» — спросил вдруг. «Русский, конечно». — «А мыслите, как на иврите». А, даже так. Я перестал реагировать, он еще две станции говорил с громким напором. Костюм похож на больничную пижаму. Но не бежал же из больницы?

22.10.96. ...Взаимообслуживание тусовки филологической и тусовки литературной. Филологи сочиняют концепции, термины, литераторы поставляют для них подходящие тексты. Филологи пишут диссертации, статьи, рецензии, создают репутации, литераторы обновляют материал, дают поводы для симпозиумов и возможность денежных поступлений — на всех.

16.11.96. Зачем-то взял почитать «Тавро Кассандры» Айтматова. Журнал попал под руку, а в газете недавно писали про торжественную презентацию переведенного на французский романа в ЮНЕСКО, с панегириками. Там «космический монах» решает продемонстрировать людям нежелание человеческих эмбрионов рождаться — если у них есть интуитивное предчувствие угрожающего будущего. (А об угрозах развития — общие места.) Не прояснено одно: всем ли младенцам не хочется рождаться (если речь об угрозе будущему человечества) или некоторым будет все-таки хорошо, тогда у их матерей не проступит на коже пигментное пятнышко, «тавро Кассандры»? То есть некоторым женщинам как бы заранее рекомендуется сделать аборт?..

На этом уровне и разгораются страсти. Возмущенные вмешательством (и справедливо) женщины убивают футуролога, твердящего об угрозах. (А кому-то, значит, не грозит? А если всем — при чем тут тавро?)

Мертворожденный гомункулус.

2.12.96. Вдруг подумал о странном несоответствии своей природной, нервной организации и способа существования. Я по природе спринтер, с быстрой реакцией, но малой выносливостью; я не люблю ждать автобуса, стоять в очереди — предпочту пойти пешком, до следующего магазина. Но всю жизнь мне приходилось именно ждать какого-то медленного, растянутого на годы осуществления — в большом и в повседневных мелочах.

Кафка называет нетерпение главной человеческой ошибкой и грехом. А терпеть приходится, хотя это и тяготит. И ведь жизнь проходит, проходит. В сущности, не терпится, чтобы она прошла.

10.12.96. Работаю, гуляю. Зашел в библиотеку посмотреть журналы. Ничего существенного (кроме статьи Хазанова о Юнгере в «Вопросах литературы») не обнаружил. Критики, кинематографисты, теоретики на разные голоса твердят: в искусстве произошли коренные перемены; тот, кто отстал от времени, не уловил нового духа, безнадежно отстает. В чем видится новизна? Предельная насыщенность откровенным сексом, насилием, стрельбой, эффектами, постмодернистская всеядность, имитация темперамента, клиповые приемы и т.п.? Но вот я второй вечер смотрю великолепную трилогию Кеслевского «Три цвета» (1993—1994) — никаких новомодных признаков, только полноценный образ мира, ни более ни менее — но как это великолепно! В FAZ изложение Нобелевской речи W. Szymborska: «Поэт и мир» («Поэт — не эксперт, у него нет диплома, он не делает карьеры — но существование его незаурядно в “эмфатическом” смысле»). Что равноценного могут предложить идущие в ногу с «новыми» представлениями?

Те, кто находят в себе силы и способности «развернуть» смысл, сконцентрированный в произведении как результат многолетней, напряженной работы чьей-то мысли, чьего-то воображения, создают вместе с автором общий, насущно необходимый воздух культуры. Так на протяжении столетия усилиями множества людей разворачивалось многообразие смыслов, созданных Достоевским (не всегда осознанно). И сейчас множество людей «разворачивают» Вен. Ерофеева, Пригова, Сорокина. Но возникает представление о какой-то другой, все-таки не моей культуре; цену ее обсуждать не буду...

23.12.96. Замечательный, праздничный юбилей Юлика Кима в Театре эстрады. Полтора человека, из них половина близких друзей и знакомых. В зале столы, на сцене милые артисты и просто выступающие, и сам Юлик был мил и блестящ...

30.12.96. Поработал над последней главой... Приезжал Сенечка, наряжали с ним елку. Наконец пришли из посольства дневники Т.Манна... С интересом прочел вступительную статью: конец жизни, небывалые почести — и неотступная тревога: невозможность работать, падающая продуктивность.

Вечером позвонил Асар Эппель, до него дошло мое письмо, он тронут. Рассказывал, как трудно ему дается работа: приходилось 30 раз перепечатывать рассказ (вначале писалось как бы начерно). Так же начерно написано у него еще много, наверно, он будет продолжать, хотя не знает, имеет ли это смысл... А мое письмо он даже цитировал по телефону друзьям...

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

На смерть Кронида Любарского

Я дважды видел Кронида плачущим. Один раз, когда впервые встретился с ним в Мюнхене в 1988 году и он показал мне видеокассету, предупредив: «Только не обращай внимания, я там плачу». Это была запись его выступления на встрече с впервые приехавшими деятелями из Союза. Он рассказывал о политзаключенных в стране, и в какой-то момент ему вдруг перехватило горло спазмом. Он отвернулся и стер слезу. Второй раз это было 19 августа 1991 года перед Белым домом. Он приехал на так называемый Конгресс соотечественников. С Конгресса мы поехали с ним к Белому дому. Он был необычайно возбужден, встречался с неожиданными людьми. Ближе к 12 стали звучать сообщения, что приближаются какие-то танки, неизвестно чьи и неизвестно зачем. А потом мы увидели эти танки. Было объявлено, что это «наши» пришли поддержать защитников Белого дома. И вдруг Кронид отвернулся от меня, плечи его затряслись от плача. Только тут я почувствовал, как он был напряжен, и понял, насколько легкомысленным по сравнению с ним был я.

Для меня такие проявления значат больше, чем любые политические или журналистские составляющие.

Как-то он встречал меня на вокзале в Мюнхене, был дождь, а я оказался в дырявых сандалиях. Не потому что у меня не было денег, а потому, что в Москве тогда просто невозможно было купить никакой обуви. Он понял, что у меня мокрые ноги, и затащил в ближайший магазинчик. Я до сих пор ношу полуботинки, которые он мне купил. Никогда не думал, что они могут пережить его.

Такие вещи с трудом укладываются не то что в сознании — в душе. Сознанию как раз ясно, что с любым из нас в любой момент может случиться что угодно.

В прошлом году я закончил книгу о своих ушедших из жизни друзьях. Она называется «Душа моя, скудельница». И я сказал, что не хочу и не буду ее больше дополнять. Мои друзья должны жить долго. Не опережать меня.

25.05.96

О теоретиках

Одно время думалось, что полноценней всего об авторе начинают писать не критики, а уже литературоведы. Они не просто освобождаются от сиюминутных — с близкого расстояния — эмоций, но владеют подлинно профессиональным инструментарием. (Сколько глупостей написали при жизни о Достоевском — да и о Пушкине — и сколько в них открыли потом!)

Так было, наверно, раньше, когда литературоведческие работы в библиографиях о писателе относили в раздел «Secundärliteratur» — вторичной литературы. Нынешнее литературоведение, пожалуй, не согласится с таким пренебрежительным обозначением — оно склонно считать себя более «первичным», чем сама «художественная литература».

Много лет назад я не без юмора описал в романе доцента Никольского, который видел в литературе не более чем «наглядные, отчасти препарированные модели» для собственных «структурных сопоставлений и мифологических соответствий». О каком-либо «непосредственном» отношении к литературе говорить было смешно; доцент мог читать за обедом популярную статью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Порой кажется, что литературоведческие (скорей даже: общетеоретические) концепции готовы обходиться, в общем-то, и вовсе без литературы. Литература — не более чем один из объектов приложения всеобъемлющей теории. Так для семиотики лирическое стихотворение может рассматриваться как явление одной из знаковых систем, наряду, скажем, с системой знаков дорожного движения. Ну, конечно, посложней и поинтересней. По-другому использует его фрейдист, свою интерпретацию литературного текста предложат Фуко, Гадамер, Бодрийяр.

О чем давно не идет речи — это об отношении литературы к человеческой жизни, к миру человеческой души. Так ведь имеет ли вообще объективный смысл такое понятие, как душа?

Создатели концепций (эпитет «литературных» лучше вообще опустить) меньше всего интересуются отношением к какой-нибудь внешней реальности. Теоретическая система может быть замкнута на самой себе, обладать завершенной внутренней логикой — в своем роде произведение умозрительного искусства, языковой текст, обладающий ценностью наряду с художественными шедеврами. Какое поле разработки для высокооплачиваемых университетских профессоров — зачем им еще реальная бедная литература? То ли дело: «Бытие есть язык» — вот это уже серьезно, об этом можно поговорить.

Литературой теперь остается заниматься, увы, критикам — увы, потому что они уже не очень доверяют собственному устарелому инструментарию, традиционным — собственным — представлениям; они спешат нахвататься у другого цеха. Впрочем, подбирают больше куски из-под стола.

Сиротливо литературе.

23.06.96

Кафка. «Замок»

Сколько очевидного абсурда в несчастной истории Амалии и ее семейства! Некий чиновник из Замка прислал девушке письмо с гнусным требованием немедленно прийти к нему в гостиницу. Девушка порвала письмо в клочья.

Наказание последовало за этим не по приказу чиновника из Замка. Осталось вообще неизвестно, как реагировал на это чиновник, и реагировал ли вообще. Абсурдной кажется убежденность жителей Деревни — и самой семьи, —

что наказание неизбежно, само собой разумеется. Все лично даже склонны относиться к семье сочувственно — но ничего теперь не поделаешь.

«Они же отошли от нас не по какому-то убеждению, — говорит сестра Амалии Ольга, — может, ничего серьезного у них против нас и не было, тогда такого презрения, как нынче, никто и не проявлял, они только из страха отошли, а потом стали ждать, как все пойдет дальше».

И это вместо нормального-то сочувствия, понимания! Да чего можно было бояться другим — тем более, что последствий на самом деле не оказалось?

Но попробуем мысленно сопоставить те же строки с реакцией знакомых на естественный, казалось бы, поступок в нашем тридцать седьмом или другом году. На какую-то фразу или стихотворение О. Мандельштама. На чей-то отказ подписать письмо с требованием расстрела. На непонятную провинность Ахматовой или Зощенко. И никакого видимого наказания не было, никакого гласного приказа — и был ли негласный, сверху? — но как можно было дать таким людям заказ в издательстве, договор для заработка? При всем душевном уважении?

«Ведь все люди сожалели о том, что они наделали: когда такое уважаемое семейство вдруг совершенно исключают из жизни в Деревне, каждый от этого что-то теряет, но они считали, что, отрекаясь от нас, они только выполняют свой долг, мы на их месте поступили бы точно так же».

Поразительная, неожиданно знакомая логика! Помимо сознательных намерений Кафки (если вообще можно о них говорить) — какие узнаваемые переключки!

23.11.96

1997

12.01.97. Работал, бегал на лыжах, лишь изредка фокусируя взгляд на красоте заснеженного леса, отсветах солнца, ощущая свежесть морозного воздуха и легкость скольжения. А в основном же на бегу обдумывал повороты фразы, мысли, решение нескольких первых страниц, над которыми бьюсь уже который день (после множества, казалось бы, решенных вариантов). Чувство углубления во все более виртуозную и значительную задачу. Но чем же было написанное до сих пор, уже 4 печатных листа? Странное дело: я, неглупый, казалось бы, человек и опытный литератор, начинал с общедоступных мест, самоочевидных мыслей, пустяковых анекдотов — и что-то в них видел, стоящее интереса. Что? И сколько ходов разрабатывал, уходя от этой поверхности, и куда доберусь, что останется от всей работы и какой приобретет вид? Если не рухнет.

15.01.97. Весь результат сегодняшней работы — ликвидировал написанное за последние дни.

30.01.97 ...Меня разочаровало объяснение, которое дал термину «гамбургский счет» В. Шкловский. Мне почему-то казалось, что он связан с представлением о гамбургском эталоне, по которому можно было выверять полновес-

ность, полноценность монет. Это все-таки имело отношение к содержательной подлинности. А схватки цирковых борцов: кто действительно самый сильный, самый первый, кто второй и кто третий? Кто сильнее, Пастернак или Мандельштам, Ахматова или Цветаева? Это для тусовочных рейтингов.

2.03.97. Взял стоявшую на виду книгу В. Налимова «Спонтанность сознания», открыл на цитате о том, что философ — это всегда поэт. И вдруг решил позвонить Жанне, его вдове. Оказалось, 27.02 были сороковины, я этого даже не знал. Говорила со мной и плакала. «Он был звездный человек. Как-то он рассказал мне легенду о том, что среди тех, кто ходит в облике человеческом, действительные люди — лишь те, на кого упала звезда». О его связи с космосом. Как он, переделав очередной раз «Спонтанность сознания», сказал ей: «Я всего лишь перевел идеи Плотина на язык вероятностной математики — и так счастлив!» О телеграмме, которая пришла из одного американского университета: «Гиганты мысли уходят».

Я помню, как читал «Спонтанность сознания», работая над романом «Возвращение ниоткуда».

18.03.97. Посмотрел в «Континенте» библиографический обзор: краткие изложения журнальной прозы. Чаще всего без оценок, вроде бы объективный пересказ сюжетов, верней, содержания. Возникает странное чувство: как все неинтересно, мелко! Но ведь таким способом можно пересказать и «содержание» «Анны Карениной», Тургенева, Чехова. Что-то главное может быть не воспринято. А может быть, его и нет, вот в чем ощутил я урок для себя. Чтобы меня все-таки не могли так пересказать, без остатка.

4.04.97. Мама, увидев по телевидению сборище терских казаков:

— Я как сейчас вспомнила: мама держит одной рукой казацкую лошадь, другой меня, а казаки в это время рыскают по хате. Грабят. Такое на всю жизнь остается.

— И взяли что-нибудь? — спросил я.

— Уже нечего было. Все соседи взяли.

9.04.97. Вечер памяти Н. Эйдельмана в ЦДЛ... Ю. Э. стал говорить, что наше поколение потерпело поражение, все надежды пошли прахом, на сцене совсем другие люди, которым мы неинтересны, — что-то в этом духе... Что же, значит, Пушкин одержал победу, Лермонтов, Блок, Мандельштам — победили, а мы, худо-бедно доживающие свой век, — потерпели поражение? Что значат эти понятия в приложении к литературе? Натан и нашу нынешнюю жизнь умел видеть в исторической перспективе: это лишь переходный период, история на нас не кончается, новое поколение обновит культуру.

Потом, за кулисами, где был накрыт обычный стол с выпивкой и закуской, я спросил Юлю, что такое «Записки историка», о которых он мне говорил, которые я убеждал его завершить? Она сказала, что никаких записок нет, обычные дневники. Я видел эти тетрадки, просил почитать, он говорил, что читать их невозможно. Там могло быть всего две строчки, подтвердила Юля, он мог устно развернуть их тебе в целый рассказ.

12.04.97. В обзорах конца недели узнаю, как много телевизионных и прочих новостей, скандалов, ток-шоу я пропустил. Ну и что, говорю я, это прошло и потеряло интерес, полопалось, как пузыри. — Но это была повседневная жизнь, ее наполнение и содержание, — отвечают мне, — вот что ты пропустил. — А вы видели в эти дни, как меняется лес? — говорю я. — Видели небо над головой? Какие мысли, чувства были наполнением, содержанием этих дней?

13.04.97. В «Лит. газете» рецензентка пишет по поводу пятитомника Петрушевской: в ее мире нет любви, есть тела, самцы и самки, которые ссорятся, враждуют друг с другом. Не берусь судить, так ли это, я всего ее творчества не знаю. Но рецензентка (Р.) считает это отличительным достоинством Петрушевской: она одна показывает мир таким, как он есть; другие создают воображаемые миры или модернистские конструкции. Вот тут я поневоле качаю головой: если это у Петрушевской действительно так, если это считать правдой жизни?..

16.04.97. ...Звонок из Франции: студентка Марка Вайнштейна пишет работу о моем «Возвращении ниоткуда», у нее ко мне вопросы. Я с удовольствием на все ответил. «У меня, — сказал, — в романе есть образ зерна, в котором содержится уже все дерево, с ветвями, шелестом листьев, всей будущей, может, пяти-сотлетней жизнью. Вот я даю зерно, а вырастить дерево может читатель, исследователь».

23.04.97. ...Успех примитивных фильмов со жвачными, пьющими, совокупающимися героями естествен — они отвечают уровню и мечтам действительного большинства людей. Высокая литература нужна немногим. Но без этих немногих общество нежизнеспособно.

24.04.97. Кто несет в себе заряд новой, физически ощутимой энергетики? Персонажи триллеров, детективов, боевиков. Гангстеры, каратисты, убийцы. Они теперь такие же знаковые герои, как символы успеха: топ-модели, спортсмены с миллионными заработками, шоумены.

При этом количественно они, конечно же, представляют собой ничтожную часть общества. Но можно ли представить себе носителями энергии людей массы, трудяг, матерей и отцов семейства, ученых, создающих теорию или лекарство, учителей, врачей, спасающих жизни, — значащих для нас неизмеримо больше, чем гангстер, теннисист, хорошо ударяющий по мячу? Бесплезно удивляться, сетовать.

Что во мне изменилось за последнее время? Я более осознанно стал осмысливать и отстаивать все ту же систему ценностей. Прежде она казалась мне просто естественной, единственно возможной, мысль следовала инерции. Чем больше мне открывается противоречий, катастроф, пропастей, тем безнадежней я утверждаю свое понимание.

25.04.97. Молодая журналистка, бравшая у меня интервью, удивилась, что «Этюд о масках» был написан 25 лет (четверть века!) назад. «А я думала, это совсем недавно написано!» И мне вдруг пришла на ум действительно неожидан-

ная злободневность темы: человек, который надеялся когда-нибудь заговорить своим голосом, однажды обнаружил, что собственного голоса у него нет. Ощущение многих современных литераторов: когда стало возможно говорить все, оказалось, что сказать нечего.

8.05.97. Читал «Страшный суд» Вик. Ерофеева и думал: вот моя прямая противоположность. Но сейчас прочел новый роман А. Кима и понял: противоположны они. А я где-то на перпендикуляре.

11.05.97. Слова, которые некоторые писатели считают «народными», записывают и используют для «расширения» своего словаря, на самом деле зачастую — разовые образования, у каждого свои. Я их немало слышал и хоть сейчас могу изобрести сколько угодно. «Ты что выкондрючиваешься? А ну, шкандыбай отсюда, пока я тебе не нафингачил». Смысл понятен из самой конструкции экспрессивных образований. Л. Петрушевская по такому известному в лингвистике принципу строит целые забавные повествования. А Солженицын составил уже целый словарь «языкового расширения»: захухряй, лататуй, мормотень, жемжура. Расширять может каждый произвольно. Но при чем тут «народный» язык?

20.05.97. Читаю «Чернобыльскую молитву» С. Алексиевич. Не только потрясает до сих пор не вполне осознанный масштаб, измерение происшедшего. Перепроверяешь в сравнении с этим и свой литературный уровень: слишком многое кажется пустяком. Но уже сказано было: после Освенцима невозможно писать стихи. А пишут, и поют, и танцуют (разумеется, те, кто в Освенциме не был). Без этого нельзя бы жить дальше.

17.06.97. Об изменившихся парадигмах литературы говорят как об объективной неизбежности, к которой надо, хочешь не хочешь, приспособливаться. Сопротивляться бесполезно, все равно что плыть против волны: сомнет.

Но так ли давно говорили о другой объективной неизбежности, идеологического свойства? И сколько, не устояв, поддались течению!

18.06.97. Умер Лева Копелев. Совсем недавно я поздравлял его с 85-летием. Кому сейчас послать телеграмму соболезнования? По ТВ показывали панихиду по Окуджаве. На Арбате стояли в очереди под дождем три часа. С ним я не был так близко знаком. А до них ушел еще и Синявский. Что-то густо пошло...

19.06.97. Миллионы людей следили — по телевидению и прессе — за шахматным поединком чемпиона мира Каспарова с суперкомпьютером, как следят постоянно за многими шахматными соперничествами. Но вряд ли даже тысячная часть этих людей вникала в содержание самих партий, воспроизводила их на своих домашних шахматах. В просчитывании комбинации преимущество перешло к компьютеру, загруженному информацией о тысячах уже сыгранных партий, способному перебирать варианты несравненно быстрее. Приобретает все более очевидные очертания перспектива вытеснения человека из шахмат, а значит, конец шахмат как человеческой игры. Шахматист рядом с компьютером будет выглядеть таким же аттракционом, как феноменальный счетчик, умеющий перемножать в уме шестизначные числа, и всего за минуту.

Но так ли это? Игра сохранит смысл, очарование и ценность именно как человеческий феномен, с недоступными компьютеру страстями, личными особенностями, озарениями — и драматическими ошибками, да. Человеческое существование наполняет эмоциями, красками, запахами это, а не срабатывание безупречных процессоров.

Когда Каспаров, проиграв решающую партию компьютеру, некоторое время сидел, обхватив руками голову, — это волновало даже тех, кто в саму партию не вникал.

(Профессиональные шахматы, вообще профессиональный спорт, ставший отраслью бизнеса, с денежными спекуляциями, рекламой, допингом, изуродованными судьбами, подковерной жизнью, для меня становятся по-человечески менее интересны, чем дворовые спортивные страсти времен детства.)

Не говорю о возможности компьютеров конкурировать с действительно художественным творчеством. Вполне возможно механическое музицирование и грамотная, даже виртуозная версификация (эта продукция, кажется, лишь подписана иногда людьми). Подлинное искусство начинается там, где есть личность, жизнь, биография, судьба.

20.06.97. Я с некоторых пор стал фиксировать на листочках мысли, которые приходят во время чтения или когда гуляю по лесу. Сколько таких тем я пробормотал сам с собой, не удосуживаясь записать! А сейчас посмотрел в коробке записи за апрель — май: ведь интересно же получается. Хотя и кажется, что отвлекаюсь при этом от основной работы. Но, может, это имеет не меньше смысла. Из таких листочков получались когда-то эссе и статьи; но в таком, обрывочном виде они, может, даже концентрированней.

8.07.97. ...И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Да. И не может, не должен, не вправе ничему учить в практической, социально-политической жизни. (Как поэт, естественно, т.е. свысока. Как один из граждан, может быть, неглупый, со своим пониманием, опытом — ради бога.) Претензии нашей так называемой интеллигенции на определяющую, учительскую, указующую роль в обществе оказались мало чем обеспечены.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

Вот где поэт может сказать поистине значительное слово, вот где он действительно необходим людям, устраивающим обычную жизнь лучше его. Он помогает им наполнять жизнь подлинным содержанием, «воспроизводить себя как живых», говоря словами философа. Жизнь, не преображенная поэтическим взглядом, — еще не вполне жизнь; люди сплошь и рядом даже не ощущают ничего, кроме шума невнятного. В осадок выпадает тоска.

До устных сказаний и священных книг человек не ощущал и не понимал свою жизнь с такой полнотой, как после них. До музыки он не слышал полноценного звучания природы. До импрессионистов его глаз не видел богатства и трепета оттенков. Поэты, философы, художники, музыканты делают нас более живыми.

Литература (к которой я хотел бы принадлежать, литература, понимаемая как поэзия; можно бы сказать просто: поэзия, если бы не двойственность термина) снова осваивает подлинную свою сферу. Отпала надобность представлять за других.

12.07.97. В «Spiegel» интересный обзор постмодернистских умонастроений. Неожиданно много переключек с «Линиями судьбы». А ведь роман писался в 1980—1985 годах, когда я не подозревал ни о каком постмодернизме. (Взаимозаменяемость, вариативность, хаотичность мира и т.п.) Да и с нынешней работой неожиданные переключки. «Чем больше стараешься вырваться из неупорядоченного мира, тем больше эту неупорядоченность усугубляешь... Мы несчастны потому, что остались со старыми словесами, но не можем наполнить их жизнью».

16.07.97. Плодятся писатели, не умеющие писать, критики, не умеющие читать и воспринимать литературу, художники, не умеющие рисовать, музыканты, не знающие нот (не говоря о теории), певцы, не нуждающиеся в голосе, не говоря о бельканто. Но главное, они считают это достоинством, отвечающим духу времени, определяющим современную культуру. Главное — умело себя раскрутить. И получается, черт возьми!

19.07.97. Похороны праха Копелева в колумбарии при Донском монастыре. Были, как говорится, «все», включая немецкого посла, с которым немного пообщался... Заговорил с Баткиным о том, что все меньше остается собеседников. «Тебе-то хорошо, — сказал я, — у тебя есть Библер». — «Да нет Библера!» — воскликнул он. Оказалось, уже два или три года у того психический сдвиг... Баткин сказал ему про 5-й том Бахтина, и Библер — специалист по Бахтину — спросил: «Какой Бахтин?»...

28.08.97. Вечером прогуливался возле дома, подозвал милиционер с автоматом. «Ваши документы». — «Я возле дома гуляю, без документов». — «Садитесь в машину». — «Не сяду я никуда». — «Я вас посажу». — «Я писатель. У меня дочка дома. Зайдемте, покажу документы». — «Там разберемся. Почему вы пьяный?» — «Да я вообще не пью. Мне нельзя пить. Мне шестьдесят лет».

Как ни странно, только последний довод подействовал. Посмотрел на меня оценивающе: «Ладно, идите». Противное чувство: в любой момент могут тебя схватить, увезти куда-то, вымогать деньги, может, бить.

13.09.97. Приехал Гена Файбусович [Б. Хазанов]. Хорошо посидели, прогулялись до акведука. Его впечатления о Москве разнородны. Город внешне хорошеет, богатеет, становится чище; но чувствуется люмпенский элемент, нервозность, неуверенность и т. п.

Я, между прочим, задал вопрос: в своем романе ты проводишь мысль, что тайная полиция бессмертна. Гэбэшники там выслеживают «подпольный» жур-

нал, определяют машинисток, препятствуют его изданию. Это было во времена, когда у людей не было компьютеров с принтерами, ксероксы были под замком в спецхране, радиопередачи глушились. Сейчас это невозможно технически. Компьютеры есть у всех и связаны с Интернетом, ксероксы на каждом углу, спутниковые антенны лишают смысла глушение. Запретить выезды за границу технически можно, но уже установилась общая кровеносная система с миром — и т. п. Какой смысл имеет прежняя деятельность тайной полиции?

— Ответ двойствен, — сказал он. — В прежнем качестве деятельность по пресечению информации технически невозможна. Но структура существует как идея; она может замереть, чтобы при надобности ожить и возобновить деятельность. Громадное здание в центре, которое надо было уничтожить, недаром оставили.

Я сказал: что значит структура без людей? Они не рвутся к деятельности прежнего толка. Прежние люди ушли в структуры банковской безопасности и контрразведки, там больше платят. Нынешние могут заниматься чем-то другим, может, хуже прежнего: провокациями, подслушиванием, террором, но это известно в мире.

— Нет, — сказал он, — тут надо мыслить идеями в платоновском духе: структура, идея сохраняется, чтобы ожить.

19.09.97. В последние дни работы, открыв для попутной надобности прекрасную, давно читанную книгу В. Франкла, вдруг с неожиданной отчетливостью понял, насколько содержание работы, переосмысление ее в процессе документирования перемены в моем собственном состоянии. Я помню, как, закончив в 1994 году «Возвращение ниоткуда», которое мне так непросто далось, сказал себе: хватит, больше я такой прозой мучить себя не стану. Да и нет у меня больше особых замыслов, так, мелочишки. Насколько проще мне дается эссеистика — и насколько она благодарнее, доступнее читателю. В самом деле, публикации из «Способа существования», который я без мучительного напряжения оформил в следующем году, получили несравненно лучший читательский отклик. Вот так бы тебе и писать, — сказал один друг-читатель, — это твой жанр. Я уже настроился оформить множество других своих эссеистических замыслов, начал переносить в компьютер дневники, которые самому показались интересными...

Но среди моих листочков оказались заметки с идеями все же неэссеистическими, их можно было оформить как прозаические миниатюры, иногда верлибры. Благодарный, нетрудный жанр, из них сама собой составлялась многообещающая книга «Времена жизни». Некоторые миниатюры, однако, на самостоятельность не тянули, их можно было считать набросками, заготовками чего-то большего. Понадобилось их соединить вокруг персонажей, сюжета. Так возникли два больших рассказа, не совсем для меня обычных, — но они должны были восприниматься в другом, общем контексте.

И вот начал вдруг сам собой разрастаться сюжет, который теперь называется «Приближение». Вначале я надеялся уместить его в 3 листа, потом в 4; те-

перь в нем 7,5. Но дело не в объеме. В нем было что-то настолько сумасшедшее, что я начинал иногда сомневаться, смогу ли его завершить.

Теперь я по меньшей мере уверен, что повествование существует. Оно мне кажется столь же важным, многообещающим, как представлялось некое повествование моему герою. И вдруг я осознал, что же он чувствовал в своих поисках. Надежда покончить с мучительным, порой непосильным творческим напряжением, стричь купоны с накоплений — и доступней, и благодарней. Если бы при этом обеспечить себе что-то вроде ренты и житейское существование, да в спокойной, благоустроенной стране, в тишине, на отшибе...

Мой герой осознал это в конечном счете как желание не жить, отойти от жизненного напряжения. Нет, я пока еще живой, и если из работы что-то получится — я еще способен на большее, чем сам едва было не подумал. Недавно в письме Файбусовичу я вспомнил, что Томас Манн завершил свою вершинную книгу «Доктор Фаустус» на восьмом десятке. И дальше не успокоился.

20.09.97. В метро, как всегда, с интересом вглядываюсь в людей, пытаюсь по лицам, по одежде определить, кто они. Вот эти атлетичные парни в кожанках-косухах — бандиты или, наоборот, охранники? (Бандиты нынче в метро вряд ли ездят.) А эти женщины — инженеры, служащие или из тех, что торгуют теперь в магазинчиках, на вещевых рынках? Вот какая категория становится все многочисленней и все трудней идентифицируется по внешности.

Будущее прежних студентов было более предсказуемо и скучно: распределение, оклад молодого специалиста 110 рублей, многолетняя очередь на квартиру. Сейчас больше неопределенности и больше возможностей.

А военных в офицерской форме, обилие которых чуть ли не в каждом вагоне удивляло иностранных гостей, почти не стало. Ни в одном европейском городе не увидеть было такой офицерской армии. Зачем было столько нужно?

26.10.97. *По ту сторону литературного тщеславия.* «Отношение к успеху не может не быть двойственным», — написал я в давнем эссе. И вот читаю у Э. Ионеско: «Литературный успех, если он есть, я презираю. Но если его нет — страдаю».

А в дневниковой записи (июль 1986), предназначенной для публикации, признается еще откровенней: «Странное дело, вкус моей жизни придает остаток литературного тщеславия, ревности, страх оказаться забытым людьми, как забыт Богом, досада при мысли о соперниках по письму».

Ему 74 года. «Досада при мысли о соперниках по письму», — неплохо сказано! В 1971 году он написал высокие слова о Беккете, своем сотоварище по театру абсурда. А в одной из тех же дневниковых записей вдруг срывается: «Меня нервируют устные и газетные заявления, что Беккет — основатель так называемого “театра абсурда”. Ведь все-таки я — автор пьесы “Лысая певица”, поставленной в 1950 году... Беккет появился в театре только в конце 1953 года с пьесой “В ожидании Годо”».

Можно бы ответить, что проза Беккета, появившаяся еще в 30-е годы, уже предвосхищала его абсурдную драматургию, но ведь не в этом дело. Беда, когда в другом месте (1986) Ионеско говорит о Беккете уже пренебрежительно: «Он

ограничен. Может быть, даже посредствен». Не потому ли, что Беккету, а не ему присудили Нобелевскую премию?

Это уже заставляет покачивать головой. Я не знаю, отзывался ли Беккет об Ионеско, но думаю, что этот поразительный человек, поселившийся под конец жизни в какой-то убогой комнатухе — словно идентифицируясь со своими заброшенными героями, подтверждая подлинность своего мироощущения, — он от литературного тщеславия был действительно далек. И если так, это мне куда ближе.

Как мне хотелось бы по-человечески представить себе Баха! Достаточно ли ему было пожизненного и посмертного разговора с Богом, задевало ли его отсутствие интереса к своей музыке, успеха у современников, думал ли он вообще об успехе? Его смерть была отмечена лишь как смерть «органиста», на полвека он был попросту забыт.

И вот недавно появилось сообщение, будто почти неопровержимо доказана версия, что автором шекспировских произведений был граф Рэтленд. Я давно отмахивался от всех подобных гипотез. Меня не убеждало мнение, будто столь гениальные драмы не мог создать малообразованный провинциал с плохим почерком, запятнавший себя ростовщицеством, браконьерством, да и актерством, скряга, отписавший в завещании жене «вторую по качеству кровать» (одна эта фраза, надо сказать, немало стоит). Но разве не известно, как несопоставим со своим творчеством может быть поэт в проявлениях житейских? А для Бэкона или Саутгемптона при их высоком положении стихотворчество, значит, казалось неприличным? Да неужто уже в то время так ничего не значила слава поэтического гения? Цену себе автор не мог не знать.

Но в этой новой версии оказалось разработано представление, что граф Рэтленд именно предпочел безвестность — по ту сторону всякого тщеславия. Средневековые мастера не ставили своей подписи под шедеврами, тогда это было освящено обычаем. Но в шекспировские времена за этим отказом от славы, от литературного имени (если принять такую версию), за некоторыми сведениями о нем и его жене видится что-то другое, действительно загадочное, непостижимо-величавое.

31.10.97. Я не считаю себя старым, но вдруг поймал себя на смешном восприятии более молодых: как будто нынешние 30—40-летние — все еще начинающие, заявляющие о себе. Сдвиг возрастной перспективы. Примерил: Гоголь создал свое собрание сочинений между 22 и 33 годами; 10 лет после 1842 года были прискорбным послесловием. Между теми же примерно годами полностью сформировался и проявил себя Хармс. В 36 лет его арестовали. А я все еще пробиваюсь к чему-то, и другие не убеждают.

12.11.97. Означает ли опять чувство непосильной задачи ее подлинность? Если бы!

19.11.97. Написать бы гимн (иронический) собратьям по профессии, которые ведут, в сущности, противоестественный образ жизни, месяцами сидят за столом, перелопачивают в мозгу идеи, образы — в то время как теннисист прыгает по корту за мячиком, зарабатывает этой увлекательной игрой миллионы, а

люди других профессий... Но перечислять можно бесконечно — парадокс в том, что никакая другая, внешне увлекательная жизнь этому странному бедняге кажется невозможной, ненужной, бессмысленной.

26.12.1997. Разговор с кинорежиссером.

— К кому обращаются персонажи вашего фильма? Они смотрят мимо собеседника, куда-то в пространство. Обращаются ли они ко мне, зрителю? С кем они говорят?

— Сами с собой.

— Но среди этих персонажей есть ангел. Что значит для него говорить с собой? К кому-то его слова все-таки обращены?

— К тому, кто его услышит.

Что можно сказать на это? Он моих слов сам не воспринимает, улыбается отстраненно чему-то своему. Отклик ему не нужен, неинтересен. Неинтересны мои мысли, чувства, недоумения. И я, зритель, сам мой интерес безразличны. Ему достаточно говорить с собой. Я поневоле отвечаю тем же. Мы проходим мимо друг друга.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

В поисках языка

Читая эту книгу, я не раз вспоминал разговор, возникший однажды при мне между Аркадием Стругацким и Мерабом Мамардашвили. А. Стругацкий — при своем уме и таланте относившийся к себе с удивительной строгостью — вдруг заговорил, как ему не хватает настоящей философской подготовки. Но чтение специальной литературы мало что дает — слишком усложненный язык как бы не соприкасается с собственной мыслью. И Мераб с неожиданной заинтересованностью стал объяснять, что видимая сложность философии — от недостаточности общедоступного языка. Полноценно выразить нестандартную мысль без терминов бывает непросто; вот у поэтов есть прямые, образные средства, а философу приходится искать обходные пути...

Однако нет надобности пересказывать его теперь своими словами. Почти буквально то же можно встретить в «Лекциях о Прусте», прочитанных им несколько лет спустя, в 1982 году, в Тбилиси: «К сожалению, философия имеет свой технический язык, который годится скорей для общения между философами. В действительности же этот язык выражает вещи, которые мы все переживаем, но когда философы, как птички, беседуют друг с другом, то это уже птичий язык. И когда мы возвращаемся к тому, что в нем зашифровано, и начинаем переводить это на нормальный язык, то возникают трудности и приходится идти очень медленными кругами».

Я слушал несколько лекций Мамардашвили во ВГИКе, куда он приглашал и проводил нас с В. Лукиным. Они производили впечатление импровизации: никакого писаного текста, даже, кажется, плана. Было чувство мысли, рождающейся вот сейчас, в твоём присутствии. Впечатление, конечно, обманчивое — и не только потому, что нередко можно было узнать суждения, уже звучавшие в

какой-нибудь застольной беседе. Мысль была давно выношена, в ее развитии имела своя логика, но неподготовленному слушателю, вроде меня, не так просто бывало уследить за многосложными изгибами ее движения. Мамардашвили был философ в старинном смысле слова: он предпочитал мыслить вслух, а не писать. В текстах, собственноручно написанных им для печати, разумеется, больше четкости — но, может, что-то существенное приходилось при этом отсекасть?

«Я не уверен, конечно, что мы что-нибудь понимаем в предмете, — повторяет он слушателям, — и поэтому мне, чтобы и самому понять и вам было понятно, приходится ходить кругами, с разных сторон заходя к одной и той же теме, к одной и той же проблеме. Музыканту это удалось бы, видимо, лучше. Если бы у меня был музыкальный слух, то вариацию тем я исполнил бы лучше».

Можно лишь поблагодарить издателей книги «Лекции о Прусте», расшифровавших магнитофонные записи тбилиских лекций с максимальной бережностью к авторской интонации, к самому этому способу мышления. Есть возможность вчитываться, возвращаться к предыдущей странице, обнаруживая не замеченные на слух переключки. Одному своему герою, мучившемуся невозможностью четко выразить многослойную мысль, я как-то приписал желание воспроизводить в тексте зачеркнутое слово наряду с найденным вместо него: какая-то частица истины есть и в том, и в другом. И вот у М. Мамардашвили читаю: «Текст должен быть как палимпсест, быть рукописью, на которую нанесено одновременно много слоев, и их нужно различать, потому что в каждом слое всегда есть какой-то оттенок слова, мысли, который связан со всеми другими слоями, — такой слоеный пирог, который мы должны вкушать одним куском».

(Между прочим, замечательный эксперимент на схожую тему продемонстрировал А. Битов, воспроизведя подряд и зачеркнутые, и найденные взамен строки одного стихотворения Пушкина: получился впечатляющий текст.)

Не странно ли: поиск философского языка переключается для меня, писателя, с проблемами поиска литературного? Нет, и не только потому, что лекции М. Мамардашвили посвящены писателю Прусту. Образы и метафоры, повторяет не раз он, помогают понять философскую мысль лучше, чем «определения и понятия». Недаром проводником Данте по Аду был поэт Вергилий. «То есть проводником является идея артистического труда как необходимого элемента нашей способности вообще что-либо понять и увидеть. Элемент артистического труда рассматривается здесь как элемент нашей жизни, как элемент производства нами себя как живых».

На этом стоит задержаться особо. Речь идет не просто лишь о профессиональных усилиях философа или «артистического» художника. Воспроизвести себя как живых — «припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо»: не то же ли самое, только другими словами, стремился выразить Пастернак? И не к этому ли пробивается, по сути, каждый из нас? Только вот дается это в обыденной жизни лишь проблесками, в момент подлинно духовного, по сути, творческого напряжения, когда не просто открываешь для себя что-то в мире, но воссозда-

ешь, рождаешь в самом себе заново. «Ибо... нет готового, заданного мира, он воспроизводится и длится именно потому, что воссоздается каждый раз в каждой точке».

Мир, не воспринятый, не пережитый, не преображенный усилием собственной души, — еще не вполне подлинный, не вполне живой мир. «То есть природа, как мы ее видим, не есть природа, — настаивает М. Мамардашвили, — а природа, как она есть, — это та, которая увидена поэтически. Поэзия не добавка к природе; поэтически увидеть — значит увидеть так, как есть на самом деле. Или увидеть философски. Здесь термины “философия” и “поэзия” совпадают».

Не так это все-таки, выходит, для нас недоступно... «В какие-то моменты мы все философствуем, — подтверждает М. Мамардашвили, — знаем мы об этом или не знаем, применяем для этого специальные понятия или не применяем». Только философ он, надо признать, все-таки необыкновенный. И размышляя о Марселе Прусте, вновь и вновь призывает читателя видеть перед собой «не задачу усвоения литературного текста, а задачу собственной жизни».

Потому что чтение книги в его понимании — это не просто «занятия рядом с жизнью, но психологические события самой души». Читать книгу, говорит он, значит, по сути, «читать в себе». С удовольствием повторяет философ слова Паскаля: «Не в писаниях Монтеня, а во мне содержится все, что я в них вычитываю». Вычитываю — то есть отнюдь не привношу от себя, нет, открываю, вспоминаю, воссоздаю в себе то, что внутренне во мне уже созрело. Иначе я бы этого попросту не воспринял.

Сколько раз при чтении этой книги возникало у меня знакомое многим, наверное, чувство: что-то подобное мне вроде бы уже самому приходило на ум — или, может, мерещилось, я только пытался выразить это иначе. Разумеется, чувство это требует оговорки. Ведь М. Мамардашвили идет дальше:

«Пруст говорит... что можно открывать великие истины или великие красоты не только в “Мыслях” Паскаля, но и в рекламе туалетного мыла». Ничего себе! Мне вспоминается, с каким искренним интересом этот высокоумный философ (держа притом, впрочем, рюмку в руке) слушал магнитофонные записи подпольных тогда музыкальных ансамблей. Что они могли для него значить? Что он из них извлекал? Мамардашвили знает, естественно, о «нашей культурной иерархии и классификациях», но продолжает: «Пруст же говорит, что “Мысли” Паскаля мало для нас значат, если, читая их, мы не встречаемся с поднявшимся из глубин этой книги нашим же собственным предшествующим переживанием».

Все дело в уровне этой встречи, во внутренней готовности (которая дается ценой усилий), в интенсивности собственного «воссоздающего» переживания. И не в последнюю очередь в способности выразить его. Вот тут и возвращаешься все к той же проблеме — к проблеме «воссоздающего» языка.

«Мы находимся в такой области, — говорит М. Мамардашвили, — которая максимально трудна именно потому, что слова обо всем уже есть и они мешают. Хотя пользоваться можно только ими, других слов у нас нет, мы не можем

изобретать язык. И в то же время мы говорим о вещах, которые самим употреблением этих слов искажаются и скрываются. Будто слово, наклеенное на вещь, сразу эту вещь от нас закрывает... Мне все время приходится бороться с готовыми значениями языка, поэтому вы должны простить меня за такое крутящееся изложение».

Как это знакомо — и не только пишущим! Готовые слова, мысли, «суждения-формулы», готовые оценки, реакции, стандартные, штампованные, механистические элементы в разных областях повседневной жизни позволяют проходить через нее, как бы не замечая, автоматически — в понимании Мамардашвили, умерщвляют ее. Задача подлинного художника — не просто обновить звучание слов. «Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо...» Философ, как мы видим, пробивается к тому же:

«Мы оживляем мертвые слова, мы оживляем мертвые жесты, мертвые конвенции... Мы ищем жизнь. И себя как живущего. Ибо ощущать себя живым совсем не просто». Вот почему произведения искусства значат для него особенно много. Они являются «органами жизни, которые производят нас в качестве людей».

Примечательный, однако, парадокс: художественное совершенство произведения иногда мешает подлинному углублению в текст: слишком легко, слишком быстро он читается, тянет скользить по поверхности. В емком художественном образе как бы сконцентрирован, свернут опыт жизни, многоплановый смысл — но мы, очарованные, на бегу, не удосуживаемся его развернуть. «Ибо текст красив, — говорит М. Мамардашвили, — слова в нем цепляются одно за другое, и такие вещи могут не остановить нашего внимания. А внимание работает только тогда, когда оно остановлено. То есть когда что-то “утруднено”».

Я думал о чем-то близком, читая А. Платонова. Вот кого вряд ли прочтешь бегло. Как непривычно соединены слова, каким «неправильным» должен был казаться любому редактору его слог — но сколько обретаешь при таком поневоле замедленном чтении! Здесь применимы, наверное, слова, сказанные по другому поводу Н. Я. Мандельштам: «Мысль — сырая, необработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил О. М. о сырьевой природе поэзии, о том, что она — несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь».

Цитируя в своих лекциях Марселя Пруста, М. Мамардашвили пользуется не известными художественными переводами — он переводит тексты сам. И сам же называет свои подстрочники ужасными. По-французски это, конечно же, не могло звучать так коряво, переусложненно, да еще с вариантами и длинными комментариями в скобках. И нормальный перевод, естественно, должен был соответствовать стилю оригинала, иначе его просто невозможно стало бы читать. Но кто из читавших этого блистательного стилиста по-французски или по-русски проникал в такие же глубины, которые теперь открывает и растолковывает для нас на своем непростом, поневоле многословном языке этот удивительный философ? «Моя задача состоит не столько в том, чтобы пояснить

текст Пруста, сколько в том, чтобы его утруднять. Иначе говоря, чтобы морочить вам голову...»

Так и видишь при этих словах знакомую, едва заметную усмешку Мераба.

Я читал эту книгу не один месяц — и зачем было быстрее? Она полна открытий, которые мне еще надо осмыслить. Вот напоследок хотя бы еще пример: поразительное толкование Гамлета: «Все интерпретации, которые мне встречались, — говорит М. Мамардашвили, — литературно-психологические: одни доказывают, что он был нерешительным, другие наоборот, и гамлетовская драма выступает как драма психологических свойств человека. А в действительности проблема Гамлета... — проблема жизни мира со мной, с моим участием. И вот, живой человек попал в готовый мир. Представьте себе, что есть цепочка, в которой для меня оставлено пустое место, и я должен его заполнить. В данном случае это цепочка кровной мести. Уже все задано — кто такой Гамлет и что он должен сделать. Убили отца, мать изменила, ясно, что надо делать. Но Гамлет, слава Богу, поэт и мистик, он хочет, чтобы его действие не было заполнением заранее заданной ячейки. Гамлет — живой, и если он что-то делает, то хочет, чтобы началом этого действия был он сам. Он может сделать то же самое, но сделает как свое».

Об этом ведь, по сути, вся книга — о необходимости преодолевать на каждом шагу все заданное, заранее готовое, общепринятое, умертвляющее жизнь.

«По сути дела, всякий великий человек, всякое прекрасное произведение нам возвращает веру в жизнь и мысль, а посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды», — цитирует М. Мамардашвили Марселя Пруста. «Или посредственный человек, — добавляет он. — Конечно, не в смысле иерархии талантов, — я имею в виду красоту усилия».

Как прекрасно это усилие поистине живого человека — и как много пробуждает оно в нас самих!

1997

1998

30.01.98. «Боишься ли ты смерти?» — «Сейчас кажется, что не боюсь. Только бы доделать дела, да не слишком мучиться, а раньше ли, позже ли...» — «Неточность в том, что умирать, возможно, будет не совсем тот человек, каков ты сейчас. Что-то может так измениться в твоей психике, в твоём существе, что ты не вполне сможешь за себя отвечать. И в равнодушии к смерти тоже есть опасная неправда. Ей надо сопротивляться, и своей, и смерти других».

19.02.98. ...Пришел Андрей Немзер, много и интересно рассказывал про поездку в Сургут, где читал лекции по литературе XIX века для нового отделения Театрального института. Значит, не становится меньше людей, которых интересует театр и литература? Он эти разговоры полностью отвергает: ничего не изменилось, как читали прежде, так читают теперь. Разговоры о смерти литературы, о культурном упадке — болтовня. Даже «парадигмы литературы»

(как я выразился) в принципе не изменились за последние 200 лет. «Я смотрю на все как историк литературы, каковым себя считаю, чем бы другим ни занимался...»

Интересными показались мне его суждения о людях, для которых литература остановилась 20 лет назад, новая литература просто для них не существует, они не считают ее достойной внимания, даже чтения. Я передал ему слова Л.А. о Пелевине: «Не читал и читать не хочу». — «Он и к вам относится точно так же. Не читал и читать не хочет... 80-х, 90-х годов для него, Р. и других просто не существует. Им не нравится это время, не хочется в нем жить. Есть эмиграция в пространстве, они эмигрировали во времени». Эта фраза мне понравилась.

Когда я заговорил о том, что критические толкования и комментарии обогащают восприятие произведений, он заметил: «А иногда и обедняют...» И я вдруг сам подумал: некоторые комментарии к стихам, например Мандельштама, однозначно и неопровержимо объясняющие смысл, что-то у меня отнимают. До объяснений в них было больше чуда и тайны...

22.02.98. В сопроводительном тексте к выставке «Райская жизнь в коридоре» написано: «Вадим Сидур создал себе рай не на холсте, а в коридоре собственного дома, чтобы было куда спастись от невыносимой серости и опасности бытия».

Но ведь и эти выставочные залы с прекрасной живописью на стенах, с интеллигентной публикой, с музыкой духового квартета им. Докшицера, тихими разговорами (и небольшим фуршетом, как нынче водится) — убежище, в которое можно хоть на время уйти от окружающей жизни.

Я помню, как эта жизнь ворвалась в подвал Сидура, когда за приехавшими к нему немцами (Карл Аймермахер со студентами) ввалился милиционер и человек в штатском — якобы выяснить, не здесь ли скрылся виновник уличного происшествия. Гэбэшник придумал способ узнать, что за иностранцы вошли в подвал. Проверил — и восвояси ушел.

И я подумал: можно бы сочинить сюжет о том, как эта жизнь понемногу, но неумолимо проникает в пространство, мир музейной красоты, в вестибюль консерватории, как эти рожи с непониманием, но все более по-хозяйски располагаются среди картин, скульптур, интеллигентных хозяев.

Да разве не заполняет эта жизнь страницы моих книг? Много лет назад Люба Бергер сказала мне, что «Прохор Меньшутин» позволяет укрыться от этого чудовищного мира.

Из музея мы с Галей поехали на день рождения Алеши (ему 33 года). У метро «Красногвардейская» базар; одежда, лица, даже цвет кожи у многих производят впечатление тягостное. Вдруг поднялся крик: паренек в легкой курточке стащил с лотка пачку сигарет, продавщица погналась за ним. Все молча проводили их взглядами и стали садиться на подъехавший автобус.

2.03.98. Известный кинорежиссер говорит о нежизнеспособности искусства, которое он называет «элитарным». Оно не может иметь достаточной аудитории, зрителей, слушателей, читателей. Сам этот режиссер, естественно, фигурирует в списках так называемой «элиты». («Здесь собралась вся интеллектуаль-

ная, художественная, политическая элита», как мы читаем в газетах.) Каким искусством питается эта элита? Своим собственным, массовыми хитами своих успешных собратьев? Этими шлягерами, эротическими детективами, компьютерными спецэффектами? Жизнь, которой живут их герои-гангстеры и тому подобные, все-таки не для них. Чем же наполняется, поддерживается их собственная, элитарная жизнь?

7.03.98. Неожиданная аналогия. Знаменитого модельера спрашивают: «Вы рисуете сами?» — «Конечно нет. Основная концепция, идея сезона задается мной. Я решаю: тема такая-то, колористическая гамма такая-то, будет пластик или никель, какая будет базовая форма. А дальше художники разрабатывают мои предложения».

Не так ли создатели концепций литературных и прочих задают идею моды и поощряют художников, которые ей соответствуют? Не наоборот!

14.04.98. По телевидению показывали фильм о знаменитом «Зубре» — биофизике Тимофееве-Ресовском. Не говорю о его удивительной судьбе, научной мощи, личности — производила впечатление сама его внешность, стать, речь.

И лица, речи ученых вокруг него, молодых и уже постаревших, — как они разительно отличались от лиц привычных завсегдатаев телеэкрана! Простые, неприкрашенные (порой с неважными, увы, зубами) — но какая крылась за этой простотой человеческая значительность, какие научные труды, значащие для нашей жизни, право же, больше, чем деяния телезвезд!

В фильме прозвучали слова В. Гейзенберга, которые я сам однажды уже приводил в своем эссе «Между безнадежностью и надеждой», — о поведении человека во времена политической катастрофы. Я снял с полки книгу, открыл эту страницу опять. Гейзенберг, думающий, как ему быть после прихода к власти Гитлера, приводит слова, сказанные ему Максом Планком: «Вы не в силах остановить катастрофу и будете даже вынуждены, чтобы выжить, не раз вступать в те или иные компромиссы. Но вы сможете попытаться вместе с другими образовать островки устойчивости. Вы сможете собирать вокруг себя молодых людей, показывать, как делают настоящую науку, и тем самым сохранять в их сознании старые верные масштабы... Подобные группы смогут стать центрами кристаллизации, вокруг которых образуются новые жизненные формы».

А тремя страницами раньше (я прежде не задержал на этом внимания) сам Гейзенберг объясняет студенту смысл сохранившегося «пережитка» — обычая появляться на торжествах в средневековых профессорских мантиях. Они дошли со времен сословного расслоения, но им, говорит он, «соответствует еще более древнее опытное знание того, что группа людей, которые много учились, чье мышление вышколено на множестве сложных рассуждений других людей, исключительно важна для человеческой общности, потому что ее советы более обоснованны, чем советы других. Мантия призвана выразить особое положение и защитить своего носителя, даже если лично он не стоит на уровне своего сословия, от грубых нападков толпы. Это опытное знание в нашем мире точно так же истинно, как и сотни лет назад».

Даже странно, как это звучит до сих пор. И как сейчас не востребованы эти люди, как не защищены!

Кстати, насчет «старых верных масштабов» Макса Планка. Ведь сам создатель квантовой теории, кажется, перевернул представления классической физики. Но вот что пишет об этом Гейзенберг: «Планк с самого начала был ярко выраженным консервативным умом, у которого никогда не появлялось желания всерьез изменять старую физику. Но он взялся за разрешение определенной, очень узкой проблемы. Разумеется, он попытался решать ее с сохранением всех прежних физических законов и потратил много лет на то, чтобы убедиться в невозможности такого предприятия... Последующая разработка гипотезы Планка заставила перестроить всю физику... Иными словами, в науке хорошую и плодотворную революцию можно совершить только тогда, когда мы пытаемся внести как можно меньше изменений... То небольшое, что будет при этом изменено, может проявить потом такую преобразующую силу, что само собой перестроит почти все жизненные формы...

Формулы классической физики выражают старое опытное знание, которое не только всегда было верным, но также и в будущем и во все времена останется таковым. Квантовая теория придает этой сокровищнице лишь формально иной облик».

Стоит поразмыслить над тем, насколько это относится к литературе и искусству.

5.06.98. ...Почитал (под конец пролистал) «эротический дамский роман» Анастасии О. Псевдоним издательство навязало знакомой Тани, еврейской молодой женщине с четырьмя или пятью детьми, живущей с разными мужьями. Что-то подобное происходит в романе. 17-летняя школьница, забеременев, попадает в загородный дом, где живут несколько женщин и мужчин с детьми; все живут друг с другом, дети непонятно от кого, и никого это не волнует, все необычайно мило друг к другу, стараются подавлять ревность, непонятно как зарабатывают (есть художница, у которой картины покупают за «хорошие бабки», другая шьет и «хорошо» продает вещи, кто-то ухаживает за лошадьми). Под конец появляется хозяин дачи, писатель, лауреат Ленинской премии, который купил в Швейцарии «шале» (как он туда попал, я пропустил) и вынужден дачу продать. После группового секса обитатели разъезжаются.

Почему я так подробно пересказываю? О литературных достоинствах говорить не приходится — это просто ничто. Но умные, со вкусом девочки это читают не без интереса, книга пользуется успехом. Какого-то особо «женского» взгляда на жизнь тут тоже не уловишь: ну, упоминаются месячные, проблема с крючками на лифчике, описываются роды — это вполне может описать и мужчина. Но зачем? Что это добавляет к нашему знанию, пониманию, чувству жизни? Две женщины и мужчина в постели, мужчина старается «войти» в одну, другая «раскрывает» ее ему в помощь. Эротикой от этого описания не пахнет. Примерно такое можно читать в специальных женских журналах: про детей, про косметику, про бытовое устройство, про подробности сексуальных отношений. Возможно, так и живут, так и ощущают жизнь. Я пытался войти в это ощу-

щение. Оно примитивно, в конечном счете тоскливо; отсюда и скука, и разводы, и самоубийства...

8.06.98. ...Вечером взял последний том дневников Томаса Манна. Неслыханные почести, слава — и смешанные чувства по этому поводу... Есть ли сейчас люди такого масштаба, способен ли мир их воспринимать? Сейчас сместился характер оценок: нынешний успех — далеко не то же, что слава прежних лет. Кто из живущих Нобелевских лауреатов сравнивается с шоу-звездами, знаменитыми футболистами, с Майклом Джексонем или Мадонной? А ведь современниками Томаса Манна были Эйнштейн, Н. Бор, Н. Винер, Пикассо, Шагал, Чаплин. В моих дневниках записаны разговоры о том, что величайшие свершения века прились на его первую треть; но даже если это так — в том ли дело? Сместились критерии (приоритеты) в оценке личностей и культурных достижений. Великие научно-технические достижения конца века как будто не имеют личных авторов; Б. Гейтс — прежде всего бизнесмен. (Политику оставляю в стороне.)

Позируя скульптору, Т. Манн с усмешкой представляет свое изваяние на городской площади. Но как не смеяться над такой тщеславной мыслью, зная, кому в наше время науставливали памятников и как недолог бывает их век?

А вот критические уколы задевают, оказывается, даже прославленного, увенчанного, воспетого старика. Все это было бы занятно, если бы не подлинное предчувствие конца жизни и ощущение не просто упадка сил — творческой истощенности.

1.07.98. Всегда существовали диалекты, жаргоны и пр. Но сейчас нельзя даже говорить о каком-то общем молодежном сленге. Каждая тусовка говорит на своем, понять других бывает так же трудно, как понять сленг компьютерщиков или, скажем, кинокритиков («саундтрек этого блокбастера, его саспенс» — да еще написано кириллицей). А ведь в прессе они обращаются не к членам только своей тусовки — приспособляйся к их языку.

Другой вопрос, насколько содержателен этот язык, есть ли вообще содержание в этом наборе упрощенных, как детали известной игры, штампов. Не говорю о возможности открытия, обогащения.

Рассуждение от противного. С некоторых пор вошло в обиход словосочетание «конец утопии». А несколько позже — «конец истории». Имелся в виду крах социалистической утопии, с которым закончилось и противостояние идеологических систем, — осталось решать проблемы экономические, экологические и пр. О «конце истории» говорить, как вроде бы скоро выяснилось, рано: нравится нам или нет, она продолжается.

А вот без утопии мы вроде бы теперь и живем. Всякие фантазии о будущем становятся исключительно антиутопиями. Серьезных, заслуживающих обсуждения среди них мало; в основном эффектные сюжеты на темы разных виртуальных миров.

Но, между прочим, всяческие виртуальные фантазии не зря занимают место былых утопий. Они не претендуют на интеллектуальную основательность,

они вообще по определению безответственны. Но они удовлетворяют насущную все же потребность человека в домысливании миров с другими жизненными основами — барахтаться в обыденной безысходности недостаточно.

Оставим в стороне общерелигиозные утопии потустороннего будущего (царство небесное, райские кущи с пением ангелов и геенна огненная). Они демонстрируют и подтверждают все ту же неистребимую, заложенную природой потребность человека мысленно представлять себе возможное, желанное будущее, к которому хотелось бы стремиться, наконец, выстраивать в земной жизни. Примерно ясно, что нужно делать, чтобы попасть в царствие небесное и избежать геенны огненной. Но разве можно жить, совсем не представляя себе устройство будущей жизни — для себя и детей?

Пережитый было конец утопии начинает выглядеть тоже не таким уж окончательным. Разочарование в так называемом социализме, который был назван «реальным», не отменило потребности в социальном устройстве более человечном, содержательном. А присмотреться к нынешним национальным движениям — за ними ведь та же мечта о наилучшем устройстве мира, национально-религиозная утопия. Издержки и неубедительность новых поисков, новых утопий очевидны — но разве может удовлетворить людей реальная жизненная повседневность как единственная возможность? И можно ли утверждать, что всякая утопия — от лукавого?

Тут надо внимательней разобраться.

2.07.98. На тему вчерашнего «рассуждения от противного». Вспомнилось, как наша татарочка, вышедшая замуж за голландца, точно обозначила суть тамошней жизни (показывая мне в Амстердаме квартал проституток): «Мы жили представлениями о какой-то правильной жизни. А здесь жизнь такая, как она есть».

Но можем ли мы жить без мифа, религии, сказок, лжи? И не только потому, что реальность непосильна. Секс — реальность, а любовь — нет? Нет реальности вне мифа.

28.07.98. Борхес цитирует неназванного английского мыслителя: «Нет большего краха, чем успех». Я на эту тему писал, но так резко не думал.

4.08.98. Любительские съемки детей 60-х годов. Прыгают, крутятся, играют, танцуют. Платица, рубашки, трусики кое-какие, тряпочные. Вдруг замечаешь, что изменилась не только одежда — пластика движений. Да ведь сами игры теперь другие. Еще мои дети играли в прятки, классики, прыгали через веревочку. Сейчас гоняют на роскошных роликовых коньках, поодиночке ли, компаниями — но каждый все-таки сам по себе. Девочки, впрочем, варят в кастрюльках что-то из песка и камешков, мальчишки бегают с шикарными пистолетами. Но мой старший внук больше играет с компьютером, чем с дворовыми ребятами.

9.08.98. Место литературы в современном мире, самоощущение писателя быстро и разительно изменились. Еще надо осмыслить эту перемену, роль и перспективы литературы. Но странное дело, это новое состояние, это ощущение, эта неопределенность, неуверенность, очевидное снижение общественного статуса, это отсутствие гарантий, возрастающее чувство одиночества (одновре-

менно обособленность, отдельность от мира — и сокровенная, всепроникающая связь, слитность с ним) — мне это необъяснимым (т. е. не осозанным пока) образом нравится больше прежнего, полуофициального, полужреческого статуса. (Сам-то я, впрочем, и не успел вкусить жизни тогдашнего литературного истеблишмента. Но некоторые мои коллеги, наверно, недаром чувствуют себя обездоленными.)

30.08.98. Стивен Кинг на недавней презентации своей новой книги назвал себя «литературным аналогом макдоналдса». Молодец! Блистательно — и откровенно. Он хочет, чтоб его не читали, а проглатывали, как fast food. Этого многим достаточно, это утоляет потребность — и приносит деньги.

2.09.98. Рано утром длинный междугородный звонок. Галя вскочила, встревоженная: кто это может быть? Не случилось ли чего?

— Это салон магических услуг? — спрашивает междугородный голос.

— Это преисподняя, — раздраженно отозвалась Галя.

— В самом деле? — заинтересовался голос.

Он всерьез звонил.

12.12.98. Виртуальная реальность — это не реальность воображения. Воображение — творческая сила, позволяющая создавать новые миры. Виртуальная реальность заранее выстроена кем-то и задана нам. Здесь невозможна подлинная свобода — лишь выбор (пусть произвольный) вариантов по правилам заданной программы или игры.

18.12.98. На улице сучка, прижав зад к земле, отлаивалась от трех кобельков, которые подступали обнюхать ее с разных сторон. И я вдруг подумал, как можно было бы уточнить эпизод рассказа, над которым сейчас работаю.

А потом — странное сцепление мыслей — вспомнил неоднократные разговоры с Хазановым-Файбусовичем о благотворности «эмигрантской» дистанции... Я отвечал ему, что мне требуется ощущать некий трепет воздуха, шум повседневной жизни — это стимулирует мысль; возникают царапины, ниточки, на которых кристаллизуются внезапные идеи, образы.

И вот мысль пошла дальше: может, кризис последнего гоголевского десятилетия порожден был в числе прочего оторванностью Гоголя от питательных жизненных впечатлений, связей? В Париже и Риме он продолжал переработку, возгонку накопленного в России запаса — что ему была иностранная жизнь? И чувствовал нехватку, и требовал, чтобы ему в письмах поставляли какие-то подробности, сведения. Да и вернувшись в Россию, жил уже на правах как бы важного гостя, с реальностью не соприкасаясь запросто, пытаясь подпитываться не ею, а, скажем, паломничеством в Палестину.

30.12.98. Что значит моя сохранившаяся с детства способность находить красоту даже в загаженных речках, выродившемся мелколесье, пыльной траве с мелкими цветочками, в уродливых кирпичных стенах? В детстве я мог радоваться, пуская по мутной весенней канаве кораблик, сделанный из сосновой коры, в воде ослепительно отблескивало солнце, пахло землей и талым снегом. Кирпичные и бетонные плоскости, убогие почернелые бараки иногда видишь как бы взглядом художника: на них ложатся закатные отсветы, над ними, что ни го-

вори, небо. Словно возвышаешься над тягостной повседневностью — находишь в ее проявлениях свою эстетику. Вкус, как известно, воспитывается на благородном изяществе — но тут, я думаю, все же не просто искажение или неразвитость вкуса. (Читая Г. Померанца.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Повторяющиеся сюжеты

Уже становятся общим местом повторяющиеся вздохи и сетования: нету прежней литературы. Ту, что принято называть элитарной, мало кто возьмется читать — не располагает она к чтению, массовый популярный китч настоящей литературой не назовешь, из прочей интересна разве что литературная публицистика. То ли было раньше, во времена Пушкина с Гоголем! И литература великая, и народу любезна; было что читать для души.

Можно, конечно, вспомнить, как и Некрасов, бывало, сетовал:

Эх! эх! придет ли времечко...
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

А следом вспомнишь, как наши газеты в ответ радостно восклицали: пришло, как же! Мы, естественно, несем с базара Гоголя и Белинского. Еще бы!

Обычный тираж Гоголя у Смирдина был две тысячи экземпляров. Не западный бестселлер, как выразились бы нынче. Хотя что-то вроде бестселлеров было уже и тогда. Вспоминается резолюция одного влиятельного критика времен Пушкина, который толково рекомендовал автору переделать «Бориса Годунова» в духе Вальтера Скотта. («Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы он с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта». — Николай I.)

В самом деле, у великого шотландца было чему поучиться: как у него в любом романе закручена интрига, крепко выстроен сюжет, выигрышно проведена любовная линия! «Борис Годунов» до таких кондиций, честно признать, не дотягивал.

Пушкин, кстати, Вальтер Скотта ценил высоко, отмечал в разных статьях его превосходство перед иными легковесными французскими беллетристами. Недаром же Скотт был едва ли не первым европейским писателем, сумевшим сделать себе состояние полноценным литературным трудом. Грешно было не воздать ему должное. Пушкин ведь тоже одним из первых в России стал ощущать себя профессионалом, которому надобно зарабатывать свой хлеб пером. Только почему-то не получалось, как у шотландца. И ведь не бездарный, что ни говори, человек, и трудился всю — но под конец жизни оказался, увы, сплошь в долгах, казенных и частных. На уплату казенных долгов, по условию с царем,

полностью шло все жалованье, доходы с болдинских имений поэт уступил сестре.

Но вот под конец жизни сумел все-таки выхлопотать издание желанного «Современника». Не только чтобы осуществить давние литературные замыслы — чтобы получить настоящий доход. Удавалось же это Булгарину, Гречу, Сенковскому — чем он был хуже?

Первые два номера журнала были выпущены в начале 1836 года тиражом 2400 экземпляров, третий вышел уже тиражом 1200, четвертый, в самом конце года, — только 700 экземпляров. После смерти поэта на его квартире осталось 109 полных комплектов. (Их потом удалось продать, но неизвестное количество разрозненных экземпляров постановлено было сжечь за ненадобностью.)

А ведь в этих журналах были напечатаны «Скупой рыцарь» и «Капитанская дочка», гоголевские «Нос» и «Коляска», стихи Тютчева и Жуковского. Не хрестоматийное чтение — самые горячие новинки, и подбор не назовешь скучным. Не покупали. Что ж это были, в самом деле, за читатели, что за времена? Та же «Северная пчела», та же «Библиотека для чтения», поставлявшие ходовое, как сейчас выразились бы, чтиво, преимущественно переводное, шли на расхват и давали издателям завидный доход.

Все было правильно, давайте хоть сейчас это признаем. В таком соревновании Пушкин был обречен на неудачу. При жизни, во всяком случае. Ведь к концу жизни и слава у него, как известно, поблекла — после блистательной ранней вспышки «Руслана и Людмилы». Даже дружественные поэту люди замечали со знакомым нам вздохом: не тот стал Пушкин, увы...

Грустно повторять еще раз столь общеизвестные вещи. Но почему мы так плохо помним прежнюю нашу литературу — и так ли на самом деле знаем нынешнюю? Чтобы судить о ней, надо по меньшей мере читать книги, и не бегло, как вынуждает темп жизни, не для служебного газетного отклика, а хотя бы чуть внимательней, вдумчивей. Вырабатывать о них свое личное, в душе созревшее мнение, а не просто ссылаться на чей-то статистический спрос, на суждения столь же расхожие, сколь безличные. Цена таким суждениям-вздохам известна, а спрос зависит, увы, зачастую от обстоятельств внешних — многие ли книги до нас просто доходят, много ли мы их читаем? (Не говорю: перечитываем.)

Знакомые, повторяющиеся сюжеты тоже не лишне бывает иной раз напомнить.

2.12.98

1999

21.01.99. Интересные ответы Вяч. Вс. Иванова на вопросы «Лит. газеты». Он оценивает общественно-политическую ситуацию в стране — и культурную ситуацию в мире.

«Вопреки всем надругательствам над интеллигенцией (политическим в советское время, экономическим в постсоветское) Россия сохранила духовный заряд, отличающий ее от большинства крупных стран». (Среднего русского не устраивают возможности обогащения или продвижения по службе, которые являются мериллом успеха на Западе, — замечает ранее он, — да эти возможности и не так доступны ему, как на Западе; он думает о достижениях гораздо более абстрактного свойства: стать крупным поэтом, дешифровать неизвестную письменность, решить одну из проблем Гильберта.)

«Конец века характеризуется повсюду измельчением и рутинностью мысли, почти полным отсутствием гениальных идей, повторением шаблонов... Необходимые для всего человечества новые прозрения могли бы прийти из России, если этому не воспрепятствует коммунистическая, а точнее — национал-социалистическая реставрация».

Близкие мне мысли. А иногда встречаешь идеи, которые я пробовал выразить совсем другими словами, в образах, более многомерных, чем логические формулировки. «Становление Вселенной предполагает, что она станет предметом наблюдения и сознательной рефлексии (согласно некоторым философам, и превращающей ее в реальность, во всяком случае для нас)».

Грустно, что осмысливать такие переключки можно теперь только на расстоянии, разговор при нынешних беглых встречах вряд ли получится. А ведь хотелось бы мне спросить, что он имеет в виду, говоря о не востребованности многих «основных духовных ценностей» — главным образом потому, что их нужно уметь передать на языке нашего времени. Что это за язык?

24.02.99. — Посмотрись в зеркало. Ты старик на седьмом десятке. Ты перенес кучу всяких болезней, от житейских невзгод не был избавлен. У тебя нет одной почки и многих зубов, ты с детства глух на одно ухо, знаешь, что такое гипертония и астма... ну, перечислять незачем. Первая книга у тебя вышла в 51 год, богатства ты не нажил, успех относителен. Страна, в которой тебя утворазило родиться, глубоко и безвылазно неблагополучна. И ты продолжаешь утверждать, что при всем этом можно непрестанно радоваться жизни, ощущать себя в этой жизни счастливым? Что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро, с благодарностью за прожитый день засыпаешь? Ну, пиши, пиши дальше, может быть, и другим объяснишь, как одно с другим совмещается.

28.02.99. Из газет.

«Ходят слухи, что 15 марта будут введены талоны на продукты. Судя по тому, что все инстанции категорически это опровергают, возможность представляется вполне реальной».

Железная логика. Если бы отвечали уклончиво, можно было бы сомневаться. А раз все опровергают...

«Кино сегодня уже больше аттракцион, чем киноискусство. Если взрослый человек хочет подумать у голубого экрана, он идет в Музей кино или включает видак. В кино он идет, условно говоря, оторваться. Там на него летят астероиды, стреляют лазерные пистолеты... Надо снимать что-то среднее между кинозрелищем и киноискусством».

14.03.99. Ощувив снова тупик в работе, я, как уже бывало, пробую искать подсказку, толчок мысли, читая разные книги. Попробовал полистать подаренные мне когда-то «женские» сборники, сборники молодых авторов — не зацепило. Неожиданно нашел кое-что в старом номере «Знамени»: вроде бы уже читанный роман Д. Савицкого, рассказ И. Алексеева, статью М. Эпштейна — возникли мысли. Ну, и лежат рядом постоянно Д. Хармс, Набоков, прозаический том Мандельштама. Много чего еще.

Вдруг я подумал, что читаю так много по рабочей, профессиональной необходимости. А помимо нее — не особенно тянет читать. Как бывало, когда выписывал сразу несколько литературных журналов, доставал у знакомых книги, просил прислать из-за границы — и проглатывал, перечитывал. Это была потребность, как хлеб насущный.

Пытаюсь понять, что же произошло. В моем личном случае — возраст. Простая усталость. Ослабление аппетита. У более молодых еще очевиднее — литература не может значить так много, как раньше. Жизнь оставляет меньше времени и сил для потребностей, которые прежде назывались «духовными», рынок перенасыщен книгами, которые прежде просто не могли до нас дойти: надо наверх стывать, заглывать Фрейда, Юнга, Ницше — ну и так далее.

Да и не в наших только обстоятельствах дело. Наша литература просто дольше сохраняла влияние на людей по причинам, увы, известным. Недаром западные писатели завидовали советским беднякам: вас принимают всерьез, у вас за книги сажают. В мире падение интереса к литературе началось раньше. Еще недавно подлинными писателями и там были властителями умов: Т. Манн, Хемингуэй, Камю, Г. Белль... ну, Солженицын уже немного по другому разряду, уже не просто литературному. Сейчас среди авторов бестселлеров действительно большие писатели — скорей исключение. Даже Нобелевские премии публику не убеждают. А там и экспансия электронных аттракционов — много чего еще. Дело известное.

У нас как бы наложилось одно на другое: общецивилизационный процесс и перелом, переход нашей конкретной цивилизации (советская система была своего рода цивилизацией). Потому и ощущение особенно болезненное, кризисное. Добавляются и сопутствующие обстоятельства: нищета традиционных читателей-интеллигентов, невозможность купить книги и выписывать журналы, нищета большинства литераторов, проблемы с изданием... Это, впрочем, было всегда и у всех.

Я снова оглядываюсь на себя. Чтение чтением — но я ведь продолжаю писать. Хватило бы сил, энергии, способностей, мужества нащупывать дальше подлинную тропу.

29.03.99. Разговор с С. И. Липкиным. Обсуждали недавние бомбардировки Югославии, резню, которую устроили сербы в Косове, говорили о национальных страстях и безумствах, о мусульманском самоощущении.

Липкин: Они все помнят, ничего не забывают. Был когда-то такой турецкий город Бердыш, там изготовлялось оружие, которое так стало и называться. Теперь это Бердичев...

— Как, Бердичев был турецким Бердышем? Я не знал.

— Но вы же знаете, что и Одесса была турецкой. Конечно, у них все это отвоёвывали, и сами турки завоевывали полмира, переименовали Константинополь в Стамбул. Но они помнят, что и этот город принадлежал им... Я жил когда-то во дворе, превращенном в коммунальную квартиру, там обитали 60 семей, а когда-то дом принадлежал одному известному промышленнику... вот, с возрастом стал забывать фамилии... (Время спустя вспомнил и вставил: Гоншин. И он жалуется на память!) От этого семейства осталась в живых одна старуха, ее сын женился на женщине по фамилии Калинина и взял ее фамилию. Он совершенно не помнил о своем происхождении, и никто не знал, кому принадлежал этот дом. Но старуха помнила все подробности: вот здесь была столовая, в этой комнате детская, там комната для гостей, наверху жила прислуга. Помнила, что было во всех пристройках и надстройках. Она никогда этого не забывала. Так же и с национальной памятью...

Я много бывал в разных наших мусульманских республиках, со мной и при мне говорили откровенно, я для них был не русский, а еврей. Я перевел татарский эпос «Идегей», его не разрешили печатать, я для татар был такой же пострадавший, как они сами. О русских все говорили с ненавистью. Никто не сделал для национальной вражды больше, чем большевики. До революции мусульманские и другие меньшинства готовы были жить с русскими, они были для них носителями высокой европейской культуры, через Россию был выход в мир. Революция все это уничтожила. Ленин ничего не понимал в национальных делах, и они его не интересовали, но Сталин очень хорошо в этом разбирался, умел натравить один народ на другой; взаимная вражда помогала держать в руках власть. Это для нас церкви уничтожали большевики, для мусульман мечети и медресе уничтожали русские, они запретили священные книги на арабском языке, ввели кириллицу, которая совершенно не была приспособлена к фонетике их языков. Вслух они могли говорить что угодно, но память о религиозных святынях молча хранили...

Я знаю, как хоронили Рашидова, узбекского партийного секретаря, члена Политбюро. Его хоронили как положено; приехала из Москвы делегация, тоже какой-то член Политбюро, похоронили по-язычески, возле здания республиканского ЦК. А ночью могилу раскопали, надели на труп чалму, халат, прочли, как полагается, молитву и закопали снова...

— Я никогда об этом не знал. (И странно, что никто не написал сейчас.)

— А вы и не могли этого знать. Этого никто не знал. Мне рассказывала вдова Рашидова. Я был знаком с его семьей...

Или возьмите Дагестан. Там живут 30 наций. И было твердо установлено: первым секретарем ЦК должен был непременно быть аварец. Аварцы — самый многочисленный народ Дагестана. Но если дочь первого секретаря хочет поступить в университет, то и ректором университета должен быть аварец. Значит, если лезгин или кумык хочет устроить ребенка в университет, он должен идти к аварцу. Так устанавливается национальная неприязнь. Лезгины живут на границе с Азербайджаном, говорят на тюркском языке. Они ведут речь о создании

особой республики, лезгинской. И есть маленькая народность, таты, их тысяч 10. Это горские евреи, иудейского вероисповедания, и внешность характерная, иудейская. Они были знаменитые виноделы. Дагестанские коньяки — это их изделия, мусульманам пить вино запрещено. Лезгины призывают татов присоединиться к своему Лезгинистану, преследуют, избивают. Многие уже уехали в Израиль, но кто-то остался. Или кумыки. Когда в Дагестан переселились чеченцы-агинцы, они выселили кумыков, жителей равнины, им теперь негде жить, они живут у родственников, кто где может. И так везде. Эти межнациональные разногласия при общей вражде к русским в конце концов непременно взорвут Россию, я не вижу другой перспективы...

— Но вот Фазиль Искандер мне рассказывал, как у них в одном дворе жили мингрелы, греки, абхазцы, жили друг с другом мирно, знали на бытовом уровне какие-то слова из языков друг друга — Фазиль тоже немного знал.

— Фазиль прав в отношении одного маленького двора, но он упускает из виду одно обстоятельство: он принадлежал к титульной нации. Это очень важно. Во дворе надо жить мирно друг с другом, не воевать же. Но с какой-то мелочи могут начаться конфликты. Вы знаете, как начались события в Абхазии? Один грузинский профессор написал научную статью — совершенно правильную, — где рассказывал, что абхазцы, входившие в более обширное семейство адыгов, переселились на свою нынешнюю территорию в XVII веке. Абхазцы утверждали иное, они ссылались на Геродота, который будто упомянул их в качестве древних жителей этой местности. И вот в селе Лыхны — это своего рода священное место для абхазцев — началось стихийное возмущение, демонстрации, в грузин стали кидать камнями... А потом и пошло.

(И сербы, и албанцы жили вроде бы мирно, подумал я, а теперь режут друг друга.)

— А вы ждали такого развития событий лет 30—40 назад? — спросил я. — Мне казалось, человечество в конце тысячелетия становится более единым, современная цивилизация уменьшит национальную рознь. Живут же в других странах люди разных наций?

— Я ждал, потому что я много имел дела с разными народами. Я их переводил, я знал, какая в них кипит ненависть. В 1946 году я попал в Киргизию, я переводил «Манаса», и там встретил своего старого знакомого Кайсына Кулиева. (Назвал еще одно, менее известное мне имя, я забыл.) Их народы были сюда высланы. Они привели меня к себе домой. Я говорил с людьми, которые были со мной откровенны, — я для них был не русский, а еврей. Удивительно: вернувшись в Москву, я рассказал об этом Василию Гроссману. Вы знаете, что это за человек. Мы тогда были еще на «вы». И когда я ему рассказал о том, что увидел, он в сомнении проговорил: «Но, может, это было вызвано военной необходимостью?»

— Гроссман?! — воскликнул я.

— Да. Я ему ответил: я посмотрю, что вы скажете, когда так же будут высылать евреев. «Высылать евреев в нашей советской стране?» — «Да, в нашей фашистской стране».

— Вы уже в 46-м году могли сказать о нашей стране «фашистская»?

— Да, я уже многое понимал. Может, на меня влияли воспоминания. Мой отец был меньшевиком. Я многое видел. В 43-м году, уже после Сталинградской битвы и Курской дуги, в августе или начале сентября, сейчас точно не помню, нас, военных журналистов, собрали в ЦК. Выступал Щербаков. Он стал говорить, что в войне произошел перелом, мы движемся на запад, и надо немного изменить характер наших газет, помещать в них иногда веселые, развлекательные материалы, шутки, чтобы солдаты могли посмеяться. «Но только без одесщины», — погрозил он пальцем. И когда началась кампания против космополитов, появилась статья «об одной антипатриотической группе литературных критиков», Гроссман позвонил мне и сказал: «Сволочь, ты оказался прав...»

Память важна для всех народов. Вы знаете, что у Ленина один дедушка по матери был еврей, а одна бабушка по отцу была калмычка? Она была дочерью купца третьей гильдии по фамилии Карпов — ну, он, как отец Чехова, содержал в Астрахани небольшую лавочку. У Ленина была некоторая слабость к калмыкам, он ведь помнил бабушку. У него есть известное обращение к калмыкам. Калмыки тоже были разные. Есть калмыки-буддисты, и были еще астраханские калмыки, они входили в Астраханское казачье войско. Когда калмыков выслали, часть их территории передали Астраханской области — это как раз те прибрежные области Каспийского моря, где получают богатую осетровую икру, вы знаете эти астраханские баночки. Ну, отняли землю так отняли, уже ничего не поделаешь. Но когда калмыки вернулись из ссылки, они решили обратиться в Астраханский обком партии, чтобы те установили мемориальную доску на лавке бывшего купца Карпова: «Здесь родилась бабушка Владимира Ильича». Лавка сохранилась, мне ее показывали. Маленькая лавка, похожа на одесскую Молдаванку. Вроде бы верноподданническая коммунистическая идея: речь все-таки о Владимире Ильиче. Астраханский обком подумал-подумал и в просьбе отказал. Калмыки возмутились, написали письмо в Центральный комитет. Те тоже подумали — и тоже отказали. Калмыкам пришлось проглотить — но они и этого не забыли. Это же для них гордость: большевик не большевик, им все равно. Но бабушка Ленина была наша, пусть и православная, это неважно.

Интересное замечание. Я упомянул, что эпизод на близкую тему есть в моем эссе «Три еврея»: про то, как Карабчиевский оказался свидетелем неприязненного суждения о русских и на вопрос: а вы кто? — после раздумья ответил: «А вот не скажу».

— Он так ответил? — удивился Семен Израилевич. — Не знаю, как это звучало для армян, но для мусульман это было бы оскорблением. Так нельзя отвечать...

Разговор с С. И. навел меня на грустные мысли об угрозе распада России. Слишком много натворили глупостей и преступлений, нет ни способностей, ни воли что-то исправить, и развитие в мире (особенно в такой его части, как наша страна) не слишком подчиняется сознательным, целеустремленным усилиям, тем более представлениям таких миролюбивых идеалистов, как я. Силу внезап-

но обретают иррациональные страсти, национальные и религиозные счеты. Каким бы фашистом ни проявил себя Милошевич, но сами сербы в массе своей вовсе не звери, мирно уживались с албанцами, хорватами, босняками — и вот врываются в дома, выгоняют, убивают, насилуют, буквально режут. И те же албанцы, те же хорваты выглядят вовсе не ангелами, как не ангелами были чеченцы. Кто творил армянскую резню в Сумгаите, изгонял азербайджанцев из Карабаха?.. Не буду множить примеры. Цивилизованная Европа вроде бы владеет развитием — но надолго ли? делает ли им честь бомбардировка Сербии? (И давно ли в самых цивилизованных странах бушевал фашизм?)

По-новому вспомнились недавние слова Жоржа Нива о вероятности распада России на европейскую и азиатскую. Я, наверное, многого не принимаю в расчет — и раньше не принимал. «А может, не такая беда, если Россия станет страной поменьше?» — спросил я. «Может быть», — пожал он плечами. Беда не беда, но скольким конкретным людям это будет стоить жизни, сколько принесет страданий, крови, утрат, переселений!

Такое повторялось множество раз в тысячелетней истории человечества. Но как странно думать об этом на пороге 3-го тысячелетия после Рождества Христова! Я опять чувствую себя идеалистом, витающим в сферах духовных, С. И. Липкин превосходно чувствует житейские измерения жизни — той, что происходит во дворах, в семьях, в образованиях «племенных». Я, впрочем, тоже это чувствую — все-таки писатель, прозаик, но иногда забываю, что разумно мыслящие люди — везде в меньшинстве.

Я не любил воплей о «руссофобии» — она приписывалась почему-то евреям. Нет. Если не говорить о сионистах, которые могут просто уехать, евреи вроде меня принадлежат русской культуре более реально, чем я отдавал себе в этом отчет. Но руссофобия существует.

30.03.99. С. И. Липкин заметил, что не считает себя образованным человеком. А если хоть немного и образован, то обязан этим прежней гимназии, в которой проучился полтора года.

Это он-то, переводивший с персидского, тюркских и других языков, знающий народы, культуры, религии, он, великий знаток русской поэзии (и стихосложения), цитирующий наизусть поэмы! Конечно, этим он обязан самообразованию, он мог учиться у великих поэтов-современников, близко знал Ахматову и Мандельштама.

Галя по этому поводу напомнила: ты же писал о нашем образовании: если мы что-то знаем, то вопреки ему. Нам пришлось еще многое отхаркивать.

Да, подумал я, но вот наши дети — знают языки, бывали в других странах, сидят у компьютеров, они бесспорно образованней нас. А скажем, поэзия, знание которой Липкин считает одним из признаков культуры (допустим, хотя бы для своего цеха), для них не существует.

Видимо, надо опять разделить понятие образованности и культурности. Массовая образованность нашего времени отличается от гимназической, но вряд ли верно считать ее более низкой. А вот культура?..

Липкин считает Есенина более культурным, чем Маяковский: у него не было образованности, но была связь с народной крестьянской традицией, а тот — просто городской дикарь. Раньше четко разделялись сословные уровни; культуру с образованностью совмещало, как и сейчас, меньшинство. Но прежняя народная культура (основанная на религии, традициях) была не тем же, что нынешняя массовая. И все-таки: поп-ансамбли — это культура? Телевизионные игры и ток-шоу — это культура? Компьютерные игры — это культура?

Надо это все время осмысливать, а жизнь коротка. Можно не принимать постмодернистский отказ от ценностных иерархий — все равноценно, нет хорошего и плохого, вкуса и безвкусыя. Но додекафония отменила тонику, доминанту, разрешение — все звуки объявлены равноценными. И ничего, получается музыка, по-своему интересная.

1.04.99. ...Читаю Липкина. Он четко сформулировал главный интерес своей жизни: «И ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, мучают, восхищают только два нераздельных явления — Бог и нация». И это с раннего детства. А я о некоторых вещах начал думать сравнительно недавно. Грустно, что я в таком возрасте кое-что лишь начинаю понимать. Впрочем, эта грусть сопровождает всю жизнь, и если я лет через десять буду ощущать ту же грусть, значит, я еще живой...

10.04.99. ...Я теперь почти не делаю записей о политических событиях — 10 лет назад записывал подробно, только вводить в компьютер теперь не хочется. Все это скоро исчезнет: скандалы, имена...

Вечером позвонила Инна Лиснянская: договорить о Самойлове... Удивило, что она совершенно точно расшифровала упомянутые инициалы: это Межиров, это Винокуров, о Владимове не говорю. Потом передала трубку Семену Израилевичу. Его разговор я записал подробно на отдельном листе.

Урок для меня: читая, делать пометки; это определяет культуру разговора о книге. И потом я полистал упомянутые им места моей книги — как бы его глазами. Не думаю, что из тщеславия — но это как бы делает более объемным ощущение литературы. «Ну вот, наговорили друг другу комплиментов», — закончил разговор Липкин. «Дело не в комплиментах, — искренне сказал я, — а в том, что такие разговоры — тоже душевное событие...»

10.04.99. Немного работал. Читал «Записки жильца» Липкина: значительная книга... Между прочим, по-другому понимаешь собственное время: все нынешнее воровство, даже бандитизм все-таки больше человечны, понятны, чем абсурдная идеологизированная жестокость режима, которая превращала людей просто в подлое быдло. Об этом и многом другом я сказал Семену Израилевичу, позвонив ему по телефону. Между прочим, спросил, насколько его мысль выражает один из героев, называя гениями лишь тех, кто понятны всем, как Гете или Шекспир, в то время как великие, но не гениальные могут быть понятны немногим избранным? Он в ответ рассказал, как смотрел в еврейском театре Одессы переделку гетевского «Фауста» (и Шекспира тоже), как зрители плакали и смеялись. «Но ведь так же смеются и плачут над нынешними телевизионными сериалами, “мыльными операми”. И воспринимали они упрощен-

ные переделки Гете, самого Гете они вряд ли могли понять. И разве Мандельштам — не гений, понятный немногим?» — «Нет, — сказал он, — Мандельштам не гений. У нас было три гениальных поэта: Пушкин, Лермонтов и Тютчев. Они понятны всем». Тут я возразил, что для понимания Пушкина понадобились годы, при жизни его не все понимали. «Надо подумать», — сказал он. Он читает сейчас биографию Тютчева, написанную младшим Аксаковым, там цитируется французское письмо, где Тютчев утверждает, что русский народ, как народ христианский, не может быть жестоким. А в 18-м году крестьяне жестоко и бессмысленно разграбили его имение. Он ошибся.

Хорошо, что я прочел его роман после мемуаров — стала заметна автобиографическая основа...

12.04.99. ...Между прочим, впервые мне приоткрылась поэзия Роберта Фроста. Я время от времени заглядываю в его двуязычную книжку, которую взял в американском посольстве. Перевод лишь отдаленно может намекнуть, какой это замечательный поэт, но без перевода я бы не понял непростых английских стихов. Читаю параллельно — и начинаю понимать, и восхищаюсь все больше.

14.04.99. ...На меня произвел неожиданно сильное впечатление принесенный Леночкой фильм «Прирожденные убийцы». Талантливый, отвратительный и очень опасный. Отвратительный и опасный именно потому, что талантливый. Убийство как область наслаждения, чистоты. «Наконец я живу!» — восклицает впервые убивший. Обсуждать это, опровергать бессмысленно, эмоциональный накал действует сильнее доводов разума. Толпа молодых фанатов восхищенно приветствует убийц, маньяков. Это действительно так. Недавно по ТВ показывали сюжет о девушке, которая стала преступницей под влиянием фильма. Вначале она просто пошла на панель, сутенеры ее коллективно насиловали, чтобы сломать. Но один из них взял ее под свое покровительство, и она стала его соучастницей. Они врывались в женские общежития, он насиловал женщин, она это снимала на пленку. Кончилось это для него тюрьмой, для нее инвалидной коляской. (Она помогала ему бежать из заключения, ей самой пришлось прыгать из окна; но это уже подробности.) Главное, она даже сейчас ни о чем не жалеет, восхищается насилием. Это настоящая жизнь.

Надо отдавать себе отчет, что преступления, убийства, насилие воспринимаются теперь массовой аудиторией иначе, чем прежде. И этому служит новое искусство, которое обходится без сантиментов и моральных суждений. Жесткая талантливая демонстрация новых представлений о жизни и обществе. Не стану обсуждать, как это относится к реальности, к жизни подавляющего большинства людей. Реальность можно считать гипертрофированной, но при всех убийствах тела остаются неизуродованными, мозги не разлетаются, убийца красиво позирует. Это производит впечатление.

А пробую я сформулировать свое впечатление еще и потому, что совсем не вписываюсь в это современное развитие. Не могу и не хочу, но вглядываться в него надо, надо понять и извлечь уроки из какой-то новой стилистики, жизненной и художественной. Это стилистика людей, привыкших странствовать по

виртуальным мирам, легко обнажаться друг перед другом, для тех, кто предпочитает не шибко интеллектуальный заработок былому кайфу научной, скажем, работы. Обобщать тут тоже не следует. Преобладает, конечно, нормальная жизнь, но на поверхности самой влиятельной оказывается эта тенденция. Куда она заведет? Заставит ли развитие осадить, вспомнить другие представления о счастье?

15.04.99. ...На подходе к Пушкинской площади я встретил Каму Гинкаса, он шел в свой театр на прогон спектакля о последних днях Пушкина. Заранее пригласил на премьеру. Что получается, пока сам не знает, — знакомое состояние. Сказал, что Гета (Яновская) читает сейчас какую-то мою книгу — «со вкусом». «А вы что-нибудь читаете?» — спросил я. «Сейчас нет сил и времени читать что-то новое, я только перечитываю. Сейчас поэзию: Мандельштама, Ахматову». Стал говорить о своем новом замысле: спектакль о Мандельштаме. «Он был очень трудный, по-разному проявлявший себя человек. Он бывал по-детски простодушным, непрактичным и в то же время заносчивым, раздражительным. Он мог требовать себе квартиру, уверенный, что этого заслуживает. Но что он великий поэт, знали несколько считанных человек. Для других он был ничто, клоп, тля. В нем было что-то от подпольного человека Достоевского». Примерно так же воспринимали при жизни Пушкина: для многих он был никто. Спектакль не цитирует ни одного стихотворения Пушкина, лишь письма, свидетельства...

4.05.99. Зависть свойственна человеку как существу социальному: он сравнивает себя с теми, кому лучше. Это чувство омрачает жизнь многих. Более редкая способность сравнивать себя с теми, кому хуже, если она не смешана с обычным злорадством (злорадный и своей жизнью все равно недоволен), позволяет благодарить Бога или судьбу за свою жизнь — это приближает к метафизическому самоощущению. Подлинно религиозной становится способность сострадать.

9.05.99. ...Неожиданно позвонил Кама Гинкас: поздравить с праздником Победы. «Я всегда считаю, что нужно поздравлять с этим праздником близких людей. Особенно для нас, евреев, он много значит». В разговоре выяснилось, что он 41-го года рождения, с двух лет был с матерью в Каунасском гетто. Как его потряс рассказ матери, что она вышла из гетто (это было возможно, трудней было потом спрятаться), чтобы сделать аборт...

14.05.99. Листая по рабочей надобности старые журналы, увидел в «Вопросы философии» (№ 2, 89) заглавие работы Я. Голосовкера «Интересное». Вначале он пробует классифицировать признаки «интересного» и «неинтересного» произведения. Читать дальше я не смог и не стал — голова была слишком утомлена другим. Но мне самому попутно подумалось, что признаки интересного вряд ли можно считать объективными. Ребенку бывает интересно что угодно: жук, камешек, домашние вещи, дождь, темнота шкафа, палочка или пучок травы, который можно запеленать и вообразить, что это ребенок, — все, что возбуждает собственную мысль и, может быть, главное — воображение. Ему неинтересны математические формулы и непонятные эротические описания (описа-

ния, не картинки). Взрослому становится неинтересно и скучно все уже понятное, привычное, повторяющееся, скучен дождь и даже одни и те же райские кущи — но об этом я уже писал в эссе о скуке. Неинтересно все, что не зацепляет ума и души, — для кого-то это может быть научный поиск и классическая музыка, для кого-то — рок-ансамбль и сделанный по известным шаблонам триллер.

6.06.99. Д. А. Пригов в газетном интервью который раз объясняет, что прежняя литература стала невозможной, как невозможен всерьез былой пафос. Для нее остается единственное: ироническое исследование возможностей языка. Даже неловко уточнять, что это просто одна из многих возможностей — как одной из многих возможностей был пафос. Он становится смешон, когда претендуют на единственное представительство, как смешна всякая претензия на единственность. Небольшая частная ниша в необозримом здании литературы кажется единственно достойной, даже единственно возможной для обитания.

7.06.99. Доработал, ввел в компьютер и распечатал «Адама и Еву». Неужели «Amores» действительно завершены? Завтра перечитаю, узнаю...

25.07.99. С наслаждением и пользой для работы перечитываю Музиля («Человек без свойств») и Кундеру («Бессмертие»). Они напомнили мне о необходимости иронической (прежде всего к себе) интонации. Я всегда это знал, но чуть ли не каждую работу начинаю как-то слишком всерьез, чуть ли не с придыханием; потом требуется себя корректировать. Иронический стиль эссеистического повествования, который кажется сейчас современным и модным, был в совершенстве разработан еще Музилем, Кундера не скрывает, что у него учился. Один только поворот интонации породил множество идей, которые я записал на листочках. Корю себя за лень; вместо того чтобы писать, все думаю — но бессмысленно делать работу, которую все равно придется отбросить, я это тоже давно знаю. К тому же слишком быстро стал уставать (даже при чтении), нужен отдых.

9.08.99. Ввожу в компьютер 92-й год, выбираю: что можно оставить? Зачем я записывал подробности, которые никому не интересны? Вот и сейчас 4 дня не записывал — а что записывать?..

На дороге возле уличного кафе меня остановил пожилой человек с палкой: «Слушай, посиди со мной, у меня такой день, мне 75 лет, 50 лет отслужил в армии (показал значок военной академии). Тут дают только пиво, но я сейчас куплю водку, закуску я уже заказал, подожди меня. Не могу же я сидеть со всякой пьянью. Вижу: вот человек, можно посидеть». По-человечески и по-писательски надо бы согласиться. Но по-человечески не хотелось среди дня пить водку, по-писательски нечего было ждать от еще одного пьяного разговора. Не без стыда отговорился: надо работать.

10.08.99. Читая «Бессмертие». М. Кундера не зря называет Музиля самым дорогим для себя романистом — его уроки чувствуются. Но 18-летняя работа Музиля над единственным романом породила текст чрезвычайной концентрированности, это мешало ему достичь при жизни заслуженного успеха, он умер, можно сказать, почти не прочитанным. Кундера не боится разбавить действи-

тельно яркие находки необходимым процентом банальности, суррогата, о котором говорил тот же Музиль: без такой добавки гениальность не будет воспринята. И его успех не сравним с музилевским.

21.08.99. Работал... С интересом читал в «Шпигель» статью о новых открытиях физиков, работающих над созданием единой «мировой формулы» (Weltformel, Theory of Everything). Теперь эта «единая теория поля» приобретает очертания теории Superstrings, вибрирующих волокон, из которых состоит мироздание. Представить это можно только математически, и я сейчас не берусь понять. Но я вдруг ощутил, что для множества людей современное состояние науки связано с именами, которые тиражируются в массовом сознании, как имя Б. Гейтса. А для физиков величайшим умом современности — чуть ли не после Эйнштейна — является Edward Witten, пытающийся объединить все string-теории... «Nutzlos, unbeweisbar, unverständlich» (ненужно, недоказуемо, непонятно), — говорят сами ученые о string-теории. Но почему о них говорят меньше, чем в свое время об Эйнштейне? Интересно читать, как работает Witten — не нуждаясь даже в бумаге и карандаше, просто глядит в потолок — думает. Другой тип людей...

31.08.99. С утра немного поработал... Сосредоточиться на работе не позволяли поздравительные звонки... Городницкий сказал, что у него выступление в бард-кафе «Гнездо глухаря», — и родилась идея встретиться там...

Зал, где выступал Алик, был полон, а ведь билет стоит 100 руб. Новое для нас явление...

Я вспомнил: ровно 50 лет назад, когда я учился в 5-м классе, учительница литературы Антонина Михайловна (которую я косвенно вывел в «Этюде о масках») послала меня во Дворец пионеров на конкурс чтецов-декламаторов и выбрала мне для чтения стихотворение Пушкина, несколько сократив его. Я прочел его «с выражением» и помню, как с усмешкой переглянулись немолодые члены жюри. Тогда я не понимал, как странно звучали в устах 12-летнего мальчика эти стихи. Я их прочел за столом: помнил спустя 50 лет.

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здоровье надежды
И юности, и всех ее затей...

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш,

Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Поразительно: это написал человек 37 лет.

Грустное чувство: подведена черта под каким-то этапом.

А дома мы узнали из телевизионных новостей, что неподалеку от места, где мы сидели, в торговом центре на Манежной площади, произошел взрыв, покалечены десятки человек.

15.09.99. ...Позвонила Лор Трубецкой, она заканчивает перевод «Очереди» и «Новобранцев», будет переводить «Сторожа»... «Как вы думаете, может это сейчас быть интересно во Франции?» — спросил я. «Может быть, вам будет неприятно это слышать, — сказала она, — но, к сожалению, в свете новых событий интерес к этой теме усилится». Да, похоже, поворот истории снова сделал актуальным это изменение взгляда: опасность взрыва («Сторож»), даже этот разобранный на части вождь, в котором 10 лет назад узнали бы Брежнева, сейчас вызовет мысль о Ельцине — и т. д. В Москве настроение после взрывов очень напряженное, самые фантастические версии происходящего кажутся достоверными, и ничего реального при этом не предпринимается.

30.09.99. *Konakli*. Вдруг обратил внимание, что здесь совершенно нет чаек. Вообще почти нет птиц. И мидий на камнях нет. Может быть, потому, что вода очень соленая. А ведь скоро птицы начнут перелетать с севера. Через Турцию в том числе. «Не нужен мне берег турецкий» (песня домашнего гуся).

А дальше за морем — Африка. И там же, южнее, Израиль... Там сейчас Юлик Ким. Вдруг подумал о нем. С ним связано чувство радости, веселья, искрометное пение. А между тем жизнь у него с детства полна трагического напряжения. Сын расстрелянного отца, ссыльное детство, бедность, лишения. Изгнание с работы... Диссидентская двойственность, неопределенность: все время под угрозой, но не вполне диссидент. (Я помню его напряженное желание выйти наконец на площадь.) Необходимость звучать под чужим именем (и, подозреваю, оставлять под чужим именем свою музыку). Многолетние болезни. И самое недавнее: мучительная болезнь и смерть Иры, собственная внезапная опухоль, которую он как раз сейчас долечивает в Израиле — и посылает домой уморительные стихи о своих «полипах», смачно рифмуя с «жопой». Поверх всего, над бедствиями и страданиями — блистательное, спасительное для других, живительное веселье. Дай ему Бог!

13.10.99. Работа движется трудней, чем представлялось вначале. То, что выглядело заранее известным, оказывается, увы, общими местами, поверхностным слоем. Но должно получиться. Вечером пошли с Галей в ЦДЛ на показ фильма Германа «Хрусталеv, машину!»... Сгущенный воздух знакомого нам времени. Тогдашние лица, тогдашняя одежда, тогдашние разговоры, тогдашняя пластика движений — и чувство общей «опущенности» (страшная сцена насилия), общей жестокости, некрасивой (при чудовищной роскоши некоторых интерье-

ров), унижительной жизни. Странно, зачем это было показывать в Каннах — французы не могут этого воспринять, да и у нас те, кто не узнает, не чувствуют этого. Возвращаясь, мы смотрели на лица в метро: ну, конечно, это столичные, интеллигентные, откормленные люди, но даже у заключенных, которых теперь показывают по ТВ, другие лица, другое выражение, другое, если угодно, достоинство, другие улыбки. (Что-то идиотическое есть в постоянных улыбках некоторых персонажей.) Сюрреалистический образ времени, «босховские» персонажи. Воспринимать это после первого просмотра трудно, тем более была плохая копия, плохой звук, не только я не разобрал множества слов; надо бы посмотреть еще раз. Но мне близка смелость этого человека, который не испугался почти запрограммированного неуспеха. Невольно подумал о своем «Возвращении ниоткуда»; но у меня все-таки возможно более рациональное обоснование происходящего.

16.10.99. Читаю: какой-то американский продюсер купил право на создание фильмов с участием покойных голливудских кинозвезд. Первым будет фильм с Марлен Дитрих. Ее движения, мимика, голос и трехмерная модель движений оцифрованы компьютером и воспроизводятся в задуманных режиссером сценах. Что-то вроде насильственного оживления духов. Покойница будет говорить и делать, чего она, может, сама бы не захотела. Виртуальную Мэрилин Монро хотят использовать для рекламы духов «Шанель № 5».

Из разговоров. У художника прежде была судьба, теперь нужен «прикол». У нее есть драйв.

18.10.99. По поводу недавней записи (16.10) о компьютерном воспроизведении покойников вдруг подумал: но разве не совершал подобную вольность я сам, когда воспроизводил воображаемый разговор Гоголя с Пушкиным и даже сочинил за Гоголя кое-какие сюжеты? Предложил, как выразились бы сейчас, посмертное виртуальное существование не выдуманное — реально существовавшим людям? Надо подумать.

5.12.99. Иногда замечаю, что мысли и ощущения оказываются ориентированы на приближающийся конец дистанции. Стоит ли ввязываться в ремонт, беспокоиться о разрушающейся сантехнике? Мебель разваливается, все в доме давно требует кап. ремонта, но глядишь, устоит. На наш век, может, все-таки хватит. Некогда разбирать библиотеку и старые записи. Сколько мне осталось? От силы лет 15—20. Дети поставлены на ноги, они разберутся. Оглянешься на такой срок назад — совсем недавно было: 1980—1985. Не замечу, как промелькнет.

Смущает некоторая бестрепетность этих мыслей. Пока дело до этого не дошло.

Вот чего я не ожидал когда-то: что судьба мне подарит такое неизменное самочувствие. При всех издержках здоровья, вырванных зубах и прочем таком — я делаю зарядку с 5-килограммовыми гантелями, бегаю на лыжах 15 км, работаю так же. Устаю, правда, быстрее, но в самом главном, в любовных чувствах, я, кажется, не уступаю себе молодому. Наоборот, ощущения более пол-

ноценны, чем в юности. Скоро, конечно, и это кончится. И тут не просто судьбе надо быть благодарным — Гале.

Я как-то сказал ей, что юность кажется мне не такой полноценной, как позднее состояние. «А ты этого не чувствуешь?» — «Нет, — сказала она, — я не так это чувствую». — «Почему?» — «Я родить не могу».

Да, тут у мужчин природное преимущество. Я бы мог.

19.12.99 «Литературная газета» предложила ответить на вопросы:

Что стало для вас самым значительным литературным событием уходящего года? уходящего века? Что стало для вас самым разочаровывающим литературным событием уходящего года? уходящего века? Что вы ждете от нового века?

Я попробовал ответить на эти вопросы и который раз почувствовал, что мысль не желает выстраиваться по линии, предложенной посторонними словами. И попробовал выразить, почему мне это не удастся.

Самым значительным мне представляется не отдельное событие, а то, что литература вопреки всему продолжает существовать и, надеюсь, будет существовать дальше. Назвать ли разочарованием, что она утратила свою прежнюю роль? Эта роль скорее видоизменилась, новый век будет осмысливать ее по-новому. Видоизменится вся культура; литература может остаться нужной человеку, чтобы ощущать себя по-настоящему живым среди искусственных шумов. В этом смысле чтение каждого подлинного произведения может оказываться событием нашей душевной жизни.

22.12.99. Обычно я отмечаю этот день, самый короткий в году. Темней (и, надеюсь, хуже) уже не будет, свет скоро начнет прибавляться. Вчера же отмечали 120 лет со дня рождения Сталина, возлагали цветы у могилы, произносили речи. В декабрьском номере «Знамени» (где напечатали «Amoges novi») мне понравилась цитата из книги Л. Зорина: «Самое страшное преступление советской власти, советской эпохи — это создание человека, не видящего ее преступлений». Увы.

24.12.99. Внезапно, в любой момент осознать, задержать, ощутить мгновение происходящей жизни. Проснувшись среди ночи. Очнувшись на ходу от мыслей, которые не давали заметить леса вокруг, улицы, людей в метро, почувствовать самого себя. Или только что, на кухне: я допиваю утренний кофе, в руке смятая кожура банана, которую я приготовился выбросить, — и вдруг задерживаюсь на сознании: это со мной сейчас. В следующий миг станет навсегда удалившимся прошлым — становится, пока я проговариваю мысленно эти слова. И каждый такой миг — моя жизнь. Солнце засветило в окно. На столе рассыпанные сахарные песчинки. Жена сидит напротив, я смотрю на нее...

А потом мгновения с ней. И сейчас, когда я пишу за столом, на осьмушке белой бумаги. Включена настольная лампа, за окном деревья, утоптаный снег, идет в магазин женщина с сумкой. То, что осталось на листке, — уже воспоминание. Но осталось, вот — может, дело в этом?

29.12.99. ...Делаю последнюю запись в этой тетради — последнюю в этом году, в этом веке, в этом тысячелетии. (Повторяются споры: отсчитывать ли век

с 2000 или 2001 года...) Ужасные известия об урагане в Европе... Подтверждение для тех, кто ожидает через несколько дней конца света. Не первый раз. Жизнь будет продолжаться. Перестали бы убивать людей...

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТЕНОГРАММЕ

Послесловие на развалинах

1

«В какой-то момент бывает нужно перечесть написанное глазами читателя постороннего, чужого, — писал я в 1990 году, заканчивая цикл рассказов «Голоса». — Или, скажем, иностранца: взгляд не просто отстраняется — воспринимаешь себя как бы из другой системы координат».

Подвыпивший персонаж в одном из этих рассказов пробует объяснить непонимающему мальчику, где работает его мать. «На фабрике по переработке старой бумаги в новую... Чтобы можно было на ней печатать новые, полезные книги... Ей доверили не просто чан, а секретный. Ей доверили бумаги особо вредные. Изъятые. На почте, на таможне, у некоторых отдельных граждан. Книжки не наши, печатные материалы, машинописные в том числе... Чтобы она весь вред, весь этот чужой опиум вываривала без остатка и спускала по трубам, куда положено... А она как пользуется доверием?.. Она ведь кое-что из этого опиума задумала припрятывать и приносить домой, причем с целью наживы. Библию, Святое Писание, предлагала за десятку, как какой-нибудь детектив!»...

Со странным чувством перечитываешь это сейчас: поймут ли иные мои младшие современники, подростки с тех пор дети, что тут не просто пьяный абсурдный бред, а вполне житейская история сравнительно недавнего советского времени? Пожалуй, не только иностранцам надо теперь пояснять, что самиздат, рукописи и печатные книги, запрещенные, изъятые работниками КГБ при обысках, предписано было превращать в макулатуру. Особенно много бумаги поставляла для переработки таможня и почта: изымалась и уничтожалась вся религиозная литература — «опиум для народа» (знакомо ли вам это выражение? — мысленно осведомляюсь я), который пытались «забросить» к нам разные миссионерские организации. Свое первое Евангелие в бумажной обложке я купил у такой женщины; она же предлагала коллекционерам и зарубежные марки, отклеенные с конфискованных на почте конвертов.

А в романе «Возвращение ниоткуда» перед пунктом для сдачи макулатуры выстраивается с ночи очередь — надо ли и тут объяснять, что это вовсе не фантазмагорическая выдумка сочинителя? Недавний советский гражданин подтвердит: существовал своеобразный бизнес. За несколько килограмм сданной бумаги человек получал талоны на покупку «дефицитных» книг — вовсе не обязательно для чтения: их можно было потом перепродать с выгодой. (Особенным спросом пользовались Дюма и Морис Дрюон). Манипуляции с бумагой и книгами приносили доход, для несведущих труднообъяснимый. Попытки под-

сунуть в кипу бумаги постороннюю тяжесть тоже не мной придуманы; ради «макулатурных» талонов сдавали и хорошие книги, иногда украденные в библиотеке. (Приемщик мог великодушно не заметить библиотечный штамп). Что категорически запрещено было сдавать — это произведения классиков марксизма-ленинизма и партийных руководителей. На многотомных сочинениях Брежнева или Андропова можно было бы хорошо заработать, но за этим строго следили — идеология! Надо ли вам пояснять, как грозно звучало тогда это слово?..

Чуть ли не на каждом шагу чувствуешь эту необходимость мысленно объяснить гротески абсурдного мира человеку другой цивилизации — в самом ведь деле другой. Болезненный юноша-повествователь в моем романе считает себя просто не способным многое понять, других он спрашивать стесняется, и воображение его выстраивает собственные толкования, которые кажутся фантастическими. Но, может, именно это особое устройство ума и позволило ему ощутить в нашей реальности что-то, недоступное другим, считающим себя более понимающими, здравомыслящими.

Мне он, во всяком случае, помог осознать многое.

2

Придется тут, видимо, упомянуть и о некоторых обстоятельствах личной жизни. В 1964 году оказался арестован и затем осужден по хозяйственному делу мой папа. Он работал тогда на полиграфической фирме, производившей разнообразные изделия из бумаги: тетради, блокноты, альбомы и т.п. Один из гротесков тогдашней экономики: фирма должна была среди прочего выполнять план по сдаче макулатуры. (Опять, черт побери, эта макулатура!) Бумажные рулоны приходили на фабрику обычно с поврежденным наружным слоем; этот слой полагалось срывать и сдавать на переработку. (Пояснять ли читателю-инопланетянину, что означал в те времена план? — поневоле осекаюсь я снова. — Это был закон, более важный, чем осмысленное производство. Не сдав положенное количество макулатуры, нельзя было выплатить рабочим ежегодную премию.) Работники одного из цехов сумели план выполнить, не сдавая в макулатуру весь «срыв», они сделали из разумно сэкономленной бумаги «неучтенные» блокноты (которых, как многого другого, тогда нельзя было нигде купить). Отец к этому отношения не имел; нужна была лишь его подпись, чтобы грузовик с товаром мог выехать за ворота фабрики. Не знаю, как была получена эта подпись. Отец был человек преувеличенной, болезненной честности, но борец он был никакой. Как-то он предпочел уйти с работы, где ему все время старались всучить взятку. Но когда по этому поводу было возбуждено дело, его объявили виновным.

История, которую рассказывает повествователь в романе — это, конечно же, совсем другая история. Но лагерный служитель приезжал и к нам с запиской от папы и жил у нас; я его как-то водил на представление. Между прочим, отец отбывал наказание в лагере, где вскоре оказался известный наш диссидент Владимир Буковский. Мы устроили маме Буковского встречу с моим от-

цом, чтобы он рассказал ей про тамошние порядки и начальство, с которым предстояло иметь дело: она собиралась туда на свидание.

Среди диссидентов были мои близкие друзья, наши отношения никогда не прерывались. Но именно после ареста отца меня не отпускала сковывающая мысль: КГБ может мне в случае чего сразу же пригрозить, что не позволит выпустить его, как положено, досрочно, заставит отсидеть полный срок. Чувствовать ответственность за других — не то, что опасаться за себя. Осведомленность этой ирреальной организации в моих делах я, как выяснилось вскоре, преувеличивал. В один прекрасный день меня вызвали к следователю, предъявили, среди прочего, подписанные мною письма в чью-то защиту. (Впервые в жизни я увидел тогда ксерокопию, воспроизводившую мою подпись — новинка современной для нас техники, и где же ей было появиться, как не в КГБ?) Время спустя меня вызвали еще к одному следователю и после угрожающей беседы дали подписать формальное предупреждение: в случае, если я буду продолжать свою деятельность, эта бумага будет приобщена к моему делу.

Где-то она, наверное, и сейчас хранится. Честь для меня, что говорить, была попросту не заслуженная: никакой деятельностью похвастаться я не мог; они обо мне вообще мало что знали. Упомянуть этот эпизод мне понадобилось здесь лишь вот почему: начиная первый допрос, замухрышка следователь спросил меня, не желаю ли я воспользоваться услугами переводчика. «Наш закон позволяет любому гражданину пользоваться во время следствия языком, который он считает родным». Он, видимо, хотел унижить меня, еврея, может быть, спровоцировать на срыв. (Потом уже я подумал: а как бы он, интересно, поступил, если бы я в самом деле потребовал переводчика, скажем, с немецкого?)

В романе нетрудно узнать похожий эпизод — читателю он кажется, наверное, еще одним диалогом из драмы абсурда. Нет, все происходило, представьте, на самом деле — как и вот это: «Мой провожатый забежал вперед, открыл крышку бокового щитка — внутри оказались два ряда кнопок. Поколдовал над ними быстрыми пальцами — как пианист или, скорей, фокусник, — чтобы я не проследил, какие он нажал кнопки на самом деле, какие только для виду, и не узнал секретного кода, позволяющего выйти». Выйти из следственного корпуса Лефортовской тюрьмы КГБ.

Это не выдумка сочинителя, как и многое другое в романе. Я начал писать его еще в 1990 году, закончил в 1994-м — можем ли мы сказать, что уже вполне опомнились от пережитых за этот срок потрясений, осмыслили совершившийся перелом? Документальные факты: во время октябрьских событий 1993 года в Москве кто-то привез в багажнике своей автомашины и продемонстрировал участникам митинга обезображенный труп их политического врага. На стене здания возле московского Дома правительства какой-то из участников перестрелки с гордостью написал: «Я убил троих + бабу». Даже не врагов, не преступников — просто людей. (Эту надпись, впрочем, я воспроизвел уже в следующем романе, «Приближение»). И к жителям небольшого города действительно обращались по радио с призывом выйти на улицы: какой-то прорицатель предсказал на ближайшие часы землетрясение. Там землетрясение, слава Богу, не состоялось,

жители просто поразвлеклись на свежем ночном воздухе. Нам свое довелось все-таки пережить. Осмысливать же кое-что мы до сих пор продолжаем.

3

Иосиф Бродский в своей Нобелевской речи заметил, что людям Запада проще понять российскую действительность до 1917 года: социальная структура, в общем, до сих пор осталась аналогичной. Именно этим он, между прочим, объясняет «популярность русского психологического романа XIX века и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются читателю, видимо, не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними».

Повествование в романе я поручил юноше, которому диковинными и малопонятными представляются не только общественные отношения. Врачи и родители не зря позаботились оградить его болезненный, уязвимый ум от телевидения, радио, даже газет. Ему приходится, как я уже говорил, искать собственные объяснения для всего происходящего — и сознанию, наделенному действительно особой, обостренной чувствительностью, странным образом открывается многое, во что другие предпочитают не вникать. Подлинное понимание бывает слишком тревожным.

«Есть такое, куда лучше не заглядывать, — пробует образумить его напуганный жизнью отец. — Вот, не знаем же мы с тобой, как устроен этот магнитофон, какие в нем крутятся штучки и откуда берется музыка... Наше дело выучить правила, где что нажимать, а что делать запрещено. Лишь бы играло».

Но разве это только наша, советская проблематика? Отцу кажется опасным просто даже заглядывать в макулатурный подвал, где творятся неизвестные махинации. Сыну этот подвал явственно представляется кладбищем памяти, которой нас годами старались лишить насильственно — но от которой мы сами так часто готовы бываем отказываться добровольно, лишь бы избавиться от неприятных мыслей и ощущений. «Закрытые зоны», где можно было получать блага, в других местах недоступные, — это из нашей, советской реальности; но только ли нам знакомо само желание отгородиться от менее удачливых — и подхватить грозную песнь обитателей Зоны: «На всех не хватит»? Что же говорить об известном всем ощущении нарастающего кризиса цивилизации, когда люди бесполезно, бессмысленно стараются замазывать на фасаде трещины и потеки, вместо того чтобы позаботиться о новом, доброкачественном фундаменте — без этого ведь, может, не избежать катастрофы?..

Напряженность, проблематичность нашего российского существования, возможно, стимулирует и некую особую чувствительность к подобным вещам. Не у всех, разумеется, не у всех. Нам, людям, как уже здесь было замечено, трезвым и здравомыслящим, она бы только затрудняла обычную жизнь. И совсем ли нормальным, в самом деле, можно считать человека, вообразившего себя ответственным за происходящее? Голос неумолимого экспериментатора убеждает повествователя: изменить нужно само сознание — только это позволит прорваться куда-то, «где нормальные мозги не выдерживают. Потому они туда и не

заходят... Самое большее, на что нас хватает, — прикрывать в меру способностей эту самую бездну, выстраивать над ней видимость порядка и разумности. Ведь нормальным-то мозгам нужны ответы, потому они безнадежных вопросов и не задают, им заранее страшно поражение»...

Впрочем, и сам этот экспериментатор, и разговоры с ним порождены, возможно, лишь все тем же болезненным воображением повествователя. Но воображение может обладать и подлинно творческой силой (в отличие от безответственной произвольной фантазии). Оно не просто связано с реальностью — оно способно на многое в ней повлиять, что-то позволяет в ней объяснить, а значит, изменить. Без воображения — что бы мы могли по-настоящему знать о себе? О том, как мы рождаемся и умираем? Что такое время и бесконечность?

Самое недоступное в жизни, то, что представляется ее смыслом и тайной, по-настоящему можно постичь, согласно известным концепциям, лишь выйдя за ее пределы. То есть уже перестав жить — а значит, и сказать о том, что ушедшему, может быть, открылось, на языке, доступном оставшимся, в принципе невозможно. Нам здесь доступен лишь поиск образов — над чем, по сути, и бьется человек пишущий...

Моя работа продвинулась, помнится, уже довольно далеко, когда я вдруг обнаружил в книге Макса Брода про Кафку свидетельство о его незавершенном замысле — предполагаемом финале романа «Америка». «Rossmann (герой романа) ist wirklich vom Autor «umgebracht» worden: das Schlusskapitel ist eine Vision, deren Zeit (falls man da überhaupt noch von Zeit und Raum sprechen kann) die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit ist, aber vom irdischen Leben her gesehen, also ein eigenartiges Zwischenreich und jenseitiges Leben, in dem ja wahrlich für jeden Platz ist, in dem «alle gebraucht werden». Rossmann ist in die Transzendenz eingegangen, in eben jenem Sinne, den Karl Jaspers formuliert: "Der Mensch als einzelner in seiner Existenz... ist in seiner Bindung an den transzendenten Gott und durch diese unabhängig gegenüber aller Welt"»²⁵.

Помню, как я был поражен: ведь это почти буквально то, о чем я думал, к чему хотел бы пробиться! Вся моя работа была попыткой увидеть, вскрыть за конкретными обстоятельствами, за любой отдельной жизнью нечто общезначимое, проникнуть в измерение экзистенциальное, недоступное прямому, рациональному пониманию...

4

Но тут мне пора, пожалуй, умолкнуть. Столько передуманного вкладываешь в работу — комментарий может изрядно превысить по объему сам текст; едва ли не каждый эпизод хочется сопроводить рассказом. В романе есть образ

²⁵ «Россман <герой романа> действительно был автором "убит": заключительная глава есть "видение", время действия которого (если тут вообще можно говорить о времени и пространстве), есть безвремяе, вечность, но увиденная как бы из земной жизни, то есть своего рода промежуточная область, потусторонняя жизнь, в которой поистине есть место для каждого, в которой "все оказываются нужны". Россман вошел в трансценденцию, в том самом смысле, как об этом говорит Карл Ясперс: "Человек, являясь отдельным существом... оказывается связан с трансцендентным Богом и благодаря этому независим от всего мира"». (нем.)

семечка, «в котором уже содержатся корни и ствол, и шелест каждого будущего листочка, и вся пятисотлетняя будущая жизнь, но пересказать ее обычными словами — значит прожить эти пятьсот лет». Автор, если уж на то пошло, предлагает читателю всего лишь семечко — знать бы, что прорастает из него каждый раз в сознании совсем другого человека, на пересечении с его особым опытом, миром, неповторимой жизнью, судьбой!

Прошло не так уж много лет — и вот я, словно не узнавая, перечитываю собственные страницы. Перемены с тех пор произошли более значительные, чем мы способны, может быть, осознать. В стране изменилась не просто общественная, политическая система — все ощутимей уходит в прошлое, оставляя после себя тягостные развалины, целая цивилизация, со своей экономикой, эстетикой, мифологией, даже эсхатологией. И на этих развалинах исподволь возникает, разрастается уже действительно новая жизнь. По-иному ощущаешь мир вокруг, самого себя. Можешь казаться себе сколь угодно независимым от обстоятельств, от самого времени — время волей-неволей налагает на тебя свой отпечаток; мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Как различаются работы, написанные одним и тем же автором в разные годы! Меняется поворот ума, поворот взгляда.

«Буквы преобразуются, прорастают стебельками растений, усиками разбегающихся насекомых. Шелестит желтая листва, в вышине сходятся стволы берез... Какая вдруг ясность! — озираюсь я вместе со своим повествователем. — Расширяется слух и зрение».

Вот почему кажется не такой уж простой случайностью, что последний год этого столетия оказался для меня отмечен работой, которую я назвал «Amores novi». Любовные элегии уходящего века, уходящего тысячелетия — с ними и хотелось бы войти в новое.

1999

(Это послесловие было адресовано французскому читателю романа «Возвращение ниоткуда».)